

891.7-1(09)

B.315



H234

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

21/1-57	Huber
3/4/02	15/III 65
5/4/04	28/4 64
4/10/04	19/18 64
17/10/04	успейте до
22/1/05	до 19.9.71.
	01580 до 22.11.03г
	01578 до 30.09.03г
	до 14.10.03г
22/1/05	ОЛИНГ ИРСТЫД. ВЫДАЧ

ИБЦ РЭУ им.Г.В. Плеханова



001243506



ИБЦ РЭУ им.Г.В. Плеханова



001243506

В. В Е Р Е С А Е В

СПУТНИКИ ПУШКИНА

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ



МОСКВА

1937

В. В Е Р Е С А Е В

89/2/15
B315

СПУТНИКИ ПУШКИНА

1



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

Проверено 03.03.2009

С

Переплет и титул по рисункам художника
А. И. Усачева

Подбор иллюстраций выполнен
Н. Г. Машковцевым

1977-к





О „СПУТНИКАХ ПУШКИНА“

Книга В. В. Вересаева «Спутники Пушкина» — плод многолетних изысканий и огромного труда — заполняет пробел, давно ощутимый в нашей литературе. Помогая ближе знакомиться с жизнью величайшего русского поэта и тем самым глубже понять его творчество, книга эта в то же время имеет и самостоятельное значение. Биография Пушкина, история его времени, быт и нравы эпохи — все это становится яснее, ярче и понятнее после ознакомления с жизнью его современников. Суммируя массу живых черточек эпохи, Вересаев рисует людей такими, какими они подчас являлись глазам Пушкина, книга помогает читателю представить себе воздух, которым дышал Пушкин в обществе, ему современном.

Новый большой труд задуман как продолжение и дополнение известной книги того же автора «Пушкин в жизни». Но метод изложения материала здесь иной, иные и задачи. «Пушкин в жизни» представляет собою просто систематический свод свидетельств современников, т. е. монтаж источников, содержащих сведения о личности и жизни Пушкина, в какой-то мере отвлеченный от личности составителя.

В новой книге центр тяжести перенесен на пушкинское окружение и при том окружение это передано в громадном количестве (около четы-

рексот) литературно-бытовых портретов, как назвал сам автор очерки. Огрывочные зарисовки, воспроизводящие с возможной полнотой всех людей, которых знал Пушкин или с которыми встречался, хотя случайно, хотя бы по официальной надобности, все же не являлись ни энциклопедией, ни справочником, ни, тем менее, собранием из подлинных документов. И хотя портретные очерки научно документированы мемуарами, письмами современников, художественной литературой и научными исследованиями, все же они не теряют своего летописного характера. Перед читателем разворачивается в большом и разнообразном полотне панорамного типа фактическая картина эпохи. В бесконечном количестве мельчайших деталей и неповторимых особенностей, чутко уловленных В. В. Вересаевым, вырисовывается портрет уродливостей николаевская Россия. По рождению и положению в обществе Пушкин был участник так называемого «высшего светского общества», хотя гений роднил его с жизнью и думами широких народных масс. Но это определило особенности источников, из которых автору пришлось черпать сведения о современниках Пушкина. Основным материалом, из которого лепил В. Вересаев свои зарисовки, были свидетельства образованных дворян, их воспоминания, переписка, литературные произведения и т. д. Поэтому и жизнь самого Пушкина и людей, с которыми сталкивавшихся, рисуется в разрезе интересов этой группы. В центре внимания оказывается то официальная жизнь двора и придворных церемоний, значения и перемещения по иерархической лестнице, то светская жизнь, с увлечениями, приемами, балами, раутами и неизбежными сплетнями и анекдотами, то жизнь литературная и театральная, разрываемая, главным образом, со стороны борьбы литературных группировок или со стороны закулисной.

Совмещая в себе одновременно историка и беллетриста, Вересаев испытывает и выгоды и неудобства такого положения. Манера изложения становится увлекательнее, но зато страдает объективность. Художник увлекает историка от сухого и строгого, часто скудного и недостаточного для обобщения факта, зато исторический материал ограничивает возможности художника.

Омне того, надо отметить, что не обо всех лицах, окружавших на, даны зарисовки с учетом общественного значения изобра- к лиц, а некоторые характеристики даны прямо ошибочно. В осо- ги это относится к Чаадаеву. В характеристике Чаадаева Вере- еренес центр тяжести на разбор положительной его программы, трактую ее чуть ли не с точки зрения современного пролетар- революционера. Получились чрезмерно подчеркнутыми мистицизм ные чудачества автора знаменитого «Философического письма». тем еще Чернышевский справедливо отметил, что мистицизм аева был «облачением его революционной критики николаевской ». Так, о Киреевском И. сказано очень мало, несмотря на то, что личность и как участник славянофильского движения И. Киреев- заслуживает большего внимания историка. Так же оказались не- очно освещенными фигуры других славянофилов А. С. Хомякова, М. М. Снегирева и др.

Ли зарисованы, главным образом, словами их друзей в интимно- ных чертах, отчего передается читателю их «симпатичность», обая- ность, чистота и затупевывается глубоко реакционная роль в исто- русской общественности.

Так же точно в биографии Крылова на первом плане оказалось его аполитическое обжорство; в очерке о Державине, неожиданно кратком, передана роль Державина в истории русской поэзии и не освещены- твенные черты этого поэта — царедворца и старшего архаиста, зато- мерно выдвинут вперед анекдот об уборной; в очерке о Грибоедове- еличенное значение дано его преследованиям крепостных и т. д. аспределение «спутников» по группам, конечно, представляет ряд- нений, но в некоторых случаях с точкой зрения автора согла- я нельзя. Так, двоюродный дед поэта Ганнибал отнесен в разряд- венских знакомых», в то время как естественно ему быть в главе- твенники»; фельдъегерь Подгорный, шпион Бошняк и др. должны- отнесены к главе «Начальство и его агенты», а не в группу «зна- х» поэта.

Необходимо еще отметить, что, выходя за пределы своей прямой

задачи — «дать ряд литературно-бытовых портретов», Вересаев пользуется каждым случаем, чтоб высказаться по общим вопросам пушкиноведения. Иногда правильные и убедительные, а нередко и очень субъективные высказывания эти несомненно вызовут много споров и возражений со стороны специалистов. Так высказывается он о прототипах Татьяны и Ольги, вполне основательно считая, что «художественный образ не фотография и приурочение к нему определенного прототипа вещь в большинстве случаев бесплодная». Так касается Вересаев вопросов, связанных с датировкой пушкинских стихов, в частности тех, которые посвящены Амалии Ризнич; так высказывается он об отнесении стихов к тому или другому лицу (например, Стурдзе — эпиграммы «холоп венчанного солдата») и, наконец, вносит посильный вклад в разрешение проблем, не находящих единодушного решения среди биографов Пушкина. К числу их надо отнести вопрос о роли Милорадовича в первой ссылке поэта, вопрос о совсем нераскрытой, но активной роли Брунова в ссылке Пушкина из Одессы в Михайловское, о том, был ли Липранди шпионом во времена Пушкина, и т. д.

Но, повторяем, все эти высказывания выходят за пределы задач, прямо поставленных себе автором книги, и не на них должно быть сосредоточено внимание читателя.

Минуя указанные особенности и дефекты, читатель получит яркую, увлекательную и ценную книгу, строго документированную и обоснованную, и перед ним в ряде художественных очерков раскроется мир, в котором жил величайший русский поэт.

Виктор Гроссман

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга эта, представляя из себя самостоятельное целое, является в то же время дополнением к моей книге «Пушкин в жизни» и написана в том же плане. Задача ее — дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался в жизни Пушкин, иначе сказать — окружить Пушкина живыми людьми. В соответствии с этим главное внимание обращено на обрисовку личности каждого спутника и его житейских отношений к Пушкину, а через это — на характеристику быта, в окружении которого приходилось жить и творить Пушкину.

Большое иногда затруднение представляло распределение портретов по группам, и тут пришлось допустить некоторую долю произвольности. Например, выделены в отдельную группу писатели, с которыми имел общение Пушкин, но в группе этой нет Дельвига, Жуковского, Вяземского — они отнесены в группу друзей Пушкина. Я старался по возможности не разносить портрета частями в разные группы. Иногда, однако, приходилось делать исключение, — например, относительно некоторых лицейских товарищей Пушкина, с которыми он впоследствии приходил в частые и многообразные отношения. О лицейской их жизни рассказано в отделе о лицейских товарищах Пушкина, продолжение — в соответственных других группах. То же относительно членов «Арзамаса» и «Зеленой Лампы».

В. Вересаев

Январь 1934 г.

задачи
зуются
ведени
тивные
жений
Татьян
образ
вещь в
сов, св
рые по
стихов
лоп вел
нение
Пушкин
вой сс
нова в
пранди
Но
прямо
сосредс
Ми
увлека
ваннук
в кото

I

РОДСТВЕННИКИ И ДОМОЧАДЦЫ

Гм, гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте, может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот такие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять.
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
И так, дай бог им долги дни.

«Евгений Онегин», IV, 22

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН (1770—1848)

Отец поэта. Сын богатого помещика. Получил светское французское воспитание. При Павле I служил в лейб-гвардии егерском полку. Но к службе, при тогдашних требованиях, по крайней своей небрежности и рассеянности, оказался мало годен. Он любил, например, сидеть с приятелями у камелька и мешать в нем огонь; однажды он для этого

употребил свою офицерскую трость и с нею же явился потом на службу. Командир, заметив обгорелую трость, сказал:

— Уж вам бы, господин поручик, лучше явиться на учение с ко- чергою.

Сергей Львович очень был огорчен таким замечанием и жаловался на тяжесть военной службы. Перчатки он постоянно терял или забывал дома. Как-то даже на придворный бал явился без перчаток. К нему подошел император Павел и спросил по-французски:

— Отчего вы не танцуете?

Оробевший Пушкин в смущении ответил:

— Я потерял перчатки, ваше величество.

Царь снял свои перчатки и сказал с улыбкой:

— Вот вам мои. — Потом с ободрительным видом взял молодого офицера под руку, подвел к даме и прибавил: — А вот вам и дама.

В ноябре 1796 г. Сергей Львович женился на Надежде Осиповне Ганнибал, своей внучатной племяннице. Через два года вышел в отставку в чине майора и переселился на покой в Москву. Впрочем, и в Москве числился служащим где-то по комиссариатской части. С 1814 г. в течение трех лет служил в Варшаве, тоже по комиссариатской части; в январе 1817 г. окончательно вышел в отставку с чином статского советника. Преемник его, принимая от Сергея Львовича должность, застал его в присутственном месте за французским романом вместо счетов и бумаг. Сергей Львович поселился с семейством в Петербурге, больше никогда уже не служил и вел совершенно праздную жизнь, ни о чем решительно не заботясь. Он был изысканно любезен на старинный французский манер, был мастер на каламбуры и острые ответы. Например, некто Копьев славился в Петербурге худобою своей малокормленной четверни. Однажды ехал он в карете по Невскому, нагнал шедшего пешком Сергея Львовича и крикнул ему из кареты:

— Садитесь, подвезу!

Сергей Львович ответил

— Благодарю, но не могу: я спешу.

Особенно торжествовал он в салонных играх, требующих беглости ума и остроты, был необходимейшим человеком при устройстве праздников, собраний и домашних театров. Был прекрасный актер и декламатор, мастерски читал, особенно Мольера. Очень легко писал стихи — и по-французски, и по-русски. Интересовался литературой, был лично знаком с Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским, кн. Вяземским.

Жизнь представлялась Сергею Львовичу лугом удовольствий, человек, точнее, дворянин — мотыльком, которому предназначено порхать





о оному лугу и пить с цветочков сладкий сок. Для этого, естественно, нужны средства. Сергей Львович их имел. В Нижегородской губернии него было около семи тысяч десятин земли и более тысячи крепостных крестьянских «душ». Да за женою он получил в Псковской губернии более тысячи десятин. Но средства сами собой в руки не плывут. Все-таки нужно надзирать за управляющими, следить за отчетностью, наезжать хоть изредка в поместья, ревизовать, — вообще, прилагать некоторый труд. Вот это было совершенно не по нутру Сергею Львовичу. Никакими делами он заниматься не любил. Своих наследственных поместий он за всю свою жизнь не посетил ни разу и управление поручил крепостному воеводе человеку Михайле Калашникову, мошеннику первостатейному. Когда впоследствии, для спасения имения, послан был туда дельный управляющий-немец, то он просто бежал из имения при виде страшного разорения крестьян. В псковском поместье Михайловском было не лучше: приказчики надували и обкрадывали барина, высылали ему в год две-три сотни рублей ассигнациями, два-три воза замороженной домашней птицы и масла; грабили и притесняли крестьян. Когда же мужики приехали в Петербург к Сергею Львовичу с жалобой на управляющего, Сергей Львович пришел в негодование за причиненное беспокойство, топтал ногами, раскричался на мужиков и прогнал, не выслушав.

При такого рода хозяйствовании, разумеется, представлялось очень мало возможности беззаботно гулять по жизненному лугу удовольствий. Погуляй-ка, когда имения заложены и перезаложены, казна требует процентов, в доме нет ни гроша, лавочники перестают верить в долг. Обычный стиль жизни Сергея Львовича хорошо отражен в письмах его дочери О. С. Павлицевой к мужу. «Вообрази, — пишет она, — что в прошлом году имение Солдино описывали пять раз... Можешь себе представить, в каком состоянии находится отец со своими черными мыслями, да к тому же денег нет. Он хуже женщины: вместо того, чтобы прийти в движение, действовать, он довольствуется тем, что плачет. Не знаю, право, что делать, — я отдала все, что могла, но это все равно, что ничего, из-за общих порядков дома, из-за мошенничества людей, перед которыми наш Петрушка буквально ангел. Они получили тысячу рублей из деревни, и через неделю у них ничего уже не было, а заплатили всего только четыреста рублей за квартиру... Я одолжила отцу 25 р.; он мне их не возвратил и, вероятно, не возвратит, потому что в тех пор он получил 1 300 и не сказал ни слова. Мать этого не знает: она возвратила бы мне эти деньги. Никогда у меня не хватит смелости попросить их обратно у отца, но за то у меня будет смелость больше ему их не давать... Мой отец только и делает, что плачет, вздыхает, жалуется встречному и поперечному. Когда у него просят денег на

дрова и сахар, он ударяет себя по лбу и восклицает: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!» Он испустил это восклицание передо мною, и, сознаюсь, меня это немного развлекло, когда я подумала о его 1 200 мужиках в Нижнем... Боже упаси обращаться к кому-нибудь из прислуги в доме: это воплощенные дьяволы, мошенники, воры, нахалы, и потом они ничего не сделают даром. Лакеем к экипажу мне пользоваться невозможно, отец сердится, когда он всю челядь не видит налицо: «Да где тот? Да где этот? Да кто его послал?» и т. д... Право, иногда он мне очень жалок. Старик всегда нуждается в деньгах, а их любит; его обкрадывают и обчищают со всех сторон; его челядь — саранча сушая. Вообрази: пятнадцать человек!»

Сергей Львович был небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва попугая. Имел наклонность к чувствительности, был очень слезлив. Главную, характернейшую его особенность составляла глубокая душевная фальшивость, постоянное стремление играть какую-нибудь роль. Никогда он не проявлял прямо того, что переживал в душе, а держался так, как, по его мнению, в данном случае должно было проявляться. Был он глубочайший эгоист, до детей ему мало было дела, но письма его к ним были исполнены самой образцовой отеческой нежности. Когда умирала его жена, он громогласно рыдал в ее комнате; это пугало и мучило умирающую; дочь попробовала указать на это отцу; Сергей Львович пришел в негодование, накричал на дочь и стал обвинять ее в бесчувствии. Можно думать, что напыщенная фальшивость отца сыграла, по контрасту, свою роль в выработке у Пушкина большой простоты и естественности в выражении чувства.

Сергей Львович денег удерживать не умел, но в то же время был очень скуп. Пушкин в письме с юга к брату с горечью вспоминал о своем петербургском пребывании под родительским кровом: «...когда большой, в осеннюю пору или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста, он вечно бранился за восемьдесят копеек, которых, верно бы, ни ты, ни я не пожаляли для слуги». Однажды, уже взрослым, обедая у отца, сын его Лев разбил нечаянно рюмку. Отец вспылил и целый обед ворчал. Лев сказал:

— Можно ли так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?

— Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не двадцать, а тридцать пять копеек!

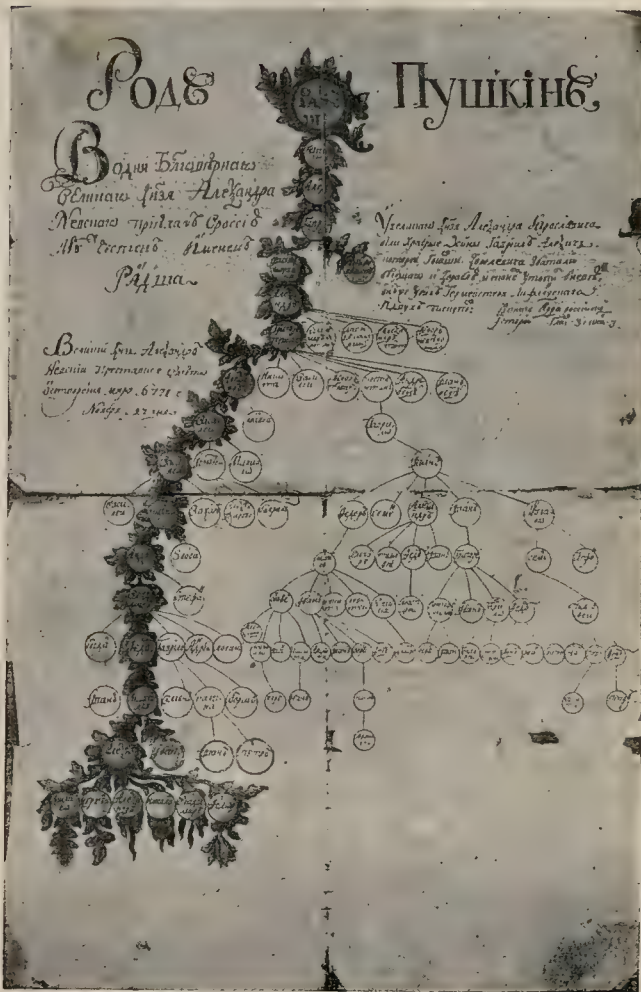
Скупость Сергея Львовича была хорошо известна и всем его знакомым. Когда Вяземский узнал о помолвке Пушкина на Гончаровой, он писал ему: «Гряди, жених, в мои объятия! Более всего убедила меня

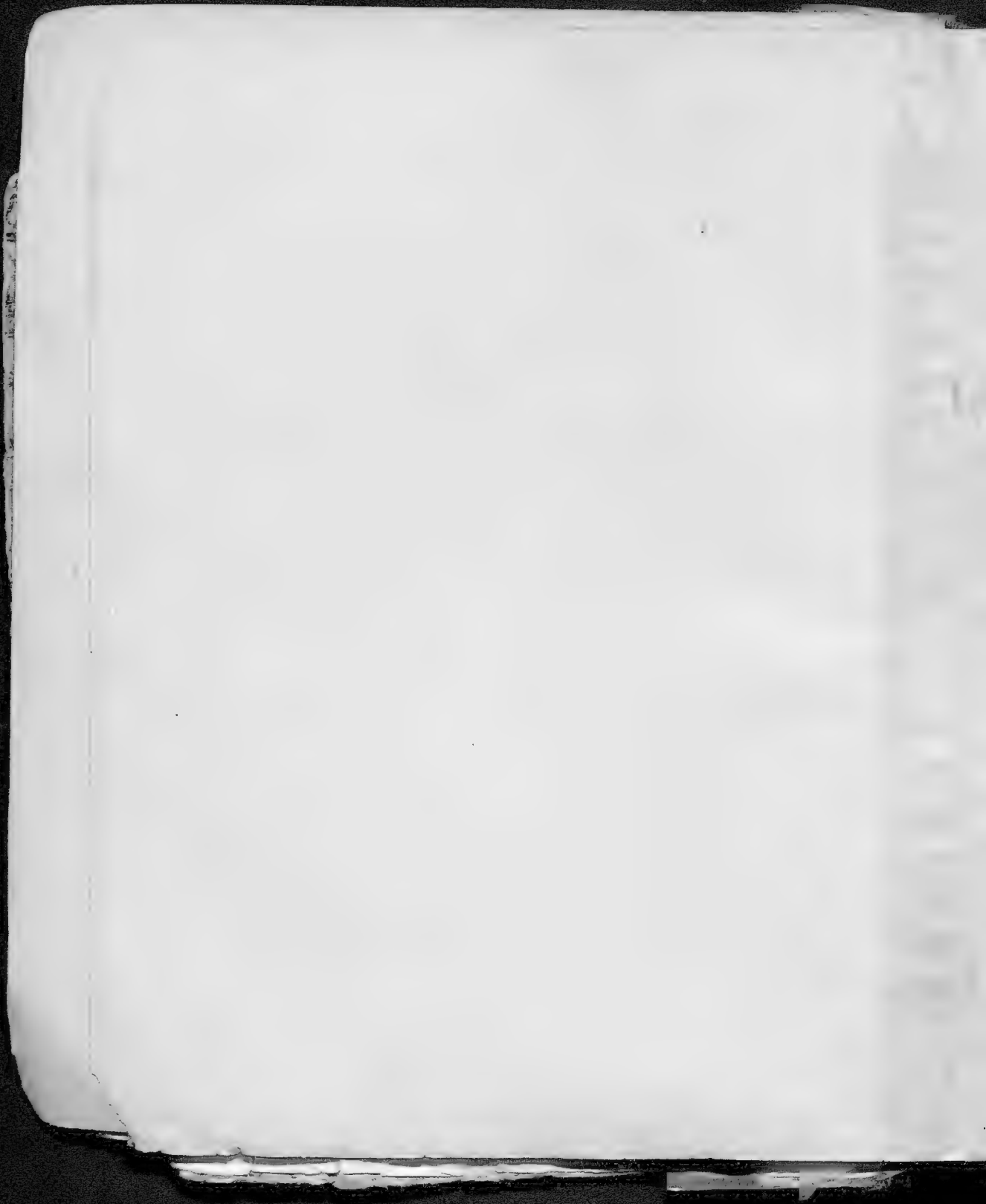
Родъ

Пушкінъ

Водня Блудовна
 Великая князь Александръ
 Невский приехалъ въ Россію
 въ 1016 году. Писменъ
 Радша

Великая князь Александръ
 Невский приехалъ въ Россію
 въ 1016 году. Писменъ
 Радша





истине женитьбы твоей вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего письма. Я тут ясно видел, что дело не на шутку. Я мог не верить письмам твоим, слезам твоим, но не мог не поверить его шампанскому».

К детям своим Сергей Львович был глубоко равнодушен. При малейшей жалобе гувернантки или гувернера он сердился, выходил из себя, но гнев его происходил только из врожденного отвращения ко всему, что нарушало его спокойствие. Когда Пушкин был в лицее, Сергей Львович в январе 1815 г. присутствовал на публичном экзамене учеников, — на этом экзамене Пушкин прочел свои «Воспоминания в Царском селе» и вызвал восторг присутствовавшего на экзамене Державина. Как бывало и впоследствии, этот успех сына заставил Сергея Львовича обратиться к нему с большим вниманием. По окончании лицея Пушкин жил в Петербурге у родителей, на Фонтанке, и вызывал неутраченное годовое отца своим озорством, кутежами и вольномыслием. Пушкина выслали из Петербурга. На юге он пропадал от безденежья. Отец писал ему нежные письма, но денег не посылал. «Изъясни отцу моему, — писал Пушкин брату из Одессы, — что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же чуждому я не обучен... На кого, кажется, надеяться, если не на близких и родных?.. Крайность может довести до крайности. Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, — хоть письма его очень любезны». В августе 1824 г. Пушкина выслали из Одессы в僻僻ую деревню его родителей. Там в это время жила вся семья Пушкиных. Отец ужасно испугался, твердил, что теперь и его самого, Сергея Львовича, может из-за сына ожидать ссылка, и не уставал пилить его. Пушкин совсем исчез из дому: либо рыскал верхом по окрестностям, либо проводил время у обитательниц соседнего села Тригорского. Домой возвращался только почевать. Начальство напрасно искало среди окрестных дворян человека, который взял бы на себя обязанность следить за действиями, разговорами и перепиской ссыльного поэта. Тогда предложено было взять на себя эту обязанность самому Сергею Львовичу. Он с покорною готовностью согласился. Пушкин рассказывает в письмах: «...вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получаю бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться искренно... Отец осердился, заплакал, закричал. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec le monstre, ce fils dénaturé... Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу

его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его: «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить». А после говорил: «Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!» Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками!» Это дело десятое. «Да он убил отца словами!» — каламбур, и только». Вздвигнувшись Пушкин написал официальное прошение псковскому губернатору такого содержания:

«Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства».

Друзьям удалось остановить отправку прошения. Сергей Львович отказался от взятой на себя обязанности шпионить за сыном, со всею семьею уехал в Петербург, и Пушкин остался в Михайловском один.

Отношения между отцом и сыном остались враждебными. Сын не стеснялся в отзывах об отце, отцу эти отзывы передавались. В октябре 1826 г. Сергей Львович в негодовании писал брату своему Василию Львовичу: «Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною. Если он мог в минуту своего благополучия, и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отречься от меня и клеветать на меня, то как возможно предполагать, что он когда-нибудь снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден о том, что просить прощения должен я у него, но прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение... Я еще ни минуты не переставал воссылать молитвы о его счастье и, как повелевает евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, — так как он от меня отрекается, — то как христианин, но я не хочу, чтобы он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды». Ссора между отцом и сыном длилась вплоть до 1828 г., когда они прими-

рились, благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят, незадолго перед тем, молодым царем. «Во второй раз (первый случай относится к 1815 г.), — пишет Анненков, — Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми». После этого отношения их стали внешне корректными, но попрежнему отец и сын оставались холодны и далеки друг другу. До того доходило, что, например, оба они обыкновенно в одно время гуляли по Невскому, но никто никогда не видал их гуляющими вместе. Перед женитьбой Пушкина отец выделил ему из своих нижегородских поместий половину деревни Кистеневки с 200 незаложенных душ.

Трагическая смерть поэта в самое сердце поразила «несчастливого отца». Он был, как говорится, «безутешен». Негодовал на Жуковского, что известное свое письмо к нему об обстоятельствах смерти Пушкина тот как будто написал не столько для утешения отца, сколько для распространения в публике. Когда однажды у знакомых он увидел чертёж Пушкина, то подошел к нему, обнял и зарыдал. Невозможно было определить, где у этого изактерившегося человека кончалось настоящее чувство и начиналось разыгрывание роли.

Было ему уже под семьдесят лет. Жена его умерла еще раньше поэта, остался он совсем одиноким. Сын Лев служил офицером на Кавказе, дочь Ольга жила с мужем в Варшаве. Сергей Львович проживал то у родственников в Москве, то в гостинице Демут в Петербурге, то в Михайловском. Он страдал уже сильно одышкой, был толст, глух, беззуб, при разговоре брызгал слюнями во все стороны, на широкой плечи прилизывал фиксауаром скудные остатки волос. Однако главным делом и главной радостью его жизни была любовь к молодым девушкам. Он влюблялся направо и налево, влюблялся даже в десятилетних девочек, писал возлюбленным длинные стихотворные послания, пламенными надеждами, лил слезы отчаяния. В Михайловском он влюбился в молоденькую девушку-соседку Марью Ивановну Осипову, засыпал ее стихами в таком роде:

Люблю... Никто того не знает.
И тайну милую храню в душе моей.
Я знаю то один... хоть сердце изнывает,
Хоть и день, и ночь тоскую я по ней.
Но мило мне мое страданье,
И я клялся любить ее без упованья,
Но не без счастья для сердца моего.
Я за нее тягжу... Довольно и того!

Страсть к стихописанию у Сергея Львовича была чрезвычайна: все записки его к предметам его страсти писались не иначе, как стихами; посылал ли он цветы, книгу, собаку, лампу, — посылку неминуемо сопровождали стихи. Сергей Львович сделал Марье Ивановне предложение выйти за него замуж. Но она горячо любила его сына Льва, приехавшего домой погостить, и отказала отцу. Сергей Львович никак не мог этого понять: отец и сын, — как можно выбрать сына? Какой-то Левка и он — сам Сергей Львович! Любовь к Марье Ивановне, впрочем, не мешала ему видеть во сне белую шею и плечи старшей ее сестры, тридцатилетней матери многих детей, баронессы Е. Н. Вревской. В Петербурге Сергей Львович ухаживал за Анной Петровной Керн, которую когда-то воспел Пушкин («Я помню чудное мгновенье»), писал ей страстные любовные письма. Потом влюбился в ее дочь Екатерину Ермолаевну, безумствовал от любви, ел кожицу клюквы, которую она вылевывала. Нельзя было без смеха смотреть, как он, изысканно одетый, расточал перед нею фразы старинных маркизов, не слушал ответов, рассказывал анекдоты, путая и время и лиц. День ото дня глухота его усиливалась, одышка дошла до такой степени, что в другой комнате слышно было его тяжелое дыхание. Но еще за несколько дней до смерти он умолял Екатерину Ермолаевну выйти за него замуж.

НАДЕЖДА ОСИПОВНА ПУШКИНА (1775—1836)

Мать поэта. Рожденная Ганнибал. С малолетства была окружена угодливостью, потворством и лестью окружающих, выросла балованной и капризной. Была хороша собою, в свете ее прозвали «прекрасною креолкою». По своему знанию французской литературы и светскости она совершенно сошлась со своим мужем, очаровывала общество красотой, остроумием и веселостью. Была до крайности рассеяна, очень вспыльчива, от гнева и кропотливой взыскательности резко переходила к полному равнодушию и апатии относительно всего окружающего. Так же, как муж, питала глубочайшее отвращение ко всякому труду, домашнему хозяйству, лепилась заниматься в той же мере, как муж — управлением имениями. Барон М. А. Корф, живший одно время в соседней с Пушкиными квартире, вспоминает: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана.

Когда у них обедало человека два-три, то всегда присылали : за приборами». Все в хозяйстве шло кое-как, не было взыскательного внимания хозяйки, провизия была несвежая, готовка дурная. Десять собираясь на обед к Пушкиным, писал Александру Сергеевичу:

Друг Пушкин, хочешь ли отвещать
Дурного масла, яиц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Надежда Осиповна была властна и взбалмошна. Муж находился у нее под башмаком. С детьми она обращалась деспотически. Странно обожала меньшого сына Льва, к дочери же Ольге и особенно к Алесандру относилась холодно, подвергала уничижительным наказаниям например, за какую-то провинность ударила Ольгу по щеке и при просить прощения; та отказалась, тогда мать одела ее в затрепанное платье, посадила на хлеб, на воду и запретила другим детям подходить к ней. У Александра в детстве была привычка тереть ладони о другую; чтоб отучить его от этого, мать на целый день завязала руки назад и проморила голодом. Мальчик часто терял носовые платки, мать пришила ему носовой платок к курточке в виде аксельбанта, в таком виде заставляла выходить даже к гостям. Рассердившись на него и не разговаривала неделями и месяцами. Материнские ласки Пушкин никогда от нее не видел. Когда, двенадцатилетним ребенком, его повезли в Петербург для определения в лицей, он покинул родительский кров без всякого сожаления.

И всю жизнь на равнодушие родителей Пушкин отвечал так равнодушием. Живя с ними в одном городе, посещал их очень только по долгу родственной вежливости; отсутствуя, почти не писал. Надежда Осиповна относилась к нему с неизменной холодностью, каждый успех Пушкина делал ее к нему все равнодушнее, вызывал только сожаление, что успех этот не достался ее любимцу Левушке. «Но последний год ее жизни, — вспоминает баронесса Вревская, — когда она была больна несколько месяцев, Пушкин жил у нее с такой нежностью и уделял ей от малого своего внимания с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознавая, что не умела его ценить. Он сам привозил ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После этого он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она не дала ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою, о которой до того он не знал».

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ГАННИБАЛ

(1745—1818)

Рожденная Пушкина. Бабушка поэта. Дочь тамбовского воеводы, замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, флотского офицера. Был очень несчастлив. Осип Абрамович прожил с женою всего несколько лет, бросил ее с малолетнею дочерью Надеждой и обвенчался с другою новоржевскою помещицею. Возникло дело о двоеженстве. Четверть часть его имения—село Кобринно Петербургской губернии—взята в опеку на содержание малолетней дочери. Мария Алексеевна жила то в Кобрине, то в Петербурге. В 1796 г. Надежда Осиповна вышла замуж за С. Л. Пушкина. Когда они переселились в Москву, Мария Алексеевна продала Кобринно, переехала также в Москву и нашла дом у Харитония в Огосодниках, рядом с Пушкиными. Но жили там не только ее люди, а сама она жила у Пушкиных, заведывала их хозяйством, воспитывала их детей, приглашала к ним гувернанток и учителей, сама их учила. По общим отзывам, была она очень умная, добрая и рассудительная женщина. Когда маленькому Пушкину пришлось невтерпёж от истерических разносов отца или строгой мущины матери, он убегал к бабушке Марье Алексеевне, залезал в ее комнату и долго смотрел на ее работу. Здесь его никто уже не тревожил. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке (в родительском доме разговорным языком был французский). Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от письменного слога Марии Алексеевны, от ее сильной и простой русской речи. В 1806 г. Мария Алексеевна купила под Новой селцо Захарово, — там Пушкины проводили у нее летнее время.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН

(1767—1830)

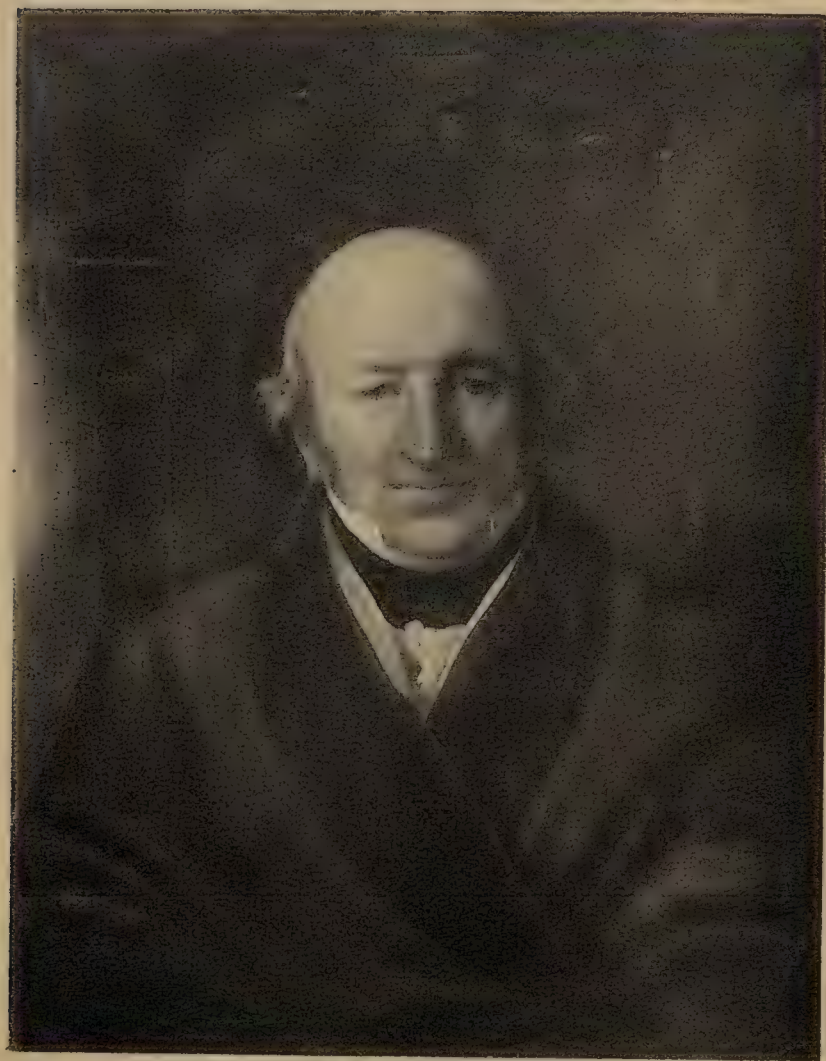
Дядя поэта и сам поэт. Как и брат его Сергей, Василий Львович был богат, владел большим количеством крепостных душ, как брат, совершенно не заботился об управлении имениями и беззаботно проживал доходы, идя к полному разорению. Получил внешне блестящее образование, прекрасно говорил по-французски, знал латинский, немецкий, английский и итальянский языки. В молодости служил в Петербурге в лейб-гвардии Измайловском полку, но очень недолго. В 1797 г. вышел в отставку и поселился в Москве. Там женился на красавице Елизавете М. Вышеславцевой, однако вскоре разъехался, а потом и развелся с нею и сошелся с «вольно-отпущенною девкой», — должно быть, тою

ы,
а.
е-
ся
т-
та
и-
та
у,
а-
и
х
к
я,
и-
п-
ее
л.
б-
ее
б-
од
ее



г.
о-
л
о-
;
е
г.
е
я
ю







самую Анной Николаевной Ворожейкиной, с которой Вас. Львович прожил всю остальную жизнь и от которой имел «незаконных» детей. Василий Львович блистал в салонах, был душою общества, был неистощим в каламбурах, островах и тонких шутках. 1803—1804 годы провел он за границей, главным образом в Париже, и вывез оттуда богатейшую библиотеку. Когда он воротился из путешествия, рассказывает Вяземский, «Парижем от него так и веяло. Одет он был с парижской иголочки с головы до ног; прическа à la Titus — углаженная, умасленная древним маслом, huile antique. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою». В непрерывных посещениях балов, раутов, обедов, литературных собраний, в участии в любительских спектаклях и шарадах проходила вся жизнь Василия Львовича. Под конец материальное состояние его значительно порасстроилось, порасстроилось и здоровье, он еле двигался от подагры, его мучившей, страдал сильною одышкою. Раз утром он поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоня друг друга, отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником.

Печататься В. Л. Пушкин начал с 1793 г. Писал в стиле Дмитриева и Карамзина послания, элегии, басни, сказки, сатиры. Стих его гладок, однако большинство писаний — безнадежная середина, холодный набор рифм и размеренных строчек. Но однажды, в 1811 г., удалось ему написать юмористическую поэму «Опасный сосед». Начинается так:

Ох! Дайте отдохнуть и с силами собраться!
Что прибыли, друзья, пред вами запирается?
Я все перескажу. Буянов, мой сосед,
Именине свое прозвизгивший в восемь лет
С цыгальками, с блядьми, в трактирах с плясунами,
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком.
Пришел, — и понесло повсюду кабаком.

Следует сочный, яркий рассказ о посещении приятелями веселого дома и о скандале, там разыгравшемся. Печать поэма эта могла увидеть только в наше время, но разошлась она в тысячах списков и доставила автору большую славу. В заслугу В. Л. Пушкину нужно также поставить его деятельное участие в борьбе молодой литературы с литературными староверами, группировавшимся вокруг Шишкова; послания В. Пушкина к Жуковскому и Блудову сыграли в свое время значительную роль в этой борьбе.

Роста Василий Львович был небольшого, на жидких ногах — ры-

ин будто бы
олтали; они
Львовичем
глушенный,

ианник мог
лорадович,
ален; меня
ов.

не шутка!..
я даже го-

мся.
З показном
«В письме
ь вас этим

к дяде: «И
и и вкуса
и и выска
ему. Буя-
вывел его
из гостей:

мой ранней
смешкою и
исьмах его
ч». Из Кп-
и стихотво-
но: он так

хлое туловище с выпячивающимся брюшком, нос кривой, волосы уже к тридцати годам сильно поредели, зубы тоже были плохие, при разговоре слюна летела на собеседника, так что друзья, слушая его, держались от него в некотором отдалении. Все это не мешало Василию Львовичу следовать за модой самозабвенно и даже жертвенно. Когда в 1801 г. приехал в Петербург дипломатическим агентом Бонапарта молодой красавец Дюрок, будущий великий маршал двора Наполеона, Василий Львович специально поехал в Петербург, чтобы поглядеть, как одевается Дюрок, пробыл столько времени, сколько нужно было, чтобы с ног до головы перерядиться, и всех изумил в Москве толстым и длинным жабо, коротким фракком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда а ля Дюрок. Позже зять его Сонцов говорил, что у Василия Львовича есть в мире три привязанности: сестра его Анна Львовна, кн. Вяземский и однобортный фрак, который Василий Львович выкроил из старого сюртука по новомодному покрою фрака, привезенному в Москву щеголем Павлом Ржевским. Когда Василий Львович сочинял стихи, на него было умирительно глядеть. Вяземский, говоря о жизни в Италии, писал А. Тургеневу: «Просто блаженствуешь... Так живут на небесах; так живет Василий Львович, когда пишет стихи. Все в нем онемает: только течет радостная слюна». Очень он любил и читать свои стихи и пользовался для этого каждым удобным случаем: то прочтет их восторженно, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои как будто случайно. На вид был он почтенен, сановит и важен; но под наружностью этой скрывались совершенно исключительные наивность и легковерие. Был в восемнадцатом веке один такой французский писатель, Пуансине, отличавшийся легендарным легковерием. Однажды его уверили, что король хочет приблизить его ко двору и назначить «придворным экраном». Пуансине несколько дней сряду стоял перед пылающим камином и жарил себе икры, чтобы приучить себя к новой должности. Приятели, говоря о Василии Львовиче, постоянно вспоминают об этом Пуансине. Легковерие Василия Львовича служило предметом постоянной потехи для его друзей. Особенно отличались в издевательствах над ним дальний его родственник Алексей Михайлович Пушкин, известный остро слов, и И. И. Дмитриев. Потехи эти вызвали однажды у Василия Львовича горький стих:

Их дружество почти на ненависть похоже!

Однажды обедали приятели у Василия Львовича. Московский почт-директор А. Я. Булгаков сообщил только что полученную из Петербурга весть, что молодой Александр Пушкин был приглашен Милорадовичем

и получил жестокую головомойку за какие-то стихи, а Пушкин будто бы ответил так: «Я эти стихи знаю, вашему сиятельству не солгали; они точно написаны Пушкиным, только не мною, а Василием Львовичем Пушкиным, дядю моим». Василий Львович, как молнией оглушенный, растерянно стал поглядывать на всех и, наконец, сказал:

— Прежде всего я очень сомневаюсь, чтобы мой племянник мог сказать такую вещь, а... а если он это сказал, то граф Милорадович, надеюсь, ему не поверил. Ведь меня все знают, я не либерален; меня знает и И. И. Дмитриев, и Карамзин, я не пишу таких стихов.

— А Буянов (Опасный сосед)? — воскликнул Булгаков.

— Ну, что Буянов... Это только дурная шутка.

— Дурная — да! — возразил Ал. Мих. Пушкин. — Но о — не шутка!..

Василий Львович так перетрусил, что после этого боялся даже говорить о племяннике и на расспросы о нем отвечал:

— Я об нем ничего не знаю, и мы даже не переписываемся.

Отношение Александра Пушкина к дяде было двойное. В показном плане он осыпал его любезностями, в 1817 г. писал ему: «В письме вашем вы называли меня братом; но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным:

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бахчиских, шатаюсь на Пегасе:
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад...
Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе».

В стихотворении «Городок» (1814) Пушкин обращался к дяде: «И ты, замысловатый Буянова певец, в картинах столь богатый и вкуса образец». «Опасного соседа», впрочем, Пушкин всегда ценил и высказывал предположение, что потомство припишет эту поэмку ему. Буянова, как детище дяди, называл своим двоюродным братом и вывел его в «Евгении Онегине» на балу у Лариных в качестве одного из гостей:

Мой брат двоюродный Буянов
В шулу, в картузе с козырьком,
Как вам, конечно, он знаком.

В общем, однако, Пушкин ценил дядю разве только в самой ранней юности. Впоследствии он неизменно отзывался о нем с насмешкою и пренебрежением — и как о поэте, и как о человеке. В письмах его встречаем выражение: «посредственный, как Василий Львович». Из Кн. Шинкина Пушкин писал Вяземскому: «Дядя прислал мне свои стихотворения, — я было хотел написать об них кое-что, да невозможно: он так

глуп, что язык не повернется похвалить его». Когда умер Ал. М. Пушкин, вместе с Дмитриевым всего злее издевавшийся над Василием Львовичем, Пушкин запрашивал Вяземского: «Какую песню из Беранже перевел дядя Василий Львович? Уж не «*le bon Dieu*» ли? Объяви ему за тайну, что его в том подозревают в Петербурге и что готовится уже следственная комиссия. Не худо уведомить его, что уже давно был бы он сослан, если бы не чрезвычайная известность его «Опасного соседа». Опасаются шума. — Как жаль, что умер Алексей Михайлович и что не видал я дядиной травли! Но Дмитриев жив, все еще не потеряно». И в 1830 г., будучи жепихом, он сообщал Вяземскому: «Дядя Василий Львович плакал, узнав о моей помолвке. Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет!»

СОНЦОВЫ (СОЛНЦЕВЫ)

Елизавета Львовна Сонцова (1776—1848), рожденная Пушкина, тетка поэта. Замужем за Матвеем Михайловичем Сонцовым (1779—1847). Он был богатый помещик Зарайского уезда Рязанской губернии, служил неперменным членом в Мастерской московской Оружейной палаты под начальством кн. Н. В. Юсупова. В 1825 г. был представлен Юсуповым к производству в камергеры. Однако в Петербурге нашли, что по его чину достаточно и звания камер-юнкера. «Но Сонцов, — рассказывает Вяземский, — кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объемистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. Был он не только сановит, но и слонобит. Князь Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено: Сонцов наконец пожалован в камергеры». Известный московский остряк Неелов сложил по этому случаю эпиграмму:

Чрез дядю, брата или друга
Иной по службе даст скачек;
Другого вывезет сестра или супруга,
Но он стал камергер чрез собственный пупок.

Сонцов постоянно пыхтел от тучности, как кипящий чайник под крышкой, вечно всем был недоволен, говорил напыщенно и до того был чванлив, что даже в деревне у себя надевал по праздникам камергерский мундир. Жена его Елизавета Львовна, как и братья ее, была насквозь фальшива, любила разыгрывать высокие чувства. Однажды

в зарайской деревне заболела у нее дочь. Приглашен был известный в Зарайске д-р Георгиевский, чудака-бессеребряник и прекрасный врач. Он приехал. Елизавета Львовна в живописной позе лежала в гостиной на диване и нюхала из флакона соли. Ломаясь, она пространно стала рассказывать доктору о страданиях материнского сердца, о беспокойстве за страждущую дочь. А детям ее в действительности житье в родительском доме было очень плохое. Георгиевский сурово прервал ее:

— Сударыня, ведите меня к больной.

Дочь он вылечил, но мать иначе о нем не говорила, как «c'est un monstre (это чудовище)!» После смерти племянника-поэта она, при упоминании о нем, закатывала глаза к потолку и произносила: «Mon neveu — pauvre victime (мой племянник — несчастная жертва)!»

У Сонцовых были две дочери. Несмотря на все старания родителей, выйти замуж им не удалось. Боратынский с Соболевским написали на Сонцовых такую эпиграмму:

Жил да был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял ты лакейский
И в супружество вступил.
Он детей молыл, как дара, —
И слышал бог богов:
Родилась цаплей пара,
Не родилось петухов.
Цапли выросли, отстали
От младенческих годов,
Длинные, очень длинные стали
И глядят на куликов.
Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать;
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.
Кулики к нему летали
Из соседних, дальних мест;
Но лишь жорм они клевали, —
Не глядели на невест.
Цапли взяли, цапли сохли,
Наконец, скажу вздохнув,
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.

Эпиграмма была приписана Пушкину и под его именем дошла до Сонцовых. В 1828 г. Вяземский писал Пушкину из деревни про двоюродную сестру Сонцова: «...она представила мне в лицах, как Елизавета Львовна жаловалась ей на тебя за стихи «Жил да был петух индейский» и заставляла дочь Алину нараспев их читать. Ты прыгал бы и катался от смеха».

АННА ЛЬВОВНА ПУШКИНА

(1769—1824)

Тетка поэта, старая дева. Девство ее не переставало тешить Пушкина. Вяземскому он писал по поводу «Бахчисарайского фонтана»: «Хладного скопца уничтожаю в поэме из уважения к давней девственности Анны Львовны». Когда она умерла, он запрашивал Вяземского: «Смерть моей тетки Frétillon не внушила ли какого-нибудь перевода Василию Львовичу? Нет ли хоть эпитафии?» Frétillon — героиня песенки Беранже, девица легких нравов. Пушкин применил это название к Анне Львовне, как о человеке очень худом говорят шутливо «толстяк» или о карлике — «великан». В вариантах к «Графу Нулину» Пушкиным упоминается многотомный сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана или Несчастье двух семей», —

Роман теласитический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный.
Отрада девушки невинной,
Покойной тетушки моей.

Анна Львовна вела знакомство с писателями, у нее обедывали И. И. Дмитриев, Батюшков. Эта «девушка невинная» любила посудачить и совать нос в чужие любовные дела. В бытность свою в Москве в 1811 г. Батюшков дружески сошелся с Е. Г. Пушкиной, женою известного остряка А. М. Пушкина. В 1816 г. друг Батюшкова, С. И. Муравьев-Апостол, встретился с Анной Львовной в одном доме. Она спросила, как поживает Батюшков. Муравьев ответил, что только что получил от Батюшкова письмо, где он жалуется на хандру. Анна Львовна воскликнула:

— О, это потому, что он влюблен!

— Очевидно, вы лучше меня знаете состояние его сердца.

— О, я знаю, что говорю. Он влюблен, да, да! — И злорадно добавила: — В первый же раз, как будете ему писать, скажите, что возжгшая в нем пламя столько уже не танцует, не так уже хороша и не так элегантна.

Умерла она в Москве 14 октября 1824 г. Брат ее Василий Львович напечатал в альманахе «Полярная звезда» стихотворение, посвященное памяти покойной:

Где ты, мой друг, моя родная,
В такой теперь живешь стране?
Блаженство райское вкушая,
Несешься ль мыслию ко мне?
Ты слышишь ли мои рыданья?

Ты знаешь ли, что в жизни сей
Мне без тебя нет ясных дней
И нет на счастье упования?
Кто будет заниматься мной?
И чья душа с моей душой
Нежнейшей дружбой соединится?
Где ты, о ангел добротой?
Дай мне туда переселиться!
Там плача и вздыханий нет,
Там тихий не вечерний свет
Для добродетельных сияет!
Взгляни с небесной высоты!..

и т. д.

Племянник-поэт в это время жил в михайловской ссылке. Он к смерти тетушки отнесся вполне равнодушно. Брату он писал: «...тетка умерла. Еду завтра в Святые Горы и велю отпеть молебен или панихиду, смотря по тому, что дешевле». Повидимому, отслужить по тетке панихиду его просила сестра Ольга. Но сам Пушкин на панихиду не поехал и писал сестре: «...няня исполнила твою комиссию, ездила в Святые Горы и отправила панихиду или что было нужно». В завещании своем Анна Львовна оставила по 15 тыс. руб. своим племянницам Ольге Пушкиной и двум девицам Сонцовым. Пушкин по этому поводу писал сестре: «Если то, что ты сообщаешь о завещании Анны Львовны, правда, то это очень мило с ее стороны. Право, я всегда любил мою бедную тетку». Однако эта любовь не помешала Пушкину весной следующего года, когда к нему в деревню приехал Дельвиг, сочинить совместно с ним самую озорную «Элегию на смерть Анны Львовны»:

Ох, тетенька! Ох, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Была ты к маменьке любовна,
Была ты к папеньке добра,
Была ты Елизаветой Львовной
Любима больше серебра;
Матвей Михайлович, как кровный,
Тебя встречал среди двора.
Давно ли с Ольгою Сергеевной,
Со Львом Сергеечем давно ль,
Как бы на-смех судьбине гневной,
Ты разделяла хлеб да соль!
Увы! Зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил,
Или зачем подлец топович
Его Красовский пропустил?

Пушкин послал эту элегию Вяземскому, Вяземский отвечал: «Если она попадется на глаза Василию Львовичу, то заготовь другую песню,

потому что он верно не перенесет удара». Василий Львович узнал об элгии племянника осенью и, конечно, был глубоко возмущен. Он воскликнул в негодовании: «А она его сестре 15 000 оставила!» Когда один из почитателей Пушкина, встретясь с Василием Львовичем, поздравил его с знаменитым племянником, Василий Львович отвернулся и сказал: — Есть с чем! Он негодяй!

ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(1805—1852)

Младший брат поэта. Яркий представитель тунеядного, бездельного барства и того мотыльково-легкого отношения к жизни, которое отличало всех близких родственников Пушкина. Когда Пушкина отвезли из Москвы в лицей, Льву было около шести лет. Он был любимцем матери и рос баловнем. В 1817 г. Пушкины переехали в Петербург; Льва отдали в университетский Благородный пансион. Товарищами его по пансиону были М. И. Глинка (будущий композитор), С. А. Соболевский, С. Д. Полторацкий и др. А. С. Пушкин в этом же году кончил лицей и поселился в Петербурге у родителей, братья часто виделись. В феврале 1821 г., уже после высылки Пушкина, Лев был исключен из пансиона за то, что организовал протест своего третьего класса против увольнения из пансиона учителя русской словесности В. К. Кюхельбекера (лицейского товарища Пушкина). «Класс, — по дописанию директора Кавелина, — два раза погасил свечи, производил шум и другие непристойности, причем зачинщиком был Лев Пушкин». По сообщению Соболевского, Лев с товарищами побил одного из надзирателей. После исключения из пансиона Лев без дела проживал у родителей в Петербурге и в деревне. Пушкин в это время жил в ссылке на юге. Он очень интересовался Львом и нежно вспоминал о нем. К 1822 г. относится черновая набросок:

Брат милый, отроком расстался ты со мной,
В разлуке протекли медлительные годы...

и т. д.

Пушкин с юга часто писал брату, делился с ним мыслями, настроениями, очень интересовался его развитием. В марте 1821 г. он писал Дельвигу из Кишинева: «...брат — человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа... Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца; в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы будем друзьями — и братьями не только по африканской нашей

крови». Лев, действительно, был юноша одаренный, очень неглупый, остроумный, с прекрасным литературным вкусом, который Пушкин ставил не ниже вкуса Дельвига; он сам писал стихи, посылал их на суд брата, но к стихам его Пушкин остался равнодушен и писал брату: «...если ты в родню, так ты литератор,—сделай милость, не поэт». Между прочим Лев обладал феноменальной памятью; стоило ему раз-два прочесть стихи, и он запоминал их от слова до слова. Все стихи брата он знал наизусть и прекрасно читал их. Это дало ему в Петербурге своего рода популярность; его нарасхват приглашали повсюду, чтобы услышать ненапечатанные еще вещи Пушкина. В настоящее время подобные чтения могли бы только способствовать популярности произведения, но не так было во времена Пушкина: круг читателей был очень ограничен, привычки к книге еще не существовало, а очень распространено было обыкновение понравившиеся вещи списывать. При таких условиях «чтениебесие» Левушки приносило Пушкину существенный материальный ущерб. Вяземский писал Пушкину, что еще ненапечатанный «Бахчисарайский фонтан» его повсюду публично читается его братом, и по Петербургу ходят тысячи списков поэмы. Пушкин за это намылил голову брату.

Осенью 1824 г. Пушкин приехал в качестве ссыльного в Михайловское. Там в это время жили его родители и все семейство, Лев в том числе. «Потешный юнец, который восхищается моими стихами», — писал про него Пушкин княгине Вяземской. Оба брата часто бывали в соседнем Тригорском, наперерыв ухаживали за тригорскими барышнями, причем Лев, повидимому, пользовался даже большим успехом, чем брат, — Пушкин несколько раз шутливо говорит о своей ревности по отношению ко Льву. А родители непрерывно пилили Пушкина за его неблагонадежность, высказывали боязнь, что и им всем придется пострадать из-за него, обвиняли, что он проповедует атеизм брату и сестре. Разразилась бешеная ссора Пушкина с отцом, все уехали в Петербург, и Пушкин остался один. Лев вскоре поступил на службу в департамент духовных дел иностранных исповеданий. Первое время переписка между братьями была очень оживленная. Пушкин опять делился со Львом своими размышлениями и переживаниями, давал ему всевозможные поручения по присылке ему из Петербурга книг, вина, закусок и, между прочим, поручил ему издание своих стихов. Но уже летом 1825 г. он писал Дельвигу: «... скажи Плетневу, чтобы он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно: такого бессовестного комиссионера нет и не будет». Комиссионером, действительно, Левушка оказался никуда негодным. Стихов Пушкина для печатания он все не удосуживался переписать, но, не

уставая, читал их всюду на ужинах, вписывал в альбомы дам и упивался славой, отраженно падавшей на него от брата. Ходила об нем эпиграмма:

А Левушка наш рад,
Что брату своему он брат.

Пушкин писал Льву: «Пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне будут нужны. Я на тебя полагался, как на брата, — между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если б я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч пятнадцать. Ты взял от Плетнева для выкупа моей рукописи 2 000 р., заплатил 500, доплатил ли остальные 500? И осталось ли что-нибудь от остальной тысячи? Я отослал тебе мои рукописи в марте, — они еще не собраны, не цензурованы, — ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их московской публике. Благодарю... Заплачены ли Вяземскому 600 рублей?» Эти 600 рублей, взятые Пушкиным у Вяземской еще перед высылкой его из Одессы, имели свою сложную историю, и долг этот очень мучил Пушкина. Он поручил Льву послать деньги Вяземскому. Левушка эти деньги промотал. Промотал он и деньги, полученные от Плетнева на выкуп пушкинских рукописей. Однако в общем был он, по уверению друзей, ужасно милый молодой человек, к великому брату своему относился с «восторженным поклонением»; в литературных кругах принимали его самым радушным образом; он бывал на вечерах Карамзина, Жуковского, подружился с Дельвигом, Плетневым и Боратынским; с Боратынским одно время даже жил на общей квартире, к нему Боратынский написал послание, а Пушкину послал горячее письмо, где, извиняясь, что мешается не в свое дело, убеждал его не сердиться на Левушку и быть снисходительным к его ветрености. Но отношения между братьями испортились непоправимо, Пушкин вполне раскусил молодого человека. Он в течение своей жизни продолжал заботиться о брате, устраивал его на службу, платил его долги, но переписывался с ним только по деловым вопросам, редко и сухо, а отзывался с насмешкой или пренебрежением.

В конце 1826 г. Левушка ушел с гражданской службы и определился юнкером на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, которым командовал старый друг Пушкина Н. Н. Раевский-младший. Пушкин виделся с братом в Москве и в марте 1827 г. писал Дельвигу: «Лев был здесь, — малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у вашего Андрие (ресторан) 400 р. и ублудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую душу. Уморительно». Через шесть месяцев Лев Пушкин был произведен в прапорщики. Он принимал участие в персидской

войне и вскоре за нею последовавшей турецкой, выделялся храбростью и приобрел репутацию лихого боевого офицера. В поездку свою в Эрзерум в 1829 г. Пушкин не раз виделся с ним. По окончании войны Лев получил продолжительный отпуск, конец 1829 г. и весь 1830 г. пробыл в Москве, присутствовал на свадьбе брата и распоряжался свадебным ужином. Когда началась польская война, Лев просился в действующую армию; хлопотами Пушкина этого удалось достигнуть, но с некоторыми затруднениями: справки, наведенные о Лье в Москве, говорили не в его пользу. «Им были недовольны за его пьянство и буянство», — писал Пушкин Плетневу. На войне польской Левушка опять отличался, получал награды за храбрость. В конце 1832 г. в чине капитана вышел в отставку.

Определиться к какому-нибудь делу Левушка не спешил. Через год Пушкин запрашивал жену: «...что делает брат? Я не советую ему идти в статскую службу, к которой он так же неспособен, как и к военной, но у него, по крайней мере... здоровая, и на седле он все-таки далее уедет, чем на стуле в канцелярии... Покамест советую ему бить баклуши; занятие приятное и здоровое». И Лев, действительно, всей душой предался этому «приятному и здоровому» занятию. Поступил было на гражданскую службу — чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, но не понравилось, и через три месяца ушел. Он был попрежнему мил и очарователен, но отличался больше всего по гастрономической линии, и эту сторону его отмечал в своих эпиграммах его друг Соболевский:

Наш приятель Пушкин Лёв
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями упка.
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка.

Современник пишет: «Лев Сергеевич похож лицом на своего брата: тот же африканский тип, те же толстые губы, умные глаза; но он блондин, хотя волосы его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лев Пушкин ниже ростом своего брата, широкоплеч, вечно весел, над всем смеется, находчив и остер в своих ответах; пьет одно вино, хорошее или дурное — все равно, пьет много, и вино никогда на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофе, супа, потому что в них есть вода. Рассказывают, что ему однажды сделалось дурно в какой-то гостинице, и дамы, тут бывшие, засуетились около него и стали кричать: «Воды, воды!» И будто бы Пушкин, услышав это ненавистное слово,

пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало». Левушка любил жить широко и ни в чем себе не отказывать. Приехал он в Петербург и в самой лучшей гостинице Энгельгардта взял самый лучший номер, по двести рублей в неделю; угощал роскошными завтраками богатых своих приятелей, — и это все, не имея в кармане ни гроша. Пушкину пришлось заплатить за брата в ресторан 260 руб. и Энгельгардту 1 330 руб., а брата водворить к родителям. В домино Левушка проигрывал в ресторанах по четырнадцать бутылок шампанского, и платить за это опять-таки пришлось брату. Приходилось устраивать и карточные дела «храброго капитана», как в семье называли Левушку. Пушкин выкупил за две тысячи рублей вексель в десять тысяч, проигранных Львом Болтину, уплатил две тысячи, проигранные Плещееву. Новый сюрприз: Левушка проиграл тридцать тысяч! Соболевский посмеивался: «Придется Александру же Сергеевичу его кормить; кормить-то не беда, а поить накладно». Платежи ложились на Пушкина, потому что он имел неосторожность взять на себя управление до-нельзя разоренным общим их именем. На этом основании с него непрерывно тянули денюжки и Лев и сестра с мужем. Пушкин вышел из терпения и отказался от управления и писал брату — официально, по-французски: «Я постараюсь выделить вам причитающуюся вам часть земли и крестьян. Может быть, вы тогда начнете заниматься вашими делами и потеряете хоть в некоторой степени ту беспечность и легкость, с какою позволяете себе жить изо дня в день».

Левушка в это время жил уже в Тифлисе, куда уехал опять определяться на военную службу, и в ожидании назначения угощал приятелей обедами. Приезжавшие из Тифлиса знакомые сообщали, что живет он, как человек, получающий тысяч десять дохода. Конечно, привезенных им с собою денег нехватило. В октябре 1835 г. больная мать его получила от Льва письмо, где любимый сын ее писал, что он находится в величайшей нужде, что к самым унижительным шагам ему пришлось прибегнуть даже для того, чтобы иметь возможность отправить ей по почте это письмо. У матери сделалось разлитие желчи, сильно ухудшившее ее состояние. Может быть, подобные же письма Левушка писал и брату, но Пушкин уже перестал их читать и, не распечатывая, бросал в огонь. Наконец, 13 июля 1836 г. Левушка получил назначение в Гребенской казачий полк. Новое огорчение! Пушкин Лев привык служить под начальством генерала Раевского, который установил с ним чисто товарищеские отношения. Новые же командиры требовали субординации, а это было совсем не по вкусу Левушке. И он жаловался в письме к отцу, что новый его начальник, генерал Розен, обращается с ним, как с собакой. Огорченный отец переслал это письмо Пушкину, а Пуш-

зин ему ответил: «То, что Лев написал о генерале Розене, оказалось ни на чем не основанным. Лев обидчив и избалован фамильярностью прежних своих командиров. Генерал Розен никогда не обращался с ним, как с собакою, — как уверяет Лев, — но как с штабс-капитаном, а это совсем другое дело».

О смерти Пушкина Лев узнал, воротившись из экспедиции против чеченцев. «Эта ужасная новость меня сразила, — писал он отцу, — я, как сумасшедший, не знаю, что делаю и что говорю... В гибельный день его смерти я слышал вокруг себя свист тысяч пуль, — почему не мне выпало на долю быть сраженным одною из них, — мне, человеку одинокому, бесполезному, уставшему от жизни и вот уже десять лет бросающему ее всякому, кто захочет...» В 1839 г. Лев опять попал под начальство Раевского, назначенного устроителем черноморской береговой линии. Попрежнему Левушка отличался храбростью в боях и попрежнему был мил и очарователен. Н. И. Лорер рассказывает: «Память Пушкин имеет необыкновенную и читает стихи вообще, своего брата в особенности, превосходно, хотя не доставляет этого наслаждения своим жадным слушателям до тех пор, пока не поставят перед ним лимбургского сыра и несколько бутылок вина. Весь лагерь был в восторге от Пушкина, и можно было быть уверену, что где Пушкин, там кружок и весело. Всю экспедицию он сделал с одною кожанною подушкой, старою поношенною шинелью, парой плащей на плечах и шапкою, которую никогда не снимал. Пушкин обыкновенно заглядывает по палаткам, и где едят или пьют, он там, везде садится, ест и пьет. В карты Пушкин играл и всегда проигрывал; табаку не нюхал и не курил. Вечно без денег, а если заведутся кое-какие, то ненадолго: или прокутит, или раздаст. Одним словом, Пушкин имел много странностей, но все они как-то шли к нему, и он был самый беспечный, милый человек, какого я знал». Рассказывает Лорер еще такой случай. Однажды заехал к нему Левушка, отправлявшийся в экспедицию. Зовет своего камердинера. Он вошел в бархатном чекмене, обшитом галунами, опоясанный черкесским поясом с серебряными пуговицами. Пушкин стал распоряжаться:

— Здесь поставь мне железную кровать, вынь батистовое белье и шелковое одеяло да подай мне красную шкатулку.

Оказалось, что в Ставрополь приехал дальний родственник Пушкина, богатый флигель-адъютант. Его отправили курьером в Тифлис, он оставил своего человека и вещи на сохранение Пушкину, а Пушкину самому пришлось отправиться в экспедицию. Вот он для сохранности и взял все с собою.

— Помилуй, любезный Пушкин, да ведь это все чужое! — возразил Лорер.

— А что ж за беда! — ответил Пушкин смеясь.

В 1842 г. Пушкин вышел в отставку, жил некоторое время в деревне у отца, чуть было не женился на М. И. Осиповой, в 1843 г. определился на службу в Одессу членом портовой таможни, там женился. В 1851 г. заболел водянкою, ездил за границу лечиться, поправился, но, возвратившись, опять стал пить и умер летом 1852 г. в Одессе.

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ПАВЛИЦЕВА

(1797—1868)

Рожденная Пушкина, родная сестра поэта. В 1852 г. Пушкин писал Дельвигу: «Ты знаешь, что я имел несчастие потерять бабушку Чичерину и дядю Петра Львовича, — получил эти известия без приготовления и нахожусь в ужасном положении, — утешь меня, это священный долг дружбы (сего, священного чувства)». В издательских, шуточно-банальных строках этих отображается общее отношение Пушкина к родственному чувству, — оно для него тоже было «сим священным чувством». Ему совсем не пришлось изведать хороших родственных связей, дружественно-близких отношений с близкими по крови и по совместной жизни людьми. Отношения эти насквозь были проедены фальшью и глубоким равнодушием, прикрытым показною родственностью. Отец, мать, дядья, тетки, — все были такие, о всех них Пушкин не говорит иначе, как с пренебрежением и насмешкой. А потребность родственной любви была в нем заложена большая. И с братским, именно родственным, горячим чувством он подходил к подраставшему брату Льву, к сестре Ольге, на них пытался излить переполнявшую его душу родственную нежность. В брате ему очень быстро пришлось разочароваться и совершенно от него отдалиться. Отдалился он постепенно и от сестры.

В детстве они были близки. Вместе играли, разыгрывали написанные Пушкиным французские комедии. Из лицей он в 1814 г. писал ей послание «К сестре»:

Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?
Иль моську престарелу.
В подушках посаделу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темпу даль

Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?
Иль звучным фортепьяно
Под беллою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Шиччини и Рамо?

После выпуска из лицея Пушкин жил в квартире родителей на Фонтанке вместе с сестрою. Из южной ссылки в письмах к брату он делал ей коротенькие французские приписочки в таком роде: «Любишь ли ты попрежнему свои уединенные прогулки? Какие у тебя любимые собаки? Забыла ли ты трагическую смерть Омфалы и Бизарра (собачки Ольги)? Что тебя забавляет? Что ты читаешь? Ездишь ли верхом? Вышла ли замуж? Собираешься ли это сделать? Сомневаешься ли в моей дружбе? Прощай, мой добрый друг!» Когда в 1824 г. Пушкин приехал в качестве ссыльного в Михайловское, в его столкновениях с родителями Ольга стояла на его стороне, а он писал об ней княгине Вяземской: «...сестра моя — небесное создание». Когда Пушкин остался в деревне один, он в письмах к брату в Петербург неизменно просил передать сестре поцелуй и уверение в любви. Пушкину, посетившему его в ссылке в начале 1825 г., выражал сожаление, что с ним нет сестры его, но что он ни за что не согласится, чтобы она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Лето 1825 г. Ольга Сергеевна провела с родителями в Ревеле, там с нею очень подружился кн. П. А. Вяземский и написал ей стихи:

Нас случай свел; но не слепцом меня
К тебе он влек непобедимой силой,
Поэта друг, сестра и гений милый,
По сердцу ты и мне давно родня!
Так! в памяти сердечной без заката
Мечта о нем горит теперь живей:
Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал милей!

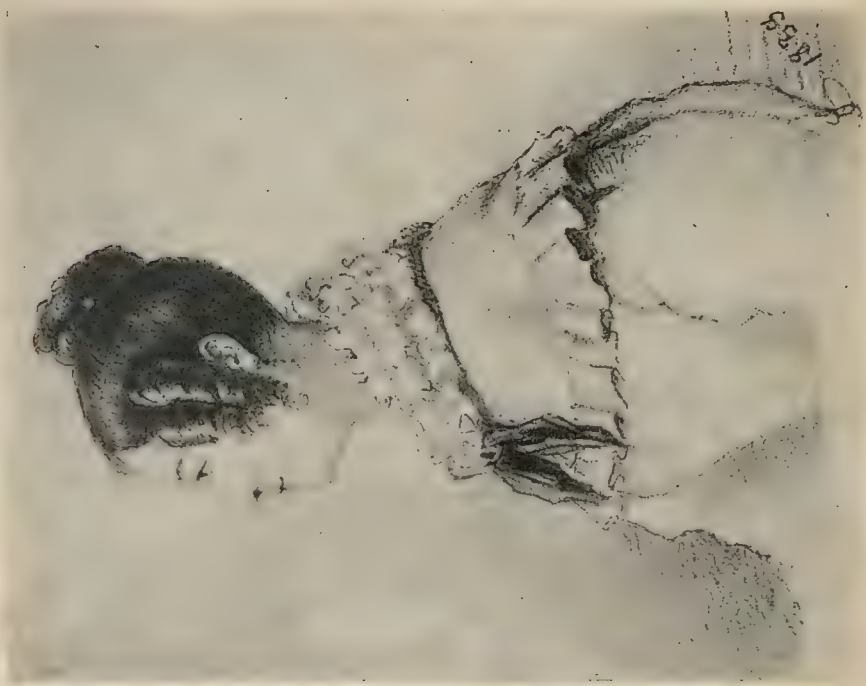
Между братом и сестрою была — да! — несомненно нежная родственная любовь. Но странное дело! Брату, пятнадцатилетнему еще мальчику, Пушкин пишет из Кишинева длинные письма, делится с ним мыслями своими, настроениями, а к двадцатитрехлетней сестре — коротенькие приписочки с вопросами о любимых собачках. До нас дошло всего одно только коротенькое, чистое деловое письмо Пушкина к сестре да еще две-три приписочки к ней в письмах к брату. Ее Пушкин не приобщает ни к умственной своей жизни, ни к душевным переживаниям, — любить любит, но переписываться решительно не о чем: для

подобной переписки были впоследствии выдуманы «секретки» — такого устройства письмо, что много в нем никак невозможно написать, — и рад бы, да места больше нет.

Длинную девическую жизнь Ольга Сергеевна провела в родительской семье. Ей уже перевалило за тридцать. Жизнь была очень невестелая. Деспотическая мать держала ее в ежовых рукавицах и обращалась как с девочкой-подростком, скупой отец пил за каждую разбитую чашку. В начале января 1828 г. посватался за Ольгу Сергеевну Николай Иванович Павлицев, — человек моложе ее на пять лет, бедный, — по отзыву Корфа «очень мало привлекательный и совершенно прозаический». Родители ответили решительным отказом. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и, — бог весть почему, — даже расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась не пускать Павлицева на порог. Когда, две недели спустя, она увидела Павлицева на балу, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона Павлицев сделал с Ольгой Сергеевной два тура. Надежда Осиповна в это время играла в соседней комнате в карты. Она в негодовании выбежала и, у всех на глазах, толкнула свою тридцатилетнюю дочь. Ольга Сергеевна упала в обморок. На следующий день она написала Павлицеву, что согласна венчаться без позволения родителей. 25 января, в час ночи, она тихонько вышла из дому; у ворот ждал Павлицев; они сели в сани, помчались в церковь св. Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей-офицеров, друзей жениха. После венча Павлицев отвез жену к ее родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна отправилась в гостиницу Демут, где жил Пушкин, сообщила ему о своей свадьбе и просила переговорить с родителями. Пушкин удивился, немного рассердился, но отправился к родителям исполнить поручение. Сергею Львовичу сделалось дурно. Привезли цырюльника пустить кровь. Сергей Львович, в беспамятстве горя, поднял, однако, спор с цырюльником и начал учить его, как пускать кровь. В конце концов родители смиростивились, Пушкин послал за Павлицевым, но вобрачные, как водится, упали к ногам родителей и получили прощение.

Семейная жизнь Ольги Сергеевны, повидимому, не была счастлива. У мужа вскоре появились, кажется, связи на стороне. Ольга Сергеевна месяцами и годами жила в Петербурге, тогда как муж ее служил в Варшаве.

Отношения Ольги Сергеевны с братом после замужества год от года становились все холоднее. Нам неясны причины этого. Но уже летом 1831 г., когда Пушкин с молодою женою жил в Царском селе, а Ольга Сергеевна с родителями по соседству в Павловске, в отношениях Пуш-





кина к сестре замечается небрежность и какое-то раздражение. Письма, которые на его имя посылаются для нее, он затеривает. Ей он однажды, как сообщает Ольга Сергеевна мужу, «написал письмо до того нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-либо дойдет до потомства, хотя, повидимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтоб письмо до меня дошло». Больше писем Пушкина к сестре мы не знаем; если они и были, то, очевидно, не такого рода, чтоб Ольге Сергеевне приятно было довести их до сведения потомства. Из писем Ольги Сергеевны к мужу, с очень редкими и незначительными упоминаниями о брате, также нельзя заключить, чтобы между ними существовали сколько-нибудь близкие отношения. Вскоре начались докучные приставания ее мужа, наседавшего на Пушкина с требованиями выплаты приданого Ольги, доли ее в наследстве. Ей приходилось передавать Пушкину письма мужа, поддерживать его домогательства, доводя брата до припадков полного бешенства. Отношения стали совершенно отдаленными. Сестра Ольга вдвинулась в ряды «родни», — той родни, которая составляет для человека неприятную, но неизбежную дожку жизни.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПАВЛИЩЕВ

(1802—1879)

Служил по министерству народного просвещения, работал в архивах, в 1825 г. вышел в отставку, сблизился в Петербурге с кружком Дельвига, участвовал переводами в «Литературной газете». В 1828 г. женился на Ольге Сергеевне Пушкиной, сестре поэта, против воли ее родителей. Хорошо играл на гитаре, увлекался музыкой; в 1829 г. издал вместе с М. И. Глинкой «Лирический альбом на 1829 г.» — сборник романсов Глинки, Внелъгорского, Шимановской и др. В 1831 г. поступил на службу в Царство Польское; там и протекала вся его дальнейшая служба. Был управляющим канцелярией генерал-интенданта, помощником секретаря государственного совета Царства Польского, впоследствии обер-прокурором варшавского отделения сената, основал и редактировал официальную газету «Варшавский дневник» на русском и польском языках. Усердно работал над руссификацией края, добился замены в школах польского языка русским; выпустил ряд учебников, между прочим, учебник польской истории для школьников-поляков, где доказывалось, что польское государство по непреодолимым внутренним причинам неспособно к самостоятельному политическому существованию и спасение свое может обрести только в тесном слиянии с Россией. Павлищев за эту книгу удостоен был премии, всемиловитейше награж-

ден бриллиантовым перстнем и почтен лестным письмом министра Уварова.

В лице Николая Ивановича Павлищева в безалаберное и бездельное родственное окружение Пушкина вошел аккуратный, очень деловой чинуша, прекрасно понимавший свои выгоды и умевший их отстаивать с упорством и систематичностью. И как иначе можно было действовать, имея дело с бестолковыми новыми родственниками, на которых ни в чем нельзя было положиться? Судите сами. Тесть его Сергей Львович обещал выдавать его жене по четыре тысячи рублей в год. Но денег у Сергея Львовича никогда нет, да по бесхозяйственности его никогда и быть не может. За управление делами принужден был взяться его сын Александр Сергеевич. Павлищев спешит написать ему письмо: «Батюшка назначил когда-то содержание жене моей по четыре тысячи в год; назначение это было принято с полною благодарностью. Несмотря на то, в первые два года дано было только по две тысячи, в последующие два по полторы тысячи, а в остальные еще менее, так что в последние двадцать месяцев пребывания нашего в Варшаве вся выдача ограничилась только тысячею руб. Оставленный таким образом на одном царском жаловании, я не смел никогда роптать, сократил расходы; два раза имел случай получить награду, я отказался от чинов и крестов, а удовольствовался деньгами для расплаты с кредиторами. Но случай не всегда может предоставиться, и тогда кто заплатит долги мои? Не мне одному грозит нужда: обо мне и речи нет; но жена моя, сестра ваша, имеет, кажется, право на участие родных к ее судьбе. Я порадовался, что наконец вы, вступив в управление именем Сергея Львовича, будете постоянно помогать нам хотя тысячею пятьюстами руб. Но скажите, когда именно начнется первый год? Разрешение этого вопроса, как видите, для меня очень важно». Пушкин ответил шурину: «Покамест не приведу в порядок и в известность сии запутанные дела, ничего не могу обещать Ольге Сергеевне и не обещаю; состояние мое позволяет мне не брать ничего из доходов батюшкина имения, но своих денег я не могу и не в состоянии приплачивать».

С этого времени начинается систематический обстрел Пушкина письмами из Варшавы и не прекращается до самой его смерти. Чиновник цепок, за свое держится крепко и упорно старается достичь цели не тем, так другим путем. Письма длинные-длинные, скрытно-ядовитые, полные убийственной канцелярской логики. Весною 1835 г. Павлищев пишет Пушкину: «...долгов моих платить вы не обязаны; но... этих «но» я мог бы подобрать много, ограничусь несколькими главнейшими. Или жена моя дочь Сергея Львовича и дети ее — внуки его, или нет; последнее невероятно, следовательно, первое остается в своей силе. На этом

основании я делаю вопрос: почему не выделить ее, не дать ей того, что раньше или позже ей должно быть отдано? Сыновей холостых, и даже женатых, не все отцы и не всегда при жизни своей выделяют; но замужних дочерей... все и всегда, — так водится на святой Руси. По течению дел я вижу, что вы не можете дать и не дадите нам ничего с имения: четырехлетние обещания служат тому доказательством. Итак, разделите нас, сделайте благое дело». И еще, и еще, одно за другим, плывут из Варшавы письма, как дождливые осенние тучки под западным ветром. Жена Павлицева в начале 1836 г. писала ему из Петербурга: «Я очень недовольна, что ты писал Александру. Он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть, чем опять иметь дело с Болдином, с управляющим, с ломбардом и т. д. Он не прочел твоего письма, он возвратил мне его, не бросив на него взгляда. Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром; если ты будешь писать по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь, не распечатывая. поверь мне».

Весною 1836 г. умерла мать Пушкина. Ее имение Михайловское должно было перейти к наследникам. Дочери Ольге Сергеевне следовало по закону $\frac{1}{14}$ часть, мужу покойной — одна седьмая часть (Сергей Львович от нее отказался в пользу дочери), остальное пополам сыновьям. Павлицев счел нужным выяснить ценность имения и на лето приехал в Михайловское — уже как один из совладельцев. Обследование его вскрыло чудовищные вещи. Немец-управитель Рингель со всех доходных статей огромные куши клал себе в карман: на ржи за год украл 280 р., на сене 2 150 и т. д. Павлицев управлятеля прогнал. Вскрылся еще один курьез: и сам Пушкин, и отец его считали, что в Михайловском около 700 десятин земли; оказалось — около двух тысяч. В связи с выясненной им фактической доходностью имения Павлицев определил и долю, следуемую его жене, а кстати и брату Пушкина Льву. Познакомив Пушкина с результатами своего расследования, он продолжал: «...итак, самая низкая цена Михайловскому 70 тысяч. Я хлопочу о законной, справедливой оценке потому, что действую не за себя, а за Ольгу с сыном и Льва. Чем справедливее оценка, тем законнее будет выделяемая четырнадцатая часть. Если имение купите вы, то я готов спустить еще шесть тысяч и отдать вам его за 64 тыс., т. е. по 800 руб. душу. Ниже этого нельзя ни под каким видом. Таким образом вы заплатите Ольге вместо 8 500 — 13 700, — капитал, составляющий все достояние нашего сына, залог его существования в случае моей смерти или удаления от службы по каким-нибудь непредвиденным случаям. Разумеется, что и Лев поблагодарит, получа вместо 15 700 — 25 000, — о чем я уже писал ему». И предлагал Пушкину либо оставить имение за

собой, выплатив сонаследникам причитающиеся части, либо продать имение и поделить вырученную сумму. Пушкин любил Михайловское, терять его было для него очень горько, оставить имение в общем владении Павлищев не соглашался, для выкупа же имения у Пушкина не было денег; при том все друзья на произведенную Павлищевым оценку пожимали плечами и находили, что красная цена за душу не 800 рублей, а 500. Пушкин сдержанно ответил Павлищеву: «Оценка ваша в 64 тысячи выгодна, но надобно знать, дадут ли столько. Я бы и дал, да денег нехватает, да кабы и были, то я капитал свой мог бы употребить выгоднее». Павлищев, как цыган на ярмарке, стал спускать цену, предлагал Пушкину оставить за собою имение за 40 тысяч. В то же время решил насесть на старика-тестя и потребовать у него выдела причитающейся его жене части из нижегородского поместья самого Сергея Львовича. «Я давно считаю его для себя посторонним человеком, — писал Павлищев Пушкину, — но для Ольги он покамест отец. Хочу попробовать его отцовскую нежность, которую он так забавно рассыпает в своих идиллических письмах. Потребую ее приданого, — четырнадцатую часть, но не доходов с имения, а самого имения. Предвижу ссору; но тут лучше хорошая ссора, чем дурной лад. Старик будет помнить меня». Тригорская соседка Пушкина П. А. Осипова, насмотревшаяся на Павлищева в Михайловском, писала о нем Пушкину: «Павлищев форменный негодяй и кроме того сумасшедший». Сумасшедший — конечно, нет; напротив, даже очень сообразительный. Считая дело решенным и согласно Пушкина на 40 тысяч несомненным, Павлищев захватил весь урожай Михайловского; признал часть урожая у соседей — Осиповой и барона Вревского, все это продал и деньги увез с собою в Варшаву, засчитав их за часть выкупной суммы. И опять из Варшавы поплыли к Пушкину длинные, образцово-логические, пропитанные тайным ядом послания. 4 февраля 1837 г., когда гроб с замерзшим телом Пушкина мчался в сопровождении жандармов по песковым равнинам, Павлищев, еще не зная о смерти Пушкина, строчил у себя в Варшаве: «Странно вы толкуете мои слова... Я никак не мог думать, чтобы вы захотели обсчитывать, и кого? — сестру вашу... Вы не хотите оставить имение за собою, толкуя бог знает как мои слова... Я не ожидал вашего отречения — теперь что я отсюда сделаю?» и т. д.

АРИНА РОДИОНОВНА
(1754—1828)

Знаменитая няня Пушкина, крепостная его бабки, Марьи Алексеевны Ганнибал. В 1799 г. была отпущена на волю, но предпочла

остаться у Пушкиных, у которых вынянчила всех детей. Пушкин особенно сблизился с нею в годы вынужденного своего пребывания в Михайловском, где наслаждался сказками, которые она ему рассказывала. «Вечером слушаю сказки моей няни, — писал он друзьям, — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Арина Родионовна сыграла большую роль в деле ознакомления Пушкина с русским народным творчеством. Она заведывала всем домашним хозяйством, надзирала за работой дворовых девушек. Была она с полным лицом, вся седая, не отказывалась при случае выпить. Зимний вечер, выюга. На душе у Пушкина грустно.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна;
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей!
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

Участвовала она и в ночных пирушках Пушкина с Языковым и Вульфом. Языков вспоминает:

Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
К своей весне перепослалась
Разгоряченною мечтой...
Шумней удалая пирушка:
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай...
...Как деготь, шаловлива,
Как наша молодость, волыга,
Как полполетие, умна,
И как вино, красноречива,
Со мной беседовала ты...

Пушкина она любила горячо, болела за него душой. Когда осенью 1826 г. фельдъегерь увез его в Москву, Арина Родионовна поспешила уничтожить то, что, по ее мнению, наиболее могло скомпрометировать преступника, — сыр, немецкий дух которого очень ее смущал. Выучила наизусть новую молитву «о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости», — молитвы, смеялся Пушкин, вероятно, сочиненной

при царе Иване Грозном. Пушкин, никогда не знавший материнской любви и ласки, умиленно ценил любовь своей няни и относился к ней с чисто сыновней нежностью. Уж на воле, далеко от своего Михайловского, он вспоминал об Арине Родионовне:

Подрута дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в тлущи лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

В 1828 г. Арина Родионовна переехала в Петербург к вышедшей замуж сестре Пушкина, Ольге Сергеевне, и в том же году умерла. В 1835 г. Пушкин посетил Михайловское.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет, уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров.
Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
С издеательства мной, но все прекрасным,
Как песни родины или страницы
Любимой книги, в коей знаешь,
Какое слово где стоит... Бывало,
Ее простые речи и советы,
И укоризны, полные любви,
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой, — я тогда еще
Был молод и ожесточен...

НИКИТА КОЗЛОВ

«Дядька» Пушкина. Он состоял при нем, по рассказу современника, еще в Москве, где «шаловливый и острый ребенок уже набирался ранних впечатлений, развиваясь и бегая на колокольню Ивана Великого и знакомясь со всеми закоулками и окрестностями златоглавой столицы». Состоял при Пушкине и в Петербурге после окончания Пушки-

ным лица. Весною 1820 г. на квартиру Пушкина был подослан шпион; он предлагал Козлову пятьдесят рублей, чтобы тот дал ему почитать сочинений Пушкина, уверяя, что скоро принесет их назад. Но верный дядька не согласился и сообщил о посещении Пушкину. Пушкин поспешил съечь компрометирующие бумаги и, вызванный к генерал-губернатору, пошел, не боясь обыска. Никита Козлов жил при ссыльном Пушкине на юге, потом в Михайловском. Служил при нем камердинером и после его женитьбы. В 1836 г., вместе с Пушкиным, отвозил из Петербурга в Святые Горы тело его матери. В начале февраля 1837 г. отвозил туда же гроб с телом самого Пушкина. Он добровольно вызвался на эту поездку, стал на дрогах, которые везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы. Жандармский офицер Ракеев, по долгу службы сопровождавший гроб Пушкина, рассказывал:

— Человек у Пушкина был... Что за преданный был слуга! Сморгать было даже больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба: не ест, не пьет.

Никита был высокого роста, благообразный, с русыми бакенбардами. Вот и все, что мы о нем знаем. Как странно! Человек, видимо, горячо был предан Пушкину, любил его, заботился, может быть, не меньше няни Арины Родионовны, сопровождал ему в течение всей его жизни. А нигде он не упоминается ни в письмах Пушкина, ни в письмах его близких. Ни слова о нем — ни хорошего, ни плохого. В жизни Пушкина дядька Никита Козлов проходит перед нами на самом заднем плане смутною, безжизненною тенью. Всего только одно, мало говорящее, упоминание о нем находим у Пушкина — в черновом наброске кишиневской поры:

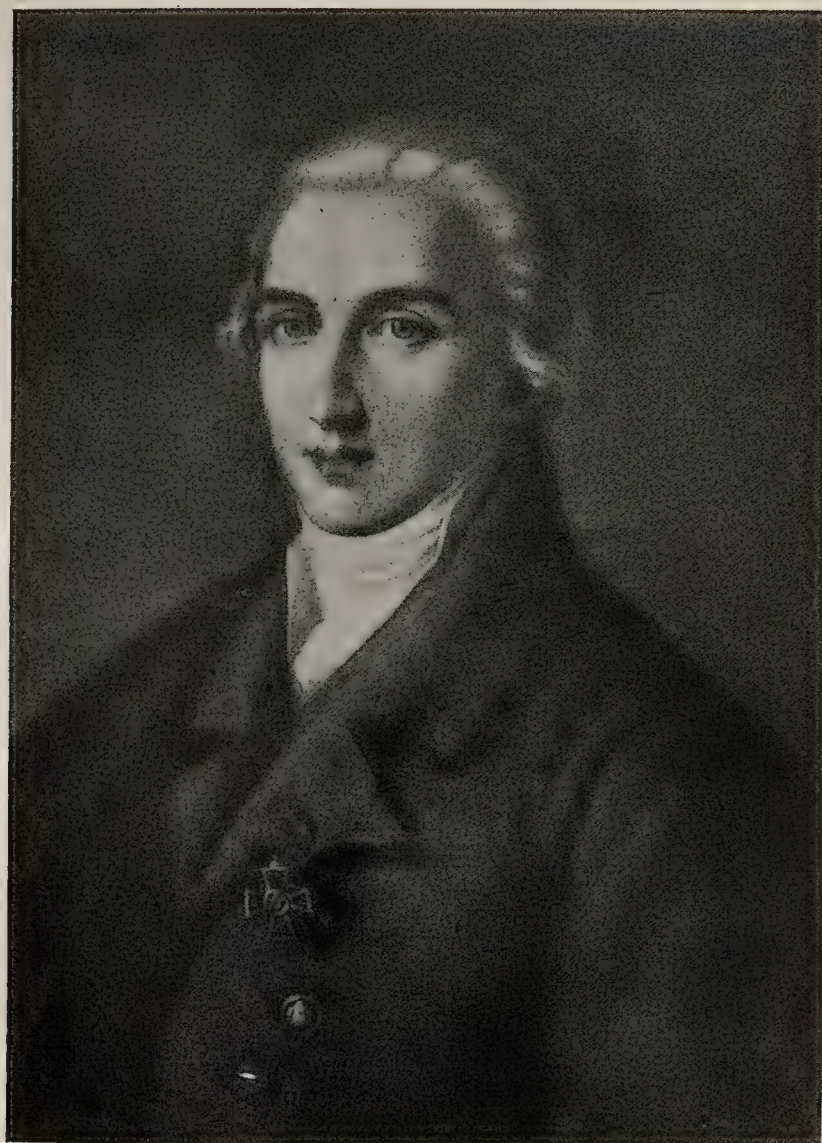
Дай, Никита, мне одеться
В ампрополли звонят...

Л. Н. Павлищев со слов своей матери, сестры Пушкина, рассказывает: «В доме родителей Пушкина благоденствовала и процветала поэзия до такой степени, что и в передней Пушкиных поклонялись музе доморощенные стихотворцы из многочисленной дворни обоего пола, знаменитый представитель которой, Никита Тимофеевич, поклонялся одновременно и древнему богу Вакху, — на общем основании, — состряпал нечто в роде баллады, переделанной им из сказок о Соловье-разбойнике, Еруслане Лазаревиче и Миликтрисе Кирбитьевне. Безграмотная рукопись Тимофеевича, в конце которой нарисован им в ужасном, по его мнению, виде Змей-Горынич, долгое время хранилась у моей матери». Возможно, что этот Никита Тимофеевич — Никита Козлов.

МИХАЙЛО ИВАНОВ КАЛАШНИКОВ

(Род. в 1772 г.)

Крестьянин с-ца Михайловского, крепостной человек сначала Ганнибалов, потом Пушкиных. В молодости служил при генерале Петре Абрамовиче Ганнибале, двоюродном деде Пушкина. Помогал ему переносить водки и настойки, чем на досуге увлекался в деревне отставной генерал. Хорошо играл на гуслях и по вечерам повергал старого арапа в слезы или приводил в азарт свою музыку. В двадцатых годах Михайло стал управителем Михайловского, доверенным лицом Сергея Львовича Пушкина. Был он мошенник большой руки. Это, повидимому, на него мужики приезжали жаловаться к Сергею Львовичу в Петербург, но Сергей Львович, не выслушав, раскричался на них и прогнал. В 1825 г. Калашников был назначен управляющим в Болдино, нижегородское поместье Пушкиных. Там, вдалеке от владельцев, он стал бесконтрольным властелином тысячи душ крестьян. Господам он с каждым годом высылал оброка все меньше, в прогрессии весьма быстрой: в круглых цифрах за 25-й год высылал 13 000, за 26-й — десять с половиной, за 27-й — 7 800, за 28-й — пять с половиной, за 29-й — всего 1 600. Объяснял это неурожаями, падежами и т. п., а сам наживался самым широким образом, так что, по убеждению Пушкиных, если бы захотел, то мог бы у них купить все Болдино. Интеллигентный немец Райхман, которого Пушкины хотели пригласить управлять Болдином, ознакомившись на месте с положением дел, в 1834 г. писал А. С. Пушкину: «Вы мне рекомендовали Михайла Ивановича, но я в нем ничего не нашел благонадежного, через его крестьяне ваши совсем разорились, в бытность же вашу прошлого года в вотчинах крестьяне ваши хотели вам на него жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил и не допустил до вас, и я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но от посторонних по близости находящихся суседей». И отказался от управления совершенно разоренным имением. И зять Пушкина Н. И. Павлищев в следующем году писал Пушкину: «Михайло разорял, грабил имение двенадцать лет сряду». Мужики, не имея непосредственного доступа к барину, пробовали передавать Пушкину письменные жалобы на Калашникова, но без результата. Даже беспечный Сергей Львович, не любивший мешаться в практические дела, и тот, наконец, нашел себя вынужденным устранить плута-Михайлу от управления Болдином; но та половина деревни Кистенева, входившей в нижегородскую вотчину Пушкиных, которая принадлежала Александру Сергеевичу, осталась в управлении того же Михайлы. Что заставляло Пушкина с таким непонятным пристрастием относиться к Калашникову, несчаст-





пость которого и сам он прекрасно видел? Дело в том, что у Пушкина были очень запутанные отношения с его дочерью, Ольгой Калашниковой — тою крепостною, которую Пушкин в 1826 г. «неосторожно обрехал» и отправил беременную к отцу в Болдино. Об ней и их отношениях см. ниже.

После смерти Пушкина Калашников был отдан во владение Сонцовым (Елиз. Львовна Сонцова — родная тетка Пушкина), управлял их подмосковным имением. В 1843 г. (семидесяти одного года!) отпущен был ими «на оброк», приютился у своих недостаточных детей в Петербурге и умер в бедности осенью 1858 г. Так сообщает П. А. Ефремов. По данным Щеголева, в 1840 г. вдова Пушкина изъявила желание дать Калашникову вольно-отпускную «за долголетнюю усердную службу покойному мужу и ей». Однако освобождение почему-то не состоялось. В середине сороковых годов, как видно из дошедших документов, Калашников, по распоряжению отца Пушкина, получал пенсию по 200 р. в год.

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА КАЛАШНИКОВА

(Род. в 1806 г.)

Крепостная девушка Пушкиных, дочь Михайлы Калашникова, барского управителя сперва в Михайловском, потом в Болдине. В 1826 г. она забеременела от Пушкина и, беременная, должна была ехать в Болдино, куда за год перед тем отец ее был назначен управляющим. Пушкин поручил ей в Москве зайти с его письмом к Вяземскому, а в письме просил Вяземского приютить ее в Москве на время родов и прибавлял:

...при сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик (!). Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется — а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню?» Вяземский посоветовал Пушкину отправить девушку в Болдино, а отцу ее написать «полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божьею ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Пушкин так, повидимому, и сделал. Ольга осталась жить в Болдине. В трехмесячное свое пребывание в Болдине осенью 1830 г. Пушкин, очевидно, не мог не видаться с Ольгой. Осенью следующего года Калашникову, «хотя с великим трудом», как писал он Пушкину, удалось выдать дочь замуж за мелкопоместного дворянина, титулярного советника Ключарева, служившего дворянским заседателем в лукояновском

земском суде; у него было в Горбатовском уезде именье с тридцатью душами крестьян. Таким образом Ольга сама стала барыней. Муж ее пьянствовал, дебоширил, через год-два бросил службу, вышел в отставку и вместе с женою поселился в Болдине у тестя. В начале 1833 г. Ольга написала Пушкину, прося у него две тысячи рублей, чтобы выкупить пятнадцать заложённых своих крестьян. Если крестьяне будут проданы с аукциона, то «совершенно буду без куска хлеба», писала она. Пушкин ответил, но денег, повидимому, не послал. 21 февраля Ольга написала Пушкину новое письмо. Оно ярко обрисовывает жизнь и быт бывшей возлюбленной Пушкина. Привожу его целиком, исправив неудобочитаемую орфографию (письмо писал писарь под диктовку Ольги):

«Милостивый государь Александр Сергеевич, я имела счастье получить от вас письмо, за которое чувствительно вас благодарю, что вы не забыли меня, находящуюся в бедном положении и в горестной жизни; впрочем покорнейше прошу извинить меня, что я вас беспокоила насчет денег для выкупки моего мужа крестьян, то оные не стоят, чтобы их выкупить, это я сделала удовольствие для моего мужа, и старалась все к пользе нашей, но он не чувствует моих благодеяний, каких я ему ни делаю, потому что он самый беспечный человек, на которого я не надеюсь, и нет надежды иметь куска хлеба, потому что какие только могут быть пасквильные дела, то все оные есть у моего мужа, первое — пьяница и самый развратной жизни человек; у меня вся надежда на вас, милостивый государь, что вы не оставите меня своею милостью в бедном положении и в горестной жизни. Мы вышли в отставку и живем у отца в Болдине, то и не знаю, буду ли я когда покойна от своего мужа или нет. А на батюшку все Сергей Львович поминутно пишет неудовольствия и строгие приказы, то прошу вас, милостивый государь, защитить своею милостию его от сих наказаний. Вы пишете, что будете сюда или в Нижний, то я с нетерпением буду ожидать вашего приезда и о благополучном пути буду бога молить. О себе вам скажу, что я во обременении и уже время приходит к разрешению, то осмелюсь вас просить, милостивый государь, нельзя ли быть восприемником, если вашей милости будет не противно, хотя не лично; но имя ваше вспомнить на крещении. О письмах вы изволите писать, то оные писал мне мой муж, и я не понимаю, что значут кудрявые, впрочем писать больше нечего, остаюсь с истинным моим почитанием и преданностью известная вам —».

Подписи нет. Просьбы Ольги за отца были весьма успешны. Новоназначенный в Болдино Сергеем Львовичем управляющий, белорусский дворянин Пеньковский, обуздавший грабительские аппетиты Калашникова, писал Пушкину весной 1834 г.: «Ольга Михайловна с большою

уверенностью утверждает, что она меня, как грязь с лопаты, с должности сбросит, только бы приехал Александр Сергеевич в Болдино, тогда, что она захочет, все для нее сделает Александр Сергеевич!» Сбросить Пеньковского ей не удалось, но своего «блудного тестя», грабителя и мошенника Калашникова, Пушкин до конца своей жизни продолжал держать в качестве управляющего в принадлежавшем лично ему Кн-стеневе.

О судьбе ребенка Пушкина и о дальнейшей судьбе Ольги Ключаревой нам ничего неизвестно.

II

В ЛИЦЕЕ НАЧАЛЬСТВО И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В 1811 г. двенадцатилетнего Пушкина привез в Петербург его дядя Василий Львович для определения в открывавшийся царскосельский лицей. Мальчик выдержал экзамен, был принят в лицей и отвезен дядею в Царское село. В лицее Пушкин пробыл до окончания курса в июне 1817 г.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ (1765—1814)

Первый директор лицея. Сын московского протоперя. Окончил московский университет. Служил в разных должностях в коллегии иностранных дел. Напечатал несколько трудов, между прочим «Рассуждение о мире и войне», где выступил с проповедью вечного мира. Курьезно, что в труде этом он больше чем за сто лет предвосхитил идею Вильсона о Лиге наций. Малиновский проектировал создание общего союза всех европейских держав и особого постоянного органа союза — совета полномочных. Союз должен был предупреждать столкновения, а в случае непокорства мог силой принудить неповинующуюся державу; через него должны были проходить все сношения союзных держав.

С основанием царскосельского лицея в 1811 г. Малиновский был назначен его директором. Вся подготовительная работа по устройству

лицея, набор преподавателей, составление правил и инструкций легли на него. На торжественном открытии лицея 19 октября 1811 г. в присутствии императора он должен был прочесть приветственную речь (предварительно с десятков раз переправленную цензурой). Он вышел очень бледный, стал читать по рукописи, читал долго, таким слабым, прерывистым голосом, что никто ничего не слышал, поклонился и еле живой воротился на свое место. Был он человек добрый, простодушный, мало общительный, слабый, мало годный для управления какою-либо частью, тем более высшим учебным заведением. Директорствовал неполных три года и умер.

СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ФРОЛОВ

(Род. в 1765 г.)

Отставной подполковник артиллерии. После смерти директора лицея В. Ф. Малиновского место его два года оставалось незамещенным: исправление его должности переходило то к одному профессору, то к другому, то к конференции; профессора мешали друг другу и постоянно ссорились; дисциплина, учебная и экономическая жизнь лицея стали приходить в упадок. Для восстановления порядка был назначен, по рекомендации Аракчеева, Фролов — сначала надзирателем по учебной и нравственной части, а потом и исправляющим обязанности директора лицея. Фролов был фронтовик арапчевской школы, человек малообразованный: «фигура» выговаривал «фйгура», про Руссо думал, что это была женщина Эмилия Руссо («Эмиль» — известный педагогический трактат Руссо). Фролов стал вводить новые порядки: на молитве строил воспитанников в шеренги, в столовой рассаживал в порядке отметок за поведение, вход в верхний этаж, в отдельные комнаты лицейцев, разрешал днем только по билетам, ввел вставание утром по звонку, в виде наказания стал применять стояние на коленях. Вскоре по поступлении накрыл Пушкина, Пуштина и Малиновского в приготовлении «гогель-могеля» с ромом и дал делу официальный ход. При претензиях на ум и познания, с надутую фигуру, не имел никакого достоинства и ни малейшего характера, был притом отчаянный картежный игрок. Лицейсты его не любили и высмеивали в своих «национальных песнях». Над ним издевались открыто, прямо в лицо. В начале 1816 г. директором был назначен Энгельгардт, а Фролов оставлен в должности инспектора. Энгельгардт нашел его неподходящим для его должности, и в 1817 г. Фролов должен был уйти из лицея. В последние годы, как сообщает Корф, Фролов несколько пообтерся в обществе ли-

ценстов. «Мы, — рассказывает Корф, — переделали постепенно его грубую, но слабую солдатскую натуру на наш лад, возвысив его, так сказать, до себя». Видимо, изменился он значительно. До нас дошло коллективное письмо лиценстов к Фролову от 4 апреля 1817 г., когда Фролов на пасху уехал в свое имение. Письмо самое дружеское; в связи с тем, что мы знаем о Фролове, оно производит впечатление довольно неожиданное. «Возвратитесь скорее, — пишет Вольховский, — здесь вы будете между теми, которые знают вас и любят столько, сколько любить можно добрейшего наставника». Пущин: «Праздники провел я в Петербурге и теперь опять в кругу милых моих товарищей, но все не то: вас не вижу». Дельвиг: «Христосуюсь с вами и очень желаю вас опять увидеть». Последняя запись — Пушкина: «Почтеннейший Степан Степанович! Извините, ежели старинный приятель пишет вам только две строчки с половиной, — в будущую почту напишет он две страницы с половиной. Егаза Пушкин».

ЕГОР АНТОНОВИЧ ЭНГЕЛЬГАРДТ
(1775—1862)

Второй директор лицея. Родился в Риге; отец — немец, мать — итальянка. Некоторое время служил на военной службе. При Павле был секретарем магистра «державного ордена св. Иоанна Иерусалимского» (Мальтийского ордена), во главе которого стоял император. Наследник Александр Павлович обязан был присутствовать на заседаниях капитула ордена; в тонкостях статута он был нетверд и часто вызывал гнев отца неверными ответами на его вопросы. Энгельгардт, чтобы выручить наследника, стал представлять ему накануне заседания краткие записи о назначенных к рассмотрению вопросах с указанием, что нужно говорить. Александр привел отца в восторг правильностью ответов и точным знанием подходящих параграфов. Павел обнял его и воскликнул: — Узнаю в тебе мою кровь! Ты мой достойный сын!

После заседания Александр сказал Энгельгардту:

— Спасибо тебе за оказанную мне услугу. Никогда не забуду, что тебе я обязан первым нежным объятием моего отца и государя.

С этих пор Александр с большим благоволением относился к Энгельгардту; благоволение это не раз давало впоследствии Энгельгардту возможность улаживать различные недоразумения, происходившие в жизни лицея. При Александре I Энгельгардт был помощником статс-секретаря, потом директором Педагогического института в Петербурге. В январе 1816 г. назначен директором царскосельского лицея. На этом

посту он проявил выдающиеся педагогические способности. «Только путем сердечного участия в радостях и горестях питомца можно завоевать его любовь, — писал он в заметках для себя. — Доверие юношей завоевывается только поступками. Воспитание без всякого наказания — химера, но если мальчика наказывать часто и без смысла, то он привыкнет видеть в воспитателе только палача, который ему мстит. Розга, будет ли она физической или моральной, может создать из школьника двуногое рабочее животное, но никогда не образует человека. При дружеских отношениях между воспитателем и воспитанником имеется множество способов наказывать без обращения к карательным средствам». Ценны эти заметки тем, что они целиком проводились Энгельгардтом на деле. Вступил он в управление лицеем в то время, когда лицейская жизнь пришла в полное расстройство вследствие двухгодичного междуцарствия, последовавшего после смерти первого директора В. Ф. Малиновского. Энгельгардт восстановил в лицее порядок и правильный ход жизни, поднял упавшую дисциплину, завоевал полное доверие и любовь воспитанников. Один из его питомцев вспоминает: «Энгельгардт действовал на воспитанников своим ежедневным с ними обращением в свободные от уроков часы. Он приходил почти ежедневно после вечернего чая в зал, где мы толпою окружали его, и тут занимал он нас чтением, беседой, иногда шутливой (он превосходно читал); беседы его не имели никогда характера педагогического наставительства, а всегда были приурочены к возрасту, служили к развитию воспитанников и внушению им правил нравственности; особенно настаивал он на важности усвоения принципа правдивости. Мы до такой степени привыкли ко вседневным почти его посещениям, что непоявление его в течение двух-трех дней производило общее смятение и беспокойство; тотчас начинались разговоры, не сделал ли кто какого проступка или шалости, которая огорчила директора; виновный сейчас сознавался, отправлялся к нему с повинною, — мир восстанавливался, и директор опять появлялся в обычный час, с своим приветливым, ласковым, ободряющим выражением. В старшем курсе отношения его к воспитанникам принимали характер более серьезный. С большим тактом и умением он давал уразумевать, что мы уже не дети, и потому беседы его клонились преимущественно к развитию понятия о долге. Чтения были более серьезные, задавались темы для сочинений, которые представлялись директору и от него возвращались с его замечаниями». С целью приучить воспитанников держаться в обществе и хоть до известной меры возместить отсутствие в их жизни семейной обстановки, Энгельгардт приглашал их на семейные вечера к себе на дом (жил он в директорском доме против здания лицея). Летом в вакантное время делал с учениками дальние прогулки

по окрестностям; зимой в праздничные дни ездили на тройках за город. В лицейском саду катались с гор и на коньках. В увеселениях участвовало все семейство директора и близкие ему дамы и девицы. О большой любви и привязанности, которую Энгельгардт сумел внушить к себе в своих питомцах, говорит тот редкий факт, что многие из них, — в том числе такие люди, как Пушкин и Вольховский, — поддерживали переписку с бывшим своим директором в течение всей своей жизни.

Что касается Пушкина, то он держался от Энгельгардта вдалеке и питал к нему тайную вражду. «Для меня, — пишет Пушкин, — осталось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора Энгельгардта и его жены отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать». Домашние вечера Энгельгардта Пушкин посещал очень редко и наконец совсем перестал ходить. Это огорчало Энгельгардта. Как-то во время рекреации, когда Пушкин сидел у своего пульта, Энгельгардт подошел к нему и ласково спросил, — за что он сердится? Пушкин смутился и отвечал, что сердиться на директора не смеет, не имеет к тому причины и т. п. Энгельгардт сел возле Пушкина.

— Так вы не любите меня?

И задушевно, без всяких упреков, указал ему на всю странность его отчуждения от общества. Пушкин хмурил брови, менялся в лице, наконец заплакал и кинулся на шею к Энгельгардту.

— Я виноват в том, — сказал он, — что до сих пор не понимал и не умел ценить вас.

Энгельгардт сам расплакался и обнял Пушкина. Минут через десять Энгельгардт вернулся к Пушкину, желая что-то сказать. Пушкин быстро спрятал какую-то бумагу и заметно сменялся. Энгельгардт шутливо спросил:

— Вероятно, стихи? Покажите, если не секрет!

Пушкин молчал и прикрывал доску рукою.

— От друга таиться не следует, — продолжал Энгельгардт, тихонько поднял доску пульта и достал из него лист бумаги: на листе был нарисован его портрет в карикатуре и было набросано несколько строк очень злой эпиграммы, почти пасквиля. Энгельгардт спокойно отдал Пушкину бумагу и холодно сказал:

— Теперь понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме. Не знаю только, чем мог я заслужить ваше нерасположение.

Энгельгардт, при всех его достоинствах, любил бить на эффект, держался театрально. По сообщению Бартенева, Пушкин находил в его деятельности что-то искусственное и напускное.





Энгельгардт ходил всегда в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и с стоячим черным бархатным воротником, в черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. В последние годы царствования Александра он утратил благоволение царя; составилось мнение, что он насаждает в лицее либерализм, и в 1823 г. Энгельгардт был уволен в отставку с пенсией в три тысячи рублей. Долгое время оставался не у дел. Много писал по вопросам сельскохозяйственным и экономическим. В сороковых годах редактировал на немецком языке сельскохозяйственную газету. Умер в глубокой старости, восьмидесяти семи лет.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КУНИЦЫН (1783—1841)

Из духовного звания; окончил тверскую семинарию, потом Педагогический институт в Петербурге, был командирован для усовершенствования за границу, слушал лекции в Геттингене и Париже. В лицее читал нравственные и политические науки, читал лекции также в петербургском университете и Педагогическом институте. Был блестящий ученый, широко образованный, с самостоятельными взглядами. При открытии лицея в 1811 г. Куницын в присутствии императора произнес речь об обязанностях гражданина и воина, причем ни разу во всей речи не упомянул царя. Это отсутствие холопства понравилось тогда еще либеральному Александру, и он наградил оратора орденом Владимира 4 степени. Об этой речи вспоминал Пушкин в 1836 г.:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли, и встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей...

Лекции Куницына, видимо, оказывали большое влияние на слушателей: из всех преподавателей он — единственный, которого Пушкин и впоследствии не раз вспоминал в стихах:

Куницыну дань сердца и зина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжжена...

В 1821 г. Куницын был смещен с занимаемых им кафедр и удален от службы по министерству народного просвещения за изданную им книгу «Естественное право». Изложенное в книге учение найдено было

«весьма вредным, противоречащим истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных». После этого Куницын служил в комиссии по составлению законов.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ КОШАНСКИЙ
(1785—1831)

Преподаватель русской и латинской словесности, автор пресловутой «Реторики», потешавшей Белинского и Добролюбова, высмеянный юным Пушкиным в его послании «Моему Аристарху». «Скучный проповедник», — называет его Пушкин, — «угрюмый цензор», преподносящий «уроки учености сухой». Корф к этому сообщает еще, что и Пушкина, и других Кошанский жестоко преследовал за охоту писать стихи и за всякую попытку в этом роде, — кажется, немножко и из зависти, потому что сам кропал вирши. Вырисовывается трафаретная фигура тупого школьного педанта, — как выяснено исследователями, далеко не совпадающая с подлинным Кошанским. Он с отличием окончил московский университет, в 1807 г. получил степень доктора философии, был человек широко образованный. «Реторика» его, — в сущности то, что впоследствии называлось теорией словесности, — ко времени Белинского и Добролюбова сильно устарела, но в свое время имела ряд положительных достоинств. Отзыв о Кошанском желчного Корфа опровергается свидетельством других его слушателей. Я. К. Грот, например, рассказывает: «Мы любили Кошанского, с нетерпением ожидали его лекций и доверчиво показывали ему свои поэтические грехи». По свидетельству Гаевского, лекции его были занимательны, непринужденны и походили на беседы, вследствие чего он, преимущественно пред другими преподавателями, был приближен к воспитанникам. Он не только не преследовал учеников за охоту писать стихи, как утверждает Корф, но сам вызывал их на это. Пушкин вспоминает, как однажды в послеобеденный свой класс Кошанский кончил лекцию раньше урочного времени и сказал:

— Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами.

Стихи у других воспитанников не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которыми привел в восторг и Кошанского, и товарищей. Кошанский читал с учениками и новых поэтов — Жуковского, Гнедича, а в двадцатых годах даже — официально не разрешенного — Пушкина. Однако, воспитанный на определенных литературных вкусах, Кошанский не мог благотворно влиять на Пушкина: он поощрял напыщенность и ходульность и простоту считал низкой. В стихах уче-

ников усердно делал такие поправки: вместо «выкопав колодцы» — «пзрывши кладези», вместо «площади» — «стогны», вместо «говорить» — «вещать» и т. д.

Что касается послания Пушкина «Моему Аристарху», то оно может служить только к чести Кошанского. Указания его, на которые возражает юноша-Пушкин, свидетельствуют о серьезном отношении к поэтическим начинаниям мальчика. Вот в чем, как видно из послания Пушкина, упрекал его Кошанский:

За рифмой часто холостой,
На зло законам сочетанья,
Бегут трехстопные толпой
На «аю» «нет» и на «ой»...
Я станью (кто не без преха?)
Пустые часто восклицанья
И сразу лишених три стиха.

На это-то указывал Кошанский и требовал от Пушкина серьезной работы над отделкой стиха. В сущности, Пушкин и в то уже время много работал над стихом. Но с мальчишеским самолюбием, как неизменно в таких случаях все начинающие поэты, он старается защитит себя от упреков указанием на то, что это лишь небрежные «наброски», не претендующие на серьезное значение, что строгих требований к ним предъявлять нельзя:

Не шужны мне, поверь, уроки
Твоей учености сухой:
Я знаю сам свои пороки;
Конечно, бедеи гений мой...
Нехорошо! Но оправданья
Позволь мне скромно привести:
Мои летучие постанья
В потомстве будут ли цвести?

И заявляет, что пишет не для бессмертия, что не хочет холодным умом охлаждать вольное кипение чувств:

Отделкой портить небылицы,
Плоды бродящих, резвых дум,
И сокращать свои страницы...

Кошанский, во времена Пушкина человек еще молодой, одевался изящно, ревностно ухаживал за прекрасным полом, любил говорить по-французски, впрочем, довольно смешно, и всегда обращался к ученикам со словом «messieurs», которое выговаривал «месьес».

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГАЛИЧ
(1783—1848)

Рожденный Говоров. Сын дьячка, окончил севскую семинарию и петербургский Педагогический институт, где изменил свою фамилию «Говоров» на «Галич». Как один из наиболее способных учеников был отправлен за границу для подготовки к профессорскому званию. Там он сделался восторженным приверженцем философии Шеллинга. По представлении диссертации Галич в 1813 г. занял кафедру философии в Педагогическом институте. В 1814 г. заболел преподаватель русской и латинской словесности в царскосельском лицее Кошанский, и в течение года его предметы преподавал наезжавший из Петербурга Галич. Молодой, талантливый профессор повел занятия с учениками совершенно не по-школьному. Сухие уроки с изучением супинов и герундиев у него превратились в веселые, непринужденные, чисто товарищеские беседы о литературе и искусстве; за школьной дисциплиной он не следил, ученики, вместо того, чтобы чинно сидеть по местам, толпились вокруг его кафедры, задавали вопросы, спорили. Иногда Галич спохватывался, брал в руки книжку Корнелия Непота и говорил:

— Ну, господа, теперь потреплем старика!

И они брались переводить старика Корнелия Непота. Ученики дружно посещали Галича в отведенной ему комнате, беседовали и там. Галич обратил внимание на Пушкина, ободрял в его поэтических опытах; по его настоянию Пушкин написал для экзамена 1815 г. свои «Воспоминания в Царском селе». По отзывам бывших учеников Галича, младенческое простосердечие и добродушие соединились в нем с чертами легкого юмора и насмешливости, он озорничал вместе с учениками и вместе с ними дурачил начальство.

Имя Галича нередко встречается в лицейских стихотворениях Пушкина. В них он изображается председателем студенческих пирушек лицейстов, веселым эпикурейцем в обычном стиле пушкинских лицейских стихотворений:

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И будут самые цари
Завидовать студентам!

Но дело в том, что сами эти студенческие пирушки существовали только в фантазии Пушкина. Начальство в этом отношении было очень

строго. Когда Пушкин, Пущин и Малиновский вздумали однажды устроить «гогель-могель» с ромом, то все начальство переполошилось, сам министр по этому поводу приезжал из Петербурга и делал расследование. Стихи Пушкина свидетельствуют только о том, что лиценсты чувствовали в Галиче не строгого учителя, а доброго товарища, который охотно принял бы участие и в их попойках, если бы они существовали.

В 1818—1919 гг. Галич издал в двух томах «Историю философских систем», заканчивавшуюся изложением системы Шеллинга. Труд компилятивный, но, по мнению и современных специалистов, несомненное научное произведение, весьма добросовестно написанное. В 1821 г. действительность сурово перебила хребет талантливой, красиво начатой жизни ученого. Разразился знаменитый погром петербургского университета, учиненный помощником попечителя учебного округа Д. П. Руничем и директором университета Д. А. Кавелиным. Самые лучшие профессора — Герман, Раупах, Арсеньев, Галич — были обвинены в атеизме, в революционных замыслах и по высочайшему повелению преданы университетскому суду. Галичу было поставлено в вину, что он, излагая в своей книге системы разных философов, не опровергает их. Рунич говорил на заседании конференции университета:

— Я сам, если бы не был истинным христианином и если бы благодать свыше меня не осенила, я сам не отвечаю за свои поплзновения при чтении этой книги. Вы, г. Галич, явно предпочитаете язычество христианству, распутную философию — девственной невесте христовой церкви, безбожного Канта — Христу, а Шеллинга — духу святому.

Другие обвиняемые профессора держались с большим достоинством, Галич же на длинный ряд предъявленных ему вопросов смиренно ответил:

— Я нахожусь в невозможности отвечать на вопросы начальства; признаю мое учение ложным и вредным и прошу не вспоминать грехов юности моей и неведения моего.

Рунич и Кавелин в восхищении кинулись обнимать и целовать Галича. На следующий день они торжественно повели Галича в церковь, священник читал над ним молитвы и кропил святою водою.

Галича оставили при университете без права преподавания, но с сохранением полного жалования (1 600 р.), и кроме того дали казенную квартиру. Там у него собирался небольшой кружок слушателей, которым Галич частным образом читал лекции по философии. В 1827 г. эти лекции слушал кончавший в то время университет А. В. Никитенко и так писал о них в своем дневнике: «К Галичу прежде всего имеешь доверие, ибо видишь, что он обладает обширными познаниями. Он вы-

ражается ясно и благородно. Его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы его не только полезны, но и увлекательны. Это не цеховой ученый, а человек, глубоко преданный науке. Я лично к тому же много обязан ему. Зная, что мне не под силу заплатить ему за курс триста рублей, как платят другие его слушатели, он предложил мне посещать его лекции бесплатно». В 1837 г. Галич был окончательно уволен из университета. Стараниями бывших его слушателей он получил место начальника архива Провиантского департамента, с хорошим жалованием. На этой должности он и прослужил до смерти. Жизнь Галича была несчастливой. Жена его была очень необразована, очень зла и очень безобразна. Он долго работал над двумя научными трудами: «Всеобщее право» и «Философия истории человечества». В его отсутствие в доме, где он жил, произошел пожар, уничтожил оба эти труда и все вообще рукописи Галича. Это докончало его. Он стал пить, совершенно опустился. «Под гнетом мелочей жизни погиб крупный талант», — говорит биограф Галича.

ИВАН КУЗЬМИЧ КАЙДАНОВ

(1780—1843)

Из духовного звания. Окончил киевскую духовную академию и петербургский Педагогический институт, был командирован для усовершенствования за границу, слушал в Геттингене знаменитого историка Герена, по возвращении сдал на магистра и был назначен в царскосельский лицей преподавателем истории. Получил громкую известность как автор учебников по истории, долгое время бывших единственными руководствами, принятыми во всех школах, — был тем же, чем в конце прошлого века не менее известный Иловайский. Преподавал он, впрочем, лучше, нежели писал, и лекции его слушались со вниманием. Французские слова выговаривал по латинскому произношению; например, из «*guerre des grenouilles*» у него выходило «гвер де греновиль». Обращаясь к ученикам, он слово «господин» ставил после фамилии: «Вольховский господин», «Пушкин господин». С хорошими учениками был вежлив, плохих нещадно ругал, особенно лентяя Ржевского: «Ржевский господин, животное господин, скотина господин!» — с самым украинским выговором и интонацией. Был человек благодушный, не формалист. Пушкин написал порнографическое стихотворение «От всенощной вечер, идя домой»... и прочел его Пушкину. В эту минуту подошел Кайданов, шедший на лекцию. Пушкин и ему прочел стихи. Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал:

— Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушкин, не давайте воли язычку.

ЯКОВ ИВАНОВИЧ КАРЦОВ
(1784—1836)

Лицейский преподаватель физико-математических наук. Из духовного звания; с отличием окончил Педагогический институт, усовершенствовался в Иене, Геттингене и Париже. Заставить слушателей полюбить свой предмет он не умел. Воспитанники на его лекциях готовились к другим урокам, писали стихи или читали романы. Слушал его уроки и знал, что преподавалось, один Вольховский. Карцов долго возмущался, жаловался, старался восстановить дисциплину, но наконец махнул рукою, перестал вызывать учеников и занимался с одним Вольховским. К выпускному же экзамену заранее предупредил каждого, что будет у него спрашивать, и обучил, как нужно отвечать. Он был человек неглупый, острый, язвительный, любил рассказывать анекдоты и острить насчет царскосельских жителей, только и известных лицеистам. Когда он приходил в класс, лицеисты собирались вокруг него и помирали со смеху от его рассказов. Был он черноволос, смугл, очень тучен, лишних движений избегал; часто, сидя спиною к доске, писал на ней формулы не глядя. Насмехаясь над незнающими, говорил:

— А плюс *бе* равно красному барану.

Или:

— Тяп да ляп и построил корабль.

По-французски выговаривал так: «*пур пассаер ле тампс*».

Раз вызвал он к доске Пушкина и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец:

— Что же вышло? Чему равняется *икс*?

Пушкин улыбнулся и ответил:

— Нулю.

— Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.

Эпиграмма на Карцова лицеиста Илличевского:

Поверь, тебя измерить разом
Не мудрено, мой друг черняк:
Ты математик — минус разум,
Ты злой насмешник — плюс дурак.

ДАВИД ИВАНОВИЧ де-БУДРИ

(1756—1821)

Профессор французской словесности. Рожденный Марат. Младший брат Жана-Поля Марата, знаменитого деятеля Великой французской революции. Родился в Швейцарии, окончил женевскую академию со степенью кандидата богословия. В 1784 г. был приглашен одним русским вельможею в воспитатели его детей и приехал в Россию. Давал в Петербурге уроки в частных домах и пансионах. Когда разразилась французская революция и имя Марата приобрело такую грозную известность, Екатерина II, по просьбе Давида Марата, переименовала его фамилию, придав ей аристократическую частицу «де», которую Будри тщательно сохранял. В компании с другим французом он открыл фабрику золотых и серебряных материй, составлявших модную одежду при дворе Екатерины. С воцарением Павла моды переменились, владельцы фабрики разорились. Будри опять взялся за уроки. С основанием лицея он приглашен был в него преподавателем французской словесности.

Будри был забавный, коротенький старичок, с толстым брюхом, с насаленным, слегка напудренным париком; мылся он очень редко и менял белье только раз в месяц. Преподаватель был строгий и дельный. По словам Корфа, он один из всех лицейских наставников вполне понимал свое призвание и наиболее способствовал развитию лицеистов, умел приохотить к занятиям и будить мысль. Он обучал воспитанников и декламации. Декламация его была старой школы — очень высокопарная и ходульная. Будри поставил на лицейской сцене французскую драму — скучную и длинную, в которой все женские роли переделал в мужские и любовников превратил в друзей, и неумоимо, в течение целого месяца, репетировал ее с воспитанниками. Пушкин рассказывает, что Будри очень уважал память своего знаменитого брата и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал ученикам как ни в чем не бывало:

— Это он обработал под рукою Шарлотту Корде и сделал из этой девушки второго Равальяка.

Таким образом Шарлотту Корде, убийцу брата, он как бы ставил на одну доску с цареубийцей Равальяком. «Впрочем, — прибавляет Пушкин, — Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный». Кажется, в последнем утверждении Пушкин неправ. Во всяком случае, другие лицеисты отмечали как раз независимость, с какою Будри держался по отношению к высшим. В «Лицейском мудреце» находим карикатуру

Иллгчевского на профессоров, ищущих милости у министра. На возвышении сидит министр гр. А. К. Разумовский, к нему гуськом по отлой доске поднимаются почтительные профессора, а совсем сзади, спиной к министру, стоят, обнявшись, Будри и Куницын, и пройдоха Гауэншильд тщетно старается повернуть Будри лицом к министру.

ФРИДРИХ МАТВЕЕВИЧ ГАУЭНШИЛЬД

(Ум. в 1830 г.)

Профессор немецкого языка и словесности в лицее. После смерти директора Малиновского, в двухлетний период следовавшего в лицее «междоцарствия», некоторое время исполнял обязанности директора.

Немец, родом из Австрии, приобрел благосклонность С. С. Уварова, тогда попечителя петербургского учебного округа, переводом нескольких его статей на немецкий язык и, по его протекции, определен был профессором в лицей. Был заносчив, скрытен и хитер, с воспитанниками обращался грубо и несправедливо, лицеисты его ненавидели. Узкое лисье лицо, выдающаяся вперед верхняя губа; имел привычку постоянно жевать лакрицу. О нем сложена была в лицее так называемая «национальная песня», которая пелась лицеистами хором без всякого секрета, только что не самому Гауэншильду в лицо. Начинали медленно и заглушенно, потом темп ускорялся, а с ним возвышались и голоса, переходившие под конец в бурю:

В лицейской зале тишина.
Диковника меж нами:
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами!
Друзья, сберемтея гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплющим за щекой,
Дадим австрийцу свалку!..

п т д.

Гауэншильд, повидимому, имел связи с австрийской дипломатией и был ее осведомителем. В 1822 г. он был уволен от службы и уехал в Австрию. Был назначен австрийским генеральным консулом на о. Корфу, пользовался благоволением Меттерниха.

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧИРИКОВ

(1776—1853)

Лицейский учитель рисования и гувернер. Воспитанник Академии художеств. Был человек довольно ограниченный, посредственный гувернер, очень плохой рисовальщик; однако лицеисты его любили за ровный и приятный характер, за обходительность и тактичность, за достоинство, не позволявшее лицеистам таких с ним шалостей, на которые они пускались с другими. В первое время существования лицея воспитанники не пользовались отпуском в дом родителей и нередко проводили свободное время у Чирикова, имевшего квартиру в верхнем этаже лицея; у него составилась литературный кружок, и в гостиной его, по рассказам, долго сохранялись на стене строки, написанные рукою Пушкина. Чириков и сам пописывал. Его длиннейшие трагедии в стихах ходили и читались у лицеистов в рукописях. Одна была под заглавием «Герой Севера». Воспитанники самого Чирикова прозвали «Герой Севера»; и это очень льстило его самолюбию.

ФОТИЙ ПЕТРОВИЧ КАЛИНИЧ

(1788—1851)

Учитель чистописания в лицее. В 1795 г. мальчиком был вывезен с Украины для придворного певческого хора. Когда он спал с голоса, то благодаря прекрасному своему почерку определен был учителем чистописания в лицей. Здесь он прослужил сорок лет до самой смерти. Нередко исполнял также обязанности гувернера. Был высокопарный глупец и невежда. Большой ростом, с сенаторской осанкою и поступью, с огромным лицом; на лице этом всегда отражалась как будто глубокая дума, иногда оно подергивалось легкою, презрительною к человечеству усмешкою. Говорил он неизменно вздор, но облакал его в громкие и величественные слова. Почерк у него, действительно, был прекрасный, все грамоты на медали и похвальные листы переписывались его рукою.

ТЕППЕР де-ФЕРГЮСОН

Лицейский учитель пения. Его отец был богатейший банкир в Польше, где со всем своим богатством погиб во время революции. Тогда сын его, путешествовавший по Европе со всею роскошью английского лорда, публиковал себя в Вене под скромным именем учителя музыки. В Пе-

тербурге он получил место учителя музыки к великой княжне Анне Павловне, а потом вскоре был определен учителем музыки и пения в лицей. «Это был вдохновенный старик»,—вспоминает Плетнев. М. Корф рассказывает: «Он учил нас, в последний только год, не музыке собственно, а лишь только пению. Теппер, хороший учитель пения, хотя сам без всякого голоса, не только учил нас, но и сочинял для нас разные духовные концерты, т. е. большею частью перелagal с разными вариациями и облегчениями концерты Бортнянского. В его классе соединялись оба курса лицея, старший и младший, что иначе ни на лекциях, ни в рекреационное время никогда не бывало. Тепперу же принадлежат и музыка известной прощальной песни Дельвига «Шесть лет промчалось, как мечтанье», жившей еще через сорок лет в стенах лицея. Теппер был большой оригинал, но человек образованный и приятный, нам очень нравились и его беседы, и его классы». У Теппера был свой дом в Царском селе. Воспитанники лицея посещали его на дому—пили чай, болтали, пели, музицировали, и эти простые вечера были лицейцам очень по вкусу.

МАРТЫН СТЕПАНОВИЧ ПИЛЕЦКИЙ-УРБАНОВИЧ
(1780—1859)

Лицейский надзиратель по учебной и нравственной части с 1811 по 1813 г. В молодости слушал лекции в геттингенском университете. М. Корф характеризует его так: «С достаточным образованием, с большим даром слова и убеждения, он был святошею, мистиком и иллюминатом, который от всех чувств обыкновенной человеческой природы, даже от врожденной любви к родителям, старался обратить нас исключительно к богу и, если бы мы далее оставались в его руках, непременно сделал бы из нас иезуитов. Со своей длинною и высохшею фигурою, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими приемами и походкой, наконец, с жестоко-хладнокровною и проницательною, прикрытою видом отцовской нежности строгостью, он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира». С сестрами и кузинами воспитанников, посещавшими их в лицее, Пилецкий позволял себе обращаться с развязно-ласковой фамильярностью. Все это возмущало лицейцев. В 1813 г. они собрались в конференц-зале, вызвали Пилецкого и предложили ему на выбор: либо удалиться из лицея, либо они все потребуют собственного своего увольнения. Угроза была несерьезного свойства, но Пилецкий ответил хладнокровно:

— Оставайтесь в лицее, господа!

И в тот же день выехал из Царского села. Так рассказывает Анненков со слов Матюшкина. Что Пилецкого заставили уйти из лицея воспитанники, — это верно. В своей программе записок Пушкин пишет: «...мы прогоняем Пилецкого». Навряд ли, однако, все произошло так просто и для того времени необычно, как сообщает Анненков. Дело, повидимому, происходило так. 21 ноября 1812 г., за обедом, Пушкин вдруг начал громко говорить, что Пилецкий позволяет себе оскорбительные и издевательские отзывы о родителях некоторых товарищей. Его поддержал Корсаков. После обеда начались горячие споры, многие товарищи присоединились к Пушкину и Корсакову, говорили, что нужно идти к директору с жалобой на Пилецкого. Особенно волновались Кюхельбекер и Ив. Малиновский, поджигали других, называли подлецами и льстецами Корфа, Ломоносова, Юдина и Есакова, отказывавшихся идти с товарищами. 23 ноября произошло объяснение с директором Малиновским в присутствии инспектора Пилецкого. Можно думать, беседа убедила директора, что Пилецкий, действительно, позволял себе нестактичные отзывы о родственниках воспитанников, и Пилецкому вскорости было предложено покинуть лицей.

Впоследствии Пилецкий служил следственным приставом в петербургской полиции. В 1837 г., за участие в мистических радениях известной в то время аристократической сектантки Татариновой, был выслан из столицы и заключен в монастырь. Под конец жизни, в глубокой старости, жил опять в Петербурге, сильно нуждаясь.

ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ ПИЛЕЦКИЙ-УРБАНОВИЧ

Брат предыдущего. Лицейский надзиратель. Родился в 1786 г. Раньше был канцеляристом в подольском губернском приказе и аудитором в армейском полку. Мы знаем его только по его рапортам в конференцию о поведении воспитанников, — рапортам, отличающимся исключительною безграмотностью.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИКОННИКОВ

В течение одного года (1811—1812) был гувернером лицея. Внук знаменитого актера Дмитревского. До поступления в лицей служил переводчиком в берг-коллегии, преподавал в горном корпусе географию, историю и французский язык. Был благородный, умный и образованный человек, совсем еще молодой, всего двадцати шести лет, но уже

совершенно опустившийся от пьянства; водка его перестала возбуждать, и он залпом выпивал целыми склянками гофманские капли (смесь эфира со спиртом). Он занимался писательством, сочинял для лицейстов небольшие театральные пьесы; лицеисты разыгрывали их перед царскосельской публикой с ширмами вместо кулис, в форменных мундирах. В одной пьесе главную роль играл лицеист Маслов, но после первого действия ему сделалось дурно, и мальчика, без всякого предупреждения публики, заменил собою сам Иконников, да к тому же совершенно пьяный; он не помнил реплик и сбивал остальных актеров.

За пьянство Иконников вскоре был уволен. Но, видимо, он Пушкина интересовал,—еще через три года после его увольнения Пушкин посещал его и так писал в тогдашнем своем дневнике: «Вчера провел я вечер с Иконниковым. Хотите ли видеть странного человека, чудака,—посмотрите на Иконникова. Поступки его — поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату: видите высокого, худого человека в черном сюртуке, с шеей, окутанной черным, изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны; он стоит задумавшись и кулаком нюхает табак из коробочки;—он дико смотрит на вас. Вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг,—он вас не узнает. Вы подходите, зовете его по имени, говорите ему свое имя; он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевым голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства; ходит пенником из Петербурга в Царское село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и резок; рассыпается в благодарениях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеяние, ему оказанное, легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив. Иконников имеет дарования, пишет пзрядно стихи и любит поэзию. Вы читаете ему свою пьесу,—наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко. Зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда».

ФРАНЦ ОСИПОВИЧ ПЕШЕЛЬ

(Род. в 1782 г.)

Лицейский врач. Из моравских уроженцев. Вызван был в Россию на врачебную службу министерством внутренних дел в 1808 г. Был друг всего царскосельского бомонда, весельчак, остряк; любил болтать

с лицеистами, знакомил их со всевозможными новостями, тешил анекдотами, каламбурами и своим уморительным русским языком. Каждое первое число месяца являлся к лицеистам с гостинцами и оделял их девичьей и бабьей кожей, лакрицей и тому подобными аптечными сладостями.

Случилось однажды событие, сильно взволновавшее весь лицей. Раскрылось, что один из лицейских дядек, молодой парень Константин Сазонов, за два года пребывания своего в лицее совершил в Царском селе и окрестностях шесть или семь убийств. Пушкин написал по этому случаю эпиграмму:

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом свитым.
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под кошою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель лекарем моим.

Воспитанники лицея любили Пешеля и впоследствии иногда приглашали старика-доктора на празднования лицейских годовщины вместе с любимым надзирателем С. Г. Чириковым. Сохранилась запись Пешеля от 19 октября 1837 г. с обращением к бывшим его лицейским пациентам на немецком и латинском языках: «Я прошу моих старых друзей, для их собственного блага на мировом театре, не забывать моих прежних увещаний, именно: что все поконится на отношениях, и что единственное утешение — терпеливо следовать девизу: «ничему не удивляться!» А для здоровья: спокойствие души, телесные упражнения, диета как качественная, так и количественная, вода».

III

ЛИЦЕЙСКИЕ ТОВАРИЩИ

На первый курс лицея было принято тридцать человек. Значит, у Пушкина было двадцать девять товарищей.

1. ИВАН ИВАНОВИЧ ПУЩИН

(1798—1859)

Дед его был известный адмирал, андреевский кавалер, отец — генерал-интендант. В августе 1811 г. мальчика привезли в Петербург для определения в открывавшийся царскосельский лицей. Для той же цели привез в это время в Петербург и Пушкина его дядя Василий Львович. Мальчики познакомились, сразу почувствовали друг к другу симпатию и подружались. Пущин постоянно бывал у Пушкиных на Мойке, мальчики шалили и возились с сопровождавшей Василия Львовича молодой его гражданской женой Анной Николаевной Ворожейкиной, вместе гуляли в Летнем саду. Оба были приняты в лицей и в октябре месяце отвезены в Царское село. Воспитанники обязательно должны были жить в лицейском общежитии, каждому полагалась отдельная комната. Пушкину досталась комната № 14, Пущину — рядом, № 13. Комнаты были отделены легкой перегородкой, через которую свободно можно было разговаривать. Это близкое соседство еще больше способствовало сближению мальчиков.

Учился Пуцин хорошо. Преподаватели отмечали в своих отзывах его «счастливые способности», «редкое прилежание». Товарищи очень его любили. «Со светлым умом,— рассказывает Модест Корф,— с чистой душой, с самыми благородными намерениями, он был в лице любимцем всех товарищей». Нельзя того же сказать про Пушкина. Он был большой озорник и насмешник, любил задира́ть товарищей и, как часто бывало с ним и впоследствии, совершенно не умел нести естественных последствий своих нападок. Столкновения с товарищами, им же вызванные, сильно его мучили. И долгие часы он переговаривался по ночам сквозь перегородку с Пуциным, — жаловался на себя и на других, каялся, обсуждал с Пуциным, как поправить свое положение между товарищами или избежать следствий необдуманного поступка. Оба друга были неразлучны. В лицейских «национальных песнях» они фигурируют рядом — «Жано» — Пуцин и «Француз» — Пушкин:

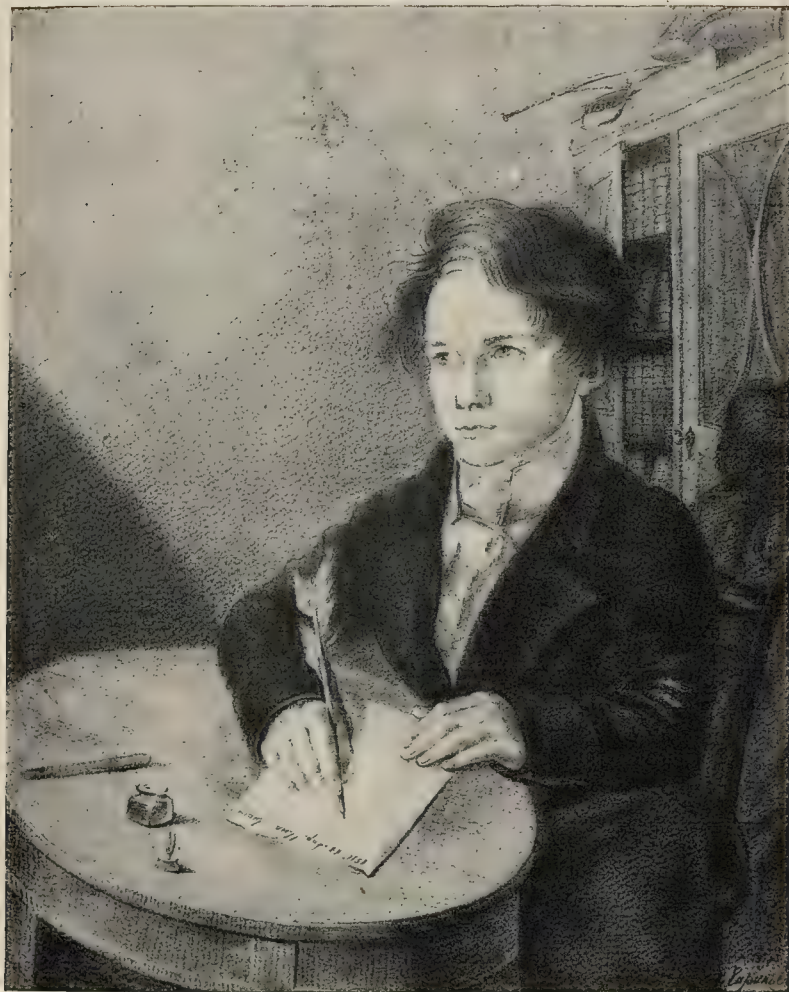
Большой Жано
Милльон бонмо
Без умыслу проворит,
А наш Француз
Свой хвалит вкус
И матерщину порет.

Оба были влюблены в сестру своего товарища, фрейлину Е. П. Бакунину. Пушкин, как и впоследствии, когда любовь сильно его захлестывала, был застенчив, замкнут, изливал переполнявшее его чувство больше в уныло-романических стихах. Пуцин, повидимому, был активнее и предприимчивее. Директор Энгельгардт в своей аттестации Пуцина писал: «Он с некоторого времени особенно старается заинтересовать собою особ другого пола, пишет самые отчаянные письма и, жалуясь на судьбу, представляет себя лицом трагическим. Одно из таких писем попало в мои руки, и я, по обязанности, должен был внушить молодому человеку неуместность такого поступка в его положении. Дружеский совет, казалось, произвел желанное действие, но повторение подобного же случая доказало противное».

Также вместе с Пушкиным и еще с Малиновским и Пуцин попался в на шумевшей истории с «гогель-могелем». История такая. Компания воспитанников с Пуциным, Пушкиным и Малиновским во главе устроила тайную пирушку. Достали бутылку рома, яиц, натолкли сахару, принесли кипящий самовар, приготовили напиток «гогель-могель» и стали распивать. Одного из товарищей, Тыркова, сильно разобрало от рома, он стал шуметь, громко разговаривать; это обратило на себя внимание дежурного гувернера, и он доложил инспектору Фролову. Начались спросы, розыски. Пуцин, Пушкин и Малиновский объявили, что

















это их дело и что они одни виноваты. Фролов немедленно донес о случившемся исправлявшему должность директора проф. Гауэншильду, а тот поспешил доложить самому министру Разумовскому. Переполюшившийся министр приехал из Петербурга, вызвал виновных, сделал им строгий выговор и передал дело на рассмотрение конференции. Конференция постановила: 1. Две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы. 2. Сместить виновных на последние места за обеденным столом. 3. Занести фамилии их, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске. Но при выпуске лицейстов директором был уже не бездушный карьерист Гауэншильд, а благородный Энгельгардт. Он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам недопустимость того, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, имела влияние и на будущность провинившихся. Все тотчас же согласилось с его мнением, и дело сдано было в архив.

Историю с гогель-могелем имеет в виду Пушкин в своем послании к Пушкину:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенном вине?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пушковых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?
Закипев, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали, —
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пуши и светлое вино.
Убегаем торопливо...

В «Пирующих студентах» Пушкин так обращается к Пушкину:

Товарищ милый, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сроду скуку!
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся.

Пришло время выпуска. Пушкин на прощание написал в альбом Пушкину:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улетим в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединения,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла... но с первыми друзьями
Не развою мечтой союз твой заключен:
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О, милый, вечен он.

Дальнейшее о Пушкине — в главе «Друзья Пушкина».

2. БАРОН АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ (1798—1831)

Хоть и происходил от прибалтийских баронов, но родился от русской матери, в Москве, где отец его был плац-майором; родным языком его был русский, а немецкому он, с грехом пополам, обучился только в лицее. Мальчик был полный, вялый, и болезненный, учился неохотно; родители, опасаясь за его здоровье, очень его к этому не принуждали; всего охотнее занимался он мифологией. Фантазия с детства была очень живая. Когда ему было еще пять лет, он рассказал о каком-то чудесном видении, будто бы явившемся ему, и смутил этим всю свою семью. Уже в детстве, как и всю свою жизнь, Дельвиг отличался феноменальной ленью. Способности его развивались медленно, память была тупа; за все время пребывания мальчика в лицее, он не проявил никакой склонности к науке. Преподаватели давали о нем такие отзывы: «Способности посредственны, как и прилежание, а успехи весьма медленны; мешкотность вообще его свойство и весьма приметна во всем». «Непонятен и ленив, отвечает на вопросы без размышления и без всякой связи. Заметно даже, что вовсе не имеет охоты к учению». Но воображение попрежнему было очень живое. Однажды стал он рассказывать товарищам, будто сопровождал в обозе своего отца во время похода 1807 г., рассказывал об опасностях, которым при этом подвергался, — рассказывал так живо и правдоподобно, что несколько дней около него собирались товарищи и жадно слушали все новые и новые подробности о походе. Захотел послушать и сам директор Малинов-

ский. Дельвиг постыдился признаться во лжи, рассказал и Малиновскому. И никто не усомнился в истине его рассказов, пока он сам не признался в своем вымысле. «В детях, одаренных игривостью ума,— замечает Пушкин,—склонность ко лжи не мешает искренности и прямоте. Тот же Дельвиг никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания». Любовь к поэзии пробудилась в нем рано. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным не расставался, Клопштока, Шиллера и Гете прочел с Кюхельбекером, Горация изучил в классе под руководством профессора Копанского. В игры школьников, требовавшие проворства и силы, Дельвиг никогда не вмешивался, предпочитал прогулку по аллеям Царского села и степенные разговоры с сочувствующими товарищами. Однако, несмотря на эту степенность, и поведением своим Дельвиг не вызывал одобрения начальства. «Поведение его достойно осуждения, ибо он груб в обращении, дерзок на словах, непослушен и упрям до такой степени, что презирает все наставления, и даже смеется, когда делась ему выговоры». «Насмешлив, упрям, впрочем добр,— характеризует его другой надзиратель.— Хладнокровие есть особенное его свойство».

Писать стихи Дельвиг начал довольно рано. Многие лицеисты уже на первых курсах писали стихи. Наибольшим признанием пользовался Илличевский. Пушкин вспоминал: «...никто не приветствовал Дельвига, между тем, как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены, как некоторое чудо». Когда товарищам стало известно, что и Дельвиг пишет стихи, это очень их рассмешило, и они сочинили стишок, получивший в лицее популярность:

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!
Дельвиг пишет стихи!

Вскоре, однако, Дельвиг завоевал всеобщее признание. Он принимал неизменное и очень близкое участие во всех лицейских журналах. Первым из всех товарищей он выступил и в настоящем журнале. В «Вестнике Европы» за 1814 г. была напечатана его патриотическая ода «На взятие Парижа». Повидимому, Дельвиг же, без ведома Пушкина, устраивал в печать и его стихи. В послании к Дельвику Пушкин писал:

Куда сокроюсь я?
Изменники-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют,

И плод уединенья
Тисненью предают...
О, Дельвинг, начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
Меж лени и Морфея
Беспечный дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться;
Я, право, неги сын!
А там, — хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
Я буду принужден
С журналами сражаться,
С газетой торговаться...
Помилуй, Аполлон!

К творчеству Пушкина уже в лицейскую пору Дельвинг относился восторженно. Он напечатал в 1815 г. в «Российском Музее» стихотворение «К А. С. Пушкину». Кончалось оно так:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимпе торжествующий.

Отмечают, что восторженный этот отзыв, с прописанием полного имени Пушкина, был напечатан в одном из лучших тогдашних журналов, — какие, значит, надежды возбудил шестнадцатилетний Пушкин уже первыми своими выступлениями!

В лицейских своих стихах Пушкин не раз поминает Дельвинга. В «Пирующих студентах», например:

Дай руку, Дельвинг! Что ты спишь?
Проснись, лепивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей,
Бутылъ вином палита;
За здравье пашей музы пей,
Парнасский волокита!

В 1825 г. Пушкин вспоминает:

И дивное волнение мы познали;
С младенчества дух песен в нас горел, —

С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья, —
Ты, гордый, пел для муз и для души:
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья, —
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Оценка Дельвига, — конечно, преувеличенная, — характерна для отношения к нему Пушкина.

В списке окончивших лицей воспитанников первого курса, выпущенных в гражданскую службу, Дельвиг стоит по успехам третьим с конца (Пушкин — четвертым с конца). На выпускном акте пелась сочиненная Дельвигом кантата «Шесть лет промчалось, как мечтанье», положенная на музыку лицейским учителем музыки Теппер де-Фергюсоном. Песня эта долгое время пользовалась популярностью и у последующих выпусков лицейцев.

Дальше о Дельвиге см. в главе «Друзья Пушкина».

3. ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797 — 1846)

И фамилия у него была смешная — Кюхельбекер, и весь он был ужасно смешной: длинный, тощий, с выпученными глазами, тугой на ухо, с кривящимся при разговоре ртом, весь какой-то извивающийся, настоящая «глиста», — такое ему и было прозвание среди товарищей. Еще прозвание ему было — Кюхля. Был вспыльчив до полной необузданности, самолюбив, обидчив, легко возбуждался и тогда терял всякий внутренний регулятор. И ко всему — еще писал стихи. Среди лицейских товарищей его немало было стихотворцев: на первом месте Илличевский, за ним Пушкин, Дельвиг, Яковлев и др. Но Кюхля и в стихах был так же смешон, как во всем. Ни на кого в лицее не было писано так много эпиграмм, как на него.

Илличевский:

Явися, Видишька, и докажи собой,
Что ты и телом, и душой
Урод пресовершенный!

Пушкин:

Пусть бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!

Или:

Вот Виля: он любовью дышит,
Он песни пишет зло;

Как Геркулес, сатиры пишет,
Влюблен, как Буало.

(Буало был кастрат).

Пушкин заболел и лежал в лазарете. Там он написал своих «Пирующих студентов» и пригласил товарищей послушать. После вечернего чая они пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым. Началось чтение.

Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое...

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывалась восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он слушал в полном упоении. И вдруг — заключительные стихи:

Писатель! За свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

Взрыв хохота. Публика забыла поэта, стихи его и бросилась тормошить Кюхельбекера, совершенно ошалевшего от неожиданности.

И не только в стихах товарищи издевались над Кюхельбекером. Однажды за обедом Малиновский вылил ему на голову тарелку супу. Кюхельбекер так был потрясен, что заболел горячкой, убежал из больницы и бросился в пруд, чтобы утопиться. Но у него все делалось нелепо: в пруду не могла бы утопиться и мышь. Кюхлю вытащили, и событие это сделалось тоже предметом злых издевательств школьников: в журнале «Лицейский мудрец» появилась карикатура Илличевского, в которой профессора тащут Кюхлю из воды, зацепив багром его галстук. Был он и очень рассеян. Однажды, например, гуляя в царскосельском парке, принял великого князя Николая Павловича за знакомого офицера, вступил с ним в дружескую беседу и очень был удивлен его холодностью.

Однако под смешною и нелепою наружностью Кюхельбекера таился чистейший энтузиаст, горевший мечтами о добре и красоте, восторженный любитель поэзии, добрейший и незлопамятный человек. Учился он хорошо, был начитаннее всех своих товарищей, знакомил их с немецкой литературой. Пушкин называл его живым лексиконом и вдохновенным комментарием, а директор лицея Энгельгардт дал о нем такой отзыв: «Читал все и обо всем; имеет большие способности, прилежание, добрую волю, много сердца и добродушия, но в нем совершенно нет вкуса, такта, грации, меры и определенной цели. Чувство чести и добродетели проявляется в нем иногда каким-то донкихотством».

Кюхельбекер окончил курс с серебряной медалью. Был зачислен в коллегию иностранных дел и одновременно поступил в университетский Благородный пансион старшим преподавателем русской и латинской словесности. Здесь его учениками были Лев Пушкин, Соболевский, М. Глинка. Он свел знакомство со всеми известными писателями бывал, между прочим, у Жуковского и порядочно докучал ему своими стихами. Однажды Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Когда его после спросили, отчего он не был, Жуковский ответил:

— Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома.

Пушкин изложил этот ответ такими стихами:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно, —
Так было мне, мой друзья,
И кюхельбекерно и тошно!

Кюхельбекер взбесился и вызвал Пушкина на дуэль. Никак нельзя было отговорить его. Пришлось Пушкину принять вызов. Кюхельбекер стрелял первый и промахнулся. Пушкин бросил пистолет и хотел обнять товарища. Но Кюхельбекер неистово закричал:

— Стреляй, стреляй!

Пушкин выстрелил в воздух, подал Кюхельбекеру руку и сказал:

— Полно дурачиться, милый; пойдем чай пить!

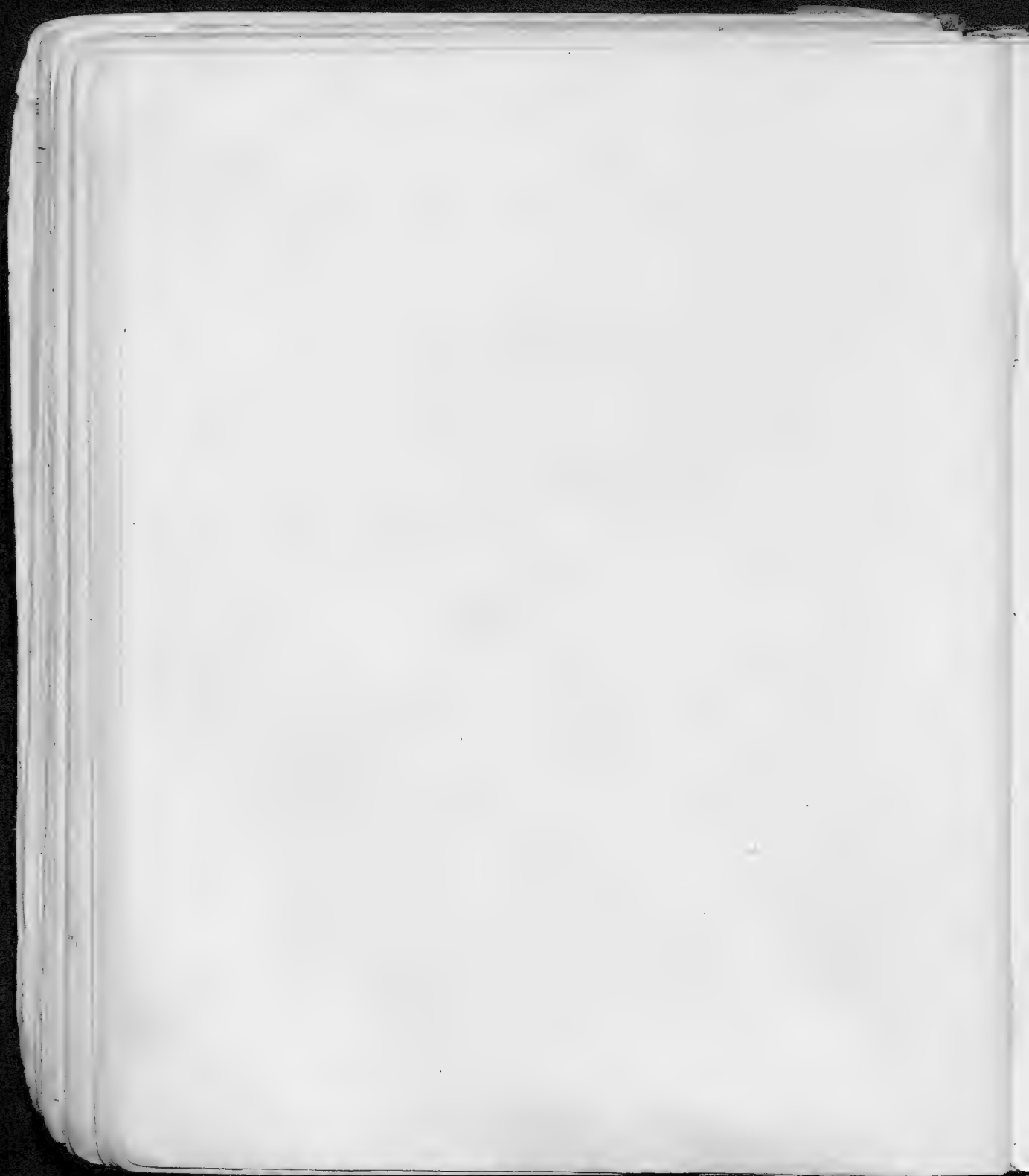
Кюхельбекер очень много писал и печатал; принадлежал к литературной группе молодых архаистов, в которую входили Грибоедов, Катенин, Жандр. Некоторые новейшие исследователи высоко оценивают как поэтическую, так и критическую деятельность Кюхельбекера и даже отрицательное отношение современников к поэзии его объясняют тем, что Кюхельбекер был новатором. Так это или не так, но во всяком случае и из современников Кюхельбекера некоторые признавали за ним большие дарования. Боратынский, например, писал: «Кюхельбекер человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно вроде Руссо очень будет замечен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чулака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести в жертву; человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастья».

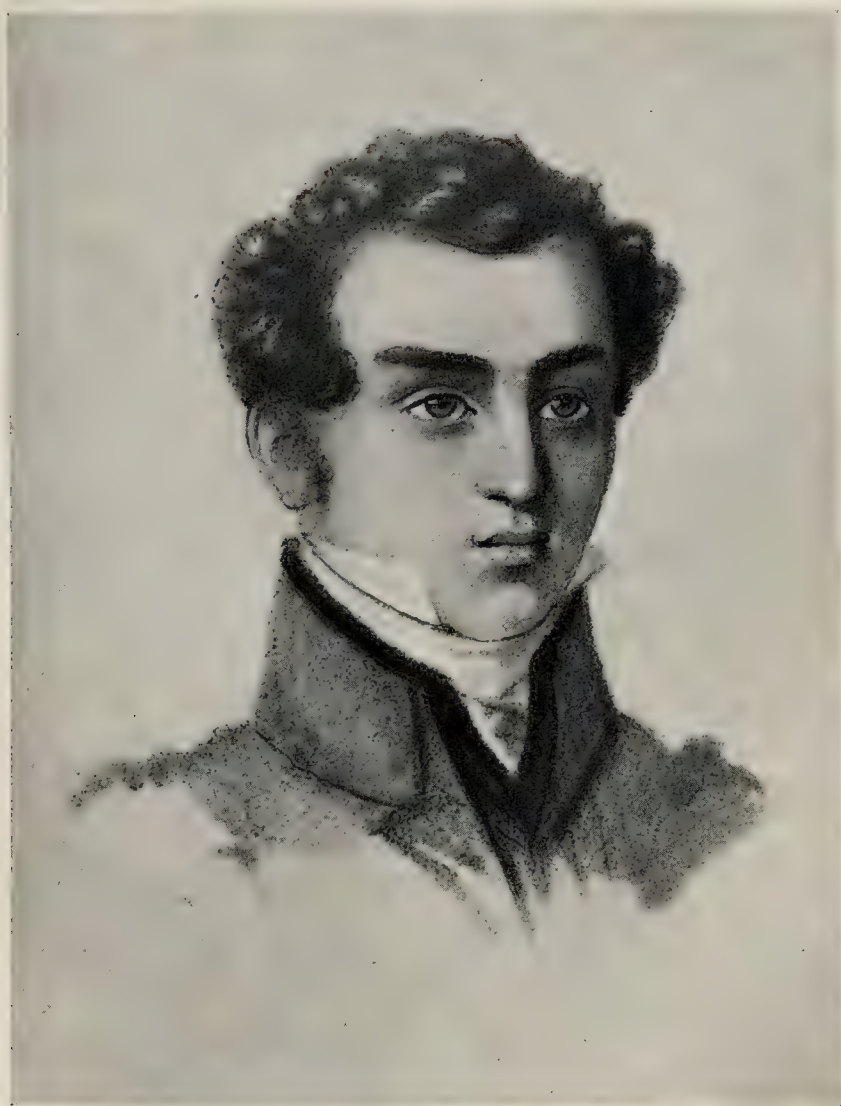
В 1820 г. вследствие каких-то недоразумений Кюхельбекеру при-

шлось покинуть преподавательскую деятельность и выйти в отставку. Он поехал за границу в качестве секретаря при обер-камергере А. Л. Нарышкине. Там—опять недоразумения. В Париже он стал читать лекции о славянском языке и русской литературе. Читал с большим воодушевлением; однажды в конце речи размахнул рукою, сшиб свечу, стакан с водою, хотел его удержать и сам слетел с кафедры. «Лекции мои имели цель самую благонамеренную,—писал он сестре.—Может быть, я и был неосторожным; может быть, найдут в них несколько слов неудобных, но я никак не предвидел того, что ожидало меня». После одной речи, в которой Кюхельбекер говорил о влиянии на родное слово вольного Новгорода и его веча, он получил через посольство приказание прекратить чтение лекций и вернуться в Россию. Нарышкин отказал ему от места. С помощью поэта В. И. Туманского Кюхельбекер добрался до Петербурга. Там голодал и пропал от нужды. Друзья устроили его на Кавказ чиновником особых поручений при Ермолове. Но там он пробыл только несколько месяцев: поссорился с племянником Ермолова Похвисневым, вызвал его на дуэль; тот отказался; тогда Кюхельбекер дал ему две пощечины; дуэль состоялась; Кюхельбекер промахнулся, пистолет Похвиснева дал осечку. Кюхельбекер был уволен в отставку. Год прожил в смоленской деревне у сестры, потом перебрался в Москву. В Москве давал частные уроки, сошелся с кружком кн. В. Ф. Одоевского и Веневитинова, много писал, издавал вместе с Одоевским литературные сборники «Мнемозина». Около этого времени с ним познакомилась молодая девушка С. М. Салтыкова, будущая жена Дельвига, и писала о нем подруге: «Это горячая голова, каких мало; пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, но он так умен, так любезен, так образован, что все в нем кажется хорошим, даже это самое воображение; признаюсь, то, что другие хулят, мне очень нравится. Он любит все, что поэтично. У этого бедного молодого человека нет решительно ничего. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо».

В апреле 1825 г. Кюхельбекер переселился в Петербург. Рылеев писал Пушкину: «Читали твоих «Цыган». Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек этот Кюхельбекер! Как он любит тебя! Как он молод и свеж!» За несколько дней до 14 декабря Рылеев принял Кюхельбекера в Тайное общество. В день восстания Кюхельбекер все время находился на площади среди восставших, в каком-то полупомешательстве метался по площади, потрясал пистолетом, размахивал где-то подхваченным палашиком, командовал людям, которые его не слушали, хотел вести в штыки солдат гвардейского экипажа, но они за ним не пошли; навел пистолет на









вел. кн. Михаила Павловича, но какой-то солдат отвел его, пытался выстрелить в генерала Воинова, но пистолет дал осечку. Он «просто был воспламенен, как длинная ракета», писал Дельвиг. После разгрома восстания Кюхельбекер бежал в Варшаву, но там был арестован по приметам, услужливо сообщенным полиции Булгаринным. На допросах каялся, выдавал, утверждал, что стрелять в вел. кн. Михаила Павловича его подговорил И. Пущин, и настаивал на этом даже на очной ставке с Пущинным; Пущин это решительно отрицал. Кюхельбекер был приговорен к двадцати годам каторжных работ. И. И. Пущин впоследствии писал Е.-А. Энгельгардту: «Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления приговора, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря, что он был тогда на сцене трагической и довольно важной». Осенью 1827 г. Кюхельбекер из Шлиссельбургской крепости был переведен в Динабургскую. В пути, на почтовой станции под Боровичами, он вдруг увидел у станционного крыльца проезжего, пристально в него всматривавшегося, и узнал Пушкина. Они кинулись друг другу в объятия. Жандармы их растащили, фельдъегерь с угрозами и ругательством схватил Пушкина за руку. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали.

Долго Кюхельбекер сидел в разных крепостях и только в 1835 г. был отправлен в Сибирь на поселение. Там женился на необразованной мещанке, дочери почтмейстера. В 1845 г. И. И. Пущин писал Энгельгардту: «Три дня погостил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на жительство в Курган со своею Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Зачитал меня стихами до-нельзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, они соединились без всякой данной на счастье. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз получше. Прав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервические припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба беснуется на просторе; он же говорит: «Ты видишь, как она раздражительна!» Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем».

О себе и о художественном своем даровании Кюхельбекер был очень высокого мнения; находил, например, что некоторые молодые поэты обкрадывают, как писал он Пушкину, «и тебя, и меня». Писал в дневнике: «Вальтер Скотт в детстве был охотник рассказывать своим товарищам сказки, которые сам выдумывал. Это у него общее с Гете и (осмелюсь ли после таких людей называть себя?) со мною» и т. п.

К стихотворным упражнениям Кюхельбекера в лицейскую пору Пушкин, как мы видели, относился с насмешкой. С насмешкою же, но более добродушною и сдержанною, относился он и к дальнейшим творениям Кюхельбекера. В 1822 г. он писал брату: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремия». Потешается над такими выражениями Кюхельбекера, как «резвоскачущая кровь», по поводу двустипхия: «Я всегда в уединении пас стада главы моей» — спрашивает озорно: «Вшей?» и т. п. Однако к самому Кюхельбекеру Пушкин уже в лицейскую пору и потом в продолжение всей своей жизни относился с неизменною, чисто братскою любовью. По окончании лицея посвятил ему задушевное стихотворение «Разлука». Из ссылки постоянно передавал ему в письмах к друзьям поклоны, с беспокойством следил за похождениями Кюхельбекера, зная его исключительный талант повсюду ввязываться в беду, писал Гнедичу: «Ах, боже мой, что-то с ним делается, судьба его меня беспокоит до крайности». И Вяземскому: «Что мой Кюхля, за которого я стражду, но все люблю?» В стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин так вспоминал Кюхельбекера:

Служение муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся, но поздно; и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! Душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Откроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг.
Приди, огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Когда Кюхельбекер сидел в крепостях, Пушкин посылал ему книги, вел с ним переписку, вызывая этим грозные запросы Бенкендорфа.

4. ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ МАТЮШКИН

(1799—1872)

Родился в Штутгарте, где отец его был советником посольства; мать — немка; за неимением русского священника мальчик был окрещен по лютеранскому обряду и на всю жизнь остался лютеранином. Обладал порядочными способностями, был прилежен, очень скромен, застенчив и молчалив. Товарищи его любили. Заветною его мечтою еще в лицее было стать моряком, хотя родился он и вырос вдалеке от моря. Немедленно по окончании лицея, при помощи очень любившего его директора Энгельгардта, Матюшкин определился гардемаринем на шлюп «Камчатка», отправлявшийся в кругосветное плавание под начальством знаменитого путешественника-мореплавателя капитана В. М. Головнина. Впоследствии он проделал еще несколько кругосветных плаваний, участвовал в экспедиции по обследованию северных берегов Восточной Сибири, где один мыс назван в его честь «мысом Матюшкина». Любопытно, что этот страстный моряк страдал на море жесточайшею морской болезнью. Под конец жизни Матюшкин был контр-адмиралом и сенатором.

Мы не знаем, каковы были отношения между Матюшкиным и Пушкиным в лицее, но в стихотворении своем «19 октября 1825 г.» Пушкин с очень теплым чувством вспоминает о нем:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальных нравы:
Лицейский шум, лицейская забава
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: «на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Матюшкин, со своей стороны, горячо любил Пушкина, видался с ним в свои приезды в Россию. По свидетельству Я. К. Грота, он был одним из товарищей, с которыми по выходе из лицея Пушкин был всего дружнее. Последняя их встреча была у школьного товарища М. Л. Яковлева в день его именин, 8 ноября 1836 г. Пушкин был в большом вол-

нения. После обеда пили шампанское. Вдруг Пушкин вынул из кармана полученное им анонимное письмо и сказал товарищам:

— Посмотрите, какую мерзость я получил!

Через два с половиной месяца он лежал в гробу. Матюшкин в это время был в Севастополе. Он писал Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редет; пора и нам убраться!»

5. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАЛИНОВСКИЙ (1795—1871)

Сын первого директора лицея, умершего в 1814 г. За бешеную вспыльчивость, необузданность нрава и драчливость кличка ему была «Казак». Уже двадцатидвухлетним парнем, незадолго до выпуска из лицея, он, поссорившись за обедом с Кюхельбекером, вылил ему на голову тарелку супу, после чего Кюхельбекер побежал топиться, но его вытащили. В «Пирующих студентах» Пушкин так обращается к Малиновскому:

А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задумчивый!

Малиновский вместе с Пушкиным и Пущиным попался в приготовлении «гогель-могеля» с ромом, за что все трое сильно поплатились. Все трое были влюблены в сестру лицейского их товарища Е. П. Бакунину. Рядом с Пущиным Малиновский, говорят, был самым любимым товарищем Пушкина. Однако, сколько можно судить по дошедшим до нас данным, с Малиновским Пушкина связывала только любовь к проказам. Только об них Пушкин вспоминает, говоря о Малиновском и в черновиках стихотворения «19 октября 1825 г.». После упоминания о приезде к нему в Михайловское Пущина Пушкин продолжает:

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак, и пылкий, и пезлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Возмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы одну все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ.

Воспоминания в том же стихотворении о некоторых других товарищах, Дельвиге, Кюхельбекере, свидетельствуют о большом духовном

общении с ними Пушкина. Касательно же Малиновского Пушкин вспоминает одни только их школьные проказы. По окончании лицея они, повидимому, больше не виделись и не переписывались. Неожиданное впечатление производит поэтому сообщение Аммосова, будто, умирая, Пушкин жалел, что при нем нет ни Пуцина, ни Малиновского, что ему бы тогда легче было умирать. Аммосов писал со слов Данзаса. Не перепутал ли Аммосов фамилий, не назвал ли ему Данзас какого-нибудь другого из лицейских товарищей Пушкина? Например, Матюшкина?

По окончании лицея Малиновский определился в лейб-гвардии Финляндский полк, в 1825 г. вышел в отставку с чином полковника и остальную долгую жизнь провел в своем имении Изюмского уезда Харьковской губернии, занимался хозяйством, несколько трехлетий был предводителем дворянства своего уезда. В 1830 г. директор лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Малиновский — дворянский предводитель в Изюмском уезде и, как слышно, очень много там делает добра, душа радуется, как он там при рекрутчине стоял за бедных и грызся с богатыми и с чиновниками, которые за них стояли». В следующем году Модест Корф писал об нем: «...наш милый энтузиаст Ванюша все тот же, думает более о других, чем о себе, и стремится везде к лучшему». — Малиновский был женат на сестре Пуцина, а сестры его были замужем — одна за лицейским его товарищем Вольховским, другая — за декабристом бар. А. Е. Розеном.

6. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРСАКОВ (1800—1820)

Сын помещика, отставного прапорщика гвардии, брат П. А. Корсакова, журналиста и стихотворца, впоследствии издававшего изуверски-реакционный журнал «Маяк», и М. А. Корсакова, впоследствии ставшего кн. Дондуковым-Корсаковым, попечителем петербургского учебного округа и вице-президентом Академии наук. Кудрявый красавец, очень одаренный, быстро схватывал существо предмета, поэтому не считал нужным быть на уроках внимательным и прилежным, был самонадеян и несколько поверхностен, насмешлив, скрытен, умел очень искусно притворяться и водить учителей за нос. Корсаков недурно писал стихи, преимущественно сатирические, — в таком роде:

«Фи, вы курите табак,
Вы читаете газеты!» —
Вечно слышу от Лилеты.

— Да, сударыня, так, так! —
«Здесь, сударь мой, не кабак,
Кипьте трубку и газеты!»
Как не так!

Был одним из деятельнейших редакторов и сотрудников лицейских журналов. Но главное, чем выдавался Корсаков среди товарищей и за что пользовался среди них популярностью, были его музыкальные способности: он прекрасно пел и играл на гитаре, был и композитором. В «Пирующих студентах» Пушкин обращается к нему:

Приблизься, милый наш певец,
Любимый Аполлоном,
Воспой властителя сердец
Гитары тихим звоном!
Как сладостно в стесненну грудь
Томленье звуков льется!..

Корсаков, между прочим, положил на музыку стихотворения Пушкина «О, Делня, драгая» и «Вчера мне Маша приказала». Первую из этих песен часто распевали в лицее на два голоса под аккомпанемент гитары, вторая приобрела популярность и за стенами лицея, «юные девицы, — рассказывает Пушкин, — пели ее почти во всех домах, где лицей имел право гражданства».

Корсаков кончил курс с серебряною медалью, поступил в коллегию иностранных дел. В 1819 г. был причислен к римской миссии и уехал в Италию. Там, во Флоренции, он вскоре умер от чахотки.

Пушкин написал на его смерть довольно плохую элегию «Гроб юноши» (1821) и помянул его в стихотворении «19 октября 1825 г.»:

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртаами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Насчет последнего Пушкин ошибался: над могилой Корсакова во Флоренции была вырезана надпись на русском языке; ее сочинил сам Корсаков за час до смерти:

Ах! Грустно умирать далеко от друзей!
Прохожий, поспеши к стране родной своей!

7. ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ВОЛЬХОВСКИЙ

(1798—1841)

Из небогатых дворян Полтавской губернии. Среди других лицейстов он представлял оригинальную фигуру. Обладал прекрасными способностями, исключительным прилежанием и железною волею; с ранних лет упорно, не уклоняясь в стороны, работал над всесторонним самоусовершенствованием и саморазвитием, равнодушно-непричастный ни к каким школьным грешкам и увлечениям. Вольховский готовил себя к военной деятельности. По телосложению он был чрезвычайно малосилен, но всячески закалял себя, вел спартанский образ жизни, не пил вина, развивал упражнениями силу и ловкость; для укрепления мускулов, кроме всякого рода гимнастики, носил на плечах, готовя уроки, два толстейших лексикона Гейма. Впоследствии он благодаря этому выносил самые тяжелые походы и труды. Товарищи дали ему прозвище: «Суворов» или «Суворочка». (Известно, что Суворов тоже отличался хилым телосложением и тоже с детства закалял себя.) Лицейстов обучали верховой езде. Чтобы выработать себе хорошую посадку, Вольховский в уединенном месте примащивал искусно стулья и, усевшись верхом, в таком положении учил уроки. В лицейских «национальных песнях» о нем пелось:

Суворов наш
«Ура! Марш-марш!»
Кричит верхом на стуле.

Произношение у него было не совсем чистое; чтоб избавиться от этого, Вольховский, подражая Демосфену, набирал в рот камушков и декламировал так на берегу царскосельского озера. Приучал себя спать по несколько часов в сутки. Всеми учебными предметами занимался чрезвычайно добросовестно. Преподаватель математики Карцов, не умевший приохотить воспитанников к своему предмету, махнул на всех рукою и занимался с Вольховским — единственным, тщательно готовившим уроки и внимательно слушавшим его объяснения. И во всех науках Вольховский шел первым. Также и в поведении. В столовой, где воспитанников рассаживали по отметкам за поведение, Вольховский сидел первым. При всем этом он был очень скромен и добродушен. «Скромность его столь велика, — писал инспектор Мартын Пилецкий, — что достоинства его закрыты ею, обнаруживаются без всякого тщеславия и только тогда, когда должно или когда его спрашивают». Был прекрасный товарищ, охотно помогал в занятиях отстающим. Товарищи его любили и уважали. Он умел влиять на них; нередко двумя-тремя словами останавливал самых запальчивых, на которых не действовали ни страх,

ни убеждения. Уважение товарищей сказалося и в кличках, данных ему: кроме «Суворочки», еще — «Sapientia» (мудрость) и «Спартанец». Это, конечно, не мешало им задирать его как первого ученика. Был, например, на него такой куплет:

Физика! К тебе стремлюся,
Наизусть тебя учу:
Я тобою вознедуся,
Перво место получу!
Хоть соскучу, хоть поплачу,
Сидя за громадой книг,
Хоть здоровье потрачу,
Буду первый ученик!

В другой песне, по поводу списка воспитанников, составленного в порядке их успехов и поведения, пелось:

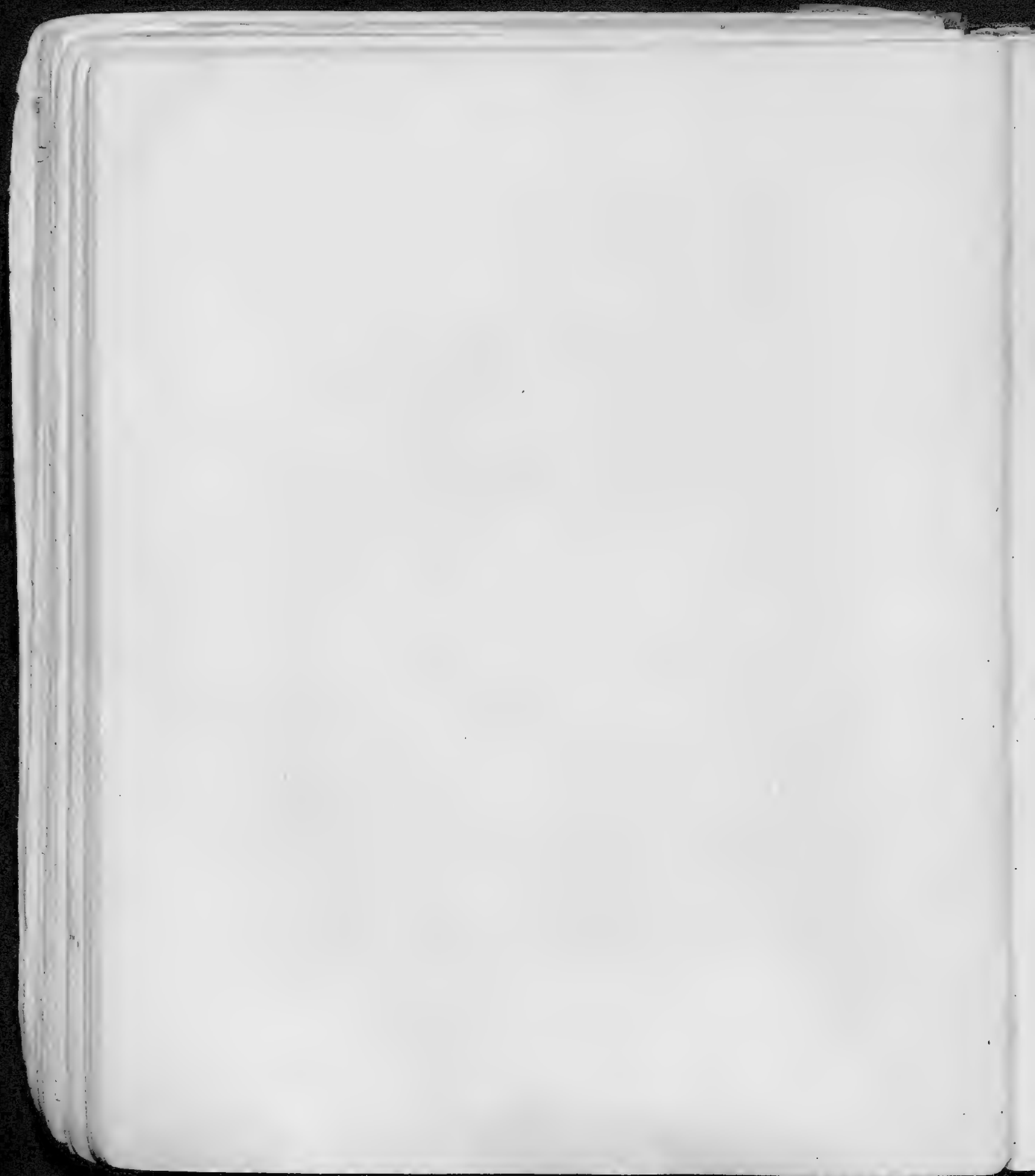
Этот список — сущи бредни!
Кто тут первый, кто последний?
Все пули, все пули!
Ай, люли, люли, люли!
Покровительством Минервы,
Пусть Вольховский будет первый!
Мы ж пули, мы пули!
Ай, люли, люли, люли¹.

Пушкин, случалось, и лично высмеивал благонаравие Вольховского. Начиная свою кампанию против инспектора Пилецкого (см. «М. Пилецкий»), Пушкин говорил за обедом, что «Вольховский инспектора боится, видно, оттого, что боится потерять доброе свое имя, а мы, шалуны, над его увещаниями смеемся!» Однако, при объяснении лицеистов с директором, Вольховский, не могший сам ничего свидетельствовать против инспектора, поддерживал товарищей и убеждал их не отступаться.

Пушкин относился к Вольховскому с симпатией. Сам проповедуя, по крайней мере, в стихах, модное в то время эпикурейство, воспевая вино и любовь как высшие радости жизни, он, как и товарищи, пленялся такою в их среде необычною спартанскою воздержностью и строгостью к себе Вольховского. В «Пирующих студентах» (1814) Пушкин писал:

¹ Стихи играют и искрятся чисто пушкинской «изюминкой»; стоит их сравнить хотя бы с выше приведенными виршами о физике. Шевырев передает такой лицейский анекдот: однажды император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» Пушкин ответил: «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые!»









Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?
На всякий случай изберем,
О, други, президента!
В лапсграду пьяным он нальет
И дунш, и трог душистый.
А вам, спартапцы, поднесат
Воды в стакане чистой.

А в 1825 г. так вспоминал о Вольховском:

Спартапскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Мисервой,
Пушкой опять Вольховский сядет первый!

Вольховский был глубокий брюнет, смуглый, с большим носом и большими, рано выросшими усами.

Кончил он курс первым, с золотой медалью и с занесением его имени на мраморную доску. Был выпущен в гвардию и поступил в генеральный штаб. Все данные говорили за то, что его ждет блестящая дорога крупного военного деятеля. Но в условиях николаевского режима дорога эта оборвалась в самом начале.

Дальнейшее о Вольховском см. в главе «Путешествие в Арзерум».

8. Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ГОРЧАКОВ (1798—1883)

Из семьи знатной, но не богатой. Блистательно выдержал вступительный экзамен в лицей и в продолжение всего учения получал от учителей и надзирателей отзывы самые блистательные: «Один из тех немногих питомцев, кои соединяют все способности в высшей степени... Особенно заметна в нем быстрая понятливость, которая, соединяясь с чрезмерным соревнованием и с каким-то благородно-сильным честолюбием, открывает быстроту разума в нем и некоторые черты гения». «Благородство с благовоспитанностью, ревность к пользе и чести своей, всегдашняя вежливость, усердие ко всякому, дружелюбие, чувствительность с великодушием... Опрятность и порядок царствуют во всех его вещах». Был он исключительной красоты, с быстрою речью и быстрыми движениями; самовлюблен, чванлив и мелочно-злопамятен. Товарищи его не любили. Но Пушкин, не находясь с ним в дружеских отношениях, как-то тянулся к нему; повидимому, его беззавистно привлекал к себе Горчаков как образец всеобщей удачливости, как человек, которому судьба не отказала ни в одном из своих даров. В послании к нему Пушкин писал:

Тебе рукой Фортуны своею
Указан путь и счастливый, и славный.
И нежная краса тебе дана,
И правится блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав...

О довольно близком общении Пушкина с Горчаковым мы имеем несколько свидетельств. В 1814 г. Пушкин написал порнографическую поэму «Монах». Горчаков рассказывает, что, пользуясь своим влиянием на Пушкина, он побудил его уничтожить поэму: взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это недостойно его имени. Сообщение не совсем соответствует действительности: отобрать — отобрал, но не сжег. Недавно поэма, собственноручно писанная Пушкиным, была найдена в бумагах Горчакова и опубликована. Но то обстоятельство, что Горчакову удалось отобрать поэму у Пушкина и похоронить больше чем на сто лет в своем архиве, конечно, свидетельствует о некоторой близости к Пушкину. Прощаясь с Горчаковым перед выпуском, Пушкин писал ему:

В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой...

Горчаков окончил курс с малою золотою медалью (большую получил Вольховский) и поступил на службу в коллегию иностранных дел в Москве. Но, бывая в Петербурге, видался с Пушкиным и в одно из свиданий советовал ему серьезно обратить внимание на карьеру и успехи в свете. Пушкин ответил ему новым посланием:

Пятомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящих наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где, красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг...
Но признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую сильнее...
И ты на миг оставь своих вельмож,
И тесный круг друзей моих умножь,
О, ты, Харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун,
Нопрежнему остряк небогомольный,
Нопрежнему философ и шалуи!

В 1820 г. Горчаков уехал за границу при министре иностранных дел Нессельроде на конгресс в Троппау. За границей он быстро стал

делать карьеру; на него обратил внимание император Александр и как талантливому, избранному чиновнику назначил секретарем посольства в Лондоне. В 1825 г. Горчаков взял отпуск для поправления расстроенного здоровья, лечился в Спа, потом приехал в Россию, посетил в Псковской губернии дядю своего Пещурова. Из Михайловского прискакал повидаться с ним Пушкин. Встретились выключенный из службы, ссыльный коллежский секретарь и — надворный советник в двадцать семь лет, камер-юнкер, кавалер орденов Владимира 4 степени и Анны 2 степени. Пушкин провел у Пещурова целый день и, сидя на постели захворавшего Горчакова, читал ему отрывки из недавно написанного «Бориса Годунова». Благовоспитанному князю резнуло ухо слово «слюни», встретившееся в одной сцене. Он заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена.

— Вычеркни, братец, эти слюни! Ну, к чему они тут?

— А посмотри, у Шекспира и не такие еще выражения попадают, — возразил Пушкин.

— Да, но Шекспир жил не в девятнадцатом веке и говорил языком своего времени, — поучающе сказал князь.

«Пушкин подумал и переделал свою сцену», — рассказывает Горчаков. В действительности Пушкин сцены, конечно, не переделал.

Об этом свидании с Горчаковым Пушкин писал Вяземскому:

«Мы встретились и расстались довольно холодно, — по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, — впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше». Однако в плане художественном, где Пушкин все претворял в красоту и радость, об этом же свидании он вспоминал так:

Ты, Горчаков, счастливцев с первых дней,
Хвала тебе! Фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай, проселочной дорогой,
Мы встретились и братски обнялись.

В этот приезд Горчакова в Россию члены Тайного общества пытались привлечь его в свои ряды, но благомыслящий князь решительно ответил, что благие цели никогда не достигаются тайными происками, а что питомцу лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает идти против августейшего основателя того заведения, которому они всем обязаны. Больше Пушкин с Горчаковым не встре-

чались, и имя Горчакова исчезает из дальнейшей биографии Пушкина.

Горчаков сделал блестящую карьеру. Он имел к концу жизни чин государственного канцлера — высший в России чин; произведен был в «светлейшие» князья — высший титул, доступный человеку без царской крови в жилах; имел такое количество первокласснейших орденов российских и иностранных, что они могли бы уместиться разве на иконостасе. В 1854 г. был назначен посланником в Вену, в 1856 — министром иностранных дел и в течение почти всего царствования Александра II руководил внешней политикой России. Горчаков был ревностным почитателем Бисмарка; на его глазах, при благосклонном невмешательстве России, Пруссия разбила поодиночке сначала Данию, потом Австрию, потом Францию и выросла в могущественную Германскую империю. После тяжелой для России русско-турецкой войны 1877—1878 гг. сам Бисмарк не сомневался, что Россия покончит с восточным вопросом, дав некоторые компенсации Австрии и Англии. Но Горчаков действовал так неумело, так старался показать «бескорыстие» России, что все выгоды от войны достались не России, а другим державам. Между прочим, на одном из самых решительных заседаний Берлинского конгресса дряхлый Горчаков по рассеянности вручил английскому делегату, лорду Биконсфилду, ту географическую карту, на которой, для руководства русской делегации, были отмечены максимальные уступки, на которые она могла в крайнем случае идти. Биконсфилд, конечно, воспользовался случаем и в основу обсуждения положил эту карту. Бисмарк в своих записках жестоко потешается над хвастливым и тщеславным Горчаковым, мпившим себя вершителем судеб европейских народов, и утверждает, что именно он, Бисмарк, отстоял тогда честь России.

9. КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ ДАНЗАС

(1801—1871)

Из дворян курляндской губернии, лютеранин. По единодушным отзывам преподавателей, был ленив, туп, и ни похвалы, ни стыд перед товарищами, ни убеждения писколько на него не действовали. Вместе с Дельвигом Данзас издавал школьный журнал «Лицейский мудрец», где почти вся проза принадлежала ему. Лицейское прозвище Данзаса было «Медведь». В стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин упоминает Данзаса:

Садитесь, как вы сажались там,
Когда места, в тени святого крова,

Отличные предписывало нам...
Пуškai опять Вольховский сядет первым,
Последним — я, иль Брозько, иль Данзас.

По окончании лицея Данзас, как плохо успевавший, был выпущен офицером не в гвардию, а в армию, в инженерный корпус. Началась для него боевая жизнь, в которой он выказал себя очень храбрым и дельным офицером. Участвовал в персидской войне 1827 г., в турецкой 1828—1829 гг. на европейском фронте; в июне 1828 г., в сражении под Бранловым, был тяжело ранен пулею в левое плечо навывлет с раздроблением лопатки; год лечился, потом возвратился на фронт, участвовал в целом ряде сражений. После взятия Адрианополя был уволен в Россию для лечения бранловской раны. В феврале 1829 г. директор лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Данзас рыжий, который, впрочем, уже теперь сделался темно-бурым, недавно получил к своему Владимиру с бантом еще золотую шпагу за храбрость». В 1838—1839 гг. Данзас опять непрерывно участвовал в боевых действиях на черноморском побережье под командою генерала Н. Н. Раевского-младшего. В это время, между прочим, под начальством Данзаса находился поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов.

Знавшие Данзаса рассказывают, что он был отличный боевой офицер, светски-образованный, но крайне ленивый и притворявшийся повесой; был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами, вообще в полном смысле был бонвиван. Н. И. Лорер рассказывает: «Подобной храбрости и хладнокровия, какими обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях. Бывало, со своей подвязанной рукой, стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а он говорит остроты и сыплет каламбуры. Ему кто-то заметил, что напрасно стоять на самом опасном месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, но лень сойти». По мне он был замечательным человеком. Он любил хороший стол и большую часть времени лежал в постели; все его любили. Вот еще один оригинальный поступок его. Когда еще он был поручиком в саперах, его откомандировали в Бендеры, от которых он недалеко стоял со своим батальоном. Вместо Бендер он приехал в Москву, где явился к генерал-губернатору князю Голицыну и на вопрос, куда он едет из Москвы, Данзас отвечал: «Я еду через Москву в Бендеры и прошу ваше сиятельство позволить мне ехать через Петербург». Конечно, князь не согласился и, смеясь, советовал ему лучше ехать через Москву только, так как путь этот будет короче. Во время персидской войны, не помню под какую крепость, генерал Паскевич пожелал узнать ширину рва, и Данзас тотчас же принялся исполнять буквально

приказание начальства. Само собою разумеется, что на смельчака посыпались пули; но напрасно Паскевич громко отменял свое приказание: Данзас опустился в ров, медленно шагами измерил его и принес генералу записку с точным ответом». — «Состоя вечным полковником, — сообщает биограф лицейских товарищей Пушкина Н. А. Гастфрейнд, — Данзас только несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно; хотя его все любили, даже начальники, но хода по службе не давали. Данзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Открытый, прямодушный характер, соединенный с саркастическими взглядами на людей и вещи, не дал ему возможности составить себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места».

После окончания лицея Данзас неоднократно встречался с Пушкиным. В начале двадцатых годов Данзас служил в Бессарабии и видался с Пушкиным в Кишиневе. Летом 1831 г. Пушкин отлучился от молодой жены из Царского села в Петербург и там кутил с Данзасом. Данзас присутствовал на лицейской годовщине 1836 г. — последней, в которой участвовал Пушкин. 27 января 1837 г. Пушкин пригласил Данзаса быть секундантом на его дуэли с Дантесом. Нащокин говорит: «Данзас мог только аккуратнейшим образом измерить шаги для барьера да зорко следить за соблюдением законов дуэли, но не только не сумел бы расстроить ее, но даже обидел бы Пушкина малейшим возражением». После похорон Пушкина Данзас был арестован и предан военному суду за участие в дуэли в качестве секунданта. 16 марта состоялось окончательное постановление суда: «Вменив ему, Данзасу, в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости два месяца и после того обратиться попрежнему на службу».

10. СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

(1799—1857)

Сын генерал-майора. Первоначально учился в московском университетском Благородном пансионе. Кажется, уж в Москве был знаком с Пушкиным. Когда, выдержав экзамен в лицей, принятые ученики в ожидании открытия лицея жили в Петербурге у родственников, Пушкин видался с Ломоносовым и познакомил с ним Пушину. Лицейские

преподаватели дают о Ломоносове очень хорошие отзывы. В этих отзывах перед нами вырисовывается мальчик серьезный, с глубокими умственными запросами. «Любит чтение, но не иначе, как о важных и полезных предметах, и особенно историческое; знакомится и с любопытством прилепляется к тем, которые также рассуждают о чем-нибудь полезном и важном, иначе он склонен к уединению, однако ж без задумчивости и угрюмости». Особенно хорошо отзывается о нем преподаватель истории Кайданов: «Имеет особенные дарования и охоту к историческим наукам. Слушая уроки с великим вниманием и читая лучшие исторические сочинения, оказывает прекрасные успехи. В сочинениях его видны хорошие исторические сведения и здравое рассуждение». Ломоносов вместе с Пушкиным бывал в Царском селе у Карамзиных. Карамзин в 1816 г. писал Вяземскому: «Нас посещают питомцы лицея — поэт Пушкин, Ломоносов и смешат своим добрым простосердечием». Ломоносов был знаком и с Вяземским. Впоследствии Вяземский сообщал, что Ломоносов, до поступления в лицей, был его товарищем по пансиону в Петербурге. Здесь странность: как мог 9—10-летний Ломоносов быть товарищем 16—17-летнему Вяземскому? Во всяком случае, они были давние знакомцы. Пушкин передавал Вяземскому из лицея поклоны Ломоносова, Ломоносов делал приписки в письмах Пушкина к Вяземскому, писал ему и отдельно. Знал Ломоносова и Василий Львович Пушкин, в одном из писем к племяннику в 1816 г. он писал: «...скажи Ломоносову, что не похвально забывать своих приятелей, он написал Вяземскому предлинное письмо, а мне и поклона нет. Скажи однако, что хотя я и пеняю ему, но люблю его душевно». Видимо, Ломоносов был не совсем ординарен, если с семнадцатилетним мальчиком общались и вели переписку взрослые, известные писатели. Касательно отношений между А. Пушкиным и Ломоносовым Вяземский сообщает: «Пушкин был не особенно близок к Ломоносову, — может быть, напротив. Ломоносов и тут был уже консерватором, а Пушкин в оппозиции против Энгельгардта и много еще кое-кого и кое-чего. Но как-то фактически сблизили их и я, и дом Карамзиных, в котором летом бывали часто и Пушкин, и Ломоносов, особенно в те времена, когда наезжал я в Царское село. Холмогорского в Ломоносове ничего не было, т. е. литературного». Корф характеризует Ломоносова так: «...человек способный и умный, но еще более хитрый и пронырливый: в лице по этим свойствам мы называли его «Кротом». Отзыв желчного и мало беспристрастного Корфа стоит одиноко среди отзывов о Ломоносове совершенно противоположного свойства. Вяземский говорит: «...он был добрый малый и вообще всеми любим». «Прекрасный малый», — отзывается К. Я. Булгаков. В позднейшей переписке лицейских товарищей, где о многих

встречаются очень ядовитые отзывы, никто не упоминает о пронырстве Ломоносова.

Ломоносов окончил курс с четвертою серебряною медалью и поступил в коллегию иностранных дел. Всю службу он прошел на дипломатическом поприще. Был секретарем нашего американского посольства, потом французского, долго состоял бразильским и португальским послом, в 1853 г. был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при нидерландском дворе. Ломоносов прекрасно говорил по-португальски; был большой гастроном, обеды его славились: у него был от папы римского повар-португалец, которому он платил большие деньги; был знаток и любитель животных. Пушкин не прерывал отношений с Ломоносовым и по выходе из лицея; через него он послал в Париж А. И. Тургеневу своего «Евгения Онегина».

11. МИХАИЛ ЛУКЪЯНОВИЧ ЯКОВЛЕВ (1798—1868)

Был большой весельчак, любил передразнивать и высмеивать окружающих, балагурить и паясничать. Его лицейские клички — «Паяц» и «Комедиант». Сочинял романсы, хорошо пел. Писал басни. В стихотворении «Пирующие студенты» (1814) Пушкин так обращается к Яковлеву:

А ты, который с детских лет
Одним весельем дышишь!
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь!
С тобой тасуюсь без чинов.
Люблю тебя душою...

По окончании лицея Яковлев поступил на службу в министерство юстиции в Москве, через несколько лет перевелся в Петербург, служил во втором отделении собственной его величества канцелярии (бывш. комиссия составления законов), состоял директором типографии этого отделения. Чиновник, по всему судя, был усердный и исполнительный, неутомительно получал чины, ордена и денежные награды, кончил жизнь тайным советником и сенатором. И после окончания лицея остался прежним весельчаком и «паясом», его появление всегда оживляло общество. Он был постоянным посетителем вечеров Дельвига и М. И. Глинки, умел показывать фокусы, был чревовещателем и каждый раз показывал что-нибудь новенькое. Но кроме того прекрасно пел, обладал хорошим баритоном. Был композитором, сочинил больше двадцати романсов, пре-

имущественно на слова Дельвига и Пушкина. Широко был известен один из романсов, переложенный на два голоса Глингою: «Когда, душа, просилась ты...»

Яковлев был хранителем лицейских традиций, усердным устройте-лем празднований лицейских годовщины, архив первого курса хранился у него. Со времени получения при типографии казенной квартиры Яковлев устраивал в ней лицейские сходки. Его называли «лицейским старостой», а квартиру его — «лицейским подворьем».

12. АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ ИЛЛИЧЕВСКИЙ (1798—1837)

Сын томского губернатора. В начале курса по легкости писать стихи превосходил всех своих товарищей и считался в их кружке первым поэтом. Они называли его Державиным, а Пушкина Дмитриевым, и разделились на две партии, спорившие о том, кому из них отдать преимущество. Особенно силен был Илличевский в эпиграммах, многие из них впоследствии приписывались Пушкину. Он превосходно также рисо-вал карикатуры. Лицейские журналы заполнялись эпиграммами и карикатурами Илличевского. В «Пирующих студентах» (1814) Пушкин обра-щается к нему так:

Остряк любезный! По рукам!
Полней бокал досута!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!

По окончании лицея Илличевский служил в Сибири в почтовом ведомстве, в 1821 г. переехал в Петербург, служил в министерстве фи-нансов, дослужился до начальника отделения. Печататься начал с 1814 г., печатался и позднее, был постоянным посетителем вечеров Дельвига, в «Северных цветах» находим его стихи; в 1827 г. выпустил сборник своих стихов под заглавием «Опыты в антологическом роде». Стихи серы, и с оправданной скромностью книжку свою автор закло-чил стихами:

Я для забавы шел, и вздорными стихами
Не выпрошу у славы ни листка,
Пройду для зависти пестрыми шагами
И строгой критики не убоюсь свистка:
Стрела, разящая орла под облаками,
Шадит пчелу и мотылька.

По наружности Илличевский, как выражается бывший лицейский директор Энгельгардт, был, «подобно избушке на куриных ножках, вер-

хом толст, а низом щедровит». Он был остроумен, приятный собеседник, но вспыльчив, задорен и сварлив; подозрительный и себялюбивый характер удалял его от всякого сближения.

13. СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ ЕСАКОВ (1799—1831)

Один из лучших учеников курса. Красивый человек. Надзиратель Мартын Пилецкий в 1812 г. писал о нем: «...примечательна следующая добродетельная черта в его характере: из любви к слабым товарищам своим, из единой любви к пользе их, он часто до усталости занимается с ними, особенно повторением их уроков, беседуя с каждым с необыкновенною кротостью, принаравливаясь к его праву, с намерением, чтобы исправить его ошибку или рассеять его неудовольствие. Сему доброму примеру он имеет уже последователей между своими товарищами». Есаков принимал деятельное участие в лицейских журналах (прозаическими статьями). Будучи на последнем курсе, он усердно ухаживал за хорошенькими дочерьми барона Вельо, племянницами лицейского учителя музыки Теппера де-Фергюсона. Они выходили в парк на прогулку с гувернанткою Шредер; часто случалось, что Есаков ждал на морозе целые часы, а прогулка откладывалась. Раз, на зимней прогулке лицейстов в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, Пушкин обратился к Есакову с таким четырехстишием:

И останешься с вопросом
На берегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?

Своими ухаживаниями за девицами Вельо Есаков хватал очень высоко. Одна из сестер, Софья, была в это время наложницей самого императора Александра; свидания ее с императором происходили в Баболовском дворце в глубине царскосельского парка. Это было известно всем лицеистам. Пушкин написал стихотворение «К Баболовскому дворцу» с подзаголовком: «баронессе Софье Вельо»:

Прекрасная! Пускай восторгом насладится
В твоих объятиях российский полубог!
Что с участью твоей сравнится?
Всех мир у ног его, — здесь у твоих он ног!

В 1819 г. А. Тургенев писал кн. Вяземскому: «...вообрази себе юношу, который шесть лет живет в виду дворца, и после обвиняй Пушкина

за две его болезни не русского имени». Любовница Александра впоследствии вышла замуж за генерала Ребиндера.

Есаков окончил курс с серебряною медалью и поступил в гвардейскую конную артиллерию. Служба его проходила блестяще, в тридцать лет он был полковником, увешанным орденами. Но в польскую кампанию (1831) Есаков потерял в бою с поляками четыре пушки и застрелился.

14. ПЕТР ФЕДОРОВИЧ САВРАСОВ

(1799—1830)

Сын «кавалера» — наставника-дядьки при молодых великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Учителя и надзиратели неизменно отмечали его «отличное добронравие», хорошие способности и прилежание. Был ярко-рыж, долгонос, с открытым лицом. Окончил курс с правом на серебряную медаль и поступил в гвардейскую артиллерию. Дослужился до полковника. В 1830 г. умер от чахотки.

15. Барон ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ГРЕВЕНИЦ

(1798—1847)

Учителями и надзирателями аттестовался как даровитый, прилежный и благонравный ученик. Ему Пушкин посвятил свое французское стихотворение «Mon portrait». По окончании лицея поступил в коллегию иностранных дел, служил в разных должностях в департаменте внешних сношений министерства иностранных дел, дослужился до действительного статского советника. По отзывам лицейских товарищей, был человек с дарованиями, очень образованный — «живая энциклопедия», отличался скромным и тихим нравом, был большой чудак, оригинал и нелюдим. На празднования лицейских годовщин он никогда не являлся, и только в 1836 г. Мясоедову удалось вытащить его на товарищеский праздник.

16. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ЮДИН

(1798—1852)

Сын действительного статского советника. Дарованиями не блистал, но отличался большим прилежанием и трудолюбием. Любил уединение, в играх товарищей не участвовал, мало прогуливался. В лицейских журналах участия не принимал. Корф отзывался о нем: «Человек ори-

гинальный, с острым языком и колкий насмешник». Пушкин посвятил Юдину длинное послание: «Ты хочешь, милый друг, узнать мои мечты, желанья, цели» (1815). В послании Пушкин сообщает, что его мечта — скромно жить с «природной простотой» в Захарове, подмосковном имении его бабушки, «вдали столиц, забот и грома». Но вот под окнами его лицейской комнаты проскакал гусар —

И где вы мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком...

и т. д.

Потом, раненый, на костылях, он опять в мирном своем захаровском приюте. Любимая девушка, тайные свидания, ночные катанья в санях...

В мечтах все радости земные.
Судьбы всемогущее поэт!

По окончании лицея Юдин поступил в коллегию иностранных дел и всю жизнь служил в министерстве иностранных дел. В 1829 г. Яковлев писал о нем Вольховскому: «Юдина, чтобы видеть, надобно искать в Бюргерклубе, где, за стаканом пива, с цыгаркою во рту, он в табачном дыму декламирует Шиллера». Попрежнему был он нелюдом, празднований лицейских годовщин не посещал; выбрался только на празднование двадцатипятилетия лицея в 1836 г., которое посетил и его друг, такой же нелюдимый Гревениц. С Гревеницем вообще он был неразлучен. Вместе они поступили в канцелярию, вместе получали все чины и ордена, отправляли одинаковые должности, обоих министр Нессельроде иронически называл «столпами министерства». Яковлев в 1826 г. писал Вольховскому, сообщая новости о товарищах: «Юдин — Гревениц, Гревениц — Юдин, und weiter nichts!»

17. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ КОМОВСКИЙ (1798—1880).

Начальство писало о нем: «Благонравен, скромен, крайне ревнителен к пользе своей, послушен без прекословия, любит чистоту и порядок, весьма бережлив». «Прилежанием своим вознаграждает недостаток великих дарований». Есть такие самолюбиво-навязчивые люди, — чорт их тянет всех заирать, раздражать, смертельно надоедать, чувствовать,

как они всем противны, и все-таки не отставать. Таков был Комовский, и прозвище ему было «Смола». Учитель рисования Чириков очень любил Комовского. Зашел к нему однажды Комовский в комнату, начал шутить, потом стал мешать ему рисовать. Чириков просил его уговориться, но Комовский продолжал приставать. Чириков, наконец, рассердился, велел ему уйти и никогда больше не приходить. Но Комовский не ушел. Битых три часа он просидел еще у Чирикова, всячески старался ему досадить, так что наконец сам почувствовал к себе омерзение, с досадою хлопнул дверью и ушел. Если кто из товарищей обращался к Комовскому за самым даже мелким одолжением, Комовский недовольно хмурился, отвечал, что ему некогда, что у него нет просимой вещи; и только когда товарищ уже уходил, Комовскому становилось совестно, он возвращал товарища, давал просимую вещь, но с такими условиями и нотациями, что приятнее было бы ничего от него не получать. Товарищи его не любили и не уважали. Это не мешало Комовскому нестерпимо надоедать всем нотациями и моральными поучениями. Таким он, повидимому, остался и на всю жизнь. До нас дошло письмо Кюхельбекера к Комовскому от 1823 г., где Кюхельбекер пишет: «Комовский! Чего ты хочешь от меня? Быть правым? Хорошо, если это тебя утешает, будь прав!.. Бесчеловечно несчастного упрекать его несчастием; но ты оказал мне услуги, говорят, что ты любишь меня. И ты не понял, что значило говорить со мною в моих обстоятельствах твоим языком. Заклинаю тебя, не заставь меня бояться самих услуг твоих!» Когда попытки Комовского морально исправлять товарищей не давали результата, тогда, как сам Комовский писал в дневнике, — «тогда прибегал я иногда к помощи начальства, и за сие называли меня ябедником, фискалом и проч. Но пустые слова сии нимало меня не огорчали, поелику я делал сие единственно для их собственной пользы и вместе для общей; ибо худое поведение некоторых, как некая язва, заражало и прочие, прежде невинные сердца». Еще прозвания Комовскому были: «Лиса» и «Лисичка-проповедница». Комовский любил всякие гимнастические упражнения, был проворен, ловок, охотно задирал силача-товарища Брoglio и вступал с ним в единоборство. Об этом вспомнил Пушкин в стихах, предназначавшихся для «Гаврилады»:

Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой?
Граф Брoglio был отважнее, опытнее,
Комовский же — проворнее, хитрее.
Не скоро мог решиться жаркий бой.
Где вы, лета забавы молодой?

Я. К. Грот получил эти стихи от Комовского с такою припискою: «...стихи эти доставлены мне от служившего при генерале Инзове штаб-офицера Алексева, на квартире коего жил одно время наш поэт во время ссылки на юг». П. А. Ефремов высказал твердую уверенность, что последние четыре стиха отрывка сочинены самим Комовским, который желал восполнить отсутствие своей фамилии в стихах Пушкина. Можно только изумляться, что Ефремов, всю жизнь свою прокорпёвшивший над Пушкиным, не почувствовал пушкинской легкости и простоты приводимых стихов, которых никоним образом не мог бы сочинить литературно совершенно бездарный Комовский. Вполне понятно, почему Пушкин не ввел четырехстишия с упоминанием своих товарищей в текст нелегальной своей поэмы. Но если мы вчитаемся в соответственное место «Гавририады», то ясно ощутим пропуск, безупречно заполняемый четырехстишием, яко бы сочиненным Комовским. За первыми четырьмя стихами (в несколько измененной редакции) у Пушкина следует:

Усталые, забыв и брань, и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь; буян широкоплечий,
Вотще кричат с увертливым врагом.

Так ангелы боролись меж собой: широкоплечий буян с увертливым врагом, как буян Броглио с проворным Комовским. «Проворство» Комовского отмечается и в аттестациях надзирателей. И «лиса»-Комовский любил специально сцепляться с Броглио. В лицейских «национальных песнях»:

Когда Лиса
Глядит скося
И графа задирает...

Мы вправе заключить, что спорное четырехстишие — не сочинение Комовского и не пушкинский «вариант» к поэме, как думает Б. В. Томашевский, а пропуск, сознательно сделанный Пушкиным из посторонних соображений и долженствующий быть введенным в текст «Гавририады».

По окончании лицея Комовский поступил в департамент народного просвещения, потом был правителем канцелярии при Обществе благородных девиц. В 1829 г. Яковлев писал Вольховскому: «Комовский — надворный советник, Анны 2 ст. и Владимира 4 ст. кавалер. На всех публичных гуляниях является в светлогороховом сертуке с орденскою лентою в петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на казенной водозной лошади; впрочем, всегда добрый и услужливый товарищ». Комовский дослужился до помощника статс-секретаря государственного совета и вышел в отставку с чином действительного статского советника

18. Барон МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ КОРФ
(1800—1876)

Сын курляндского помещика, сенатора; мать русская; дети, по тогдашним законам, были православные. Семья была патриархальная и благочестивая; в ней царило полное согласие, радушное гостеприимство, ласковость ко всем; жили замкнуто: отец хворал, мать не любила выездов и шумного общества. Мальчик был тихий и скромный. В лицее он выдавался своим благонравием. Отзывы преподавателей: «Имеет счастливые способности и прилежание, поддерживаемое честолюбием и чувством собственной пользы». «Никогда нельзя ему сделать ни малейшего упрека». «В обращении столь нежен и благороден, что во время нахождения его в лицее ни разу не провинился; но осторожность и боязливость препятствуют ему быть совершенно открытым и свободным». Больше всего Корф дружил с благонравным Комовским, «лисишкой-проповедницей». Комовский, старше Корфа двумя годами, читал ему правоучения и старался оберегать от развращающего влияния, которое могли бы оказать на мальчика товарищи. Даже и благонравному Корфу до того надоели эти увещания, что он, — как с горестью писал Комовский в своем дневнике, — «пренебрегши сухими, но справедливыми увещаниями истинно любящего друга, не объявив мне никакой причины, оставил меня оплакивать горькую мою участь». В лицейских журналах Корф не принимал никакого участия, хотя, как показал впоследствии, умел писать хорошо. От озорных и непочтительных к начальству товарищей, как Пушкин, Кюхельбекер, Илличевский и др., держался вдалеке. Кличка ему была — «Мордан-дьячок», за его пристрастие к чтению церковных книг. В лицейских «национальных песнях» о нем пелось:

Мордан-дьячок
Псалма стишок
Горлашит поросенком.

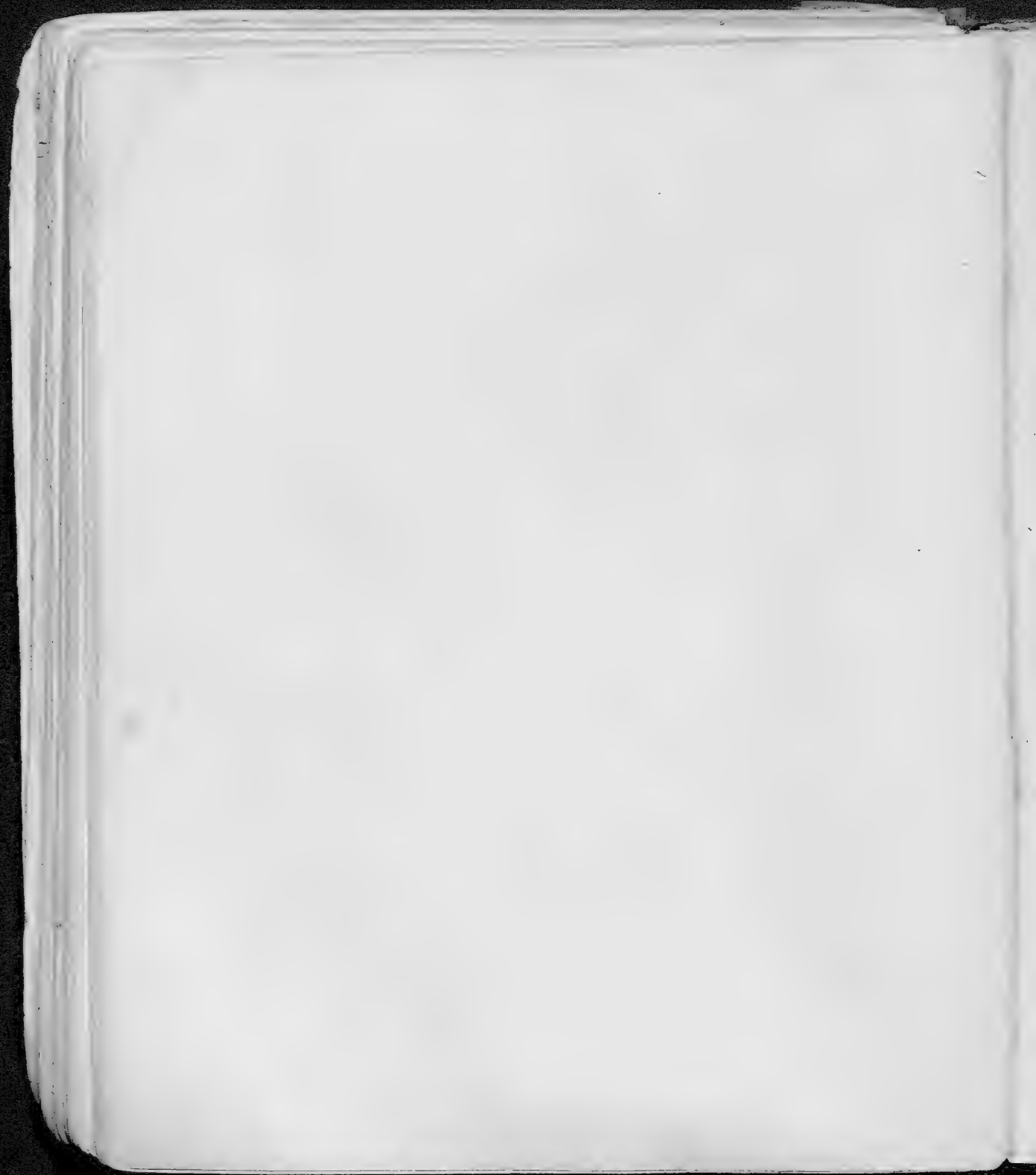
Пушкин был к Корфу глубоко равнодушен и ни одним стихом не обмолвился об нем ни в лицее, ни впоследствии.

Корф окончил курс с правом на серебряную медаль, поступил в министерство юстиции и сразу стал делать самую блестящую карьеру. Уже через полгода по поступлении его на службу директор Энгельгардт писал Матюшкину: «Корф в люди пошел, он великий фаворит министра юстиции князя Лобанова». В отдаленной части Петербурга, Коломне, на Фонтанке близ Калинкина моста стоял небольшой двухэтажный дом. Наверху, в безалаберной и пустопорожней родительской своей семье жил Пушкин; внизу, в патриархальной и благочестивой своей семье

родительской жил Корф. Пушкин упоенно крутился в вихре петербургской жизни, танцевал на балах, влюблялся, кутил, играл в карты, проводил «набожные» ночи с молодыми монашенками Цитеры, а в промежутках напряженно творил. Корф усердно служил, по вечерам работал дома, изредка посещал знакомые семейные дома и брезгливо наблюдал беспутную жизнь товарища. Впоследствии он так писал об ней: «В свете Пушкин предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. С таким образом жизни естественно сопрягались и частые гнусные болезни. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств... Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата». Хотя жили Корф и Пушкин в одном доме, но виделись только случайно. Однажды между ними произошло столкновение. Камердинер Пушкина в пьяном виде поссорился в передней Корфов с камердинером Корфа. На шум вышел Корф и побил слугу Пушкина. Пушкин возмущился и письмом вызвал Корфа на дуэль. Корф ответил таким письмом: «Не принимаю твоего вызова, не потому, что ты Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Корф быстро поднимался по лестнице служебных успехов. Он проделал колоссальную работу в комиссии по составлению полного собрания законов и свода законов, Сперанский считал его лучшим своим чиновником; Корф лично стал известен императору. В 1831 г. он был уже управляющим делами комитета министров, камергером, имел станиславскую звезду, получал 24 тыс. руб. жалования. Он переехал в большую и дорогую квартиру близ Зимнего дворца, стал выезжать в большой свет. «Корф в гору да в гору», — то и дело писал директор Энгельгардт своим бывшим воспитанникам. С Пушкиным Корф продолжал иногда встречаться — на празднованиях лицейских годовщин, которые Корф посещал довольно аккуратно, встречались, вероятно, и при дворе, один как камергер, другой как камер-юнкер. В 1833 г. Корф обращался к Пушкину с просьбою доставить литературную работу одному своему знакомому, на что Пушкин ответил: «Радуюсь, что на твое дружеское письмо мог ответить удовлетворительно и исполнить твое приказание». В 1836 г., узнав от Пушкина, что он работает над историей Петра Великого, Корф любезно прислал ему составленный им когда-то каталог иностранных сочинений о России, касающихся эпохи Петра. «Вчерашняя посылка твоя, — писал ему Пушкин, — мне драгоценна во всех отношениях и остается у меня памятником. Право, жалею, что го-





сударственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна. Употребляю всевозможные старания, дабы их достать». В последний раз товарищи виделись за несколько дней до смерти Пушкина. Корф был тяжело болен, и Пушкин приехал его проводить. Корф писал Вольховскому: «...кто видел его, за несколько дней перед смертью, у моей постели, конечно, не подумал бы, что он, в цвете сил и здоровья, ляжет в могилу раньше меня».

В 1848 г., когда правительство, напуганное французской февральской революцией, учредило знаменитый бутурлинский комитет, совершенно удушивший русскую печать, Корф был одним из трех членов этого комитета. В 1849 г. он был назначен директором петербургской Публичной библиотеки, очень много сделал для ее процветания. Занимал впоследствии другие высокие государственные должности. После восшествия на престол Александра II написал книгу «О восшествии на престол имп. Николая I», изданную по высочайшему повелению, где описывал декабрьское восстание. О ней с отвращением писал Герцен в «Полярной звезде»: «...книга, отталкивающая по своему тяжелому, татарскому раболепию, по своему канцелярскому подобострастию и по своей уничтоженной лести». В 1872 г. Корф был возведен в графское достоинство.

Корф оставил воспоминания о Пушкине, носящие злобно-недоброжелательный, нередко совершенно клеветнический характер.

19. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАСЛОВ

(1796—1856)

Сын майора. Отзывы начальства очень одобрительные; отмечают его хорошие дарования, благонравие, делающее излишним надзор, скромность, «особенно покорность, степенность и рассудительность». Впрочем, однажды нарушил обычную свою покорность — во время столкновения воспитанников с инспектором Мартыном Пилецким. Надзиратель Илья Пилецкий доносил: «Маслов в течение целого месяца вел себя весьма скромно и благопристойно с свойственной ему осторожностью, но 21 числа узнал я от одного воспитанника, что он весьма деятельно участвовал в сделанном противу г. инспектора заговоре. Что тем более подтверждается 23-м числом, когда выговаривали воспитанники г. инспектору свои обиды, то он, не имея, что сказать, ходил кругом их и потихоньку говорил: «Ну-те, ребята, не робейте, дружнее!» Сие я сам слышал. На запрос же г. директора, что он о сем деле думает, паки принял свою

скромность, утверждая вместе с некоторыми, что, видно, г. инспектор виноват, когда другие товарищи жалуются» (см. «Мартын Пилецкий»). Маслов принимал участие в лицейских журналах. Корф сообщает: «В лицее мы его называли по перу и по дару слова нашим Карамзинным». Был он одним из самых старших воспитанников, выделялся высоким ростом; в одной лицейской сатире о нем говорится:

А там высокий и рогатый,
Как башня, Маслов восстает.

«Рогатый», — вероятно, оттого, что любил усердно помадиться; это отмечалось и в лицейской «национальной песне»:

Наш Карамзин
Из ста корзин
Помаду смазать хочет.

И уже в 1820 г. Энгельгардт писал Матюшкину: «Маслов все еще маслит волосы». С Пушкиным отношения у Маслова были далекие, Пушкин нигде о нем не упоминает.

Маслов окончил курс с первою серебряною медалью и поступил в государственную канцелярию. Повидимому, был в каких-то сношениях с декабристами. На одном собрании у Ник. Тургенева он читал свою статью о статистике для предполагавшегося к изданию политического журнала. Навряд ли, однако, связи эти были серьезные. В «Алфавите декабристов», куда попали все лица, даже очистившиеся при допросах от всяких подозрений, мы фамилии Маслова не встречаем. А по темпераменту он никак уж не походил на заговорщика. «Покорность», отмеченная лицейским начальством, продолжала быть его отличительным свойством. Покидая лицей, он записал в альбом директора Энгельгардта: «Находясь под вашим начальством, я уверился, что повиновение и должность (повидимому, исполнение долга) могут быть несравненно приятнее самой независимости». А в 1841 г. Яковлев писал Вольховскому: «Мусье Маслов Маслависти выдерживает свой прежний характер, т. е. политичное обращение все то же, особенно в отношении к его начальнику-товарищу». Начальник-товарищ — барон М. А. Корф, под начальство которого, по его приглашению, Маслов перешел на службу в государственный совет. Покровительствуемый Корфом, Маслов сделал блестящую карьеру, был статс-секретарем в одном из департаментов государственного совета и умер в чине действительного тайного советника. Он любил хорошо покушать и был страстный игрок в преферанс: мог всю ночь напролет играть по самой маленькой, так что знакомые удивлялись, как мог он, при своих служебных занятиях, выдерживать такой образ жизни.

20. АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРНИЛОВ
(1801—1856)

Сын действительного статского советника, сенатора. При поступлении в лицей с ним случилась смешная история. 19 октября 1811 г. произошло торжественное открытие лицея в присутствии царских особ. Воспитанников после торжества повели в столовую обедать, а царская фамилия пошла осматривать заведение. Когда высокие гости вошли в столовую, воспитанники усердно трудились над супом с пирожками. Мать Александра I, императрица Мария Федоровна, подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила:

— Карош суп?

Корнилов растерялся и медвежонком ответил:

— Oui, monsieur!

Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая больше вопросов, а Корнилов тотчас попал на зубок к товарищам, и его долго преследовала кличка «monsieur».

Был он один из самых молодых учеников курса, полный бутуз с большой головой, добродушный, очень словоохотливый, остроумный. Кличка ему почему-то была «Сибиряк». Корф о нем пишет: «Светлая голова и хорошие дарования. В лицее он ленился и притом вышел оттуда чрезвычайно молод; но после сам окончил свое образование и сделался человеком очень нужным и полезным».

По окончании лицея Корнилов поступил в гвардию. Был арестован по подозрению в прикосновенности к декабристам, но освобожден без последствий. В 1828 г., при штурме Варны, был легко ранен в нос и контужен в живот. Через четыре года перешел на штатскую службу с чином действительного статского советника. Был киевским губернатором, потом тамбовским и вятским. «О нем слава отличная», — писал Энгельгардт Матюшкину. В Вятке в то время жил ссыльный Герцен; он с теплым чувством отзывался о Корнилове, называет его благородным человеком и описывает так: «Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет около пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычайной грамматической правильностью, пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своею излишностью затемнить простейший предмет. Он покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда. Он был умен, но ум его как-то светил, а не грел. К тому же он был страшный формалист, — формалист не приказный, а как бы

это выразить?.. Его формализм был второй степени, но столько же скучный, как и все прочие».

О лице Корнилов всегда вспоминал с большим восторгом, так что одна дама сказала: «Если бы у меня был сын, я не была бы спокойна, пока не знала бы, что он принят в лицей».

21. АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ТЫРКОВ

(1799—1843)

Сын капитана. Очень неспособный. Говорил несвязно и сбивчиво, был неловок, застенчив и молчалив. Ходил как-то бочком, бочком даже танцевал; постоянно употреблял выражение «ma foi!» Прозвание ему было дано «Кирпичный брус» за коренастое телосложение и смугло-бурый цвет курносого лица. Еще прозвища его: «Курносый кеп», «курнофенус», «тырковиус». Несмотря на свою неодаренность и молчаливость, Тырков как-то умел объединять вокруг себя товарищей, и в ряде лицейских стихотворений отмечается эта его способность:

Здесь над паясами главою
Поставлен без царя Тырков,
Являет всем пример собою,
И у него паясам кров.

Или:

Паясы! Тыркус, Брус кирпичный,
Над вами сделан головой.
За ним весь штаб его отличный...

И в штабе поименовываются Яковлев, Илличевский, Маслов и даже Вольховский.

Из лицея Тырков был выпущен в конно-егерский армейский полк, но уже в 1822 г. вышел в отставку штаб-ротмистром. Летом хозяйничал в новгородской своей деревне, зимою приезжал в Петербург с большим обозом мерзлых гусей и другой деревенской снеди и, молча, угощал приятелей хорошими обедами и винами. Первое время лицейские годовщины справлялись на его квартире. Дошел до нас протокол годовщины 1828 г., писанный рукою Пушкина: «Собрались на пеленнице скотобратца курнофенуса Тыркова (по прозвищу кирпичного бруса) восемь человек скотобратцев...» В описании, кто что делал на празднике, о Тыркове сказано: «Тырковиус безмолвствовал».

Под конец жизни Тырков сошел с ума, сидел, запершись в комнате, вырывал бумажки и пускал их по ветру.

22. Граф СИЛЬВЕРИЙ ФРАНЦЕВИЧ БРОГЛИО

шевалье де-Касальборгоне

(Род. в 1799 г. — ум. в 20-х гг.)

Из очень знатного, но обедневшего сардинского патрицианского рода. Отец его после французской и пьемонтской революции приехал в Россию и поступил на русскую военную службу. Фамилия по-русски почему-то писалась «Броглио», хотя по выговору следовало бы «Брольо». Мальчик способностями не блистал. Неизменные о нем отзывы преподавателей: «весьма ограниченных дарований», «слабая память» и т. п. На вопросы отвечал быстро, не задумываясь, и всегда невпопад. Упреками и пасмешками с ним ничего нельзя было сделать, но на ласковые увещания был он очень отзывчив. Числился одним из самых последних учеников. Пушкин в стихотворении «19 октября 1825 г.»:

Пуškai опять Вольховский сядет первый,
Последним я, иль Броглио, иль Данзас.

В шалостях и озорстве Броглио был зато везде первым. Он, во главе буйной ватаги товарищей, делал набеги на царский фруктовый сад, они снимали через забор наливные яблоки и колотили садовников. Какие-то озорные дела числились за Броглио и на птичьем дворе. В «Пирующих студентах» Пушкин обращается к нему так:

И ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса, —
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее — завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенный стакан:
На все благословляю!

Был он косоглаз и левша. Носил на груди мальтийский орден, на который почему-то имел права.

По окончании лицея Броглио уехал на родину в Пьемонт и там поступил на военную службу. Участвовал в революционном восстании против пьемонтского короля, был лишен чинов и орденов и изгнан из пределов сардинского королевства. В двадцатых годах сложил голову в Греции в борьбе за освобождение греков; впрочем, последнее, повидимому, неверно: кажется, это был другой граф Брольо.

23. ФЕДОР ХРИСТИАНОВИЧ СТЕВЕН

(1797—1851)

Швед из Финляндии, сын управляющего таможеню в гор. Фридрихсгаме Выборгской губернии. Имел, по отзыву лицейского начальства, «тихие способности, едва приметные». Был мальчик болезненный, молчаливый и скромный, русским языком владел плохо. Кличка ему была — «Швед». Был впоследствии выборгским губернатором и товарищем министра статс-секретариата великого княжества Финляндского. В административной своей деятельности, как и в жизни, был пассивен и бесцветен.

24. АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ МАРТЫНОВ

(1801—1850)

Сын директора департамента министерства народного просвещения, переводчика греческих классиков И. И. Мартынова. Был один из самых молодых воспитанников курса. Очень степенный, невозмутимо-равнодушный. В науках не блистал ни умом, ни способностями, но выказывал склонность к гимнастике и хорошо рисовал. Участвовал в лицейских журналах — повидимому, как рисовальщик. Его упоминает Пушкин в своей поэме «Монах» (1814):

Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плести, пустился.
Мартынов пусть пленяет кистью нас,
А я — я вновь взмолился на Парнас.

В списке семнадцати воспитанников, выпущенных из лицея на гражданскую службу, Мартынов помещен по успехам последним. По окончании лицея служил в департаменте министерства народного просвещения, дослужился до начальника отделения и статского советника. С товарищами по лицей не видался. Яковлев в 1835 г. писал Вольховскому: «Мартынов трудится с утра до вечера. Ужасно исхудал. Сидит дома и не видится даже с лиценстами». Впрочем, 19 октября 1836 г. он посетил празднование двадцатипятилетней годовщины основания лицея. Этот праздник был особенно многолюден, его посетили и некоторые другие товарищи, обыкновенно не бывавшие на празднованиях лицейских годовщин, — как Гревениц и Юдин. На годовщине этой, между прочим, в последний раз перед смертью присутствовал Пушкин.

25. АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ БАКУНИН

(1799—1862)

Сын действительного камергера. Средних способностей, был добродушен, словоохотлив, смешлив и жив, как ртуть. Мать его постоянно жила в Царском селе, шпионила и строго следила за чтением воспитанников, охраняя нравственность своего, впрочем, совсем не целомудренного сына, и о замеченных непорядках жаловалась начальству.

По окончании лицея Бакунин несколько лет служил в гвардии, потом хозяйничал в своих деревнях. Впоследствии был новгородским вице-губернатором, вице-директором одного из департаментов государственных имуществ и тверским губернатором.

Вместе с матерью лицеиста Бакунина в Царском селе жила его старшая сестра, —

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА БАКУНИНА

(1795—1869)

Фрейлина. «Первую платоническую, истинно поэтическую любовь возбудила в Пушкине Бакунина, — рассказывает Комовский. — Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин описал ее прелести в стихотворении «К живописцу», которое положено было на ноты лицейским же товарищем его Яковлевым и постоянно пето до самого выхода из заведения».

29 ноября 1815 г. Пушкин писал в дневнике:

Итак, я счастлив был, так, я наслаждался,
Отрадой тихой, восторгом упивался,
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокруг меня угрюмой скуки тень.

«Я счастлив был... нет, я вчера не был счастлив, поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу, ее невиднo было! Наконец я потерял надежду, вдруг печально встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!..

Он пел любовь, но был печален глас.

Увы, он знал любви одну лишь муку!

(Жуковский)

«Как она мила была! как черное платье пристало к милой Баку-
ниной!

«Но я не видел ее восемнадцать часов, ах!

«Какое положение, какая мука! Но я был счастлив пять минут».

В строфе, не вошедшей в окончательный текст «Евгения Онегина»,
Пушкин впоследствии так вспоминал эту любовь:

Когда в забвении перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух,
В те дни... В те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безмятежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал...

Это была первая робкая и стыдливая юношеская любовь — с «без-
мятежной тоской» с «счастьем тайных мук», с радостью на
долгие дни от мимолетной встречи или приветливой улыбки. Любовь
эта отразилась в целом ряде лицейских стихотворений Пушкина, —
отразилась еще в условных, подражательно-романтических тонах, сильно
преувеличивавших подлинные чувства:

Перед собой одну печаль я вижу:
Мне скучен мир, мне страшен дневный свет,
Иду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак: я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.
Опали вы, листы вчерашней розы,
Не зацвели до завтрашних лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы, — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.

Посидел с милой девушкой в беседке, —

Здесь ею счастлив был я раз
В восторге сладостном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту!

Получил от нее незначущее письмецо, —

В нем радости мой; когда померкну я,
Пусть оно тужи бесчувственной коснется;
Быть может, милые друзья,
Быть может, сердце вновь забьется.

Осенью Бакунина уехала на зиму из Царского села в Петербург:

Уж нет ее... Я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
У берега на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Нигде не встретил я прекрасной...
Уж нет ее... До сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою...
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя в неверном вижу сне;
Задумаюсь, — невольно призываю,
Заслушаюсь, — твой голос слышен мне...

В 1834 г., тридцати девяти лет, Бакунина вышла замуж за сорокадвухлетнего тверского помещика, капитана в отставке, А. А. Полторацкого, двоюродного брата Анны Петровны Керн.

26. НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РЖЕВСКИЙ (1800—1817)

Мало развитой и мало способный. Отличался колоссальной ленью, в этом с ним мог поспорить разве только Дельвиг. Участвовал в лицейских журналах стихами. На него была сложена такая шуточная эпитафия-акrostих:

Родясь, как всякий человек,
Жизнь отдал праздности, труда, как зла, страшился,
Ел с утра до ночи, под вечер — спать ложился,
Встав, снова ел да пил, и так провел весь век.
Счастливец! на себя он злобы не навлек;
Кто, впрочем, из людей был вовсе без порока?
И он писал стихи, к несчастью, без прока.

По окончании лицея в 1817 г. поступил в армейский гусарский полк и через несколько месяцев умер от «гнилой нервической горячки».

27. ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МЯСОЕДОВ (1799—1868)

Был большой драчун, горяч и груб, носаст, с маленьким и отлогим лбом. Неизменные отзывы преподавателей: «не столько счастлив спо-

собностями», «слабого понятия», «весьма слабых дарований». За феноменальную глупость служил постоянным предметом насмешек для товарищей. Дельвиг советовал ему праздновать именины в день «Усекновения главы». В карикатурах Илличевского он неизменно изображался с ослиною головою на человеческом теле. Преподаватель русской словесности Копанский задал ученикам написать стихотворение, описывающее восход солнца. Мясоедов написал один стих:

Блеснул на западе румяный царь природы...

Дальше ничего не мог придумать. Попросил Пушкина помочь. Тот моментально dokonчил:

И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать или вставать?

Впрочем, считают более вероятным, что написал это не Пушкин, а Илличевский. Первый стих не сочинен Мясоедовым, а неудачно похищен им из стихотворения А. П. Буниной, описывающего заход солнца. Курьезно, что при подобных данных Мясоедов отличался большою спесивостью, несколько в этом не уступая блестящему Горчакову, которому, по крайней мере, было, чем чваниться. Надзиратель Илья Пилецкий в своем рапорте о поведении воспитанников за ноябрь 1812 г. доносит: «В классе г. Куницына, когда объяснял он в нравственном уроке гордость, то г. Малиновский указывал на Горчакова и Мясоедова, повторяя громко их имена, сказывая: вот они, вот они!»

По окончании лицея Мясоедов служил в армейских гусарах. В августе 1817 г. директор лицея Е. А. Энгельгардт писал Матюшкину: «Мясоедов дурачится и глупит, как и прежде; вскоре после пожалования его в офицеры поссорился и подрался с каким-то писарем, за что просидел под арестом две недели. Разумеется, что Мясоедов не иначе дерется, как кулаками». Вышел в отставку поручиком в 1824 г., женился на дочери богатого тульского помещика Мансурова. «Мясоедова с невестой поздравляю, — писал Энгельгардт, — но невесту, кажется, не с чем поздравить». Поселился он в деревне верстах в двадцати от Тулы, стал хозяйничать, народил кучу ребят. В 1836 г. осенью приезжал в Петербург. «Мясоедов был здесь, — сообщает тот же Энгельгардт, — везде врал, лгал и хвастал своим богатством, влиянием и проч., все тот же». 15 октября Мясоедов угощал лицейских товарищей пышным обедом, на котором присутствовали Пушкин, бар. Корф и др. Он принял также энергичное участие в подготовке празднования лицейской

годовщины 19 октября. «Вытащил из норы Гревеница, который никогда не являлся к нам на праздник, — пишет М. Л. Яковлев, — и отыскал Мартинова, словом, действовал мастерски».

28. КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ КОСТЕНСКИЙ (1797—1830)

Посредственных способностей, безличный и бестемпераментный. Прозвание ему было «Старик». Очень хорошо рисовал. Впоследствии служил по министерству финансов. Бывшие товарищи им не интересовались, и он с ними не виделся. Яковлев в 1829 г. писал Вольховскому: «Костенский в адрес-календаре значится коллежским ассессором и помощником бухгалтера при ассигнационной фабрике. Никто «Старика» уже не знает».

29. КОНСТАНТИН ГУРЬЕВ

Родился в Москве. Общественного положения его отца мы не знаем, а нравственную характеристику отца дает великий князь Константин Павлович в одном позднейшем письме: «...каналья и плут самого дурного свойства, повсюду известный за такового, человек без чести и совести». Это обстоятельство, однако, не мешало вел. кн. Константину, во время пребывания в Москве на коронации Александра I, стать крестным отцом сына упомянутого Гурьева. Пушкин, кажется, знал мальчика Гурьева еще в Москве. Проживая в Петербурге перед приемом в лицей, он познакомил Гурьева с Пушиным.

В день открытия лицея, когда после торжества царская фамилия зашла в столовую, где обедали лиценсты, вел. князь Константин Павлович подвел своего крестника Гурьева к сестре, вел. княжне Анне Павловне, стиснул ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернул нос и сказал сестре:

— Рекомендую тебе эту москву. Смотри, Костя, учись хорошенько.

Способностей Гурьев был не плохих, но ленив. Надзиратели отмечают его «военный характер», смелость, чрезвычайную пылкость, суровость при малейшем поводе, вспыльчивость и дерзость. В кампании против инспектора М. Пилецкого, поднятой Пушкиным, Гурьев принял очень деятельное участие, подбивал к протесту других, насмехался над теми, кто отказывался примкнуть к товарищам. Пробыл он в лицее менее двух лет. В сентябре 1813 г. Гурьев был исключен из лицея за «греческие вкусы», т. е. за педерастию. Только по усиленным хлопотам

матери: в бумагах его было отмечено, что он не исключен из лицея. а «возвращен родителям». Но приказано было никуда его не принимать. Впоследствии, однако, ему удалось, по протекции, попасть в кавалергарды. Позднее служил дипломатом. Товарищи сношений с ним не прерывали. В 1836 г. он участвовал, совместно с другими, в голосовании, праздновать ли им двадцатипятилетие основания лицея отдельно первым курсом или совместно с последующими курсами. На самом праздновании, впрочем, он почему-то отсутствовал. Умер сравнительно молодым.

IV

В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ОСЫЛКИ. „АРЗАМАС“

Плохо обстояло дело с изящною русскою словесностью. Незыблемые основы классицизма начинали колебаться, вместо торжественного, возносящего душу славяно-российского слога всё больше пробивался подлый слог обыкновенной разговорной речи, литературная молодежь отравлялась вольным французским духом. Чтоб бороться с этою заразою, по мысли адмирала А. С. Шишкова и с одобрения Державина, было основано общество «Беседа любителей російского слова». Руководящую роль в обществе играли Шишков, драматург кн. А. А. Шаховской и тяжеловесный эпический поэт кн. С. А. Ширинский-Шихматов, — три «Ш», о которых Лиценст-Пушкин писал:

Угрюмых тройка есть певцов, —
Шихматов, Шаховской, Шишков;
Уму есть тройка супостатов, —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов;
Но кто глупей из тройки злой? —
Шишков, Шихматов, Шаховской.

Почетное место занимал в обществе и знаменитый по своей бездарности графоман граф Д. П. Хвостов. На публичных собраниях общества читались произведения его членов. Посетители впускались по заранее разосланным билетам; не только члены, но и гости являлись в мундирах и орденах, дамы — в бальных платьях. Было величественно, торжественно — и necessarily скучно, пахло безнадежной мертвечиной.

И вот против этого общества пошло боем молодое, дерзкое, озорное общество «Арзамас», объединившее в себе все живое и талантливое, что было в тогдашней нашей литературе. Образовалось общество так. В одной из своих комедий Шаховской вывел в карикатурном виде Жуковского под именем «балладника Фпалкина». Молодой писатель Д. Н. Блудов в ответ написал памфлет под заглавием «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Под видом проезжего незнакомца, остановившегося в трактире, жестоко высмеивался Шаховской. Блудов прочел свою шутку друзьям. Решено было основать общество. В противоположность «знаменитым» членам столичной «Беседы» оно было названо «Арзамасское общество безвестных людей» или просто «Арзамас». Члены «Беседы» именовались «халдеями». Каждый арзамасец носил кличку, взятую из баллад Жуковского. Постепенно общество пополнялось новыми лицами. Окончательный состав его был следующий: Д. Н. Блудов (кличка — Кассандра), В. А. Жуковский (Светлана), Д. В. Дашков (Чул), К. Н. Батюшков (Ахилл), П. А. Вяземский (Асмодей), Денис Давыдов (Армянин), А. И. Тургенев (Золота арфа), В. Л. Пушкин (Вот), А. С. Пушкин (Сверчок), П. И. Полетика (Очарованный чели), Ф. Ф. Вигель (Ивиков журавль), С. П. Жихарев (Громобой), А. А. Плещеев (Черный вран), Д. П. Северин (Резвый кот), Д. А. Кавелин (Пустынник), А. Ф. Воейков (Дымная печурка), С. С. Уваров (Старушка), Н. И. Тургенев (Варвик), Никита Муравьев (Адельстан), М. Ф. Орлов (Рейн). Кроме того, почетными членами («почетными гусями») состояли: Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, кн. А. Н. Салтыков, М. А. Салтыков, кн. Г. И. Гагарин и граф И. А. Каподистрия. В уставе общества «Арзамас», написанном Блудовым и Жуковским, говорилось: «По примеру других обществ, каждому новопоступающему члену «Арзамаса» надлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику, но все члены «Арзамаса» бессмертны, и потому, за неимением собственных готовых покойников, арзамасцы положили брать напрокат покойников из «Беседы», дабы воздавать им по делам их, не дожидаясь потомства». Надгробные речи читались, разумеется, живыми покойниками. Каждый член «Арзамаса» именовался «его превосходительством», в насмешливое подражание чиновным членам «Беседы». Председатель избирался на каждое заседание по жребию и надевал красный колпак. Под красным же колпаком вступающий член произносил торжественную клятву. Однако якобинский колпак этот отнюдь не знаменовал политической революционности общества; он говорил только о литературной революционности его и поэтому несколько не шокировал таких врагов всяческих политических революций, как Карамзин, Жуковский и др.





В противоположность чопорным собраниям «Беседы», собирались запросто; веселье было неиссякающим ключом, сыпались шутки, эпиграммы, пародии на творения членов «Беседы». На собраниях читались и собственные произведения арзамасцев, подвергались обсуждению и критическому разбору; создавалась атмосфера, — как вспоминал один из участников, — «живого чувства любви к родному языку и литературе». Блюдов предложил было заниматься критическим разбором лучших вновь выходящих книг, русских и иностранных, но, как сообщает протокол, «сие предложение не разлакомило членов и не произвело в умах никакой приветственной похоти». Вечер заканчивался веселым ужином, на котором обязательно подавался «арзамасский гусь». Впоследствии жизненные дороги членов арзамасского содружества сильно разошлись. Но всю жизнь они с теплым чувством вспоминали молодое, дружеское веселье, каким бурлили собрания «Арзамаса» в первые годы его существования.

Но время шло. «Арзамас» одержал победу по всему фронту. Сама «Беседа» прекратила свое существование. А «Арзамас» все продолжал только шутить и смеяться. То один, то другой член начинали поднимать голос против этого веселья, становившегося все более пустопорожним. Заговорили о том, что хорошо бы «Арзамасу» создать свой журнал. Наконец, в середине 1817 г. с резкой критикой «Арзамаса» выступили принятые в общество будущие члены «Союза благоденствия» М. Ф. Орлов и Н. И. Тургенев. Они говорили, что стыдно заниматься шутками и смехом, когда кругом столько насущных общественных задач, предлагали сочленам сплотиться в общей работе и приступить к изданию журнала с определенным политическим направлением. После долгих дебатов предложение было принято. Выработали подробную программу журнала, сочинили новый устав общества — серьезный и скучный-скучный. Но тут обнаружилось, что никаких творческих начал в обществе не было и ни на какую общую работу оно не способно. Организация журнала не клеилась, заседания общества стали вялыми и неинтересными. Жуковский в одном из стихотворных протоколов своих писал:

С тех пор, как за ум мы взялися,
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться, —
Смех заступила зевота, чума окающей «Беседы»!
Мы написали законы... И всё тут! Законы
Спят в своем переплете, как мощи в окованной раке!

Большинство наиболее деятельных членов разъехалось из Петербурга. «Арзамас» скончался медленною старческою смертью.

Пушкин был принят в «Арзамас» еще лицеистом, заглазно. Кличка

ему была дана «Сверчок». Он очень интересовался деятельностью «Арзамаса», в дневнике своем целиком списал сатирическую кантату Дашкова «Венчанье Шутовского», за год до выпуска писал Вяземскому: «Целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного! Целый год еще дремать перед кафедрой... Это ужасно! Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и беседу губителей российского слова».

Когда он окончил курс и приехал в Петербург, арзамасцы приняли его с распростертыми объятиями. Вигель рассказывает: «На выпуск молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприимчивый его в «Арзамасе», казался счастливым, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата... Я не спросил тогда, за что его называли «Сверчком»; теперь нахожу это прозвание весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос». Вступительное «похвальное слово» Пушкин произнес стихами. Кому из «покойников Беседы» оно было посвящено, неизвестно. До нас из этого похвального слова дошло всего несколько разрозненных стихов:

Венец желаний! Итак, я вижу вас,
О, други смелых¹ муз, о, дивный Арзамас!

Где смерть Захарову пророчила Кассандра,
Где славил наш Тиртей «кисель» и Александра,
... .. в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и с розгами в руке...

К сожалению, протоколы последних заседаний «Арзамаса», на которых как раз должен был присутствовать Пушкин, до нас не дошли, и мы не знаем, насколько деятельное участие принимал Пушкин в забавах и трудах «Арзамаса».

¹ Отрывки эти напечатаны Бартеневым со слов Вяземского. Ефремов слово «смелых» заменил словом «светлых», и его поправка была принята всеми последующими редакторами сочинений Пушкина ввиду «очевидной бессмысленности» здесь слова «смелых». Дозволительно ли на основании подобных домыслов исправлять дошедшие тексты? И эпитет «смелые» музы в данном случае гораздо уместнее, чем безразличный эпитет «светлые». Арзамасцы были друзьями именно «смелых» муз, сбросивших с себя путы традиций, не боявшихся идти новыми путями

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛУДОВ

(1785—1864)

Сын богатого казанского помещика, рано умершего. Служил в коллегии иностранных дел в Петербурге, близко сошелся с Карамзиным, Жуковским, Батюшковым. Был человек очень образованный и умный. Батюшков отзывался о нем: «ослепительный фейерверк ума». А Вигель писал: «Он часто удивлял меня своим умом, а впоследствии начинал меня им ужасать». Блудов был из числа людей, талантливость которых в молодости пытается проявиться в литературной деятельности, но потом выходит на какой-нибудь другой путь. Он писал статьи, неплохие эпиграммы. Например, на тучного Шаховского и худого Шишкова:

Хотите ль, господа, между певцами
Узнать Карамзина отъявленных врагов?
Вот комик Шаховской с плачевными стихами,
И вот бледнеющий пад рифмами Шишков.
Они умом равны. Обоих зависть мучит.
Но одного сунит она, другого пучит.

Писателем Блудов не стал. Однако у него был тонкий литературный вкус, который очень ценился знавшими его писателями. В посвящении Блудову поэмы «Вадим» Жуковский писал:

Вадим мой рос в твоих глазах,
Твой вкус был мне учитель;
В моих запутанных стихах,
Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил...

А Воейков в своем юмористическом «Парнасском адрес-календаре» называет Блудова «государственным секретарем бога Вкуса при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих последних печатью отверженья».

В 1815 г., после появления на сцене «Липецких вод» Шаховского, высмеивавших Жуковского, Блудов, как уже упоминалось, написал «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Содержание памфлета такое. В одном арзамасском трактире собиралось по назначенным дням общество уездных друзей литературы — читали, спорили. Случилось, что в один из вечеров в соседней комнате ночевал какой-то проезжий. Среди ночи арзамасцы услышали за стеной сонное бормотание, стали глядеть в щель и увидели тучного человека, с боками, раздувавшимися от одышки, обливавшегося потом (Шаховского).

Он ходил в одном белом по комнате и пересказывал сонное видение, представившееся ему.

— ...И клял я судьбу мою, творящую наперекор мне во всех делах моих, ибо слезлив я в сатирах своих и забавен в своих трагедиях; и хочу я, чтоб смеялись над врагами моими; и смеются одни враги мои; и пишу я стихи, и стихи мои — проза.

Является мрачный старец с лицом, как древняя хартия, восседающий на кожаных мехах, набитых «корнями словес» (Шишков), и вещает гостю:

— О, чадо! Ополчись, и успевай, и завидуй, и уязвляй! И напиши нечто, и назови сие нечто комедией, и раздели сие нечто на пять тетрадей, и тетрадь назовется действием. И хвали проев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены бесславием, и русский язык прославляй стихами не русскими. И омочи перо твое в желчь твою и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами (Жуковского). И разъярись на него бесплодною яростью, и лягни в него десною рукою твоею, и твоей грязью природной обрызгай его и друзей его...

Шутка Блудова имела большой успех у его друзей. Собрались у Уварова и основали общество «Арзамас». Каждый член, как мы знаем, должен был прочесть надгробное слово над кем-либо из живых покойников «Беседы». Блудов сказал надгробное слово над бездарнейшим членом «Беседы» Захаровым, а тот скоро и действительно умер. Блудову была дана кличка «Кассандра» (тройская царица, обладавшая пророческим даром). В деятельности «Арзамаса» он принял очень энергичное участие.

Французский наблюдатель Ипполит Оже, около того времени знавший Блудова, описывает его так: «Он был среднего роста и начинал полнеть. С первого раза лицо его не казалось привлекательным, хотя в нем не было ничего безобразного. Но оно совершенно преображалось, когда он начинал говорить. Быстрый, логический ум, обилие мыслей, живость и меткость выражений невольно заставляли признавать его превосходство над собою. Он чувствовал свое превосходство и давал его всем чувствовать; но это высокомерие не оскорбляло чужой гордости. Французский язык он знал со всеми оттенками и особенностями и свободно владел им. Память у него была изумительная, он говорил, как книга. Разговаривая, он всегда ходил по комнате, слегка подпрыгивая, как маркиз на сцене. Сходство было такое полное, что мне всегда чудилось, будто на немшитый золотом кафтан и красные каблучки, а между тем он одевался чрезвычайно просто».

Блудов сделал блестящую чиновничью карьеру. В 1826 г. был

делопроизводителем верховного суда над декабристами; деятельность его в этой должности подверглась нападкам со стороны Ник. Тургенева в его изданной за границей книге «Россия и русские». По окончании дела декабристов Блудов был пожалован в статс-секретари и в том же 1826 г. занял место товарища министра народного просвещения (министром в это время был А. С. Шишков, бывший главный деятель и вдохновитель «Беседы»). С 1832 г. Блудов был министром внутренних дел, в 1837 г. — министром юстиции. В 1852 г. возведен в графское достоинство. При Александре II принимал деятельное участие в его реформах, был председателем государственного совета и комитета министров, президентом Академии наук.

Пушкин до конца жизни поддерживал знакомство с Блудовым, бывал у него. Дочь Блудова вспоминает: «А вот и Пушкин, со своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, измученный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души».

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ

(1783—1852)

О нем — в главе «Друзья Пушкина». — В «Арзамасе» Жуковский был главным вдохновителем, всеобщим любимцем и знаменем, под которым велась борьба с «Беседой»; признанным выражением этого было то, что клички всем членам обязательно давались из произведений Жуковского. Жуковский обладал необыкновенною способностью сопоставлять самые разнородные слова, рифмы и целые фразы так, что речь его, как будто правильная и плавная, составляла совершенную бессмыслицу и самую забавную галиматью. Его девизом было: «Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматее». Вяземский рассказывает: «Жуковский был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залог карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью». Жуковский был бессменным секретарем «Арзамаса», вел юмористические протоколы заседаний, нередко в стихах. Протоколы эти рисуют Жуковского с совершенно новой стороны — как очаровательного юмориста, и юмор его резко выделяется на фоне тяжеловатого и довольно однообразного юмора других арзамас-

цев — Блудова, Дашкова, Вигеля и пр. Вот, например, выдержки из одного протокола, писанного Жуковским:

«Его превосходительством мною прочитан был протокол прошедшего заседания, краткий, но отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым одарила меня благосклонная судьба, и члены, глядя на меня с умилением, радовались, что я им товарищ; а я не гордился нимало; напротив, с свойственной мне скромностью принимал их похвалы за одни выражения дружбы и уداивал друзей моих снисходительной и весьма лестной для них улыбкой. Его превосходительство я же был введен с церемонией в храмину заседания... Меня ввели, и все лица просияли... Я произнес клятву, потом сел или паче вдвинул в гостеприимные объятия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев «Беседы». Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника. Члены отдали справедливость моему красноречию смехом и шумными плесками. А почтенный президент Чу весьма удачно похвалил мои различные достоинства в краткой речи, в которой не забыл упомянуть и о моем друге месяце¹, за что я ему вечно останусь благодарен... Все это было заключено ужином. Гуся не было, и каждый член, погруженный в меланхолию, шептал про себя:

Где гусь? — Он там! — Где там? — Не знаем!»²

Жуковский был также главным изобретателем шутовских ритуалов и церемоний, практиковавшихся в «Арзамасе». Повидимому, Жуковский легче всех других членов смотрел на общество, — для него оно было просто местом, где можно было посмеяться и подучиться. Он без разбора вводил в общество все новых и новых членов — пустопорожного весельчака Плещеева, никому ненужного Жихарева, нравственно нечистоплотных Кавелина и Воейкова. По мнению некоторых более старых арзамасцев, этот неразборчивый прием новых членов был главной причиной скорого распада общества.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДАШКОВ

(1788—1839)

Из древнего дворянского рода. Учился в московском университетском Благородном пансионе вместе с Жуковским и бр. Тургеневыми.

¹ Жуковского называли другом месяца, потому что действие большинства его баллад разыгрывается при лунном свете.

² Где он? — Он там! — Где там? — Не знаем! (Из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского»).

Служил в коллегии иностранных дел и в министерстве юстиции. Был человек широко образованный, остроумный и едкий полемист. Когда в 1811 г. ревнитель старины А. С. Шишков выступил против молодой литературы с доносом, обвиняя ее в безнравственности, в безверии, в отсутствии любви к отечеству, Дашков ответил ему брошюрой «О легчайшем способе отвечать на критику», где дал резкую оценку характеру выступления Шишкова. Он же с большим знанием подверг уничтожающей критике филологические измышления Шишкова. В 1812 г. в Обществе любителей словесности Дашков произнес озорную речь в честь бездарного гр. Д. И. Хвостова, избранного в почетные члены общества.

— Знаменья его побед изумляют нас, поражают! — говорил Дашков. — Он вознесся превыше Пиндара, унизил Горация, победил Мольера, уничтожил Расина. Всей Европе, — что говорю я? — вселенной известны его заслуги!

Не забыл и прославившихся «зубастых голубей» в басне Хвостова «Два голубя».

— В басне сей русский Лафонтен превзошел француза, наделив своего голубка острыми зубами для разгрызания сетей, в которых он запутался. Вот истинная поэзия, творящая новый мир, новую природу!

За эту речь Дашков был исключен из общества. В 1815 г. кн. Шаховской поставил на сцене свою комедию «Липецкие воды». После спектакля у петербургского гражданского губернатора Бакунина происходило чествование Шаховского; жена хозяина, Варвара Ивановна Бакунина (а не поэтесса Бунина, как записал в своем дневнике лицеист Пушкин), торжественно возложила на голову Шаховского венок. По этому случаю Дашков написал кантату:

Вчера, в торжественном венчаньи
Творца «Затей»,
Мы зрели полное собранье
Беседы всей.
И все в один кричали строй:
Хвала тебе, о Шutowской!
Хвала, герой!
Хвала, герой!

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад,
В Беседе добрый усыпитель,
Хвостову брат
И враг талантов записной.
Хвала тебе, о Шutowской!..

И Т. Д.

Кантапта эта сделалась арзамасским тимном и обыкновенно распевалась после заседания за ужином. Вместе с Блудовым и Жуковским Дашков был одним из самых деятельных членов «Арзамаса».

Дашков был высокого роста, смуглый, с красивым лицом, сановитым и строгим; улыбался редко, зато улыбка его, говорит Вигель, была приятна, как от скупого дорогой подарок. Занкался, но когда одушевлялся, говорил плавно, чисто, без запинки. Корф считает его одним из самых выдающихся ораторов своего времени. Дашков страдал ипохондрией, был ленив, высокомерен, заносчив и нелюдим, за исключением отношений с очень близкими людьми и участия в арзамасских шалостях.

С 1829 г. Дашков управлял министерством юстиции, в 1832 г. был назначен министром юстиции. Связей с литературой не прерывал до конца жизни. В 1834 г. Гоголь читал у него свою комедию «Владимир 3-йей степени». Как ни странно, но этот министр николаевской юстиции, повидному, умел держаться на своем посту независимо и с достоинством. Рассказывают, что однажды, после долгого спора с императором Николаем, Дашкову удалось убедить царя взять назад уже подписанный им указ, противоречивший законам. Был и такой случай. К Дашкову приехал всемогущий шеф жандармов граф Бенкендорф. Дашков в это время был занят и велел всем отказывать. Бенкендорф настаивал и приказал передать, что, в его звании, он может приехать к Дашкову и от имени государя. Дашков надел фрак, звезду и велел просить Бенкендорфа. Бенкендорф обратился к нему с ходатайством по какому-то делу своего брата. Встал и хотел уйти. Дашков его остановил.

— Позвольте, ваше сиятельство, вы хотели что-то мне сказать от имени государя.

— На этот раз я не имею никакого поручения; но так как вы мне отказали в приеме, то я просил сказать вам, что могу к вам приехать и от имени государя.

Дашков вспыхнул.

— А! Так вы хотели только воспользоваться именем государя! Угодно вам, чтоб я довел до сведения его величества, как вы, для собственных своих дел, пользуетесь его высочайшим именем?

Бенкендорфу пришлось просить извинения.

Одного своего родственника, который поступил в жандармы, Дашков перестал принимать. Когда он увидел однажды Жуковского пол руку с министром народного просвещения Уваровым, некогда общим их приятелем по «Арзамасу», он отвел Жуковского в сторону и сказал:

— Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?

Пушкин называл Дашкова «бронзой».

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ

(1787—1855)

Поэт, один из крупнейших предшественников Пушкина, оказавший на его творчество большое влияние. Сын полуразорившегося новгородского помещика, родился в Вологде. Вскоре после его рождения мать его сошла с ума и через семь лет умерла вдали от детей. Учился в частных петербургских пансионах, служил в департаменте министерства народного просвещения. Близко сошелся со своим дядею, известным в свое время общественным деятелем и писателем Мих. Никитичем Муравьевым, оказавшим большое влияние на художественное и образовательное развитие Батюшкова. Сошелся и с тогдашними писателями, особенно с Гнедичем, посещал кружок Оленина. Его стихи этого времени проникнуты модным для той поры французским эпигуризмом и проповедью наслаждений:

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, слыша голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!

Батюшков обратил на себя внимание литературных кругов; в читающей публике он был еще мало известен, но писатели ставили его наряду с Жуковским.

В 1807 г. Батюшков вступил в милицию, принимал участие в прусском походе, был ранен в ногу на вылет; в следующем году участвовал в шведской войне. После этого жил то в деревне, то в Москве, где сблизился с тамошними писателями — Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Вас. Пушкиным. В 1813 г. опять поступил на военную службу; в качестве адъютанта генерала Н. Н. Раевского проделал поход 1813—1814 гг., окончившийся взятием Парижа. По возвращении в Петербург влюбился в молодую девушку Анну Федоровну Фурман, жившую в семье Олениных. Окружающие благосклонно смотрели на возможность их союза, но сама девушка его не любила и шла за него замуж, покоряясь решению старших. Это почувствовал Батюшков и с болью душевною отказался от своих домогательств. Из военной службы он вскоре вышел. Жил то в Петербурге, то в Москве, то в деревне. Материальные обстоятельства его были плохи, часто нападала беспричинная хандра. После долгих и трудных хлопот Батюшкову удалось устроиться в неаполитанскую русскую миссию. Он надеялся поправиться в Италии, но, по приезде в Неаполь, сейчас же почувствовал невыносимую скуку и то-

ску. В 1821 г. он должен был оставить службу. В 1822 г. обнаружилось уже полное расстройство умственных способностей. Долгие десятилетия Батюшков прожил сумасшедшим, почти не узнавая даже самых близких людей, и умер в Вологде 68-летним стариком. Незадолго до смерти он вдруг спросил: «Воротился ли государь из Вероны?» Тридцать три года назад, когда Батюшков сошел с ума, император Александр I находился на Веронском конгрессе. Одна из сестер Батюшкова тоже сошла с ума.

Батюшков был мал ростом, с белокурыми, мягкими волосами, ввалившимся от природы, с впалой грудью и бледным, печальным лицом; взгляд разбегающихся голубых глаз производил странное впечатление. Он не любил говорить, держался застенчиво, но, когда оживлялся, речь его была интересна, умна и увлекательна. «В мягком голосе его, — вспоминает современник, — слышался как бы тихий отголосок внутреннего напряжения». Не имел решительно способности к систематическому, усидчивому труду, был беспечен, очень впечатлителен и болезненно-самолюбив. Легко падал духом. Жизнь его сложилась неудачно, он мало видел в ней радостей и был совсем не такой, каким рисовался в своих жизнелюбных стихах, воспевавших сладострастие, разгул и буйные удовольствия. К концу сознательной своей жизни Батюшков стал религиозен и писал о боге:

Все — дар его. И краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж струей небесных благ
Я утолю любви жгучее?
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

И вообще поэзия его приняла скорбное направление. В лучших его вещах — «Тень друга», «Умирающий Тасс», «Есть наслаждение и в дикости лесов» — нет уже и следа былой жизнелюбности. Последние его стихи (1821 г.):

Ты помнишь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхисидек?
Рабом родился человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть, ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чуждой слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

На молодого Пушкина поэзия Батюшкова имела огромное влияние. Никто из русских поэтов не наложил такой печати, как Батюшков, на лицейские стихи Пушкина. Многие из них и по настроению, и по манере,

и по размеру можно бы принять за батюшковские. Пушкин навсегда сохранил к Батюшкову любовь молодости. В 1828 г. он вписал в альбом Н. Д. Иванчина-Писарева свое стихотворение «Муза». На вопрос, почему ему прежде всего пришли на память именно эти стихи, Пушкин ответил:

— Я их люблю: они отзываются стихами Батюшкова.

Батюшков, со своей стороны, очень высоко ставил Пушкина. Он с горестью смотрел на беспутную жизнь Пушкина в Петербурге и в 1818 г. писал А. Тургеневу: «Не худо бы Сверчка (арзамасская кличка Пушкина) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикой. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!» Жуковскому, по поводу его перевода шиллеровой «Орлеанской девы», писал: «...размер стихов странный, дикий, вялый: ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо». Рассказывают, что, когда Батюшков прочел послание Пушкина к Юрьеву («Поклонник ветреных Ланс»), он судорожно сжал в руке листок бумаги, на котором были написаны стихи, и проговорил:

— О, как стал писать этот злодей!

Не совсем ясно, когда и при каких обстоятельствах они лично познакомились. В 1816 г. Пушкин писал из лица Вяземскому: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он «Бову-Королевича». Они, значит, повидимому, виделись в 1815 г.; высказана догадка, что Пушкин, начавший писать сказку о Бове, по просьбе Батюшкова, уступил ему сюжет. В это же свидание Батюшков, сам далеко уже ушедший от прежнего легкомысленного эпикуреизма, советовал Пушкину оставить Анакреона и следовать за Вергилием-Мароном, т. е. взяться за более серьезные эпические темы. Пушкин отвечал на этот совет посланием:

Ты хочешь, чтобы, славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый шир.
Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних Лар,
И с дерзостным Икаром
Страхась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при оном.

За время пребывания в лицее Пушкин, кажется, не бывал в Петербурге. Очевидно, познакомились они в Царском селе. Из одного письма пушкинского товарища по лицейскому узлам узнаем, что Батюшков присутствовал на том лицейском экзамене, на котором Пушкин читал перед Державиным свои «Воспоминания в Царском селе». Наверяд ли, однако, присутствие популярного Батюшкова на празднике не оставило бы следов в воспоминаниях Пушкина и его товарищей. По приезде Пушкина в Петербург он, судя по всем данным, виделся с Батюшковым нередко.

Борьбу с ревнителями старого слога Батюшков начал еще задолго до основания «Арзамаса». Две его сатиры на членов «Беседы» — «Видение на берегах Леты» (1809) и «Певец в Беседе Славенороссов» (1813) — приобрели большую популярность и разошлись в многочисленных списках. По основании «Арзамаса» Батюшков заочно был принят в общество с кличкой «Ахилл». Сам он в это время жил не в Петербурге. Деятельности «Арзамаса» он очень сочувствовал и в 1816 г. писал Жуковскому из Москвы: «...час от часу я более и более убеждаюсь, что без арзамасцев нет спасения». Батюшков приехал в Петербург в августе 1817 г., как раз в то время, когда «Арзамас» решил отказаться от прежнего пустопорожного веселья и тщетно пытался заняться делом. 27 августа на многолюдном собрании «Арзамаса», состоявшемся у А. И. Тургенева, присутствовал и Батюшков. В сентябре он писал Вяземскому: «В Арзамасе весело. Говорят: станем трудиться, и никто ничего не делает». В ноябре 1818 г. Батюшков уехал в Италию. «Арзамас» в полном составе наличных членов проводил его до Царского села и там сердечно с ним распростился.

Князь ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ
(1792—1878)

Поэт и критик. О нем — в главе «Друзья Пушкина». — Как и большинство других врагов «Беседы», начал борьбу с нею задолго до основания «Арзамаса». Именно от его эпиграмм за Шаховским утвердилось прозвище «Шуговской». Арзамасская кличка Вяземского была «Асмодей» — за его мефистофельскую едкость и насмешливость. Вяземский жил в Москве, но, бывая в Петербурге, посещал «Арзамас», а из Москвы писал: «...приеду за запасом жизни к источнику вечно живому «Арзамасу». Посылал в «Арзамас» для прочтения свои стихи и с инте-









ресом ждал отзывов. Отзывы были неизменно похвальные. Например: «Читано было, — сообщает протокол, — несколько эпиграмматических излияний отсутствующего члена Асмодея, и члены, восхищенные ими, восклицали: экой чорт!»

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ (1784—1839)

Известный поэт и партизан. О нем — в главе «Писатели». Во времена «Арзамаса» он жил в Москве, выбран был заочно. Кличка ему была «Армянин». Бывая в Петербурге, он посещал заседания «Арзамаса». В сохранившихся протоколах имени его не встречаем. Дошла только его вступительная речь. Она носила не принятый в «Арзамасе» юмористический характер, а серьезный. Давыдов призывал членов к объединению и взаимному сближению, к совершенно искренней, но дружеской, не колкой критике читаемых произведений. Легкомысленно-веселый дух, царивший в «Арзамасе», видимо, был не по вкусу Давыдову, как и некоторым другим, более серьезным членам. Он говорил: «Мы можем питать в сердцах наших небесный энтузиазм, предадимся ему. Пусть радость для нас будет матерью добродетелей, пусть благородный, святой энтузиазм юности будет их душою, их пищею. Последуем гласу сердец наших, направим стремления в благое, и мы будем деятельны, будем веселы, будем благополучны. Проснитесь! Дышите в нас, великие бессмертные, принимайте жертвы сердец наших, пылающих вашим пламенем, носитеся духом своим над нами!»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ (1784—1845)

Родился в Симбирске. Отец его был очень образованный человек, масон, сотрудник Н. Н. Новикова, за связи с ним поплатившийся ссылкой и освобожденный Павлом I. Александр Иванович воспитывался в московском университетском Благородном пансионе вместе с братом Николаем и Жуковским. Закончил образование в геттингенском университете. Поступил на службу, быстро выдвинулся. В 1810 г., всего двадцати пяти лет, назначен директором департамента иностранных исповеданий; его очень ценили министр кн. А. Н. Голицын и сам Александр I, лично знавший его. Был помощником статс-секретаря в государственном совете, старшим членом комиссии составления законов, ка-

мергером. Был близок и к литературным сферам, находился в тесной дружбе с Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским, кн. Вяземским. Блестяще начатая служебная карьера Тургенева оборвалась в 1826 г. в связи с делом декабристов. Горячо любимый им брат Николай, находившийся за границей, за участие в замыслах декабристов был заочно приговорен к смертной казни. После безрезультатных хлопот о брате Тургенев вышел в отставку. Большую часть остальной жизни он провел в странствиях по Европе, собирая и списывая в заграничных архивах документы, касающиеся истории России. Этою работою его очень интересовался император Николай. Богатейшее собрание документов частью было издано археографической комиссией в 40-х годах, частью до сих пор еще остается неиспользованным.

Александр Тургенев был прикосновенен ко всем областям знания и во всех был дилетантом. Читал он мало, да и некогда ему было этим заниматься, но он умел, перелистав книгу, усвоить ее суть. Обладал большою чуткостью и восприимчивостью, ловил в воздухе новые веяния и настроения. И, не зная усталости, передавал их в бесчисленных письмах к бесчисленным своим корреспондентам. Вяземский рассказывает: «...не было никогда и нигде борзописца ему подобного. Спрашиваешь: когда успевал он писать и рассылать свои всеобщие и всемирные грамоты? Он переписывался и с просителями, и с братьями, и с знакомыми, и с незнакомыми, с учеными, с духовными лицами всех исповеданий, с дамами всех возрастов, был в переписке со всей Россией, с Францией, Германией, Англией и другими государствами». Был с Тургеневым такой случай. После бурного ночного плаванья он и приятель его приехали в Англию. Остановились в гостинице. Усталый приятель бросился на кровать, чтоб немножко отдохнуть. Тургенев же переоделся и тотчас побежал в русское посольство. Через четверть часа, запыхавшись, возвращается и сообщает, что узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтоб изготовить письмо.

— Да кому же хочешь ты писать?

Тургенев немножко смутился и призадумался.

— Да! В самом деле. Я обыкновенно переписываюсь с тобою, а ты теперь здесь. Ну, все равно: напишу одному из Булаковых — московскому почт-директору или петербургскому.

Сел к столу и настроил письмо в два или три почтовых листа.

Собранные вместе, письма Тургенева составили бы много фолиантов. Кроме того, Тургенев вел еще подробнейший дневник. Для общественной, литературной и бытовой истории его времени писания Тургенева дают неисчерпаемый материал. Слог его — живой и простой, часто художественный. Письма о последних днях Пушкина, писанные

наспех, урывками, производят впечатление потрясающее, и художественной силе их позавидовал бы мастер.

С утра до вечера Тургенев рыскал по городу во всевозможных хлопотах за приятелей своих и посторонних, рыскал и по собственному влечению, потому что в натуре его была потребность рыскать. «Рыскун» — называет его К. Булгаков. «Не великий волнователь (*agitateur*), а великий волнующийся (*agité*)» — отзывается Вяземский. В холостой квартире Тургенева всегда стоял беспорядок, повсюду письма, записки, книги на полу, по углам газеты. С утра до вечера народ, — «кукольная комедия, — пишет Булгаков; — то один, то другой, то поп, то солдат, то нищий, то мамзель». Вставал рано, ложился поздно. Хотя был толстенок, но очень был подвижен и легок на подъем. Зато мог засыпать во всякое время — утром, только что вставши с постели, в полдень и вечером, за проповедью и в театре, за чтением книги и в присутствии обожаемой женщины. Друзья-писатели знали эту его особенность и не обижались, когда в разгар их чтения вдруг на всю комнату раздавался храп Александра Ивановича. Дочь Блудова вспоминает, как они изумлялись детьми, глядя на Тургенева за обедом: он глотал все, что находилось под рукою, — и хлеб с солью, и бисквиты с вином, и пирожки с супом, и конфеты с говядиной, и фрукты с майонезом, без всякого разбора, без всякой последовательности, как попадет, было бы съестное, а после обеда поставят перед ним сухие фрукты, пастилу, и он опять все ест, — кедровые орехи целую горстью за раз, потом заснет на диване и спит. Усердно ухаживал за прекрасным полом. Был человек добрейшей души.

Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье, —

писал о нем Батюшков. За всех готов был Тургенев хлопотать, и в хатайствах был ревностен, упорен, неотвязчив. Целый ряд писателей обязан был облегчением разных своих бед заступничеству Тургенева.

Герцен, знавший его в сороковых годах, записал в дневнике: «А. И. Тургенев — милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человечеством, сколько жизни и деятельности. А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев — европейская кумушка, человек в курсе всех сплетен разных земель и стран, и все рассказывает, и все описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и показывает свою любезность везде».

С Пушкиным Тургенев был связан многообразно. По его совету мальчик-Пушкин был определен в царскосельский лицей; он познако-

мил лиценста-Пушкина с Карамзиным и Жуковским. Он в 1823 г. устраивал перевод Пушкина из Кипшинева в Одессу, говорил о Пушкине с Нессельроде и Воронцовым, «истолковывал Воронцову Пушкина и что нужно для его спасения». Сотрудничал в «Современнике» Пушкина. И он же отвозил тело убитого Пушкина из Петербурга в Псковскую губернию.

Тургенев был членом «Арзамаса». Он носил кличку «Эолова арфа», — по словам биографов, за чуткую отзывчивость к новым явлениям, по словам друга его кн. П. А. Вяземского — за постоянное бурчание в животе. И Жуковский также, в стихотворном протоколе заседания «Арзамаса», писал о Тургеневе:

Нечто пузообразное, пупом венчанное, вздулось,
Громко взбурчало, и вдруг гармонией Арфы стало бурчанье.

Тургенев очень усердно посещал заседания «Арзамаса», но выступать на них не любил и даже сумел уклониться от обычной вступительной речи, обязательной для каждого вступающего члена. В протоколах читаем: «Его превосходительство Эолова арфа издал некоторые непристойные звуки отрицания и начал весьма пакостным образом корчиться против законного избрания его в ораторы. Члены с сердечным прискорбием заметили сие неблагородство его превосходительства, уже уволенного один раз от чтения, но уволенного с условием исполнить без всяких отговорок священную сию обязанность». Так этой обязанности Тургенев и не исполнил. Новое заседание — «речи не было. А грозный Кассандра, предузнав, что речи и не будет, соблаговолил отделать его превосходительство своею карающею речью на обе корки. Эолова арфа внимала бесстыдно; в дерзком его животе заметно было какое-то оскорбительное потрясение, обыкновенный предвестник смеха; и самые ланиты его казались двумя раздутыми животами или огромными перинами, перестланными тучною ленью для грузного бесстыдства. Кассандра умолк, и строгие взоры наличных членов устремились на виновную Арфу». В протоколах постоянно отмечается также склонность Тургенева плотно покушать и способность его спать во время самой оживленной беседы. Однако однажды Тургенев, как гласит протокол, — «к приятному удивлению всех братьев, прежде ужина разинул свои всежрущие, дотоле немотствующие челюсти. Из них, как источник густого млека и душистого меда, излилась богатная речь во образе Рекрипта». Тургенев огласил писанный им высочайший рескрипт о пожаловании Жуковскому пожизненной пенсии в четыре тысячи рублей. «Все помнят, — продолжает протокол, — чудесное действие сей речи и шумный восторг арзамасцев... Все очнулись, все узнали победу Свет-

ланы и света над Беседой и тьмою. Золова арфа совершила свой подвиг; мы только кусали халдеев, г-жа Арфа их съела; да какое же брюхо и может сравниться с ее утробой? В ней только и могли поместиться все уроды, составляющие кунсткамеру Арзамаса, так же, как в сердце его помещаются все красавицы обеих столиц».

Тургенев много сделал и для некоторых других членов «Арзамаса»: его хлопотами Вяземский был определен на службу в Варшаве, Батюшков отправлен в Италию. Тургенева называли «арзамасским опекуном».

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН (1767—1830)

Поэт, дядя Ал. Сергеевича. Подробно о нем см. «Родственники Пушкина».

В борьбе карамзинистов с шишковистами Василий Львович принимал деятельное участие еще задолго до основания «Арзамаса». В посланиях к Жуковскому и Дашкову он писал, осмеивая «собор безграмотных Славян»:

Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут...
Отечество люблю, язык я русский знаю,
Но Третьяковского с Расином не равняю.
Творенья без идей мою волнуют кровь.

Не тот к стране родной усердие питает,
Кто хвалит все свое, чужое презирает,
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах,
И, бедный мыслями, печется о словах!

В поэме своей «Опасный сосед» Василий Львович больно задел одного из столпов «Беседы», кн. А. А. Шаховского, высмеявшего Карамзина в комедии «Новый Стерн». Описывая низкопробный веселый дом, он рассказывает:

Две гости дюжие смеялись, рассуждали
И «Стерна Нового», как диво, величали:
Прямой талант везде защитников найдет.

Последний этот стих навсегда прилип к Шаховскому. Пушкин-племянник восхвалял дядю за искусство, с которым он умеет —

лоб угрюмый Шутовского
Клеймить единственным стихом.

А сам Шаховской с огорчением отзывался о бездарном Василии Львовиче: «Один раз удалось б-ну п-ть, и то на мой счет!»

В 1816 г. Василий Львович приехал из Москвы в Петербург и был принят в «Арзамас». Анекдотическое легкоеверие его и простодушие неудержимо влекли всех тешиться над ним. Василия Львовича уверили, что общество «Арзамас» — род литературного масонства и что при вступлении в него нужно подвергнуться некоторым испытаниям, довольно тяжелым.

Василий Львович давно уже был настоящим масоном и легко согласился. Тут воображение Жуковского разыгралось. Над Василием Львовичем была проделана сложнейшая церемония. Она происходила в доме Уварова. Сначала Василия Львовича заставили «претъ» под наваленными шубами (намек на комедию Шаховского «Расхищенные шубы»), и в таком положении, он, обливаясь потом, должен был выслушать чтение целой французской трагедии; потом, с завязанными глазами, его долго водили вверх и вниз по лестницам, привели в темную комнату с аркою; огненно-оранжевая занавесь была ярко освещена из соседней комнаты. Развязали глаза. Среди комнаты стояло огромное чучело с надписью: «Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй» (стих из «Телемахиды» Тредьяковского). Василию Львовичу объяснили, что это чудовище означает «дурной вкус», подали лук и стрелы и велели поразить чудовище. Толстый, с подзобком, задыхающийся подагрик, Василий Львович, натягивая лук, мало походил на Аполлона. Спустил стрелу. Чучело повалилось с оглушительным пистолетным выстрелом: выстрелил спрятанный под простынею мальчик. Арзамасский Аполлон от испуга упал на пол. После этого Василия Львовича ввели в освещенную комнату, дали в руки замороженного арзамасского гуся; он должен был держать его в руках все время, пока ему говорил Жуковский длиннейшую приветственную речь.

«С непроницаемого повязкою на глазах, — говорил Жуковский, — блуждал ты по чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте Славенских периодов; ты ниспускался в глубокие пропасти, — так и досточудные внуки седой Славены добровольно ниспускаются в бездны безвкусыя и бессмыслицы; ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной, мелко исписанной тетради в руках чтеца беседного», — и т. д.

При своем посвящении Василий Львович получил кличку «Вот» или «Вот я вас!» Он был избран старостою «Арзамаса» с такими преимуществами и обязанностями: место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей





его; он подписывает протокол с приличною размашкою; голос его в собрании имеет силу трубы и приятность флейты и т. п.

Вскоре после своего избрания Василий Львович уехал в Москву. В дороге он написал стихи на заданные рифмы, эпиграмму на хромого зрителя почтовой станции, мадригал его жене и все это послал арзамасцам. О том, что произошло дальше, повествует писанный Блудовым протокол экстренного заседания «Арзамаса», состоявшегося в мае 1816 г. в доме Уварова:

«Члены приглашены в собрание через повестку, и на оной повестке чернелась огромная печать с надписью «О п а с н о с т ь о т е ч е с т в а». Арзамас представлял позорище скорби и сетований. В бледном мерцании лампы все знаменитые арзамасцы, казалось, дрожали, как привидения. Президент Ивиков журавль (Вигель) встал с кресел и прерывающимся голосом воскликнул: «Что се есть, арзамасцы? До чего мы дожили?» Тут стенающая горесть и рыдания присутствующих остановили оратора. Один его превосходительство Челнок (П. И. Полетика), отличный своею сметливостью, спросил у собрания: «Нельзя ли узнать, до чего мы дожили и об чем так горько плачем?» Временный секретарь Кассандра (Блудов) встал и объявил, что Арзамас дожид до поносных стихов своего старосты и плачет о том, что из оных стихов может явно произойти для всего Арзамаса бесславие великое, а для Беседы и Академии торжество неожиданное. Члены толпою бросились к Кассандре; все грозно требовали доказательств. Увы! Доказательства явились! Они переходили из рук в руки...»

Стихи Василия Львовича единогласно были признаны никуда негодными, и состоялось постановление лишить «Вот я вас'а» звания арзамасского старосты. «Вместе с титулом старосты,—гласил протокол,—отпадают и прибавленные к его прозвищу слова «я» и «вас», на место же сих слов постановляются два бессмысленных слова «ру» и «шка», почему бывший староста на все грядущие времена будет называться член «Вотрушка». Хотя член Вотрушка по бесстыдным и свиноподобным стихам своим заслужил, чтобы его навсегда извергли из недр Арзамаса, но Арзамас еще любит в нем прежнего Вота, творца «Опасного соседа», грозу славянофилов и пр., и пр. Итак Арзамас повелел отсрочить конечное извержение члена Вотрушки, почитать его только в сильном подозрении и содержать в карантине».

Протокол был переслан Василию Львовичу. Он очень огорчился и ответил арзамасцам посланием:

Я грешен. Видно, мне кибитка не Парнас;
Но строг, несправедлив карающий ваш глас,
И бедные стихи, плод шутки и дороги,

По мненью моему, не стоили тревоги.
 Просодии в них нет, нет вкуса, — виноват,
 Но вы передо мной виновнее стократ.
 Разбор, поверьте мне, столь едкий не услуга.
 Я слух ваш оскорбил, вы оскорбили друга.
 Вы вспомните о том, что первый, может быть,
 Осмелился глушам и правду говорить;
 Осмелился сказать хорошими стихами,
 Что автор без идей, трудясь пад словами,
 Останется всегда невеждой и глупцом;
 Я злого Гашпара¹ убил одним стихом
 И, гнева не боясь варягов беспокойных,
 В восторге я хвалю шкотовей достойных.
 Неблагодарные, о том забыли вы!..

На заседании 10 августа послание Василия Львовича было прочитано. Протокол рассказывает: «Жадный, очарованный слух свой склоняли арзамасцы к посланию любезного преступника; часто дивились, что могли быть строги к такому старосте, но в то же время радовались своей строгости, ибо она произвела новые стихи его. И наконец все воскликнули: «Очищен наш брат любезный, очищен и достоин снова сиять в Арзамасе; он не Вотрушка, пусть он будет староста «Вот я вас опять!» Да здравствует Вот я вас опять! Беседа, трепещи опять, опять!»

Василий Львович был в большом восхищении, ездил по Москве, всем рассказывал о событии и с упоением читал свое послание.

Не следует, однако, думать, что такая грозная расправа за плохие стихи была обычным явлением в «Арзамасе». Добрая половина членов писала стихи не лучше тех, которые прислал Василий Львович с дороги, а его ответа арзамасцам они написать бы не сумели. Тут просто действовало обычное желание потешиться над легковерным и безобидным Василием Львовичем, шутники немножко перегнули палку и сами этого сконфузились.

ПЕТР ИВАНОВИЧ ПОЛЕТИКА

(1778—1849)

Сын врача из обрусевших польских шляхтичей и пленной турчанки. Служил по дипломатической части, состоял при различнейших русских миссиях в Европе и Америке, повидал много стран. Большой

¹ Гашпар — прозвище кн. Шаховского, по действующему лицу одной из его комедий.

умница, увлекательный рассказчик, остроумный. Говорил, например: «В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». Был старообразен, некрасив, с тонкими, южными чертами умного лица, одевался с изысканной опрятностью; со всеми был обходителен, а никто не решился бы забыть перед ним; искусно, с шуткою, умел говорить самые неприятные истины людям самым сильным. Его любили и уважали, но, как рассказывает Вяземский, «при большом простодушии и добродушии имел он какую-то формальность и брюзгливость квакера и американца». Друзья и называли его квакером. Литературой Полетика не занимался, но знал ее и любил, был близок с карамзинским кружком, с Жуковским. Был членом «Арзамаса»: в кружке этом ценили умных и интересных людей, хотя бы и не литераторов. Кличка ему была «Очарованный челн» — по причине многих странствий. В конце 1817 г. Полетика был назначен посланником в Соединенные штаты, в 1825 г. воротился в Петербург и был сенатором. Пушкин видался с ним и после возвращения из ссылки. В 1834 г. записал в дневнике: «Я очень люблю Полетику».

ФИЛИПП ФИЛИПОВИЧ ВИГЕЛЬ
(1788—1856)

О нем см. в главе «В Одессе». В молодости служил в московском архиве коллегии иностранных дел, там сошелся с Блудовым. В 1814 г., живя в Петербурге, возобновил знакомство с Блудовым, познакомился с Дашковым, Батюшковым, Гнедичем, А. Тургеневым, вошел в кружок Оленина. Литературой он в то время не занимался, но был человек образованный, умный, интересный собеседник, едкий остроумец. Немедленно по основании «Арзамаса» был введен в него Дашковым. Был одним из самых усердных посетителей заседаний общества. Взглядов держался самых реакционных, был зол, завистлив и самолюбив. Дочь Блудова помнила его как частого посетителя и друга ее отца, хорошего приятеля всех арзамасцев, помнила его черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза; он вертел в руках табакерку, играя ею и особенным манером постукивая по ней; когда хотел сказать что-нибудь забавное или колкое, то, беря щепотку табаку, как будто клевал по табакерке пальцами, как птица клюет клювом.

Дашков, как сообщают протоколы «Арзамаса», предлагая Вигеля в члены, рекомендовал его так: «Предлагаемый есть истинный уроженец «Арзамаса»: он содрогается при имени Беседы и ездит зажмурившись мимо Академии. Он оказал великие услуги Арзамасу без всяких свое-

корыстных видов: партизанит добровольно между свирепыми и прокаженными халдеями, затрудняя для них всякий подвоз ума и вкуса. Наблюдает за ними зорким оком шпиона, везде преследует слухом и зрением врагов Арзамаса. Он достоин вступить в общество под именем Ивикова журавля. Члены единогласно приняли сего почтенного человека в свое общество, — продолжает протокол. — Он назначен бессменным внешним проказником». Следующий протокол описывает вступление Вителя в общество: «Введен во святилище Арзамаса новый член его превосходительство Ивиков журавль. Члены были довольны его привлекательной наружностью. Вид его скромен; поступь тихая и благопристойная; сей журавль, конечно, будет с политической исправностью таскать из болота халдейского всех тех лягушек, которых кваканье будет надоедать Арзамасу. Он с величавою скромностью сел на указанное ему место; и члены во все продолжение заседания взглядами и словами старались изобразить то нежное чувство, которым сердца их были исполнены к новому своему другу». Витель пришлось в «Арзамасе» очень ко двору. Целый ряд протоколов с одобрением отмечает его полезную для общества деятельность: «Читано было донесение Ивикова журавля, и члены, внимая ему, ликовали и топорщились от умиления». «Читано было краткое донесение его превосходительства Ивикова журавля. Его превосходительство начинает порядочно промыслять своим длинным носом в болотах халдейских. Он почти склевал одного воинствующего лягушонка, который своим кваканьем вздумал было оскорбить арзамасские уши; сей лягушонок уже копышется в клещах его неизбежного носа» и т. д. В протоколах отмечается и самолюбивая обидчивость Вителя: «Сделан был весьма назидательный выговор его превосходительству Ивикову журавлю, который давно уже не исполняет своих важных обязанностей соглядатая и содержит свой журавлиный нос в некоем поносном бездействии. Надобно признаться, что его превосходительство принял этот упрек не с тою покорностью, какая свойственна арзамасцу; он горделиво надул свой зоб и более похож был на оскорбленную индюшку Беседы, нежели на миловидного журавля-мстителя за арзамасских Ивиков. Члены надеются, что он исправится и отучит себя от непристойной привычки надувать зоб. В противном случае вместо Ивикова журавля он будет наречен «Индюшка-сотрудница».

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ЖИХАРЕВ
(1788—1860)

Обучался в московском университетском Благородном пансионе, товарищами его были бр. Тургеневы, Жуковский, Данков. Был страст-

ный театрал. В 1806 г. переехал в Петербург, познакомился с Державиным, Шишковым, Шаховским, Лобановым. Перевел один или в сотрудничестве с другими ряд театральных пьес, между прочим трагедию Кребильона «Атрей», писал и оригинальные пьесы; все это было весьма посредственного уровня.

Состоял членом шишковской «Беседы любителей русского слова», но в 1815 г. отошел от шишковистов и вступил в «Арзамас». Как мы знаем, обычаем было, чтобы каждый нововступающий член брал заимствованно и напрокат одного из живых покойников «Беседы» и говорил ему надгробную речь. Жихарев, как бывший сам членом «Беседы», должен был, по всеобщему приговору, произнести надгробное слово самому себе, а Жуковский, как очередной председатель, держать ответную речь. Дашков писал Вяземскому: «Новое торжество для Светланы (Жуковского)! Исполнение превзошло ожидания наши. «Атрей» представлен был в виде некоего царственного волдыря на лице бывшего поганого беседчика, а остальные двадцать семь трагедий, комедий, трагикомедий, драм, опер и водевилей, сочиненные и переведенные им, представлены волдыриками и сыпью, окружающими большой нарост. Словом, было чего послушать». Кличка Жихареву была дана «Громобой». Витель рассказывает: «Наружность Жихарев имел азиатскую; оливковый цвет лица, черные, как смоль, кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовью и выражали одно флегматичное спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Его мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами, а Жихарев любил погулять, поест, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам, строгою совестью не совсем одобряемым. Я не встречал человека, более готового на послушание, на одолжение; это свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими».

Жихарев служил сначала в коллегии иностранных дел, потом при комитете министров, был правителем дел театрального комитета. С 1823 по 1827 г. был московским губернским прокурором, с 1828 по 1839 — обер-прокурором московского департамента сената. На руку был очень нечист, вымогал взятки, брал у приятелей деньги взаймы без отдачи. Сильно попользовался на управлении доверенными ему имениями бр. Тургеневых. Об отношениях Пушкина с Жихаревым в Петербурге мы ничего не знаем, но, когда Пушкин в 1827 г. жил после ссылки в Мо-

скве, местный жандармский полковник доносил Бенкендорфу: «Дома, которые Пушкин наипаче посещает, это дома кн. Зинаиды Волконской, поэта кн. Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются преимущественно на литературе».

Впоследствии Жихарев был сенатором, но через четыре года по назначении уволен за взяточничество. Потом служил по ведомству конозаводства, состоял председателем театрально-литературного комитета в Петербурге и отовсюду увольнялся за нечистые дела.

Оставил очень ценные воспоминания.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛЕЩЕЕВ

(1775—1827)

Племянник первой жены Карамзина, Елизаветы Ивановны, рожденной Протасовой, и племянник единокровной сестры Жуковского, Ек. Аф. Протасовой, рожденной Буниной. Служил в гвардии, в 1799 г. женился на красавице-фрейлине графине Анне Ивановне Чернышевой, дочери фельдмаршала. Она от кого-то забеременела, и, чтобы «прикрыть стыд», на ней женился Плещеев. Поженившись, молодые удалились в Орловскую губернию и никогда в Петербург не приезжали. Плещеев был человек богатый, славился на всю округу хлебосольством и умением устраивать увеселения в великолепном своем имении Черни. Он держал музыкантов, фокусников, механиков, выстроил у себя театр, сформировал из своих крепостных труппу актеров. Он не мог жить без пиров и забав, веселился каждый день с утра до вечера; сюрпризам, домашним спектаклям, *fêtes champêtres*, маскарадам не было конца. На домашнем театре представлялись комедии и оперы, сочиненные и положенные на музыку Плещеевым, в представлениях участвовал и сам он. Он был прекрасный чтец и актер, мастерски умел подражать голосу, приемам и походке знакомых, особенно уморительно передразнивал соседних помещиков и их жен. Был он смугл, с толстыми губами и черными кудрявыми волосами, приятели называли его «черная рожа» и «мой негр». Жуковский, когда жил у своих родственников под Белевом, часто приезжал в Черни, участвовал в спектаклях, в писании для них пьес и крепко сдружился с Плещеевым. Переписывались они всегда стихами — Жуковский русскими, Плещеев — французскими. Плещеев сочинил музыку на многие романсы Жуковского, а жена его, обладавшая прекрасным голосом, пела их. Об отношениях между мужем и женою Вигель рассказывает: «Брачные узы забавнику Плещееву, как говорят, не всегда казались забавны. Они были блестящие и столь же тяжкие

для него оковы. Графиня не забывала свой титул и была чрезвычайно взыскательна с мужем-дворянином»,

В 1817 г. жена Плещеева умерла, и он переселился в Петербург. Жуковский ввел его в «Арзамас». «Он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий, — рассказывает Вигель. — А нам то и надо было. Сначала, действительно, он всех насмешил, но вскоре за пределами фарсы увидели совершенное ничтожество его. По смуглому цвету лица Жуковский назвал его «Черным враном»; наскучило, наконец, слушать этого ворона, даже тогда, когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было».

Через Жуковского Плещеев попал в чтецы к императрице Марии Федоровне; был членом театральной дирекции и некоторое время заведывал французскою труппою; умер камергером в чине тайного советника.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ СЕВЕРИН (1792—1865)

Сын капитана гвардии, впоследствии витебского губернатора и сенатора. Воспитывался в Петербурге, в иезуитском пансионе, вместе с кн. П. А. Вяземским. Учился прекрасно, был хороших способностей и поведения образцового. Служил в коллегии иностранных дел, часто по делам службы жила за границей, исполнял мелкие дипломатические поручения. Пописывал стихи, приятели ценили его остроумные экспромпты и мелкие стихотворения, но напечатал он только одну переводную с французского статейку да пару плохих басен. Находился в приятельских отношениях с кн. Вяземским, Жуковским, Батюшковым, Блудовым. По всему судя, был человек интересный. Батюшков, например, писал в 1818 г. Вяземскому: «...как ни скучен Петербург, но там, где живут Карамзины, Салтыков, Уваров, Тургенев, Северин, можно найти веселые минуты и отдохнуть умом и сердцем». Приятели ввели его в «Арзамас». Дочь Блудова вспоминает о нем: «...желтое и кисленькое лицо, чопорная фигура». Вигель характеризует так: «В это время худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопства, облеченного в столь щеголеватые и благородные формы». Прозвище ему в «Арзамасе» было «Резвый кот». Что-то в нем было от кошачьей ласковости и резвости, — в школе его тоже прозвали котенком. Моральные же качества, видимо, были, действительно, невысокого сорта. А. Тургенев о невысоком и художавом Се-

рине писал Вяземскому: «...душа его мельче его роста и тонее его ног»; а в другой раз писал ему же: «Северин и Дашкову хотел наделать мерзостей, но не удалось. Дашков презирает его по-нашему». «По-нашему» — это неверно. Вяземский любил Северина и всю жизнь неизменно дружил с ним. Но от нападок Тургенева защищал его вяло и без уверенности: «...охота тебе ругать мне Северина! Я не могу ни выдавать, ни оправдывать его... Переменить мнение свое о нем вверх дном не могу, да, признаюсь, и не хотел бы. Что пользы? В нашем быту людей познавать до внутренней нет никакого прока, а только горечь. Вам иногда хорошо знать, чем сосед пахнет; но мне, гуляющему по раздольному полю, и небезвыгодно, и гораздо приятнее дорожить иногда своим тупозрением».

Каковы были отношения между Севериным и Пушкиным в Петербурге, мы не знаем. В 1823 г. Северину пришлось быть в Одессе. Там в это время жил Пушкин. Тургенев писал Вяземскому: «...поэт-африканец был в Одессе у Северина, который сказал, чтобы он не ходил к нему; обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил его». Северин был взглядов самых реакционных и сходилась в них со своим шурином по первой жене, А. С. Стурдзой. Видимо, он не желал, а, может быть, и боялся сношений с ссыльным Пушкиным. Пушкин написал на него эпиграмму «Жалоба»:

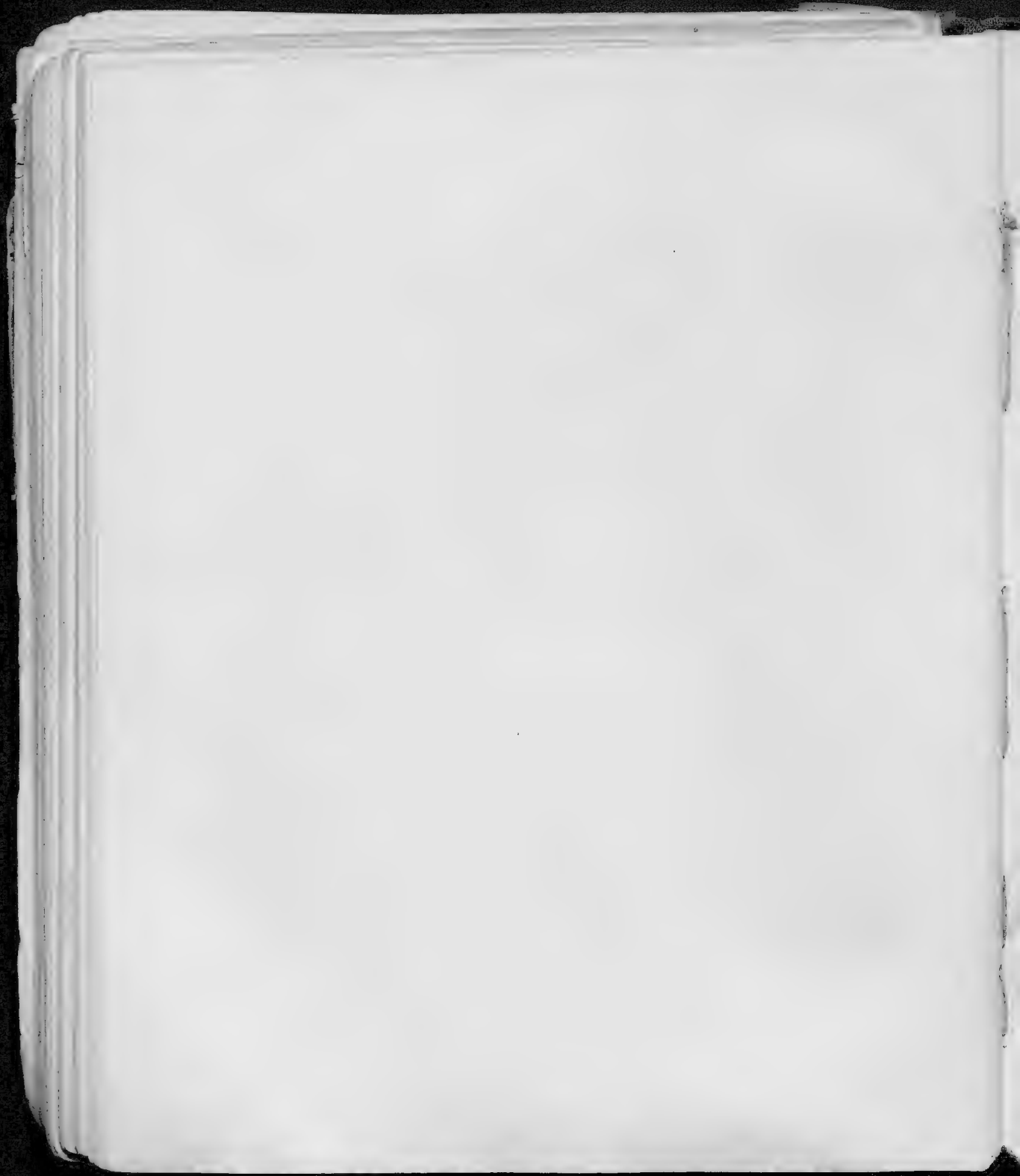
Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, — вы знатный господин:
Таков об вас народный говор,
Высокородный Северин.
Потомку предков благородных,
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фрак и модных
И не варит обедов мне.

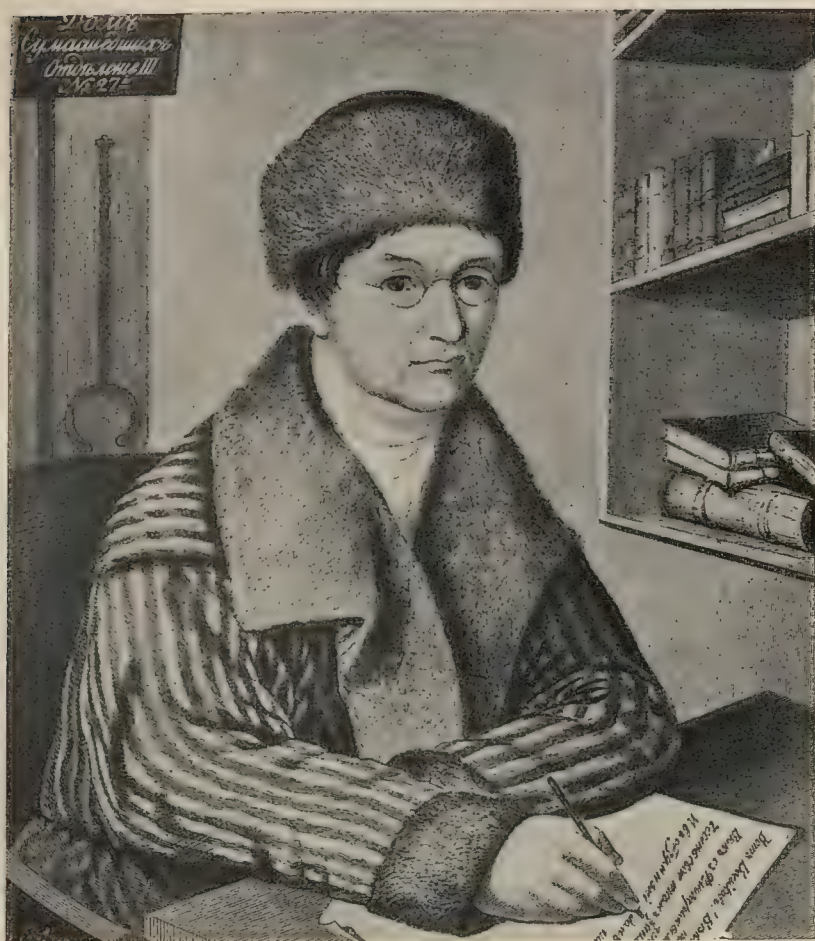
Мать Северина была дочь дворового человека, воспитанница баронессы Строгановой. — возможно, что по материнской линии у Северина были родственниками повар и портной. Однако неизвестно точно, действительно ли эпиграмма Пушкина направлена на Северина; с его именем эпиграмма была напечатана Гербелем в берлинском издании запрещенных стихотворений Пушкина; в дошедшем же до нас черновом автографе эпиграммы имени Северина нет, четвертый стих читается так:

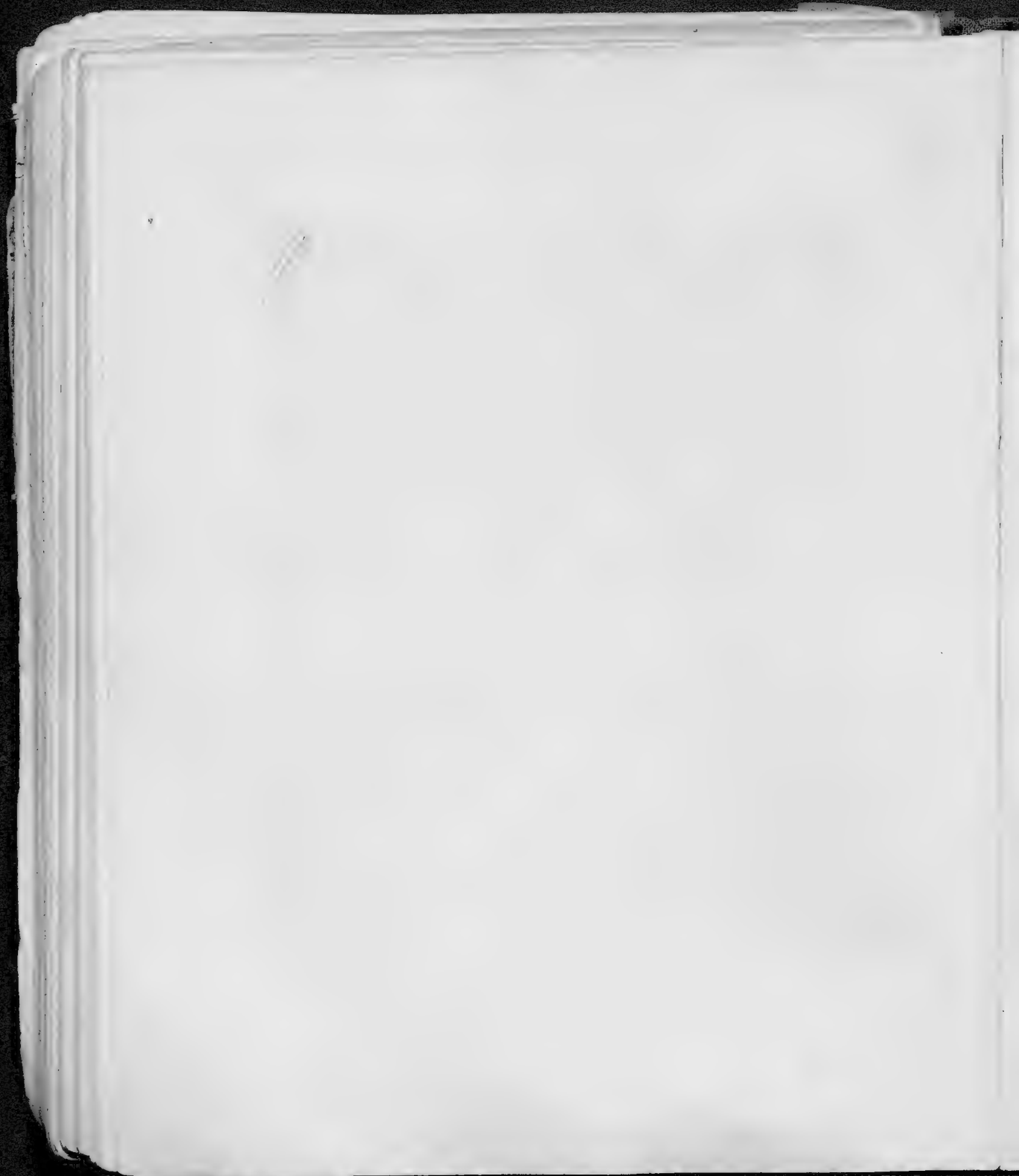
И дива нет, — не вы один.

Обычно принимают, что именно эта эпиграмма была причиной враждебного приема, оказанного Севериным Пушкину в Одессе. Навряд ли Пушкин, написав такую эпиграмму, пошел бы к Северину. Гораздо вероятнее, что она была ответом на оказанный ему прием.









Впоследствии Северин был чрезвычайным посланником и полномочным министром сначала при Швейцарском союзе, потом при баварском дворе. Умер в глубокой старости, в чине действительного тайного советника.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАВЕЛИН
(1778—1851)

Воспитанник московского университетского Благородного пансиона. Был директором медицинского департамента, с 1816 г. — директором Главного педагогического института и Благородного пансиона при нем. Во время его директорства в пансионе учился и был исключен из него брат Пушкина Лев. В молодые годы Кавелин писал стихи, некоторые песни его в свое время пользовались известностью; во время войны 1812 г. печатал на отдельных листках патриотические солдатские песни. Жуковский, его товарищ по московскому Благородному пансиону, в 1815 г. ввел его в «Арзамас». Кличка ему была дана «Пустынник». Вигель вспоминает: «Он ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лиш- ний».

В 1819 г. Кавелин был назначен директором петербургского университета. На этом посту он явился усердным клеветником знаменитого изу- вера Магницкого. Вместе с помощником попечителя Руничем совершенно опустошил заведомый им университет, удалил либеральных профессо- ров Германа, Раунаха, Галича и др., обрызгивал святою водою покаяв- шегося Галича (см. «Галлч» в главе «Лицейское начальство и препода- ватели»), заставил покинуть педагогическое поприще талантливого про- фессора А. П. Кунцына. А. И. Тургенев в негодновании писал Вязем- скому: «Один из наших арзамасцев, Кавелин, сделался совершенным пальясом (паясом) пальяса Магницкого: кидает своею грязью в убитого Кунцына, обвиняет его в своей вине, т. е. в том, что взбунтовались ученики его Пансиона, и утверждает, что политическую экономию должно основать на евангелии. Я предложу выключить его формально из Арзамаса».

А. Ф. Воейков в сатире «Дом сумасшедших» отвел в сумасшедшем своем доме место и Кавелину:

Нали Кавелин педалеко
Там в чулане заседал
И, торе возведши око,
Исповедь свою читал:

«Как, меня лишать свободы
«И сажать в безумный дом?
«Я подлец уже с природы,
«Сорок лет хожу глухом.
«И Магницкий вечно мною,
«Как тряпичей черной, трет,
«Как кривою кочергою,
«Загрывает или бьет».

Пушкин упомянул Кавелина в своем «Втором послании к цензору» —

бедный мой Кавелин-дурачок,
Креститель Галича, Магницкого дьячок.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ВОЕЙКОВ (1778—1839)

Критик, журналист и поэт. Был женат на племяннице Жуковского, А. А. Протасовой, «Светлане», — чудесной, поэтической и несчастной женщине, из-за которой друзья ее терпели в своей среде грубого и нравственно нечистоплотного Воейкова. В «Арзамас» Воейкова ввел Жуковский, но даже нетребовательные арзамасцы приняли Воейкова в общество очень неохотно. Кличка ему была «Дымная печурка» или «Две огромных руки». За время существования «Арзамаса» он состоял профессором русской словесности в Дерпте. Однако летом 1817 г. несколько раз присутствовал на заседаниях «Арзамаса». Членом был выбран раньше. В 1816 г. написал юмористический «Парнаасский адрес-календарь или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона. Для употребления в благошляхетном Арзамасском обществе». Характеристики арзамасцев благожелательные, членов «Беседы» — в таком роде: «Кн. Шаховской. Составляет самый лучший оплум для придворного и общественного театра. Имеет привилегию писать без вкуса и толка. А. С. Шишков. Патриарх старообрядцев; на шее носит шиш на пестрой тесьме, а в петлице раскольничью бороду на голубой ленте; перелагает в стихи Стоглав и Кормчую книгу». — Подробно о Воейкове см. в главе «Журналисты».

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ (1786—1855)

Одна из гнуснейших фигур среди министров николаевской эпохи. О нем см. в главе «Начальство». В эпоху «Арзамаса» Уваров был еще

только милым молодым человеком, ловко устраивавшим себе карьеру; женился на несметно-богатой, перзревшей дочери министра народного просвещения гр. А. К. Разумовского, двадцати пяти лет стал попечителем петербургского учебного округа. «Красавец и баловень аристократических собраний, — характеризует его дочь Блудова, — остроумный, ловкий, веселый, с примесью самолюбия фата». Был человек очень образованный, особенно в области классической филологии, написал несколько ученых работ, например, об элевсинских мистериях; напечатал письмо к Гнедичу, убедившее его в возможности употребления гекзаметра в русском стихосложении и побудившее начатый александрийскими стихами перевод «Илиады» переработать в гекзаметры. Уваров был инициатором основания «Арзамаса». Когда в 1815 г. Блудов написал свое «Видение в Арзамасе», Уваров разослал писателям циркулярное приглашение пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, стоял длинный стол, обставленный стульями, на столе большая чернильница, бумага, перья. Хозяин занял место председателя и в краткой речи предложил заседающим осуществить на деле видение Блудова и составить общество «Арзамасских безвестных литераторов». Юмористический гений Жуковского мигом пробудился; он увидел длинный ряд веселых вечеров, возможность нескончаемых шуток и проказ. От правил, предложенных им новому обществу, все помпировало со смеху. Жуковского единогласно избрали секретарем. Уваров рассчитывал, что председателем выберут его, но решено было, что председателем на каждое заседание будут выбирать по жребию. Так основался «Арзамас». Кличка Уварову была «Старушка». Заседания общества чаще всего происходили в петербургском доме Уварова или на его подгородной даче. Года через два Уваров почувствовал, что веселое озорство «Арзамаса» все больше начинает бить в пустое место и что пора взяться за что-то более серьезное. Он написал в «Арзамас» «донесение», где сообщал, что ездил в Арзамас, посетил трактир, где их общество получило свое начало, потом вышел к берегу реки; из речных струй поднялся старец-водяной и обратился к нему с такой речью:

— Гуси, гуси! Кто вас не любит? Да долго ли вам беситься? Царство литературы почти в ваших руках, — когда перестанете вы топить в моих чистых струях карликов Беседы и Академии? Давно уже не стало их бумажных тропов, — перестаньте с ними возиться! Какой чорт вас с ними связал? Похвально было показать свету, что они глупцы, похвально было согнать с Парнаса нестерпимую толпу лже-гениев; но они давно уже рассеялись под вашими ударами. Чего же вам более? Но должны ли вы довольствоваться сими жалкими трофеями? От вас я ожидаю более; я ожидаю возобновления отечественной литературы, я

ожидаю торжества разума и вкуса. Спасайте их, как некогда ваши предки спасали Капитолий: ныне не один Бренн им угрожает; полчища уродливых Бреннов с гасильниками в руках стремятся погасить ту бедную искру человечества и рассудка, которую я поручил в ваше попечение. Пора испугать их светом разума, разогнать их скопища объявлением войны продолжительной и смелой! Тогда я с радостью буду издали внимать кликам вашей победы и с гордостью признавать вас за моих сынов, за истинных Гусей Арзамасских!»

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ

(1789—1872)

Это был человек одной идеи, заполнившей всю его жизнь. Как Аннибал жил идеей борьбы с Римом, как Катон — идеей о необходимости разрушения Карфагена, так Николай Тургенев жил и дышал идеей освобождения в России крестьян от крепостной зависимости. Во всех его действиях, в речах, в письмах неотступно звучит это его «*delenda est Carthago!*»

Как старший брат его Александр, Николай родился в Симбирске, учился в московском университетском Благородном пансионе и московском университете. Довершил образование в Геттингене, где занимался историей, юридическими науками, политической экономией и финансовым правом. Служил в комиссии составления законов, во главе которой стоял Сперанский. В 1813 г. назначен был в Германию русским комиссаром в центральный совет союзных правительств, ведавший управлением отвоеванными у французов немецкими провинциями. Совет этот возглавлялся знаменитым либеральным прусским реформатором Штейном, «добрым гением Германии». Тургенев работал со Штейном три года и близко сошелся с ним. Штейн высоко ценил Тургенева и говорил, что «имя его равносильно с именами честности и чести». В конце 1816 г. Тургенев возвратился в Россию и был назначен помощником статс-секретаря государственного совета, а с 1819 г. кроме того и управляющим одним из отделений канцелярии министерства финансов. Во всех делах и проектах он вел упорную борьбу с начальством и товарищами, неизменно отстаивая интересы крестьян против притязаний помещиков. Образованный, умный и энергичный, он быстро выдвинулся. Министр иностранных дел Каподистрия говорил, что Тургенев был бы выдающимся государственным человеком даже в Англии, а император Александр находил, что только Тургенев мог бы заместить Сперанского. В конце 1818 г. Тургенев издал книгу «Опыт теории налогов», имевшую





шумный успех. «В этом сочинении, — говорит Тургенев, — я указывал на нравственную пользу изучения политических и особенно экономических наук и на то, что в основе государственного права должна лежать свобода. Я пользовался всяким случаем, чтобы говорить об Англии, ее могуществе, богатстве, и приписывал все эти преимущества ее учреждениям. Поэтому, излагая теорию налогов, я часто отклонялся в область политики. Подушная подать дала мне повод говорить о крепостном праве, и я им воспользовался. Эти отступления, на мой взгляд, были важнее главного предмета моей работы».

Тургенев был хром, поэтому мало выходил и вел сидячую жизнь. Лицо было серьезное и несколько строгое. На людей он имел влияние неотразимое. «Что меня в нем поражает, — пишет современница, — это властность, которую он естественно берет над другими; чувствуешь его превосходство, но несколько этим не оскорбляешься: оно внушает лишь преданность». Беллетристика и искусства мало интересовали Тургенева, он видел в них лишь полезное средство для борьбы с крепостным правом.

Немедленно по приезде в Петербург Тургенев стал членом «Арзамаса». Кличка ему дана была «Варвик». Времяпрепровождение и дух общества мало ему понравились. 12 ноября 1816 г. он писал в дневнике: «Вчера я был при заседании Арзамаса. Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и др. о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь и желать надобно». Через год писал: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство, но средства предлагаемые не всем нравятся». Впоследствии он так вспоминал об «Арзамасе»: «Об литературном кружке этом вспоминаются одни пустяки. Он существовал для осмеяния сторонников старого направления в литературе. Вследствие влечения к серьезным работам я не очень интересовался происходившим в кружке, однако я любил присутствовать на его заседаниях, так как говорили не всегда только о легкомысленных предметах. Но должен сознаться, что удовольствие это всегда носило некоторый неприятный привкус, так как я никак не мог освоиться с духом издевательской критики, господствовавшим среди этих людей. Дух этот особенно чувствовался в неистощимой болтовне Блудова».

Пушкин часто виделся с братьями Тургеневыми. Вигель рассказывает: «Из людей, которые были его старше, чаще всего посещал Пушкина братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайлов-

ского замка, что ныне Инженерный (где жил и был убит заговорщиками император Павел). К ним, т. е. к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. С проворством обезьяны Пушкин вдруг вскочил на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Окончив, показал стихи». Это была «Ода на вольность». По сообщению Сабурова Анненкову, тема оды была подсказана Пушкину Н. Тургеневым.

В конце 1819 г. Тургенев через кн. С. П. Трубецкого вступил в «Союз благоденствия». Он был там очень деятельным членом и особенно энергично выступал в пользу любимой своей идеи — уничтожения крепостного права. Не уставал твердить сочленам:

— Освободите немедленно ваших дворовых и в силу закона добейтесь освобождения своих крестьян; благодаря этому не только будет меньше несколькими рабами, но вы покажете и власти, и обществу, что наиболее уважаемые собственники желают освобождения крепостных. Так разовьется идея освобождения.

Чтобы подать пример, Тургенев тогда же дал вольную своим дворовым, а в симбирской деревне, которая принадлежала ему вместе с двумя братьями, как Онегин, —

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил.

Платежи помещику уменьшились — на одну треть. Однако призывы Тургенева находили мало отклика в его сочленах. Впоследствии Пушкин в сожженной главе «Онегин», обрисовывая членов Северного общества, писал:

Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово «рабство» ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

В январе 1821 г. происходил в Москве тайный съезд членов «Союза благоденствия». Ввиду заполнения союза мало надежными членами было решено для вида распустить союз, а из более надежного ядра образовать новое тайное общество. Решение это было принято на заседании, в котором председательствовал Тургенев. Образовалось Северное

общество в Петербурге и Южное — на юге. Одним из самых влиятельных пленов Северного общества был Тургенев. По вопросу о желательной форме будущего образа правления он высказывался безусловно за республику. Декабрист Волконский рассказывает, что при поездках его в Петербург, где он должен был давать Тургеневу отчет в действиях Южного общества, Тургенев настойчиво интересовался, идет ли в войсках подготовка к восстанию. Во время восстания Семеновского полка Тургенев сурово спросил И. И. Пущина: «Что же вы не в рядах восставших? Вам бы там надлежало быть!» В 1824 г. Тургенев, по расстроенному здоровью, уехал за границу. В последнее время, как он впоследствии уверял, он совершенно разочаровался в Тайном обществе и убедился в его ничтожестве. Декабрьское восстание разразилось, когда Тургенев был за границей. Оно явилось для Тургенева совершенно неожиданностью. Узнав, что его обвиняют в принадлежности к Тайному обществу, он послал в Петербург объяснение и совершенно успокоился. Однако в Эдинбурге его посетил секретарь русского посольства в Лондоне кн. А. М. Горчаков (лицейский товарищ Пушкина) и вручил ему предложение министра иностранных дел, от имени императора, явиться в верховный суд в качестве обвиняемого за участие в восстании. Тургенев ответил, что он уже послал письменное объяснение, а поехать не может вследствие нездоровья. Визит Горчакова до глубины души потряс Тургенева. Этот член революционного тайного общества в ужасе и негодовании писал братьям: «Я обвиняюсь в измене! Я государственный преступник! Я читаю, перечитываю слова сии — и не верю глазам моим! Но должен верить! Должен говорить сам себе: да, да, тебя обвиняют в измене!.. Как бы я мог показать глаза в Россию под бременем такого обвинения? Я государственный преступник! Нет! нет, — это невозможно!» Русское правительство потребовало у Англии выдачи Тургенева. Англия отказала. Но в Россию пришли слухи, будто Англия его выдала. Возмущенный Пушкин писал Вяземскому, приславшему ему свои стихи к морю:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славил лирой золотой
Нептуна грозного презубец.
Не славь его. В наш тусклый век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

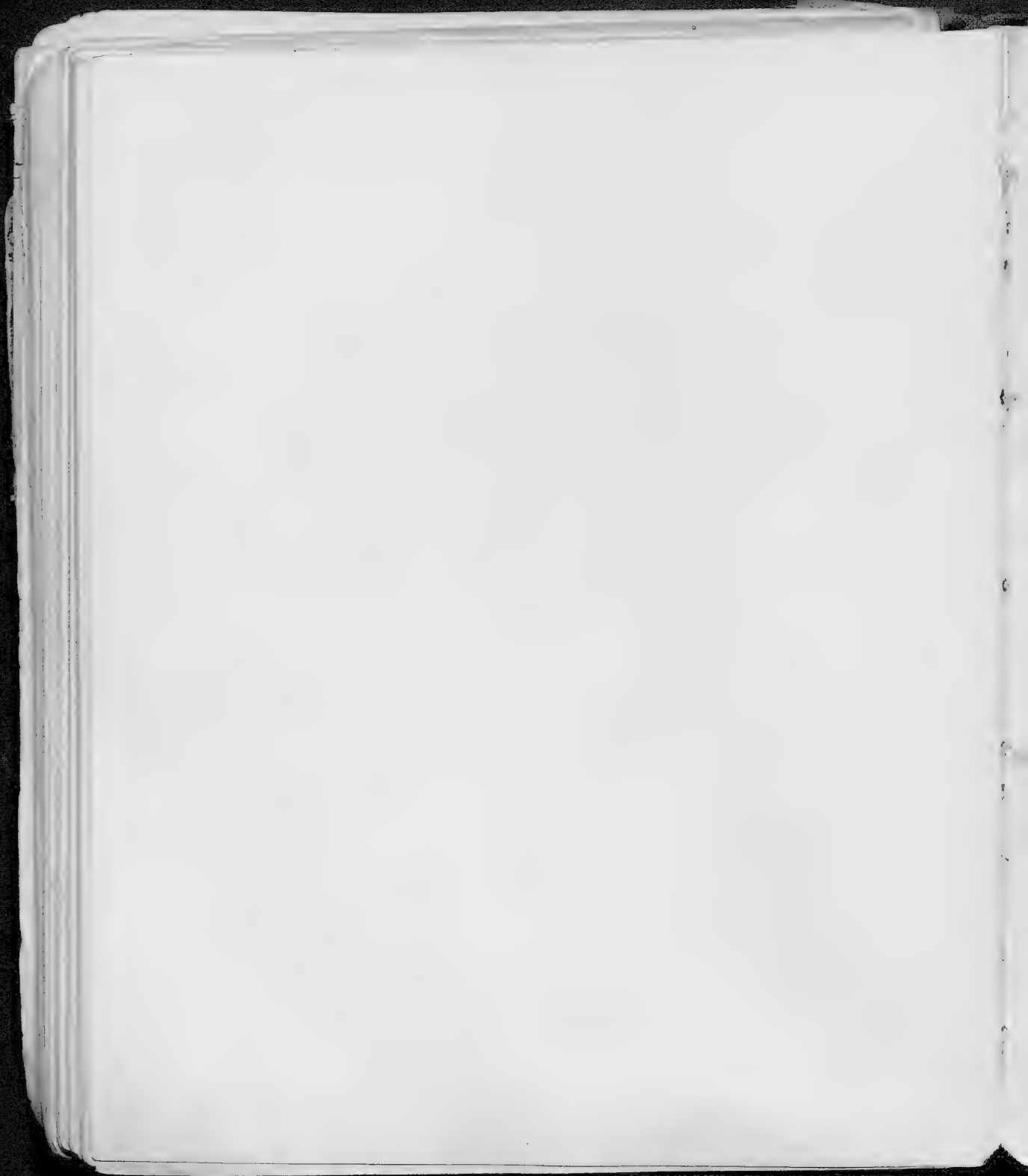
Тургенев верховным судом был приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Ознакомившись с докладом следственной комиссии, он написал пространную оправдательную записку, которую че-

рез Жуковского подал императору Николаю. В записке Тургенев решительно отрицал свое участие в обществе после закрытия «Союза благоденствия», отрицал сочувствие свое не только республиканскому образу правления, но и введению в России конституции, утверждал, что давно убедился в совершенном ничтожестве общества, что цель у него была одна — освобождение крестьян от рабства, но и для этого он указывал всегда лишь законные средства — отпускные крестьянам, увольнение их в свободные хлебопашцы и т. п. Уверял, что ничего решительно не знал, какое направление приняла под конец деятельность общества. «Рапорт следственной комиссии, — писал он, — представил всё адское дело со всеми подробностями беспримерного разврата и кровожадности. Душа моя содрогнулась, ужасные ощущения ее терзали. Тогда я увидел, что совещания, на коих я некогда присутствовал, превратились наконец в настоящее скопище разбойников... Одно помещение моего имени между именами доказанных злодеев есть и будет самым тягостным бременем на всю мою жизнь!» Вся записка представляет собою не более как искусную адвокатскую речь, — такую ее признает даже очень расположенный к Тургеневу кн. Вяземский, а кн. А. Н. Голицын, бывший министр народного просвещения, отзывался о ней: «В этом оправдании слишком много розовой водицы»¹.

Реабилитации Николай Тургенев не добился, несмотря на все хлопоты его брата Александра. Он остался жить за границей. Любовь между братьями была исключительная. Александр продал принадлежавшее им совместно имение и переслал деньги брату. Николай жил во Франции на широкую ногу, в роскошной собственной вилле Вербуа близ Буживаля. После смерти брата он в 1847 г. выпустил на французском языке свой известный трехтомный труд «Россия и русские» с подробным описанием политического, социального и экономического строя России, с изложением необходимых, по мнению автора, реформ, в первую очередь — уничтожения крепостного права. Весь первый том снова был посвящен доказательству несправедливости обвинений, на основании которых он был осужден верховным судом. И здесь Тургенев продолжал утверждать, что в Северном тайном обществе не принимал никакого участия, что силы и деятельность общества были совершенно ничтожны. Однако о самих товарищах по обществу отзывался

¹ Многие умолчания и извращения фактов в оправдательной записке были сделаны по настоянию Александра Тургенева. Им же вставлена тирада о «злодеях и разбойниках». Николай Тургенев писал в дневнике: «Это дорого мне стоит. И первая, и теперешняя моя оправдательная записка лишают меня совершенной независимости духа. Я в них говорю против себя. Эти записки могут быть для меня единственным упрёком».





иначе: тут они были уже не «злодеи и разбойники». «Это — благородные люди, погибшие вследствие своей преданности общественному благу или своим убеждениям... Через сто лет эшафот их послужит пьедесталом их памятнику» и т. п. Тургеневская оценка Тайного общества вызвала резкие протесты декабристов. Кн. С. Г. Волконский, высказывая в своих воспоминаниях глубокое сожаление, что отговорил Пестеля от предлагавшейся им поездки за границу, пишет: «Пестель был бы жив и был бы в глазах Европы иным историком нашему делу, чем Николай Тургенев. Высказанное Тургеневым, даже в печати, уверение, что он не участвовал в тайном обществе, есть явная ложь. Только случай выпихнул его из верховного уголовного суда. Я радуюсь за Тургенева; но не поставило ли ему это еще более в обязанность не порочить печатно своих собратий, а выставить их в истинном свете, и особенно там, где его слова не подвергались никакому преследованию?» С воцарением Александра II Тургеневу были возвращены его чин действительного статского советника и дворянство, он получил право возвратиться в Россию. Он остался, однако, жить во Франции и только три раза посетил наездом Россию. Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимости Тургенев приветствовал с восторженным чувством Симеона-богопримца: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко!»

«Один из лучших сынов России», — писал в некрологе Ник. Тургенева Ив. Серг. Тургенев. «Образец человека», — озаглавил свой очерк жизни его один из биографов. Плохо было бы для России, если бы в ней не было сынов лучше Н. Тургенева и образцов человека выше его. Тургенев не был человеком, сумевшим подняться выше своего времени и своего класса. Он был узкий фанатик одной идеи, вырванной из всей сложности исторической обстановки, готовый идти на любые компромиссы для осуществления своей цели. Друзья (а может быть, и сам он) искренне считали Тургенева пламенным борцом за свободу и права человека. На деле он был выразителем умеренного и своекорыстного буржуазно-помещичьего либерализма, помогавшегося для себя ограничения самодержавия, готового на военный переворот, но панически боявшегося возможности крестьянской революции. Боязнь эта ярко выражена в одном письме Вяземского, вызвавшем полное одобрение Тургенева. Вяземский пишет: «Дворянство до сей поры только и держится крестьянством. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего, — все от этой меры зависит». Впоследствии, в своем проекте учреждения в Рос-

сни «Народной думы», Тургенев совершенно исключал из числа избирателей все крестьянство, стоял за самое минимальное наделение крестьян землею при освобождении. Даже пищенский надел, которым одарила крестьян кургузая реформа 19 февраля, оказался много выше того, который предлагал Тургенев, и он «честно признал», что жизнь во многих отношениях опередила его проекты.

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВ

(1788—1842)

О нем — в главе «В Кишиневе». — Член «Союза благоденствия». В «Арзамас» он был принят в 1817 г. За плавность и красоту речи кличка ему была дана «Рейн». Свою вступительную речь Орлов постарался выдержать в обычном для «Арзамаса» юмористическом стиле, высмеивал писателей «Беседы», но при этом заявил: «Я не поведу, что не будет у нас словесности, пока цензура не примирится с здравым рассудком и не перестанет вооружаться против географических лексиконов и обверточных бумаг». А закончил речь так: «Я сам чувствую, что слог шуточный неприличен наклонностям моим, и ежели я решился начертить сие нескладное произведение, это было единственно для того, чтобы не противиться законам, вами утвержденным... Ожидаю того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему обществу цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране русской. Тогда-то Рейн, прямо обновленный, потечет в свободных берегах Арзамаса, гордясь нести из края в край, из рода в род, не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности. Тогда-то просияет между ними луч отечественности, начнется для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы». Рейну-Орлову отвечал очередной президент Резвый Кот-Северин. Осыпав Орлова похвалами, он сделал ему, однако, осторожное предупреждение: «...умерьте пространство вашего плаванья: постарайтесь в месте сидения вашего не разливать и не топите нас; но знайте, что есть неизмеримое число обезьян, в людское платье одетых и в прошлые времена собиравшихся в доме желтом и возле желтого дома (помещение Беседы находилось возле желтого дома умалишенных). Тех вы должны топить без милосердия». Сводя в одно несколько противоречивые данные источников, дальнейшее развитие прений можно представить себе так: яко бы прорицая от лица спящей Эоловой арфы, взял слово

Кассандра-Блудов и пожелал «продолжить сказанное Рейном». В юмористическом протоколе, писанном Жуковским, речь его излагается так:

Полно тебе, Арзамас, слоиться бездельником!..
Время летит. Нас доселе собирала беспечная шутка;
Несколько ясных минут украла она у бесплодной
Жизни. Но что же? Она уж устала, пль скоро устанет!
Смех без веселости только кривлянье! Старые шутки —
Старые девки! Время прошло, когда по следам их
Рой обожателей мчался! Теперь позабыты! В морщинах,
Зубы считают, в разладе с собою, мертвы не живши.
Бойся ж и ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой!
.....
..... О, братья, пред нами во дни упования
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали растилалась.
Близким стало далекое! Что же? Пред темной завесой,
Вдруг упавшей меж нами и жизнью, каждый стоит безнадежен;
Часто трепещет завеса, есть что-то живое за нею,
Но рука и поднять уж ее не стремится. Нет веры!

И Блудов предложил «Арзамасу» взяться за издание журнала. «Докажите злоречивому свету, — говорил он, — что не все журналисты поденщики, что можно трудиться для пользы и чести, не для корысти, и что в руках благоразумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие Арзамаса да будет медленно, но мирно и благотворно». Прения протекали очень корректно, Орлов даже выразил согласие с речью Блудова, но настаивал, чтобы журнал носил характер политический, чтобы он будил читателя новостью и смелостью идей. Орлова поддерживал Николай Тургенев. Протокол рассказывает:

Совещанье

Начали члены. Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слились в одну бестолковщину. Бегло
Своим язычком Кассандра работала. Рейн
Громко шумел... Пустынный (Кавелин) возился с Варвиком
(Ник. Тургеневым)...

Чем же сумятица кончилась? — Делом. Журнал состоялся.

Журнал не состоялся. Хотя даже выработана была и его программа, но он не состоялся и не мог состояться. Смешно было ждать, чтобы способной издавать политический журнал оказалась группа, в которой с Орловым, Ник. Тургеневым и Никитой Муравьевым соседствовали Уваров, Блудов, Кавелин. Вигель рассказывает: «С этого времени замечен стал совершенный раскол: веселость скоро прискутила тем,

у конх голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. В этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном».

НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ МУРАВЬЕВ

(1796—1843)

Сын попечителя московского университета. Получил образование в московском университете. Служил на военной службе, участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом. Состоял при гвардейском генеральном штабе. Член «Союза спасения», один из основателей «Союза благоденствия», в котором занимал радикальную позицию. Автор известного проекта конституции. Впоследствии член Верховной думы Северного тайного общества и правитель его, возглавлял правое, умеренное крыло Общества. После 14 декабря приговорен был к каторжным работам на двадцать лет.

В «Арзамас» был принят осенью 1817 г. Занимал в нем, вместе с Н. Тургеневым и М. Орловым, крайнюю левую позицию. Протоколы последних заседаний «Арзамаса», где происходили бои за принятие обществом политического курса, до нас не дошли, — вероятно, были уничтожены, и о деятельности Муравьева в обществе мы знаем мало. Кличка ему была «Адельстан» или «Статный лебедь». Пушкин, вероятно, встречался с Муравьевым. В сожженной главе «Онегина» он называет его «беспокойным Никитой».

Кроме действительных членов («избранные гуси»), в «Арзамасе» были еще почетные члены («природные» или «почетные гуси»). Из последних принимали участие в заседаниях «Арзамаса» Н. М. Карамзин, М. А. Салтыков и Ю. А. Нелединский-Мелецкий.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН

(1766—1826)

Сын симбирского помещика. Воспитывался в частном московском пансионе. Одно время был близок к масонскому кружку Н. И. Нови-

кова. В 1789—1790 гг. путешествовал по Европе, издал «Письма русского путешественника», имевшие большой успех. Еще больший успех имела его сентиментальная повесть «Бедная Лиза». Читатели проливали над нею потоки слез, и к пруду у Симонова монастыря, где утопилась Лиза, устраивались целые паломничества. Соответственно назревшему настроению общества на многие годы модою стала напускная чувствительность и сладкая меланхолия «нежных душ». Повесть, с ее героиней, бедною крестьянкою-цветочницей, явилась первою робкою попыткою демократизма и гуманного учительства, впоследствии такую широкою струею влившись в русскую литературу. Однако демократизм Карамзина был очень невысокого сорта и не мешал ему быть страстным защитником крепостного права. Крепостное право, по его мнению, создает патриархальные отношения между бариним и мужиком и является источником счастья и благополучия для крестьян. В сочиненной Карамзиным «Сельской комедии» «хор земледельцев» поет:

Как не петь нам? Мы счастливы!
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее;
Их искусство — говорить.
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить!

Очень велико было значение Карамзина как реформатора русского литературного языка. Он первый заговорил в литературе более или менее простым разговорным языком, освободив его от прежней ходульной напыщенности. «Карамзин, — говорил Пушкин, — освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». Возгорелась длительная борьба между карамзинистами и приверженцами старого «высокого слога», уснащенного мертвыми славянизмами. Во главе противников Карамзина стоял А. С. Шишков и руководимая им «Беседа любителей российского слова». Вся молодая литература была на стороне Карамзина, борьба велась на протяжении почти двух десятилетий и закончилась победною деятельностью литературного общества «Арзамас». Сам Карамзин в этой борьбе не принимал участия. Он оставил литературу, оставил уже два года издававшийся им журнал «Вестник Европы» и весь отдался изучению русской истории. В 1803 г. Карамзин получил официальный титул историкографа и ежегодную пенсию в 2 000 р. с поручением написать полную историю России. Первые годы своей работы он жил в Москве, а летом в Остафьеве, имении кн. А. И. Вяземского, на дочери которого, Екате-

рине Андреевне, женился в 1804 г. В 1816 г. он представил императору первые восемь томов написанной им «Истории государства российского» и переселился в Петербург, лето стал проводить в Царском селе. Тесно сблизился с царской семьей, его очень любили императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна. Император Александр также к нему благоволил. После смерти Александра Карамзин тяжело заболел. Николай отпустил ему пятьдесят тысяч рублей на лечение и снарядил специальный фрегат для поездки Карамзина за границу, но болезнь быстро усиливалась, и Карамзин умер, не имея возможности воспользоваться поездкой. Семья его получила хорошую пенсию.

Карамзин в среде близких ему людей пользовался огромным уважением, почти поклонением. В своих воспоминаниях они рисуют его как исключительно доброго и благородного человека. «Прекрасная душа», — отзывался о нем Пушкин. Вяземский рассказывает: «В сношениях с государем Карамзин дорожил своею нравственною независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной. Карамзин за себя не просил; другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством» (до конца жизни он получал пенсию всего в 2 000 р. асс.). Однако до нас дошли документы, рисующие Карамзина и с другой стороны. Вот какие приказы посылал бурмистру своей арзамасской деревни этот прекрасодушный проповедник «нежной чувствительности»: «Пишешь ты ко мне, бурмистр, что хотя и приказал я женить Романа Осипова на дочери Архипа Игнатьева, но миром крестьяне того не приказали: кто же из вас смеет противиться господским приказаниям? Снова приказываю вам непременно женить упомянутого Романа на дочери Архиповой. А если вперед осмелится мир не исполнить в точности моих предписаний, то я не оставлю сего без наказания. Всякие господские повеления должны быть святы для вас. Мое дело знать, что справедливо и для вас полезно. Если кликуши не уймутся, то приказываю высечь их розгами». Другой приказ: «Вы прислали мне в марте тысячу рублей и обещали через неделю прислать еще значительную сумму; прошло уже более двух недель, а я еще ничего не получал. Разве вы смеетесь надо мною? Знайте, добрые мужики, что от меня одного зависит употребить против вас строгие меры, о которых я писал к вам. Генерал-губернатор теперь у вас, и он обещал мне свою помощь! Еще раз увещаю вас не выводить меня из терпения, немедленно собирать оброк и присылать ко мне. Иначе вам не чем будет жить (?)». Политических взглядов Карамзин держался самых консервативных. Ос-

новная мысль его «Истории государства российского», — что самодержавие было тою благотворительною силою, которой Россия обязана своим созданием и процветанием. Карамзин стоял за сохранение крепостного права, страстно восставал против либеральных начинаний Сперанского; государственные реформы, по его мнению, не значат ничего, важно «искать людей», все дело будет сделано, если удастся найти пятьдесят хороших, строгих губернаторов.

На большинстве дошедших портретов Карамзина лицо у него брюзгливое и губы недобрые. Карамзин был в жизни, как и во взглядах своих очень воздержан и умерен, ни в какие крайности не вдавался, очень был аккуратен. Вставал рано, гулял натошак, выпивал две чашки кофе, выкуривал трубку табаку и садился за работу. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива. Обед был скромный, но сытный, хорошо приготовленный, из самой свежей провизии. Вечером, перед сном, съедал непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо. Был он очень бережлив, но если покупал, то уже самое лучшее.

Пушкин познакомился с Карамзиным еще лицеистом, в Царском селе, где Карамзин, по желанию императрицы, проводил летние месяцы. Карамзин относился к Пушкину с большою благосклонностью и любовью. Пушкин часто посещал Карамзиных и по окончании лицея, в Петербурге. Однажды между ними произошла какая-то размолвка. «Карамзин, — рассказывает Пушкин, — меня отстранил от себя, глубоко оскорбив мое честолюбие и сердечную к нему привязанность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить». Когда вышли в свет первые томы «Истории государства российского», Пушкин, тогда настроенный очень оппозиционно по отношению к правительству, встретил ее эпиграммой:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И престолу клута.

Впоследствии Пушкин объяснял эпиграмму раздражением против Карамзина за происшедшую размолвку и считал написание эпиграммы «не лучшей чертой своей жизни». Когда в 1820 г. Пушкину за его вольные стихи грозила ссылка в Соловки или Сибирь, дело ограничилось посылкою его на юг к Инзову главным образом благодаря ходатайству Карамзина. При этом Карамзин взял с Пушкина обещание не писать в течение двух лет против правительства. Больше они не виделись. Когда Пушкин вернулся в Петербург, Карамзин уже умер. Пушкин относился к Карамзину с большим уважением, его «Историю» считал

«не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека», возмущался нападками Каченского и Полевого на труд Карамзина, своего «Бориса Годунова» посвятил «драгоценной для России памяти Н. М. Карамзина».

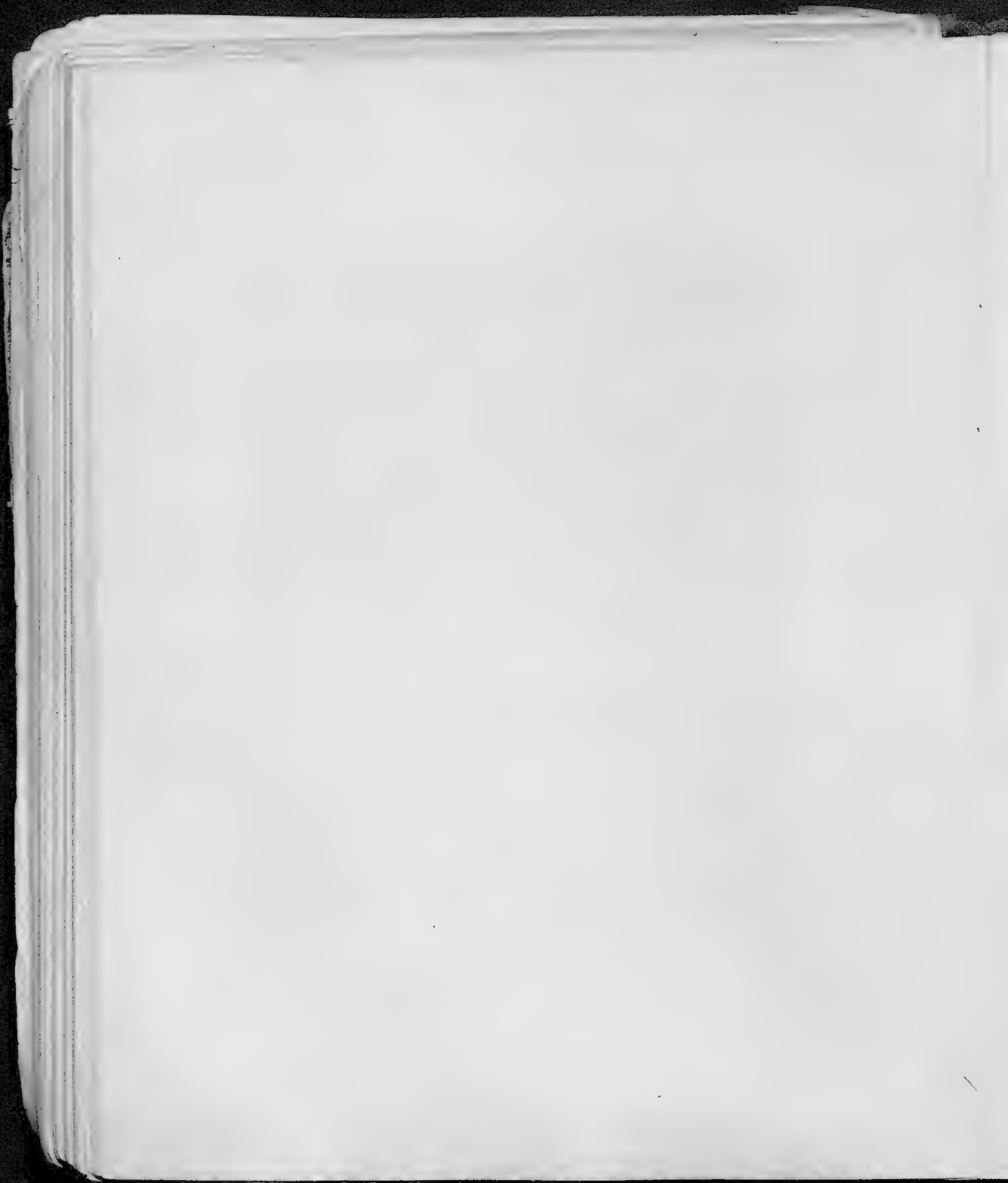
Карамзин был самым любимым и уважаемым «почетным гусем» «Арзамаса». Когда он в 1816 г. приехал из Москвы в Петербург, «Арзамас» чествовал его поднесением диплома, Жуковский приветствовал восторженной речью, где называл Карамзина «лучшим из людей». «Он — славный отец наших предков, — говорил Жуковский, — ибо он, вместе с юною красавицей музою истории, произвел их на свет таковыми точно, каковыми они есть, и сдунул с лица земли тех самозванцев и самохвалов, которые в арлекинских платьях таскались по миру под их священным названием». Карамзин не один раз бывал на заседаниях «Арзамаса» и писал жене в Москву: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня арзамасцы; вот истинная русская академия, составленная из молодых людей, умных и с талантом».

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ САЛТЫКОВ

(1767—1851)

Знатного рода, но небогатый. В 1794 г., двадцатисемилетним красавцем-подполковником, он обратил на себя похотливое внимание Екатерины II и стал признанным наложником 65-летней императрицы. Через два года Екатерина умерла. При Павле Салтыков находился в отставке. При Александре был произведен в камергеры. В 1812—1818 гг. управлял казанским учебным округом. Был человек умный и образованный. Сочувствовал жиропдистам, ненавидел одинаково якобинцев и Бонапарта, но у нас слыл вольнодумцем, следовательно — якобинцем. Прекрасно знал французскую литературу, благоговел перед Руссо; в отличие от других тогдашних бар интересовался и русскою литературою, был близок к литературным кругам карамзинистов, дружил с Батюшковым, Дашковым. «Я его люблю и уважаю», — писал Батюшков. «Арзамас» избрал Салтыкова «почетным гусем»; в одном из протоколов о нем сказано: «...не только умный друг ума и вкуса, но и еще опасный и терпеливый враг глупцов беседных и глупцов академических, и даже канцелярских, и сверх того прочих». В то время Салтыков был попечителем казанского округа, но много жил в Петербурге и посещал заседания «Арзамаса». В целом ряде протоколов мы находим его подпись: «почетный гусь Михаил». Вигель пишет: «Салтыков всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Он был из числа тех людей, кои,





зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство обязано их награждать, употребляют ли или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что почести, без всякого труда, сами собою должны были к нему приходить. По незнанию дел, по совершенному презрению к своим должностям, все места умел он превращать в каноникатства». Характером Салтыков обладал тяжелым, был мнительный меланхолик, раздражительный брюзга, приходивший в дурное настроение от всякого пустяка, эгоист и деспот, хотя на словах вольнодумец. «Причудливостью своею и дурным правом, — рассказывает Греч, — он заставлял забывать многие свои добрые качества и умер, никем не оплаканный». После попечительства в Казани был сенатором в одном из московских департаментов сената, в Москве бывал у Чаадаева, у П. И. Дмитриева, на вечерах А. П. Елагинной. Дочь его, Софья Михайловна, вышла замуж за поэта Дельвига.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ
(1751—1828)

Поэт екатерининской и павловской поры, автор напыщенных од на торжественные случаи и сентиментальных песенок, не лишенных дарования. Ему принадлежит, между прочим, песня, ставшая очень популярной: «Выйду я на реченьку, погляжу на быструю». Нелединского ценили Карамзин, Дмитриев, Батюшков. Пушкин в 1823 г. писал Вяземскому: «...по мне, Дмитриев ниже Нелединского». Ценили Нелединского и арзамасцы, избравшие его «почетным гусем». Вигель, встречавшийся с ним на собраниях «Арзамаса», так рисует Нелединского: «Невысокого роста, умный, веселый, толстенький старичок, исполненный нежнейшей чувствительности и предававшийся самой грубой чувственности, написавший немного прелестных стихов и так много непотребных».

На заседаниях «Арзамаса» Пушкин с Нелединским, повидимому, не встречался, но познакомился с ним, еще будучи в лицее. В 1816 г. императрица Мария Федоровна поручила Нелединскому-Мелецкому написать стихи на бракосочетание принца Оранского с ее дочерью, великой княжной Анной Павловной. Устаревший Нелединский не понадеялся на свои силы, поехал в лицей, попросил Пушкина написать стихи и через час-два уехал из лицея с готовыми стихами. Пушкин за эти стихи получил от царьцы золотые часы с цепочкою.

V

В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ССЫЛКИ. „ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА“

В 1818 г. девятнадцатилетний богатый камер-юнкер Никита Всеволожский и офицер лейб-гвардии Павловского полка Я. Н. Толстой основали общество «Зеленая лампа». Собирались каждые две недели в доме Всеволожского на Екатерининском проспекте, против Большого театра. Преобладала гвардейская офицерская молодежь — гусары, уланы, павловцы, егеря. Но были и штатские, в их числе Пушкин и Дельвиг. В зале, где происходили собрания, висела зеленая лампа, и от нее кружок получил свое название. Все члены кружка носили кольца, на которых вырезано было изображение лампы. На собраниях читались и обсуждались произведения членов кружка. Статут общества приглашал объясняться и писать на заседаниях вполне свободно, и каждый член давал слово хранить тайну. Пушкин, Дельвиг, а также дилетанты-офицеры читали свои стихи. Обменивались мнениями и спорили о театральных постановках, — все члены были страстные театралы: поручик лейб-гвардии егерского полка Д. Н. Барков давал каждое заседание отчеты по театру. Сам Всеволожский прочел обширный доклад по русской истории, составленный не по Карамзину, а по первоисточникам, — так сообщил Ефремов, имевший возможность видеть протоколы общества. Стихи нередко носили резко противоправительственный характер. Происходили разговоры и на политические темы, отражавшие тогдашнее всеобщее оппозиционное настроение; свободно, «открытым сердцем», говорили —

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,

Насчет небесного царя,
А шлогда насчет земного.
(Послание Пушкина к В. В. Энгельгардту)

Некоторые из членов «Зеленой Лампы» (Я. Толстой, Каверин, кн. С. П. Трубецкой, Токарев) были членами «Союза благоденствия». Исполняя директивы союза, они старались влить политическую струю в жизнь кружка, — впрочем, не ставя ему никаких практических целей. Позднейшим правительственным расследованием было выяснено, что такого рода «вольным обществам» не была предназначена никакая политическая цель, и от учреждения их ожидалась только та польза, что, руководимые своими основателями, они особенно своею деятельностью по литературе, художествам и так далее могли бы способствовать достижению цели Коренной управы.

Заседания кончались веселыми попойками — повидимому, с участием актрис и веселых девиц; с пирушки, повесничая на улицах, отправлялись в веселые дома. Времяпрепровождение кружка Пушкин описывал в своем послании к Я. Толстому:

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
Попрежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?..
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с нами клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где овеиравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От нежр, и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желаю мне здравия, калмык!

Калмык был мальчик, казачок Всеволожского, прислуживавший на заседаниях «Зеленой Лампы». Когда кто-нибудь из собутыльников отпуская нецензурное слово, мальчик насмешливо улыбался. Постановлено

было, чтобы каждый раз, как калмык услышит такое слово, он должен подойти к тому, кто его отпустит, и сказать: «Здравия желаю!» Мальчик исполнял эту обязанность с большой сметливостью.

Об основном характере кружка «Зеленой Лампы» мнения исследователей весьма расходятся. Первые биографы Пушкина, Бартенев и Анненков, основываясь на своих расспросах современников, сообщали, что кружок этот представлял из себя не более как обыкновенное «оргначеское» (как выражался Анненков) общество. Инсценировали изгнание Адама и Евы из рая, гибель Содома и Гоморры и т. п.; для шутки вели заседания с соблюдением всех парламентских и масонских форм, но обсуждали исключительно планы, волокитств и закулисных проказ. Позднейшие исследователи решительно отвергают такую оценку «Зеленой Лампы». По их мнению, это было серьезное литературно-политическое общество, оживотворявшееся связью с «Союзом благоденствия»; через этот кружок Пушкин, не принадлежавший ни к какому тайному обществу, «испытал на себе организующее влияние тайного общества», и историки, рисуя общественное движение 1816—1825 гг., не должны впредь забывать и «Зеленую Лампу» (Щеголев). Мы полагаем, что историку тогдашнего общественного движения решительно нечего делать с кружком «Зеленой Лампы», — настолько случайна и ничтожна была его общественно-политическая жизнь. Кружок не был, конечно, средоточием особенного какого-то «сказочного разврата и разгула», не был и обществом захолустных армейских гусаров, где все общение ограничивалось бы выпивкой, похабными анекдотами да разговорами о производствах. Собирались люди образованные, интеллигентные, причастные ко всем высшим интересам эпохи, умевшие находить наслаждение и в острой игре мысли, и в художественных эмоциях, высоко ценившие «вакханочку-музу» Пушкина, притом люди, оппозиционно настроенные. Однако общий литературно-научный уровень кружка был вовсе не высок. Читали свои стихи Пушкин и Дельвиг, делал интересные доклады Улыбышев, но рядом с этим читались совершенно беспомощные стишки любителей-офицеров, наивные рассуждения Д. Баркова; доклады Всеволожского по русской истории основывались не на первоисточниках, как сообщал Ефремов, а являлись чисто ученическими пересказами Карамзина. Была в кружке оппозиционная настроенность, — да. Но кто в то время не был оппозиционно настроен? Ник. Тургенев вспоминает: «Люди, не бывавшие несколько лет в Петербурге, удивлялись переменам, происшедшим в образе жизни, разговорах и действиях молодежи; казалось, она проснулась для того, чтобы зажить новою жизнью. Свободой и смелостью своих выражений привлекали внимание главным образом гвардейские офицеры, мало забо-

тившиеся о том, говорят ли они в общественном месте или в салоне, перед своими единомышленниками или перед врагами». Воздух был полон самой прилипчивой революционной заразой. Почтительный к началству ретроград Вигель сознается, что даже его в то время тянуло поступить в Тайное общество. Был и такой случай. Николай Тургенев и Михаил Орлов разговаривали о делах «Союза благоденствия». Вошел брат Орлова, лихой генерал Алексей Федорович. Посмотрел на них...

— Конспирация, всегда конспирация! В это дело я не вмешиваюсь. Но когда потребуется моя помощь, вы можете положиться на меня!

И он потряс своею могучею рукою. Это, конечно, не помешало ему во время декабрьского восстания повести свой конногвардейский полк в атаку на мятежное каре.

Этой общей революционной заразы не были чужды и члены «Зеленой Лампы». Но именно «Зеленую Лампу», как теперь доказано, имел в виду Пушкин, когда в зашифрованной X главе «Онегина» писал: все это были заговоры (и даже не заговоры, а просто разговоры)

Между лафитом и клико,
Куплеты, дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
Все это было только оука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...

Слишком много было лафита и клико, слишком много карт и веселых девиц, чтобы можно было ждать от членов кружка сколько-нибудь серьезного отношения к общественно-политическим вопросам времени. Основную жизнь кружка составляло упоенно-эпикурейское наслаждение жизнью, самозабвенный разгул, не считавшийся с стеснительными рамками светских приличий, картежная игра, «набожные ночи с монашенками Цитеры»:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники молодые,
Надежды лампа зажжена!
Здорово, молодость и счастье,
Заздравный кубок и бордель,
Где с громким омахом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель!

Так приветствовал Пушкин члена «Зеленой Лампы» лейб-улана Юрьева; таким же настроением проникнуты его послания и к другим членам кружка — к Всеволожскому, Щербинину, В. Энгельгардту, письма к тому же Всеволожскому, Мансурову. Характерно, что ни Чаа-

даева, ни Катенина мы не находим в числе членов «Зеленой Лампы», а когда хотели привлечь в кружок Кюхельбекера, то он, как сам рассказывает, отказался вступить в кружок «по причине господствовавшей там неумеренности в употреблении напитков».

Нужно большое желание видеть то, чего нет, чтобы выуживать из посланий Пушкина отдельные слова «равенство», «свобода», «лампа надежды», и на них строить заключения о высоких политических идеалах, будто бы одушевлявших кружок. Да, равенство, и даже не более, не менее, как в яковинском колпаке: «где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство». Но равенство это заключалось только в том, что бедняк коллежский секретарь Пушкин мог держаться за панибрата с богачами-полковниками Энгельгардтом или кн. Трубецким, а не в том, чтобы за круглый стол равноправным членом мог сесть хотя бы тот же мальчик-калмык. Да, свобода. Но из контекстов совершенно ясно, в каком смысле употребляет это слово Пушкин в отношении к кружку «Зеленой Лампы»:

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель;
Где до утра слово «пей!»
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.

Энгельгардт — «свободы, Вакха верный сын, Венеры набожный поклонник». В послании к Горчакову Пушкин пишет, что ему во сто крат милее —

Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую сильнее,
И где мы все прекрасного друзья, —
Чем вялое, бездушное собрание,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где глупостью единой все равны.

Когда в мертвящем душу модном свете все зевают, подавляя скуку, —

Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угощают...

Свобода от светских приличий и стеснений, «страстей единый произвол» — вот что разумелось под свободой в кружке «Зеленой Лампы». Мы считаем совершенно несомненным, что тут-то, в компании Кавери-

ных, Щербининых, Мансуровых и прочих прославленных кутил и повес, главным образом и просверкал бурный период бешеного разгула и упоения чувственными радостями, столь характерный для послепетлицейской жизни Пушкина в Истербурге и наиболее яркое свое отражение нашедший как раз в посланиях его к членам «Зеленой Лампы». И именно кружок «Зеленой Лампы» по преимуществу имел Пушкин в виду, когда впоследствии вспоминал в «Евгении Онегине»:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум широк и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И, как вакханочка, резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась, —
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

А потом — перестал гордиться. И, оглядываясь назад, с отвращением вспоминал свою молодость, утраченную «в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы»...

После 14 декабря правительство, по оговору некоторых декабристов, обратило внимание и на «Зеленую Лампу». Результат изысканий: «Комиссия, видя, что общество сие не имело никакой политической цели, оставила оное без внимания».

Членами «Зеленой Лампы» были: Н. В. Всеволожский и его брат А. Н. Всеволожский, Я. Н. Толстой, П. П. Каверин, М. А. Щербинин, А. И. Якубович, Ф. Ф. Юрьев, П. Б. Мансуров, В. В. Энгельгардт, А. Г. Родзянко, Пушкин, Дельвиг, Ф. Н. Глинка, кн. С. П. Трубецкой, А. Д. Улыбышев, Д. Н. Барков, А. А. Токарев, И. Е. Жадовский, кн. Д. И. Долгоруков.

Пушкин, судя по всем данным, был частым посетителем заседаний и пиршеств «Зеленой Лампы», вероятно, не раз читал на них свои стихи. Его там баловали и носили на руках. Часто бывал у Всеволожского и помимо собраний кружка, — в письме к Мансурову он сообщает, что каждое утро из окон Всеволожского они наблюдают в бинокли за «крылатой девицей, летящей на репетиции». Актер П. Каратыгин, тогда воспитанник театрального училища, однажды видел в окне дома Всеволож-

ского Пушкина и хозяина. Пушкин, недавно перед тем остригшийся после горячки, сдернул с головы парик и стал им приветственно махать знакомому спутнику Каратыгина.

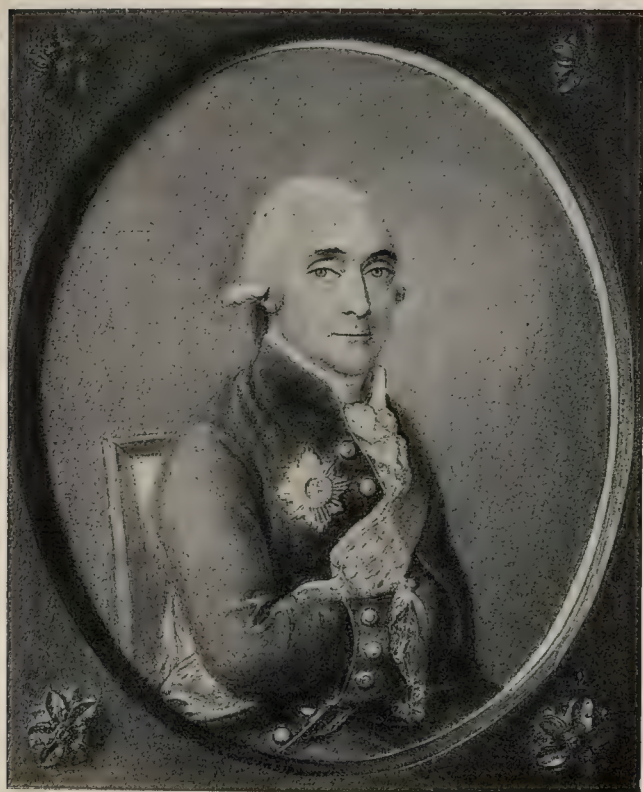
После высылки Пушкина из Петербурга отношения его с товарищами по «Зеленой Лампе» оборвались как-то очень легко и просто. В 1822 г. из Кишинева он писал Якову Толстому: «Ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне. Два года шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова». Из письма этого с несомненностью видим, кого разумел Пушкин под своими «минутными друзьями» в стихотворении «Погасло дневное светило»:

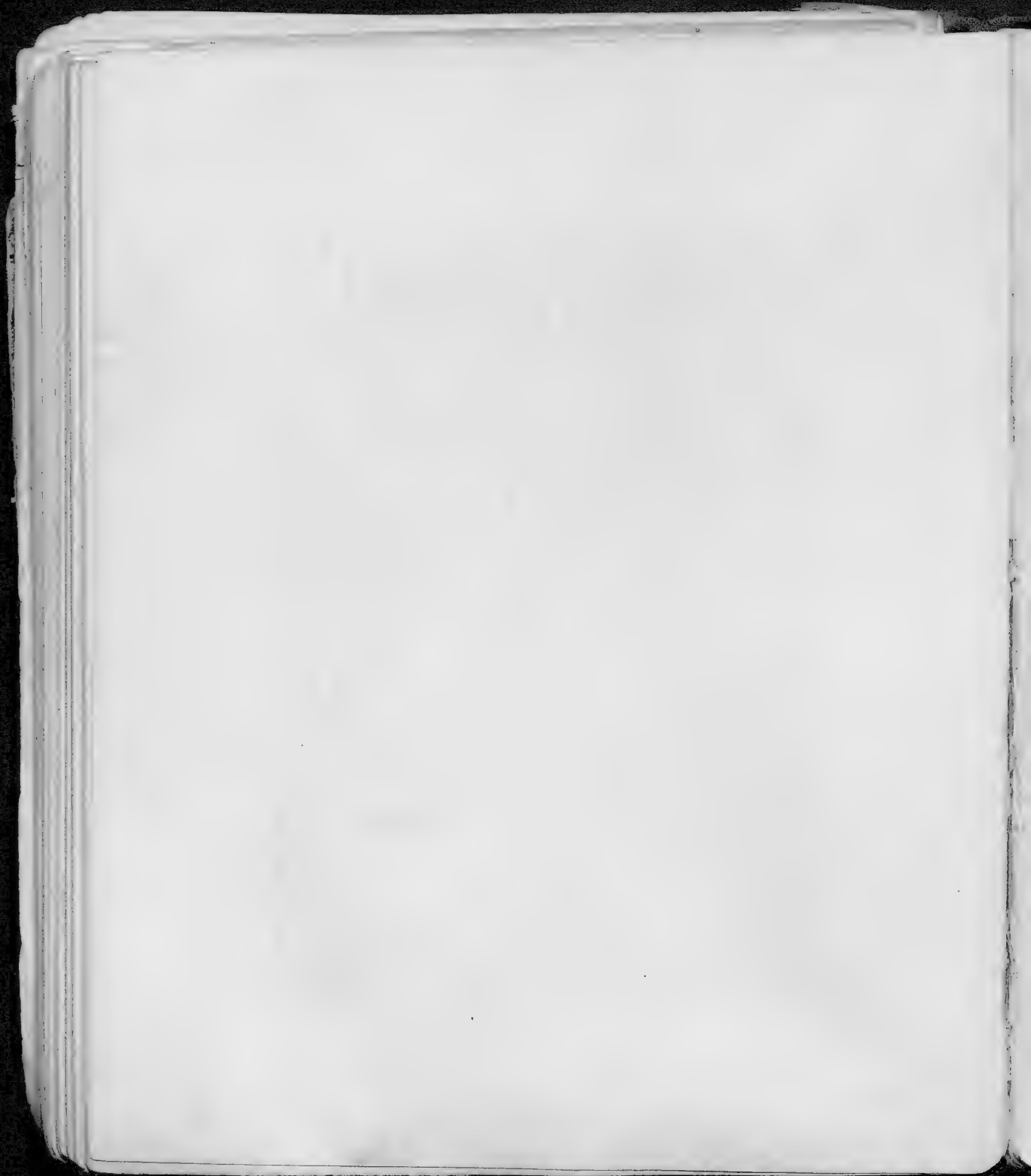
И вас бежал, отечески края,
И вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы торочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
И вы забыты мной, изменницы младые...

Члены «Зеленой Лампы» — и рядом «порочные наперсницы». Тех и других поэт хочет забыть. Вот какую только память оставили по себе в душе Пушкина товарищи его по «Лампе». Было бы иначе, если бы через них Пушкин испытал на себе «организующее влияние тайного общества» и серьезно приобщился к высоким политическим идеалам времени. Не так вспоминал Пушкин Чаадаева, Пуштина.

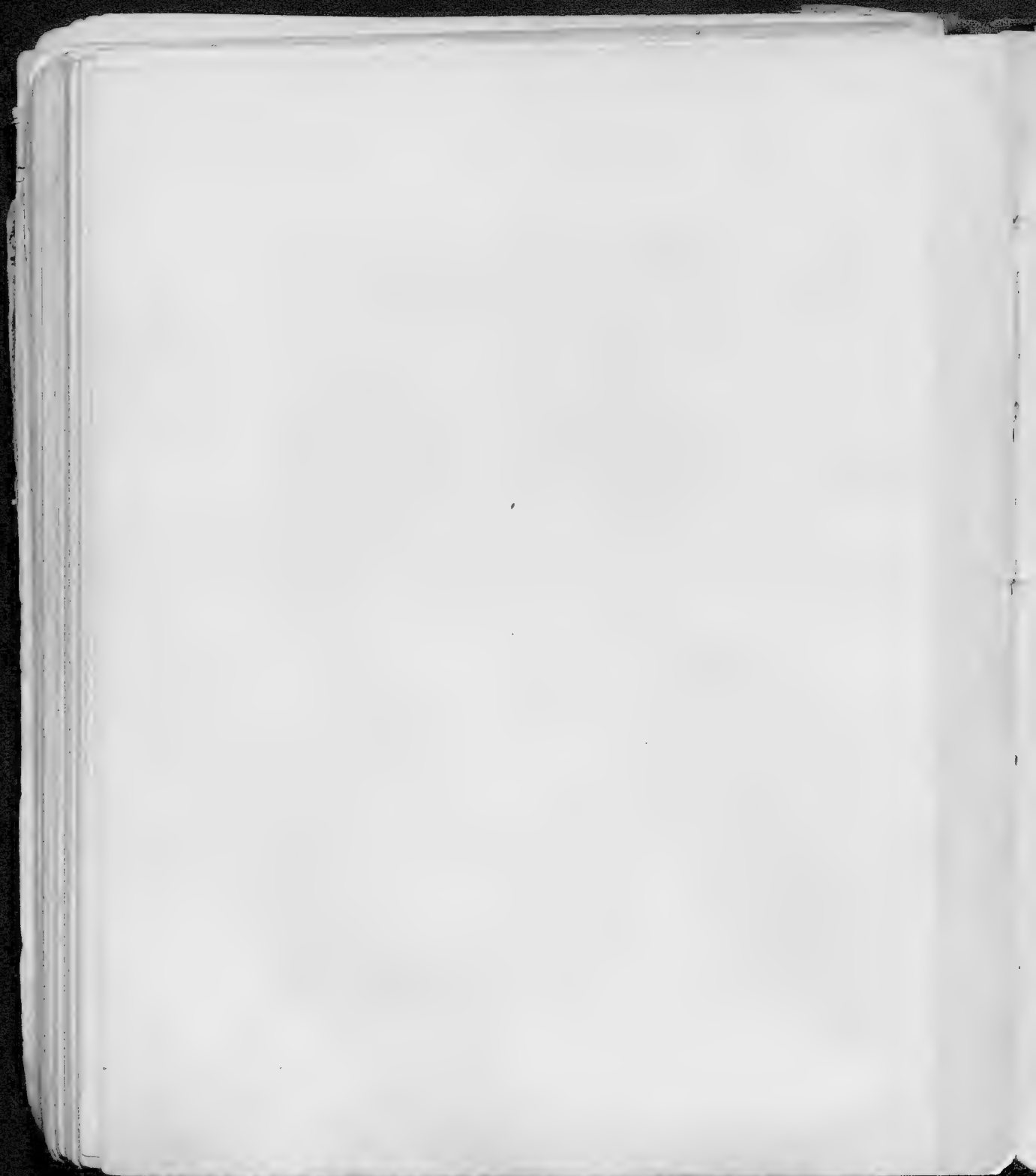
НИКИТА ВСЕВОЛОДОВИЧ ВСЕВОЛОЖСКИЙ (1799—1862)

Сын камергера, богач. Камер-юнкер, служил вместе с Пушкиным в коллегии министерства иностранных дел. «Лучший из минутных друзей моей минутной молодости», — отзывался о нем впоследствии Пушкин. Страстный балетоман, жуир, поклонник закулисных богинь, «верный обожатель забав и лени золотой», по характеристике Пушкина. Основатель общества «Зеленой Лампы». В 1824 г. Пушкин писал ему из Одессы: «...ты помнишь Пушкина, проводшего с тобою столько веселых часов, — Пушкина, которого ты видел и пьяного, и влюбленного, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей, того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и проводил тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься господу богу и насмотришься на госпожу Овошникову». Овошникова — кордебалетная танцовщица, воспитанница









театральной школы; за нею ухаживал Всеволожский, ее имел в виду Пушкин, когда писал Всеволожскому в Москву:

...Вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вадыхает пленница младая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой,
Тихонько плачет под окном,
От грозных аргусов украдкой,
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто провали
С Кипридой, Вакхом и тобой.
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетаги.
О, скоро ль милого найдут
Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?

Между прочим, Пушкин проиграл Всеволожскому в карты тетрадь своих стихов, пошедшую за тысячу рублей. Всеволожский долго не соглашался переуступить рукопись другому издателю и не спешил издать ее сам. Пушкину удалось, наконец, выкупить ее. Всеволожский утверждал, что рукопись пошла только за 500 р., но Пушкин настоял, чтобы он взял за нее условленную тысячу.

Впоследствии Всеволожский, в звании егермейстера, заведывал придворною охотою, потом был гофмейстером.

ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1791—1867)

Сын богатого тверского помещика. Офицер лейб-гвардии Павловского полка, адъютант Главного штаба. Был действительным членом «Союза благоденствия» и председателем общества «Зеленой Лампы»; в отсутствие Всеволожского общество собиралось на его квартире. Через него и других своих членов союз старался влить оппозиционно-политическую струю в жизнь общества. Толстой сам писал стихи, комедии, был театрал. К дару Пушкина относился с восторженным почитанием, называл Пушкина «владыкой рифмы и размера», писал:

Открыой искусство мне столь сладко
Писать, как вечно лишень ты,
Чтоб мог изображать я кратко
И сохранял бы красоты...
Во вкусе медленном, немецком

Отвадь меня низать мой стих;
 В моих стихах излишество слога
 Резцом своим ты отколи
 И от таланта хоть немного
 Ты своего мне удели!..
 Давно в вражде ты с педантизмом,
 И с пустословием в войне,
 Так научи ж, как с лаконизмом
 Ловчее подружиться мне!

Члены «Зеленой Лампы», как дорогого подарка, наперерыв друг перед другом домогались от Пушкина посланий к себе. Яков Толстой умолял:

Склонись, о Пушкин, Феба ради
 На просьбу слабого певца
 И вспомни, как, к моей отраде,
 Ты мне посланье обещал;
 Припомни также вечер ясный,
 Когда до дому провожал
 Тебя, пилт мой сладкогласный,
 И ты мне руку с словом дал;
 Когда, стихами и шампанским
 Свои рассудки пачиня
 И дымом окурясь султанским,
 Едва дошли мы до коня;
 Уселся кое-как на дрожках,
 Качаясь ехали в тени,
 И гости медленно в окошках
 Чуть-чуть заметные огни;
 Зыбясь, в Фонтанке отражалась
 Столбом серебряным луна,
 И от стросний растлалась
 Густая тень, как челена...
 В то время мчались мы с тобою
 В пустых коломенских краях.
 Ты вспомни, как, тебя терзал,
 Согласье выпросил тогда,
 Как сонным голосом, зевая,
 На просьбу мне ты молвил: да!
 Но вот проходит уж вторая
 Неделя с вечера того,
 Я слышу, пишешь ты ко многим,
 Ко мне ж покамест ничего.

Пушкин в ответ написал послание к Толстому: «Философ ранний, ты бежишь» (1819). В 1822 г. из Кишинева он написал ему второе послание: «Горишь ли ты, лампада наша?..»

В это время кружок «Зеленой Лампы» уже закрылся, и Толстой ответил Пушкину посланием, которое начиналось так:

Ах, лампа погасла!
Не стало в ней масла!

В 1823 г. Я. Толстой выехал в отпуск за границу для лечения ноги. Он находился в Париже, когда разразилось 14 декабря, и предпочел не являться в Россию. Результаты следствия, впрочем, оказались по отношению к нему довольно благоприятными, и приговор ему был только «отдать под секретный надзор начальства и ежемесячно доносить о поведении». Однако то обстоятельство, что он не явился на следствие и остался за границей, конечно, очень ухудшило дело. Толстой жил в Париже, сильно нуждался, запутался в долгах. Чтоб заслужить прощение правительства, он стал печатать в Париже на французском языке книги, брошюры и статьи в защиту русской власти, был, наконец, официально прощен и в начале января 1837 г. возвратился в Россию. За неделю до смерти Пушкина Толстой виделся с ним, они вспоминали старое время, послания, которыми обменялись. Из поездки своей Толстой возвратился в Париж агентом Третьего отделения на жаловании, с поручением «защищать Россию в журналах и опровергать статьи, противные России», а также следить за приезжающими в Париж русскими. В 1866 г. он вышел в отставку с чином тайного советника и в следующем году умер в Париже в полном одиночестве.

ПЕТР ПАВЛОВИЧ КАВЕРИН
(1794—1855)

Сын полуразорившегося помещика. Был студентом московского университета, в 1810—1812 гг. слушал лекции в геттингенском университете вместе с бр. Ник. и С. Тургеневыми. В 1813 г. поступил на военную службу, участвовал во многих боях. В 1816 г., вместе с Чаадаевым, перешел в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском селе в бытность Пушкина в лицее.

Каверин был самым ярким представителем той разгульной петербургской молодежи, в кругу которой вращался Пушкин после окончания лицея. Он сильно импонировал ей как лихой гусар и повеса, она старалась подражать ему, повторяла за ним его любимые поговорки. В «Герое нашего времени» Печорин рассказывает: «Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я Грушницкому, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным». Этот повеса — Каверин; поговорка его была с прибавкой: «Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками!» Красавец, хорошо сложенный, крепкий, выносливый (купался в проруби), в молодости жи-

нерадостный. Славился как рубака и отчаянный смельчак, впоследствии, в турецкой кампании, не раз получал выговоры от главнокомандующего Дибича за то, что без нужды подвергает жизнь свою опасности. В отставке томился бездействием и жизнь свою называл «холодной и мертвою». Любил тонко поестъ и основательно выпить, крепость его к вину была изумительна. В Париже, во время стоянки там русских войск после свержения Наполеона, Каверин сидел однажды в модном ресторане. Вошли четыре молодых человека, сели за стол, потребовали одну бутылку шампанского и четыре стакана. Тогда Каверин громогласно потребовал себе четыре бутылки шампанского и один стакан; опорожнил в течение обеда все четыре бутылки, за десертом выпил еще кофе с приличным количеством ликера и твердо походкой вышел из ресторана под общие аплодисменты незнакомой публики. Он лечился от французской болезни холодным шампанским, вместо чаю выпивал с хлебом бутылку рома и после обеда, вместо кофе, — бутылку коньяку. Пользовался большим успехом у женщин, был пеголь, забияка и большой озорник. Во время стоянки русских войск в Гамбурге вышел, на паре, на театральную сцену в военной форме, за что был лишен награждения орденом Владимира 4 степени, к которому уже был представлен. Каверин принимал участие в качестве секунданта в напумевшей двойной дуэли Шереметева с Завадовским и Якубовича с Грибоедовым. Кавалергардский офицер Василий Васильевич Шереметев был в связи с знаменитой танцовщицей Истоминой, воспетой Пушкиным в «Евгении Онегине». За нею же безуспешно ухаживал камер-юнкер граф Александр Петрович Завадовский. Истомина поссорилась с Шереметевым и уехала от него. Этой ссорой воспользовался Завадовский. Его приятель А. С. Грибоедов (автор «Горя от ума»), с которым они жили на одной квартире, привез к нему после спектакля Истому. Шереметев выследил их и вызвал Завадовского на дуэль, а приятель Шереметева, лейб-улан А. И. Якубович (впоследствии декабрист), вызвал Грибоедова как участника интриги. Двойная дуэль была назначена на 12 ноября 1817 г., на Волковом поле. Условия были ужасные: противники должны сойтись на шесть шагов друг от друга, при исходных точках в восемнадцать шагов расстояния. Оба отлично стреляли. Шереметев выстрелил, не дав противнику дойти до барьера. Пуля оторвала край воротника у сюртука графа Завадовского. Завадовский воскликнул:

— А! Так он хотел убить меня!.. К барьеру!

Каверин, секундонт Шереметева, и д-р Ион, секундонт Завадовского, стали уговаривать Завадовского пощадить жизнь Шереметева. Завадовский готов был уступить, решил только слегка ранить противника, но Шереметев потребовал, чтобы условия дуэли были выполнены точно,

иначе он опять будет стреляться с Завадовским. Граф Завадовский выстрелил. Шереметев, смертельно раненный, упал навзничь и «стал нырять по снегу, как рыба». Каверин хладнокровно сказал:

— Вот тебе, Вася, и репка.

Дуэль Якубовича с Грибоедовым была отложена и состоялась через год в Тифлисе.

Каверин был человек образованный, прекрасно знал иностранные языки, но по-русски, как и большинство в то время, писал совершенно безграмотно. Интересовался поэзией. Был оппозиционно настроен. Состоял членом «Союза благоденствия» и общества «Зеленой Лампы». Однако дошедшие до нас его альбомы с выписками из прочитанного и дневниковыми записями не говорят ни о тонкости художественного вкуса Каверина, ни о глубине его умственных запросов.

Пушкин познакомился с Кавериним еще во время пребывания своего в лицее и, тайно от начальства, посещал пирушки лейб-гусаров, где первенствовал Каверин. В четырехстишии «К портрету Каверина» Пушкин пишет (приводим цензурную редакцию):

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар;
На марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

Были, повидимому, еще какие-то стихи Пушкина, которые обидели Каверина (только это не «Молитва лейб-гусарских офицеров», — она написана не Пушкиным). Пушкин, стараясь загладить обиду, написал Каверину послание:

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи:
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живетесь нам, живи;
Гуляй в мое воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с Портником, и с книгой, и с бокалом,
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

В вариантах третьего с конца стиха упоминаются еще Невтон, Платон. Многие пушкиноведы, на основании этого стихотворения, серьезнейшим образом готовы верить Пушкину на слово, что Каверин обладал высоким умом и «дружно жил» чуть ли не с Платоном и Ньютоном. Идя таким путем, мы должны были бы признать Анну Петровну Керн «гением чистой красоты», а кн. А. М. Горчакова — человеком, у которого «Фортуны блеск холодной не изменил души его свободной».

О времяпрепровождении Пушкина с Кавериным свидетельствует дневниковая запись Каверина от 27 мая 1819 г.: «Щербинин, Олсуфьев, Пушкин — у меня в П-бурге ужинали — шампанское в лед было поставлено за сутки вперед — случайно тогдашняя красавица моя (для удовлетворения плотских желаний) мимо шла — ее зазвали — жар был несносный — Пушкина просили память этого вечера в нас продолжить стихами — вот они — оригинал у меня:

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела холодная струя —
Мы пили — и Венера с нами
Сидела прелесть за столом,
Когда я вновь сядем вчетвером
С блядьми, вином и чубуками?

В 1827 г., живя в Москве у Соболевского, Пушкин вспомнил о Каверине и написал ему совместно с Соболевским коротенькое письмо. Вот только в каком роде он смог писать Каверину: «Наша съезжая в исправности — частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бляди и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера». А Соболевский приписал: «Прощай, душа моя, помни меня, как помнишь пуш. Какой у нас славный ерофенч (сорт водки)!»

Пушкин вспоминает Каверина в первой главе «Онегина»:

К Таюл помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.

По этому поводу Вяземский почтительно замечает: «Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет».

Каверин с отличием участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. и в усмирении польского восстания. Под конец жизни служил командиром волынской пограничной бригады. Жил очень скромно, и все-таки еле сводил концы с концами. Угнетала его бедность, угнетали мно-

гочисленные недуги — подагра, ревматизм, общая слабость; постоянно грустил, редко бывал весел. И повторилась обычная история, которую отмечал Гейне: «Где кончается здоровье, где кончаются деньги, там начинается религия». Каверин стал очень религиозен, служил молебны всяким святителям, продавал в церкви свечи, читал страсти и акафисты, участвовал в церковном хоре. В дневнике то и дело восклицания: «Господи, помилуй!..», «Господи, прости!.. прости, прости!», «Да будет воля твоя господня!..»

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ЩЕРБИНИН
(1793—1841)

Приятель и впоследствии зять П. П. Каверина. Пушкин познакомился с ним в Петербурге за несколько месяцев до своей высылки. Богач, красавец. Служил в военной службе. Был членом общества «Зеленой Лампы». Сибарит и эпикурец, весело проводивший время в кругу петербургской золотой молодежи. В послании к нему (1819) Пушкин пишет:

Житье тому, любезный друг,
Кто страстью тлуною не болен,
Кому влюбиться не досуд,
Кто занят всем и всем доволен;
Кто Наденьку под вечерок
За тайным ужинком ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым заливает...
Весь день веселью посвящен,
А в ночь вновь царствует Киприда!
И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здоровы?..

В 1824 г. Щербинин вышел в отставку и жил в своем харьковском имении Елизаветполь. С Пушкиным он, повидимому, иногда виделся. Есть известие, что Щербинин угощал у себя Пушкина после раздела родовых имений между братьями Щербиниными в конце 1829 г. Когда Щербинин задавал какой-нибудь пир или особенно тонкий обед, он, чтобы покрыть расходы, вырубал в Елизаветполе несколько десятин леса. Когда он пригласил Пушкина (вероятно, в Москве или в Петербурге) отведать своих пулярдок, своей спаржи, своих трюфелей, Пушкин шутя возразил, что это, в сущности, сосенки Щербинина, его березки и дубки.

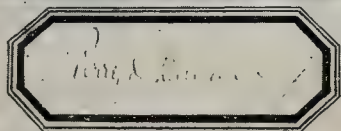
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЯКУБОВИЧ

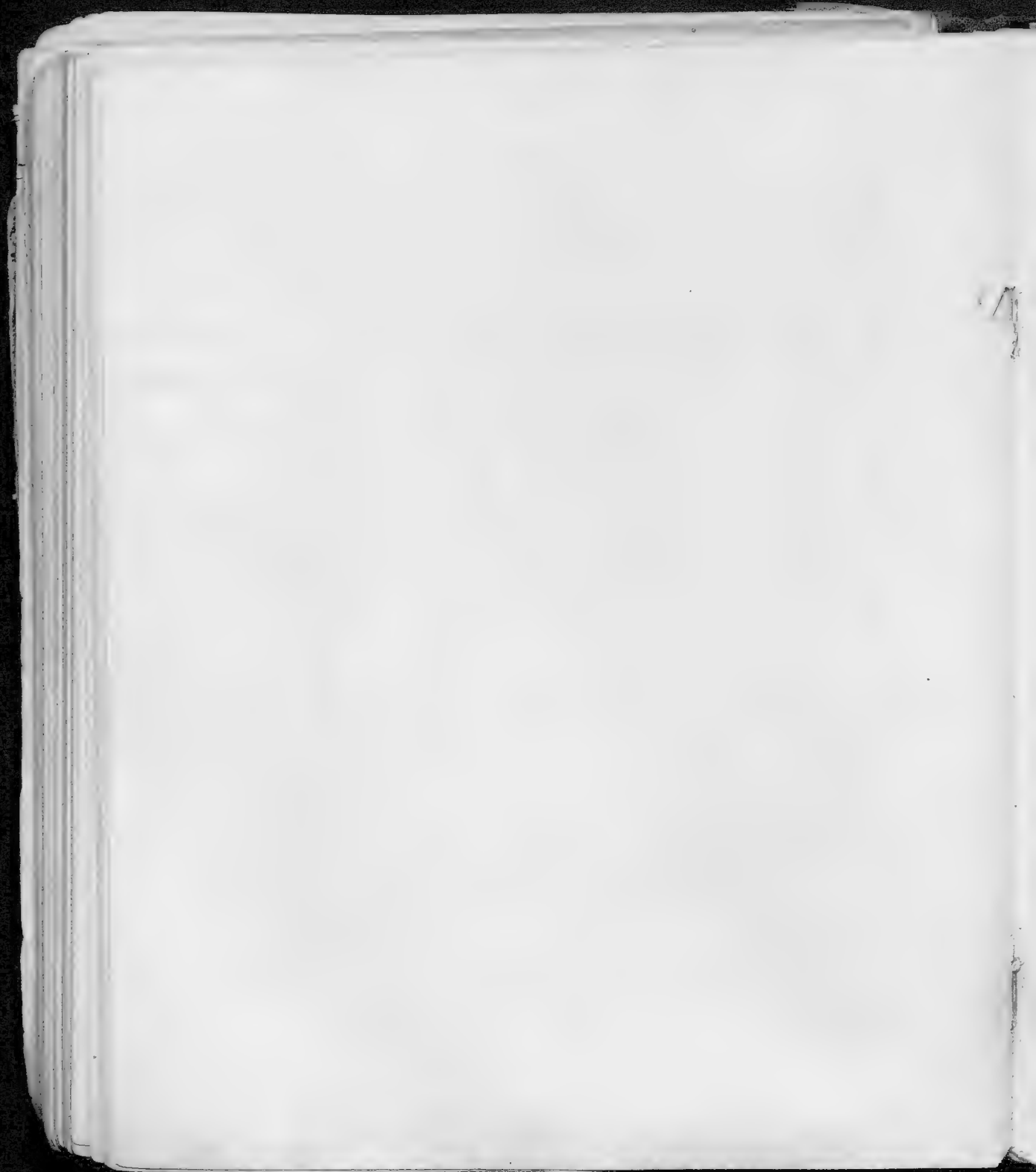
(1792—1845)

«Герой моего воображения», — писал о нем Пушкин. Сын роменского помещика, предводителя дворянства. Образование получил в московском университетском Благородном пансионе. Служил в лейб-гвардии уланском полку. Деятельно участвовал в театральных шалостях, интригах и всяких удалых похождениях светской молодежи, был известен как отчаянный кутила и дуэлист. За участие в дуэли Завадовского и Шереметева, кончившейся смертью Шереметева (см. «П. П. Каверин»), был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк 20 января 1818 г. В конце этого года встретился в Тифлисе с Грибоедовым, и между ними состоялась дуэль, которая не могла осуществиться год назад из-за смертельного поранения Шереметева. Якубович дал обещание умирившему Шереметеву, что отомстит за него Завадовскому и Грибоедову. Условия были: шесть шагов между барьерами. Стрелялись без сюртуков. Якубович быстрым шагом подошел к барьеру и остановился, ожидая выстрела Грибоедова. Грибоедов сделал к барьеру два шага, но медлил стрелять. Якубович потерял терпение и выстрелил. Он не хотел убить Грибоедова и метил в ногу; но пуля попала в кисть левой руки. Грибоедов поднял окровавленную руку, показал ее секундантам и навел пистолет на Якубовича; он имел право подойти к барьеру; но заметив, что Якубович целился ему в ногу, не захотел воспользоваться своим преимуществом и выстрелил, не сходя с места. Пуля пролетела под самым затылком Якубовича. Секундант Якубовича Н. Н. Муравьев (Карский) рассказывает: «Я думаю, еще никогда не было такого поединка: совершенное хладнокровие с обеих сторон, ни одного неприятного слова; до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, как секунденты побежали за лекарем, Грибоедов лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я любовался осанкою и смелостью Якубовича: вид его был мужественен, велик, особливо в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки».

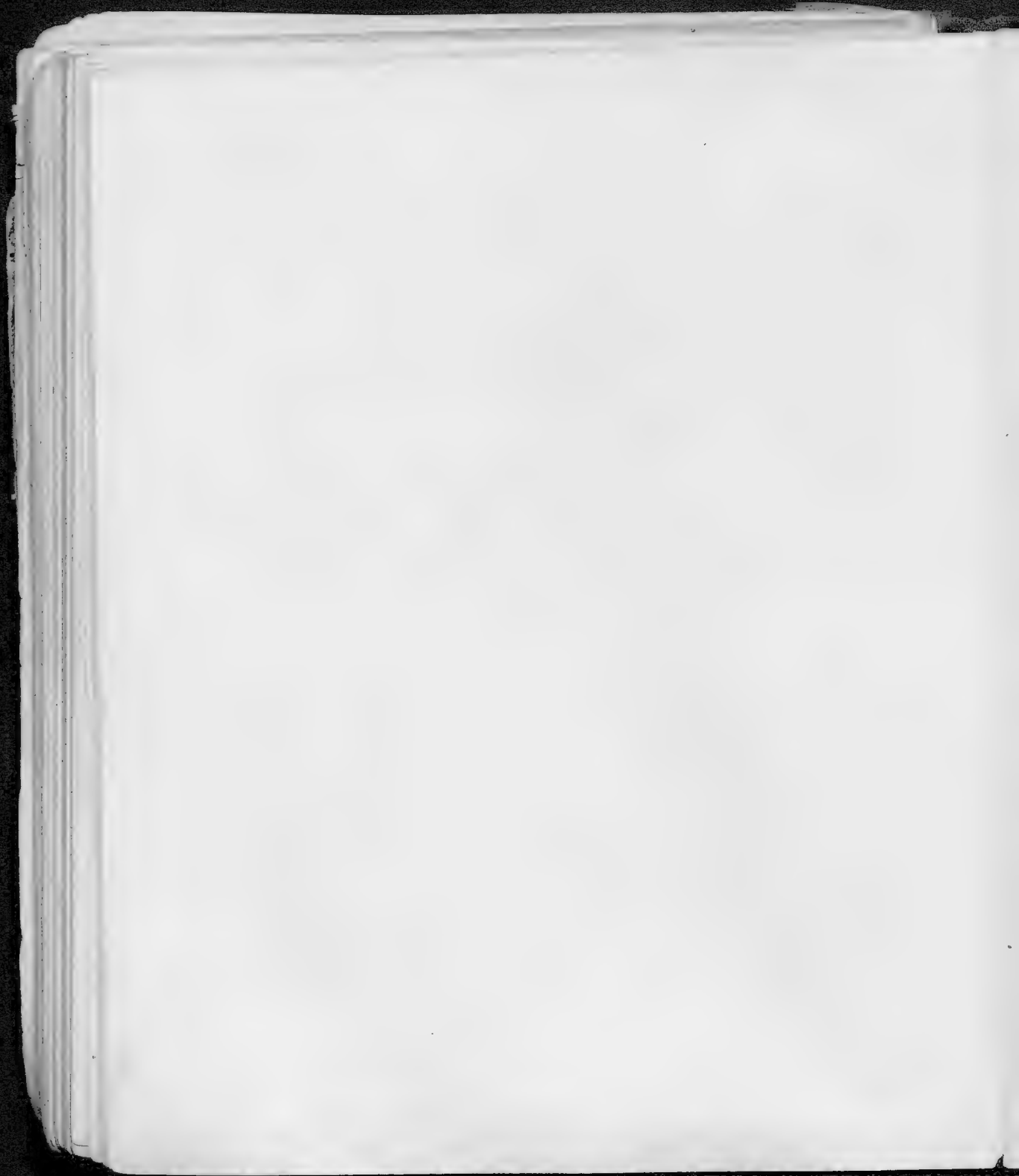
На Кавказе Якубович участвовал в бесчисленных сражениях с горцами, отличался отчаянною храбростью, о которой ходили легендарные рассказы. В одной из стычек с черкесами он был ранен пулей в лоб и воротился в Петербург с черною повязкою на голове, придававшей ему очень романтический вид.

В 1825 г. он примкнул к Северному тайному обществу. Он признался Рылееву и А. Бестужеву, что прискал с твердым намерением убить Александра I из личной мести, за ссылку свою на Кавказ.









— Я не хочу принадлежать ни к какому обществу, — говорил он, — чтобы не плясать по чужой дудке; я сделаю свое, а вы воспользуйтесь этим, как хотите. Коли удастся после этого увлечь солдат, то я разовью знамя свободы, а не то истреблюсь: мне наскучила жизнь.

Друзьям удалось уговорить его отложить свое намерение. В совещаниях перед 14 декабря Якубович говорил самые радикальные речи, предлагал поднять народ, призвать его к грабежу и убийствам. Он был назначен помощником диктатора Трубецкого на площади, должен был привести Измайловский полк и артиллерию. Ничего он этого не сделал и вел себя самым позорным образом. Присоединился было к шедшему на площадь Московскому полку, отстал; сказал, — голова болит. Когда восставшие войска стояли уже в каре на площади, Якубович вдруг очутился в свите Николая. Подошел к царю и попросил у него позволения обратить бунтовщиков на путь законности. Царь позволил. Якубович навязал на свою саблю белый платок, быстро подошел к каре и вполголоса сказал:

— Держитесь! Вас крепко боятся.

И удалился. Больше его на площади не видели. «Храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же, — замечает по этому поводу М. Бестужев. — В первом случае, даже при неудаче, его ждут почести и награды, тогда как в последнем при удаче ему предстоит туманная будущность, а при проигрыше дела — верный позор и бесславная смерть». Якубович был отнесен к первому разряду государственных преступников и осужден на двадцать лет каторжных работ. Умер в Енисейске.

Он был высокого роста, смуглый; большие, черные на выкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся брови, огромные усы, коротко остриженные волосы; когда улыбался, белые, как слоновая кость, зубы блестели из-под усов, две глубокие черты появлялись на щеках, и лицо принимало зверское выражение. Дар слова у него был необыкновенный. Держался театрально, был большой хвастун. М. И. Пущин сообщает, что перевязанным своим лбом он «морочил православный люд»; на Кавказе Якубович условился с офицером Верзилиным превозносить храбрость друг друга. Верзилин исполнил условие добросовестно, а Якубович разглашал противное про Верзилина, это еще более заставляло верить словам Верзилина про него. Никаких определенных политических убеждений Якубович не имел.

По некоторым сведениям, Якубович был членом общества «Зеленой Лампы». Но указывают, что он покинул Петербург в январе 1818 г., когда «Зеленой Лампы» не существовало. Возможно, однако, что Якубович был членом компании Всеволожского до формального учрежде-

ния кружка. Трудно думать, чтоб кружок сразу мог быть основан людьми, не соединенными предварительно близким знакомством, общностью вкусов и настроений.

ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ ЮРЬЕВ

(1796—1860)

Из помещиков Московской губернии. Служил в уланах — сначала в Литовском и Ямбургском полках, с 1818 — в лейб-гвардии уланском, состоял старшим адъютантом при легкой гвардейской кавалерийской дивизии. Черноусый красавец, баловень женищи. Был собутыльником Пушкина по кружку «Зеленой Лампы». Ему Пушкин написал два послания: «Любимец ветреных Лаис» (1818) и «Здорово, Юрьев-именинник» (1819). Юрьев увлекался театром и литературой, был постоянным посетителем литературных собраний у драматурга кн. А. А. Шаховского, встречался там со многими писателями. Впоследствии служил по министерству финансов, был управляющим государственным коммерческим банком и умер в чине действительного статского советника.

ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ МАНСУРОВ

(Род. в 1795 г. — ум. в 80-х гг.)

Поручик лейб-гвардии конно-егерского полка, член «Зеленой Лампы», вращался в кругу веселящейся золотой молодежи был большой любитель театра. Родственник Н. В. Всеволожского.

Ухаживал за молодой воспитанницей театрального училища Крыловой. По этому поводу Пушкин писал ему:

Мансуров, закадышный друг,
Надень венок терновый!
Вздохни и рюмку выпей вдруг
За здравие Крыловой.
Поверь, она верна тебе,
Как девица Ласси,
Она покорствует судьбе
И госпоже Казасси.
Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой
И ...раздвинет.

Ласси — французская актриса, отказавшая сватавшемуся за нее актеру Яковлеву. Г-жа Казасси — главная надзирательница театрального училища, очень строгая. В 1819 г. Мансуров уехал в Новгородскую губернию, вероятно, в командировку по военным поселениям. Пушкин писал ему туда: «Здоров ли ты, моя радость? Весел ли ты, моя прелесть?.. Мы не забыли тебя и в семь часов с половиной каждый день поминаем в театре рукоплесканиями, вздохами — и говорим: свет-то наш Павел! Что-то делает он теперь? Завидует нам и плачет о Крыловой (разумеется, нижним...). Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты (Всеволожского), попрежнему поднимаются на нее телескопы и... — но увы: ты не видишь ее, она не видит тебя, — оставим элегию, мой друг. Исторически буду говорить тебе о наших, — все идет попрежнему; шампанское, слава богу, здорово, актрисы также, то пьется, а те..... — аминь, аминь, так и должно. У Юрьева..... слава богу, здоров, а у меня открывается маленький, и то хорошо. Всеволожский Никита играет, — мел столбом, деньги сыплются!... Толстой болен, не скажу, чем, — у меня и так уже много..... в моем письме. Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, гаснет, а жаль, — масло есть (т. е. шампанское друга нашего)... Поговори мне о себе, — о военных поселениях, это все мне нужно — потому что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм — прощай, ланочка».

В письме этом ярко отразился весь стиль жизни общества «Зеленой Лампы»: шампанское, как масло для лампы, беззаботно-веселое сожительство венерических болезней с ненавистью к деспотизму, сыплющихся на карточный стол червонцев с интересом к военным поселениям.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЭНГЕЛЬГАРДТ

(1785—1837)

Внук любимой сестры Потемкина Е. А. Энгельгардт, получивший от брата несметные богатства. Двоюродный брат гр. Е. К. Воронцовой. Отставной полковник, богач, страстный картежник. Член общества «Зеленой Лампы». Пушкин так характеризует его в послании к нему:

...счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслажденный властелин.

Пушкин любил его за то, что он охотно играл в карты, и за остроумие. Его каламбуры и забавные куплеты ходили по городу. Еще мальчиком, в петербургском незуитском пансионе, он приветствовал приведенного из Москвы для поступления в пансион кн. П. А. Вяземского такими стишками:

Mon prince,
De quelle province?
— Cou-cou,
De Moscou.

Товарищи проходу не давали Вяземскому с этими стишками.

Энгельгардт выстроил в Петербурге большой дом, напомнивший парижский Пале-Рояль, с кофейнями, ресторанами, гостинницей и большим залом, в котором давались концерты и публичные маскарады.

В близких отношениях Пушкин был с Энгельгардтом в период жизни своей в Петербурге до ссылки. Но и впоследствии видался с ним, обедал у него, брал займы деньги; умирая, остался должен ему 1 330 руб.

АРКАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ РОДЗЯНКО (1793—1846)

Богатый полтавский помещик, сын уездного хорольского предводителя дворянства. Воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, служил в лейб-гвардии егерском полку. Писал посредственные стихи, печатал их в журналах и альманахах, но большинство их, по порнографичности содержания, не могло увидеть печати. Был членом «Зеленой Лампы», там, вероятно, познакомился с Пушкиным. Был циник, человек мелкий и обидчиво-самолюбивый. Когда Пушкин был уже в ссылке, Родзянко задел его в недошедшей до нас сатире двумя стихами совершенно доносительского свойства:

И все его права: или два или три Ноэля,
Гимн Занду на устах, в руках портрет Лувеля.

Занда, немецкого студента, убившего агента русского правительства в Германии Коцебу, Пушкин воспел в «Книжке», а портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с подписью: «Урок царям», он показывал знакомым в театре. Выходка Родзянки возмутила друзей Пушкина, а сам Пушкин в 1823 г. писал А. Бестужеву из Одессы: «...я уверен, что те, которые приписывают сатиру Родзянке, ошибаются. Он человек благородных правил и не станет воскрешать времена «слова и дела». Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости».

В общем, однако, Пушкин отнесся к случившемуся очень благодушно и уже через два месяца писал из Одессы брату: «...будет Родзянка-предатель, — жду его с нетерпением». Когда Пушкина выслали из Одессы, он по дороге заехал к Родзянке, жившему в отставке в богатом своем поместье Родзянках Хорольского уезда. Пушкин прискакал к нему с ближайшей станции верхом, без седла, на почтовой лошади в хомуте. Из Михайловского он вел игривую переписку в стихах и прозе с Родзянкой и Анной Петровной Керн, бывшими в то время в близких отношениях.

Барон АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ
(1798—1831)

Поэт, лицейский товарищ и друг Пушкина. О нем см. в главе «Друзья Пушкина». Был членом «Зеленой Лампы», читал на ее собраниях стихи того же беззаботно-эпикурейского характера, как и послания Пушкина того времени. Видимо, такие стихи всего больше подходили к духу кружка. Вот, для примера, «горацианская ода» «Фанни», читанная Дельвигом на собраниях «Зеленой Лампы»:

Мне ль под оковами Гимена
Все видеть то же и одно?
Мое блаженство — перемена,
Я дев меняю, как вино.
Чем с девою робкой и стыдливой
Случайно быть наедине,
Дрожать и миг любви счастливой
Ловить в ее притворном сне:
Не слаще ли прелестной Фанни
Послушным быть учеником,
Платить любви беспечной дань
И оживлять восторги сном?

Фанни была, пользуясь выражением одного лицейского стихотворения Пушкина, «красавица младая, равно всем общая, как чаша круговая». В послании к Щербинину Пушкин, рисуя ждущую их в будущем старость, писал:

Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?» —
И тихо улыбнемся оба.

Не следует удивляться, что солидный Дельвиг был членом кружка кутил и повес «Зеленой Лампы». Дельвиг, как и Пушкин, любил «шум пиров и буйных споров, грозы полуденных дозоров». В 1824 г. он писал

Пушкину: «Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно».

Князь СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

(1790—1860)

Из древнейшего рода удельных князей Трубчевских или Трубецких, потомков Гедимина. Сын состоятельного нижегородского помещика. Слушал лекции в московском университете. Восемнадцать лет поступил на военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк, участвовал в кампании 1812—1814 гг., выказал военные способности и незаурядное мужество; особенно отличился под Кульмом: командуя одним батальоном, не имея ни одного патрона, штыками выбил засевших в лесу французов. Под Лейпцигом был ранен ядром в ногу. Был одним из организаторов и деятельнейшим членом «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Ник. Тургенев в ноябре 1818 г. писал о Трубецком в дневнике: «В нем я нахожу большую неутомимость в стремлении к добру». Трубецкой открыто вел пропаганду везде, где было возможно, — в светских гостиных, в кругах гвардейского офицерства, в литературных обществах. Членом «Зеленой Лампы» он был недолго, не более двух месяцев, весной 1819 г., перед отъездом за границу. Дошел список книг, рекомендованных Трубецким для чтения сочленам по «Лампе»; список свидетельствует о довольно элементарном образовательном уровне участников кружка; рекомендуются «История» Карамзина, История Суворова, Деяния Петра Великого, рядом с этим — Четьи-Миней (!), «Церковная история» митрополита Платона; поражает в списке полное отсутствие книг политического содержания.

Осенью 1821 г. Трубецкой вернулся из-за границы и стал во главе новообразовавшегося Северного тайного общества. Вместе с Никитой Муравьевым и кн. Е. П. Оболенским он был членом руководящей Думы общества, вел упорную борьбу с радикальными стремлениями Пестеля и Южного тайного общества. Перед 14 декабря Трубецкой был назначен диктатором готовившегося восстания. Он в это время был полковником Преображенского полка, заговорщики рассчитывали на его боевой опыт и на густые полковничьи эполеты, которые должны были импонировать солдатам. Трубецкому было поручено встать во главе восставших войск, занять дворец и крепость, арестовать императора Николая, принудить сенат объявить манифест о создании временного правительства и созвании депутатов. Но в день 14 декабря Трубецкой на площадь не явился и оставил восставших без руководства; присягнул Николаю, «в унынии и страхе», как сам выразился, прятался в безопасных местах. На допро-

сах каялся, на коленях молил Николая о помиловании, с возрастающим «чистосердечием» сообщил постепенно следственной комиссии все решительно, что знал. Был осужден на вечную каторгу.

Трубецкой был высокого роста, сухопар, с некрасивым, продолговатым лицом и очень длинным носом. Женат был на дочери графа Лавала Екатерины Ивановне. Она последовала за ним в Сибирь.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ УЛЫБЫШЕВ

(1794—1858)

Один из наиболее серьезных и интересных членов «Зеленой Лампы». Сын богатого нижегородского помещика, до шестнадцати лет воспитывался в Германии. По возвращении из-за границы сдал экзамен на право получения первого чина. По географии и статистике экзаменовал профессор Е. Ф. Зябловский. Свирепостью и придирчивостью он нагнал полнейшую панику на экзаменующихся. Дошла очередь до Улыбышева. Профессор спросил:

— Скажите, какие животные водятся в России?

Улыбышев озорно ответил:

— Лошади, коровы, бараны, ослы, професс... Ах, извините, господин профессор.

Улыбышев служил в коллегии иностранных дел, заведывал редакцией официального органа министерства «Journal de St. Pétersbourg», где, между прочим, помещал свои музыкальные рецензии. Был большой любитель музыки и театра. Его театральные отзывы и остроты повторялись публичкой. Одна оперная певица считалась чуть не совершенством, но средние ноты были у нее слабые. Улыбышев отозвался о ней: «Она имеет слишком много для того, чтобы иметь достаточно».

В политическом отношении Улыбышев был настроен оппозиционно. В бумагах «Зеленой Лампы» сохранилось, между прочим, несколько статей, читанных на собраниях кружка; по почерку и ряду других соображений В. Л. Модзалевский считает автором этих статей Улыбышева. Характерна статья, озаглавленная «Сон». Автор видит во сне Россию, какою она будет через триста лет. «Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но все до того изменилось, что мне было трудно узнать их. На каждом шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях, до странности непохожих на их первоначальное назначение. На фасаде Михайловского замка я прочел большими золотыми буквами: «Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город.

Проходя перед Аничкиным дворцом, я увидел сквозь окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это русский пантеон, т. е. собрание статуй людей, прославившихся талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого дворца (императора Александра). Очутившись на Невском Проспекте, я кинул взоры вдаль по прямой линии и, вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидел триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма». Постоянных войск нет, они заменены всенародным ополчением. Почтенный старец объясняет автору: «Мы не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров — этого бича не только для тех, против кого их посылают, но и для народа, который их кормит». На флагах вместо двуглавого орла — феникс, держащий в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника. «Как видите, мы изменили герб империи, — говорит спутник автора: — две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры».

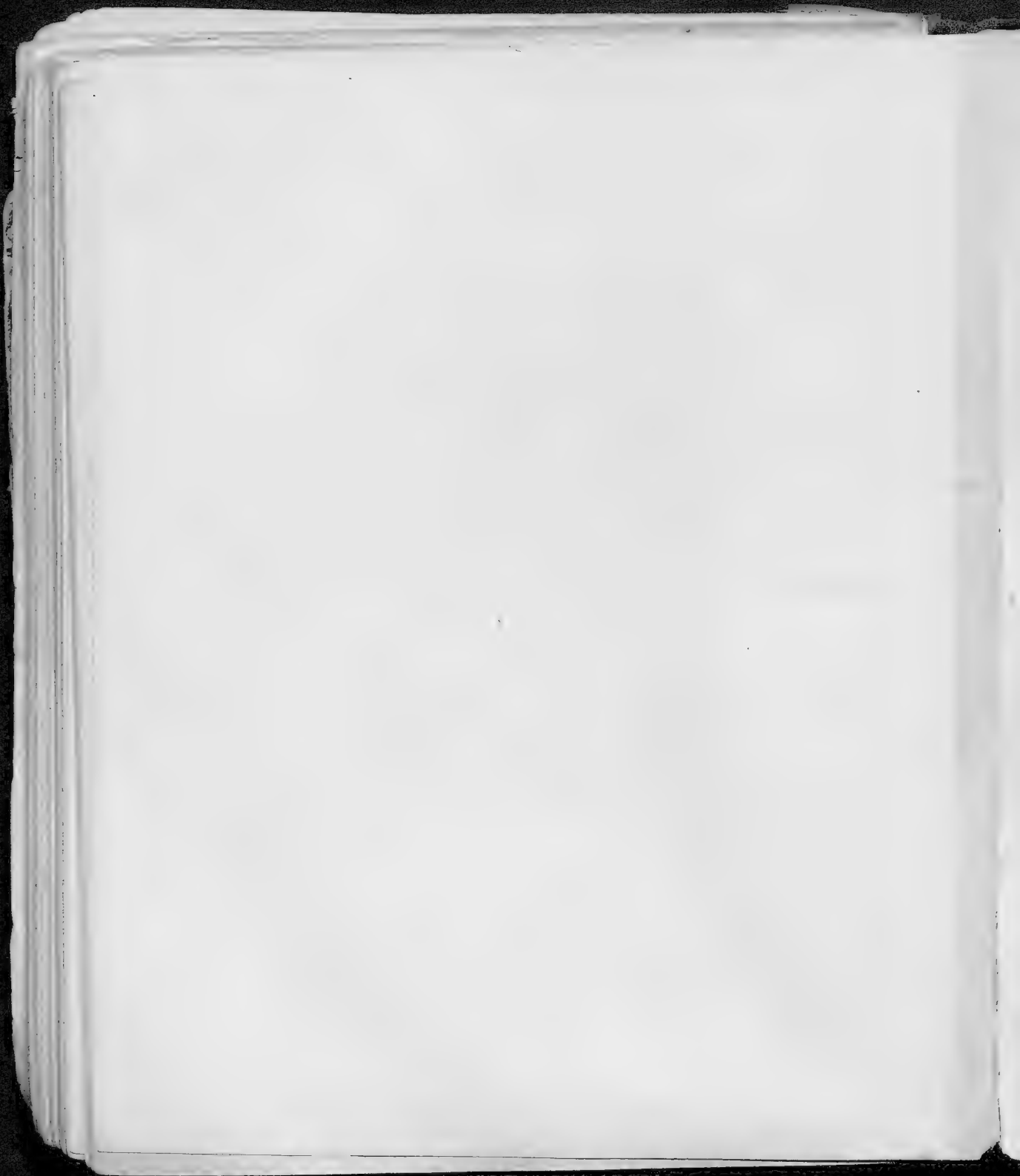
В 1830 г., после смерти отца, Улыбышев вышел в отставку с чином действительного статского советника и поселился в своем нижегородском имении. Он оказался очень рачительным хозяином, к концу его жизни имение стало давать доходу до 50 тыс. руб. в год. Живя в деревне, Улыбышев написал на французском языке биографию Моцарта с обзором общей истории музыки и анализом главнейших произведений Моцарта. Книга была издана в 1843 г. в Москве и обратила на себя внимание и в Европе. При спорности многих взглядов Улыбышева труд этот, однако, настолько ценен, что уже в девяностых годах он был переведен на русский язык под редакцией М. И. Чайковского, брата композитора, с вступительной статьей известного в то время музыкального критика Г. А. Лароша. В Нижнем Новгороде, где Улыбышев проводил зиму, он был центром музыкальной и театральной жизни города, устраивал у себя концерты, в которых принимали участие и все прпезжие музыкальные знаменитости; недурно сам играл на скрипке. Улыбышев писал также драмы обличительно-бытового характера. Одна из них, «Раскольников», рисующая гонения полиции на раскольников, была после его смерти напечатана в «Русском архиве».

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАРКОВ

(Род. в 1796 г.)

Поручик лейб-гвардии егерского полка. Большой любитель театра. переводил театральные пьесы — драмы, комедии, оперные либретто; по-





сещал литературные вечера кн. А. А. Шаховского. Состоял членом «Зеленой Лампы», каждое заседание давал отчеты о новых театральных постановках, носившие характер ординарных газетных рецензий. Писал плохие стихи. Увлекался оперной певицей Нимфодорой Семеновной Семеновой, сестрою знаменитой трагической актрисы Ек. С. Семеновой; у нее был небольшой, но очень приятный голос и привлекательная наружность. Пушкину приписывают такую эпиграмму:

Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,
Или собачкою постельною твоей,
Или поручиком Барковым.
Ах, он поручик! ах, злодей!

В 1827 г. Пушкин, рассматривая альбом Анны Петровны Керн, забавлялся тем, что стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские—на французский. «Д. Н. Барков,—рассказывает Керн,—написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевести,
И даже имени такого
Не смею громко произнести!

Пушкин играл здесь тожественностью фамилии Баркова с фамилией поэта XVIII века, И. С. Баркова, знаменитого автора порнографических стихов.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ТОКАРЕВ

(Ум. в 1821 г.)

Был членом «Союза благоденствия», завербовал в него несколько членов. Принимал участие в кружке «Зеленой Лампы»; в это время он служил секретарем при главном директоре императорских театров в чине коллежского асессора. Пописывая стишки в сатирическом духе, читал их на собраниях «Лампы». Стихи в таком роде:

Тебе хвала и честь и равностно куренье;
Тебе я приношу сие стихотворенье,
О сладкий аромат, о благовошный запах,
От скуки верный щит, возлюбленный табак!
Рости и процветай; плодись и умножайся;
Крошися в картузы; в сигары завивайся;
Во трубках без числа, как Вестин огонь, пылай
И облаком густым до потолка взлетай...

И т. д.

В союзе «На тленность земных вещей» автор перечисляет погибшие прославленнейшие сооружения древности и заключает так:

Сатурну все должно на свете покоряться.
Коль мира чудеса как сельный гноби знак,
То мне возможно ли роптать и удивляться,
Что шлодрался и мой на локте старый фрак?

Приводим эти стихи, чтобы показать, какого рода литературные изделия приходилось выслушивать Пушкину на собраниях «Зеленой Лампы».

Токарев впоследствии был орловским губернским прокурором и умер в 1821 г.

Князь ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОЛГОРУКОВ
(1797—1867)

Сын известного в свое время поэта кн. Ив. М. Долгорукова. Служил в коллегии иностранных дел, был членом «Зеленой Лампы». Писал стихи.

Не шути, мой ангел милой, —
Век недолог для меня;
Он не будет там унылой,
Где с тобой увижусь я...
Кто с печалью сдружился,
Для того сей в тягость свет,
Кто несчастливый родился, —
Для того надежды нет.
Я умру для жизни новой
С образом твоим в очах,
Сброшу бедствия окозы
С шменем твоим в устах.

Пушкин с ним, повидимому, дружил. В августе 1821 г. он писал Сергею Тургеневу из Кишинева: «Долгоруков меня забыл». Впоследствии Долгоруков был посланником в Тегеране и сенатором.

ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ ЖАДОВСКИЙ

Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1817 г. переведен полковником в один из гренадерских полков. В марте 1819 г. уволен от службы «за ранами, с мундиром и пенсионом полного жалования». Был членом «Зеленой Лампы». «Однажды, — сообщает Як. Толстой, — отставной полковник Жадовский объявил обществу, что правительство имеет о нем сведения, и что мы подвергаемся опасности, не имея дозволения на установление общества. С сим известием положено было прекратить заседания, и с того времени общество рушилось».

VI

В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ССЫЛКИ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАТЕНИН

(1792—1853)

Сын помещика, генерала. Служил на военной службе, в кампанию 1812—1814 гг. участвовал в ряде сражений, отличился под Бородиным и Лейпцигом. Когда с ним по окончании лицея познакомился Пушкин, был капитаном лейб-гвардии Преображенского полка. Член «Союза благоденствия». Человек исключительной образованности и начитанности, с блестящею памятью, знавший много иностранных языков, несокрушимый спорщик, поэт, переводчик Корнея, прекрасный декламатор; когда он читал свои плохие стихи, они казались слушателям безупречными; у него учились актриса А. М. Колосова, актер В. А. Каратыгин. Тяготел к шишковизму, принадлежал к группе молодых арханстов, в которую входили Грибоедов, Кюхельбекер, Жандр; в общественно-политическом отношении резко расходясь с заскорузлым консерватизмом старых шишкостов (Шишков, Шаховской, Шихматов), члены этой группы сходились с ними в требованиях обращения к национальным русским темам, сохранения древнеславянских форм языка и введения в него «просторечия», боролись с Карамзиным и Жуковским. Пушкин, принадлежавший к другой литературной группировке, сильно, однако, тянулся к Катенину, к его уму и образованности, к ряду его литературных мнений. В 1818 г. он пришел к Катенину, подал ему свою трость и сказал:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи!
Катенин ответил:

— Ученого учить — портить.

С тех пор у них установились дружеские отношения. Обращение Пушкина к Катенину совпало с переломом в литературных воззрениях Пушкина и с отходом его от безусловного преклонения перед Карамзиным и Жуковским. В это время как раз распался и «Арзамас». Впоследствии Пушкин писал Катенину: «...ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба для мысли». Новейшие исследователи приписывают именно влиянию Катенина подчеркнуто-простонародный язык «Руслана и Людмилы», так возмущивший литературных староверов, а также введенную в поэму народню на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Прототип таких пушкинских баллад, как «Женех» и «Утопленник», исследователи эти видят в балладах Катенина «Убийца» и «Ольга». Влияние Катенина на Пушкина в начале их знакомства сказывалось даже в том, что Пушкин бессознательно перенимал у Катенина его жесты, манеру говорить и держаться. Катенин свез Пушкина к кн. А. А. Шаховскому и помирил их. Он же, повидимому, был одним из секунданти-гвардейцев, с которыми Пушкин явился к майору Денисевичу, обидевшему его в театре.

Катенин был небольшого роста, очень стройный, с ядовито-насмешливой улыбкой и лукавым взглядом, необычайно подвижной, вспыльчивый, охотник затевать споры. Витель про него пишет: «Круглолицый, полнощекый и румяный, как херувим на вербе, он вечно кипел, как кофейник на конфорке... Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал, у него было самое странное авторское самолюбие: мне случалось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступить с оружием в руках». Самолюбие Катенина было, действительно, совершенно исключительное, доходившее до болезненности, и друзья очень опасались его задевать. Таких обид Катенин не прощал. Однажды он горячо нападал на Крылова, почти отрицая его дарование. Собеседник возразил:

— Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова.

— Нисколько. Критикую его с одной литературной точки зрения. — И потом вдруг добавил: — Да он и нехороший человек: при избрании моем в Академию этот подлец один из всех положил мне черный шар.

Пушкин впоследствии отзывался о Катенине: «...характером он принадлежит к восемнадцатому столетию: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни». У Катенина было много

сопутствующих данных для крупного поэта: ум, вкус, образованность, смелость суждения, отвращение к протоптанным тропинкам; не было только одного — подлинного поэтического дарования. «Без искры животворящего гения, — говорит И. Н. Розанов, — он был только пародией крупного писателя».

В 1822 г., уже после высылки Пушкина из Петербурга, принужден был оставить Петербург и Катенин; он тогда уже был в отставке. В театре шла трагедия Озерова «Поликсена» с знаменитой Семеновой и В. А. Каратыгиным; публика больше хлопала Каратыгину, чем Семеновой. В пьесе дебютировала и актриса Азаревичева, протеже Семеновой. Когда на вызовы вышла Семенова, ведя с собой Азаревичеву, Катенин крикнул: «Не надо Азаревичеву! Каратыгина!» Семенова пожаловалась петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, и тот запретил отставному полковнику Катенину посещать театры, о чем уведомил императора Александра, бывшего в то время в Вероне. Ответ был получен такой: «Как отставной полковник Катенин и на предъ сего замечен был неоднократно с невыгодной стороны и удален из лейб-гвардии Преображенского полка, то его величество повелевает выслать г. Катенина из Петербурга с запрещением въезжать в обе столицы». Театральная история была только предлогом. У императора были подозрения о принадлежности Катенина к Тайному обществу. Катенин поселился в своем костромском имении и прожил там с небольшими перерывами около десяти лет. В 1832 г. переехал в Петербург. В 1833 г. он, одновременно с Пушкиным, был избран в члены Российской Академии. Впоследствии еще некоторое время служил на военной службе, в 1838 г. вышел в отставку генерал-майором и поселился в деревне. Во всей губернии он слыл за большого вольнодумца, насмешника и безбожника.

Позднейшее отношение Пушкина к Катенину было двоящееся и трудно определяемое. Пушкин привлек Катенина к сотрудничеству в «Литературной газете», в письмах к нему и в печатных отзывах осыпал преувеличенными похвалами, даже в письмах к литературным врагам его, кн. Вяземскому и А. Бестужеву, высказывал сожаление, что они не ладят с Катениным, и выражал надежду, что они, наконец, отдадут ему справедливость. С другой же стороны, писал о Катенине, например, так: «Катенин опоздал родиться, — не идеями (которых у него нет), но характером принадлежит он к XVIII столетию. Он приезжает к поэзии в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью». К 1828 г. относится характерная поэтическая сшибка Катенина с Пушкиным. Пушкиным только что были написаны стихи «К друзьям»: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Катенин послал Пушкину длинное сти-

хотворение «Старая быль». Перед князем Владимиром состязаются два певца: скопец-грек и русский воин «средних лет». Грек в песне своей восхваляет князя:

Кого же воспоев певец,
Кого, как не царей державных,
Непобедимых, православных,
Носящих скипетр и венец?

Радуетя за царских птичек в клетках, не знающих «мнимой свободы» и вкушающих отраду «в божественной неволе», поет о «всеавгустейшем персте», отвергающем уста поэта для сладких песен. Русский воин стоит «безмолвно и в землю потупивши взор». Князь Владимир предлагает ему отказаться от состязания с сладкогласным эллином, и русский воин на это соглашается:

Ни с эллином спорить охоты мне нет,
Ни петь я, как он, не умею.
Певал я о витязях смелых в боях,
Давно их зарыты мотылы,
А петь о великих князьях и царях
Ума не достанет, ни силы.

Князь Владимир дает в награду русскому воину второй приз — кубок. В посвящении к своей пьесе Катенин, как бы стараясь нейтрализовать едкость скрытых в ней упреков, пишет Пушкину, что в настоящее время кубок этот находится во владении Пушкина. Пушкин ответил Катенину ироническим посланием:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый,
Твой кубок полон не вином.
Но ушительной отравой...

и т. д.

В 1834 г. Катенин издал стихотворную сказку «Княжна Милуша». В посвящении к сказке этот «русский воин средних лет», бывший член «Союза благоденствия», писал так:

Почтеннейший! Хотя б всего один
Нашелся ты в России просвещенной,
Каких лиц: во-первых, дворянин
И столбовой, служивой и военной,

Душой дитя с начитанным умом,
И русский всем, отцом и молодецком,
Коли прочтя в досужный час, Милушу
Полюбишь ты, я критики не струшу.

Князь АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАХОВСКОЙ
(1777—1846)

Известный в свое время драматург и театральный деятель. Сын небогатого смоленского помещика. Обучался в московском Благородном пансионе, оттуда поступил в лейб-гвардии Преображенский полк. Увлекался театром, пробовал писать комедии. В 1802 г. вышел в отставку с чином штабс-капитана и занял место начальника репертуарной части петербургских театров. Был ярким классиком и литературным старовером, вместе с Шишковым стоял во главе «Беседы любителей российского слова» и вел борьбу с Карамзиным и Жуковским. Поставил на сцену ряд комедий, из которых многие имели большой успех. Шум вызвали комедии «Новый Стерн» (1804), в которой высмеивался Карамзин и сентиментализм, и «Урок кокеткам или Липецкие воды» (1815), где под именем балладника Флалкина был выведен Жуковский. Этот выпад его против Жуковского послужил непосредственным поводом к созданию общества «Арзамас», поведшего борьбу с «Беседой». Пушкин принимал деятельное участие в этой борьбе и высмеивал в своих стихах Шаховского под присвоенным ему именем «Шутовского». Шаховской, однако, был писатель не без достоинств. Комедии его для своего времени были остры и забавны. Он был в близких отношениях с «молодыми архаистами» — Грибоедовым, Катениным, Жандром, Кюхельбекером; одна из пьес написана им в сотрудничестве с Грибоедовым и Хмельницким. Отмечают в комедиях Шаховского целые монологи, служащие как бы прототипами монологов в «Горе от ума». Шаховской первый стал употреблять в комедии, вместо тяжелого александрийского стиха, легкий вольный стих, закрепленный Грибоедовым в «Горе от ума». Постепенно стал сдавать свои непримиримые классические позиции, брал сюжеты из Шекспира, Вальтер-Скотта, впоследствии — и из Пушкина.

Шаховской был довольно высокого роста, тучный, с огромным животом, и очень безобразный. На широком лице — длинный, загнутый совиный нос, щеки и подбородок ложились на белую косынку, обмотанную вокруг толстой, короткой шеи; волосы длинные и очень жидкие, неопределенного цвета. При тучности своей был очень живой, подвижной, говорил без умолку. Шепелявил, не выговаривал «р» и еще несколько букв. Однако был прекрасный сценический учитель. На репе-

тициях горячился, передразнивал и сыпал колкими фразами. Случалось, что он становился на колени, кланялся в ноги и плаксиво-карикатурным тоном умолял актера выражать чувства теплее, по-человечески. Или яростно кричал:

— Зарычал, завыл! У тебя, миленький, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярманках в балагане тебе играть!

Или:

— Опять заюзюкал, миленький! Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь!

Одна актриса обиделась на него и сказала:

— Я вам не девочка.

— Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!

Актриса упала в обморок, а князь растерялся и сконфуженно сказал:

— Должно быть, я сказал какую-нибудь глупость.

Только когда читала свою роль знаменитая Семенова, Шаховской не останавливал ее и покачивал в такт головою, точно слушал музыку. Рассказывали про него много нехорошего: что он сводничал молодых актрис генерал-губернатору Милорадовичу, что был очень пронырлив, что его интригами вызвано было обострение душевной болезни раздражительно-самолюбивого драматурга Озерова. Эти последние слухи имел в виду Пушкин, когда, в послании к Жуковскому (1816), обращался к поэтам-товарищам:

Смотрите: поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами,
К вам Озерова дух взывает: «Други! Мсть!»

Шаховской не был женат, а жил в «гражданском браке» с Ек. Ив. Ежовой, актрисой на роли комических старух, женщиной малообразованной. Квартира их помещалась на самом верхнем этаже, знакомые называли ее чердаком. После театра в чердак этот ежедневно съезжались театралы и засиживались до двух-трех часов ночи. Хозяин был очень любезен, всегда весел, разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен. В доме его встречались самые разнообразные люди; бывали Крылов, Гнедич, Грибоедов, Ал. Бестужев, Катенин; можно было увидеть тут и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна-офицера, иногда и ученого академика. В 1818 г. Катенин свез к Шаховскому Пушкина. Шаховской принял его очень радушно. Когда Пушкин с Катениным возвращались ночью в саних от Шаховского, Пушкин сказал:

— Знаешь, в сущности, он очень славный малый. Никогда я не по-

верю, чтоб он хотел серьезно вредить Озерову или кому-нибудь другому.

— Однако ты этому поверил, — возразил Катенин, — ты это написал и напечатал, вот что плохо.

— К счастью, никто не читал моей школьной папкотни, как ты думаешь, знает он что-нибудь?

— Нет, он мне никогда об этом не говорил.

— Тем лучше. Последуем его примеру и никогда не будем говорить об этом.

Впоследствии Пушкин писал Катенину, что вечер на чердаке Шаховского был одним из лучших вечеров его жизни. В первой главе «Онегина», говоря о театре, Пушкин писал:

Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРИВЦОВ (1791—1843)

Сын богатого орловского помещика, имевшего до двух тысяч душ. Получил хорошее домашнее образование, потом поступил в лейб-егерский полк в Петербурге. Был большого роста, атлетического сложения, с крутою грудью, черноволосый, с прекрасным, высоким лбом. Отличался «скромным до излишества поведением», которое товарищи объясняли его гордостью, трудолюбием и страстью к аристократическому обществу. В Бородинской битве был ранен в руку, взят в плен; вместе с большими французскими офицерами лежал в московском Воспитательном доме, обращенном в госпиталь. Когда французы покинули Москву, народ и казаки стали избивать оставших и раненых французов. Толпа ворвалась в Воспитательный дом. Кривцов надел мундир, объявил, что он — московский генерал-губернатор, грозно накричал на толпу и заставил ее удалиться. Оправившись от рапы, Кривцов опять отправился в армию. В битве под Кульмом ему оторвало ядром левую ногу. В госпитале он лежал рядом с умирающим от ран Моро — знаменитым генералом первой французской республики, изгнанным Бонапартом из Франции и приглашенным императором Александром I из Америки для участия в войне против Наполеона. Александр, посещая Моро, обратил внимание на Кривцова. После взятия Парижа Кривцов жил в одном доме с Лагарпом, бывшим воспитателем Александра. Лагарп очень полюбил Кривцова и отрекомендовал его Александру как замечательного во всех отношениях человека. Чем-то Кривцов сумел вызвать к себе

в русском императоре совершенно исключительную симпатию. Он получил пять тысяч червонцев на лечение, произведен в подполковники и прикомандирован к царской свите. И до самой смерти Александр продолжал оказывать Кривцову покровительство и проявлять свое благоволение. По заключении мира Кривцов остался в Париже при русском посольстве. Много читал, учился, наблюдал, познакомился с рядом выдающихся деятелей — Шатобрианом, Ж. Б. Сеем, Талейраном, побывал в Германии, Швейцарии, Бельгии, Англии. В Англии ему сделали искусственную ногу столь хорошо, что почти незаметна была его хромота; он мог даже танцевать. За время пребывания своего за границей Кривцов приобщился к либеральным идеям Запада и в 1817 г. возвратился в Петербург отменным «вольтерьянцем» и «якобинцем» как в религиозном, так и в политическом отношении. Вскоре он стал своим человеком в петербургских литературных кружках, познакомился с Карамзиным, Жуковским, кн. Вяземским, бр. Тургеневыми. У Тургеневых встретился он с Пушкиным, только что выпущенным из лицея, и был поражен его умом. Они сошлись. Повидимому, тогдашнее беззаботно-эпикурейское жизнеотношение Пушкина вызывало со стороны Кривцова возражения, на которые Пушкин ответил посланием к нему:

Не путай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно друтой,
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой...
Смертный миг наш будет светел,
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные широв.

В начале 1818 г. Кривцов снова определился на службу при русском посольстве в Лондоне. Когда он уезжал, Пушкин лежал больной и послал ему на дорогу в подарок «Орлеанскую девственницу» Вольтера с приложением стихотворного послания к Кривцову («Когда сожмешь ты снова руку...»). Старшим друзьям Пушкина не нравилось влияние на Пушкина вольнодумного Кривцова. А. Тургенев с огорчением писал Вяземскому: «Кривцов не перестает развращать Пушкина и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии». В Лондоне Кривцов пробыл два года, но был он характера очень неуживчивого и раздражительного, не поладил с русским послом кн. Ливеном и в 1820 г. воротился в Петербург. Приехал он ярым англоманом и таким оставался

в течение всей остальной жизни. Но от «якобинства» осталось в нем уже очень мало. «Кривцов уже вышел из полка либералистов», — писал Карамзин Дмитриеву. Задумав жениться, Кривцов поехал в Варшаву, где в это время был император Александр, и выхлопотал себе у него такое количество милостей, что мы можем только развести в недоумении руками. Совершенно неизвестно, за что, единственно из личного расположения к Кривцову, Александр пожаловал ему: аренду в десять тысяч рублей, сто тысяч взаймы без залогу и без процентов на десять лет (эти долги обыкновенно прощались или никогда не взыскивались), фрейлинский вензель для его невесты, губернаторское место на выбор и дом для житья в Царском селе. Анненков в черновых своих записях сообщает со слов Я. Сабурова: «Данные ему царем сто тысяч рублей на свадьбу Кривцов употребил буквально на свадьбу, но с женой жил плохо, будучи педерастом, чего не скрывал. Был образованный человек, вольтерьянец и эпикуреец — с честными правилами на службе».

В 1823 г. Кривцов стал губернатором в Туле. Началась административная деятельность этого «ярого англомана», представляющая из себя самую фантастическую смесь проявления корректнейшей английской законности с самым разнузданным российским произволом. Кривцов завел в Туле порядок, подтянул распущенное чиновничество, а однажды высек почтмейстера за то, что он отказался дать ему лошадей, приготовленных для императора. Кривцова перевели «для поправления губернии» в Воронеж. Там он опять горячо стоял за правосудие. Рассмотрев однажды жалобу челобитчика, Кривцов нашел его совершенно правым и уверил, что дело его не может быть проиграно. Но дело он проиграл и пришел с этим известием к Кривцову. Кривцов изумился.

— Как?! Я только вчера подписал дело в вашу пользу!

Немедленно поехал в присутствие. Оказалось вот что: черновое решение, просмотренное Кривцовым, было, правда, в пользу челобитчика, но при переписке подкупленные чиновники переделали решение, а Кривцов, не читая, подписал. Кривцов в бешенстве разорвал журнал и уехал домой. Чиновники послали за прокурором, и было составлено донесение в сенат, что губернатор помешался. Началось следствие, Кривцова тем временем, опять «для поправления губернии», перевели в Нижний Новгород. Там он, должно быть, опять насаждал правосудие, но между прочим побил исправника, а вскоре, по высочайшему повелению, подпал дознанию о бесчеловечных побоях, которым подвергал ямщиков и сельских старост, частью собственноручно, частью через полицейских чиновников, при проезде из Нижнего в тамбовскую деревню жены. Все это, вероятно, опять кончилось бы переводом Кривцова в другую губернию для ее «поправления», но в это время умер Александр, лично знавший

и любивший Кривцова. Вспыхнуло 14 декабря. В нем оказались замешанными брат Кривцова Сергей и три его шурина. Кривцов был отставлен «за строптивость права», аренда была ему прекращена и велено с него взыскать данные ему займы сто тысяч рублей. С уничтоженной карьерой, с расстроенным состоянием, с озлобленною душою Кривцов поселился в тамбовской деревне своей жены. Собственное его имение было продано за казенное взыскание с публичного торга. В имении жены было 3 000 десятин и 500 душ крестьян. Он энергично принялся хозяйствовать, — так энергично, что крестьяне взбунтовались. Ни бунт этот, ни ряд неурожая, ни затеянный Кривцовым процесс с приятелем-соседом не помешали ему поправить пошатнувшиеся свои дела, и вскоре он привел хозяйство в образцовый порядок; соседи приезжали к нему за советами; уважение, смешанное со страхом, он внушал даже местным властям, которые ездили к нему на поклон. Деревенскую жизнь Кривцов понемногу полюбил; в ней тоже было что-то английское: англичане живут в своих поместьях, а в Лондоне только гостят. В деревне Кривцов выстроил каменную готическую английскую башню. Кабинет и все комнаты дома содержались в примерной английской чистоте; полы обиты были мягкими, пушистыми коврами, а так как мужицкая обувь мало полезна для ковров, то Кривцов прорубил из комнат окно в сени, в назначенный час староста всовывал в окно бородастую свою голову, делал барину доклады и выслушивал его распоряжения. Род Кривцовых был недавний и незнатный, но он убедил себя в большой его древности и знатности. К гербу своему постоянно сочинял разнообразнейшие девизы, — увы! никогда не утвержденные герольдией. Герб свой Кривцов помещал, где только было возможно. Им увенчаны были киоты образов деревенской его церкви, им, по завещанию Кривцова, украшен был его надгробный памятник, — а под гербом ряд девизов: «*veritas salusque publica* (правда и общественное благо)», «*nec timeo, nec spero* (не боюсь и не надеюсь)» и др. Знавшие Кривцова утверждают, что он был человек умный. Вяземский о нем пишет: «Он не был человеком ни увлечения, ни утопии. Был он более человеком рассудка, разбора, анализа. Можно было признать в нем некоторую холодность, некоторый скептицизм. Не знаю, был ли он способен к дружбе в полном значении этого слова, но он питал чувство искренней приязни и уважения к некоторым исключительным лицам и остался им верен до конца». После высылки своей из Петербурга Пушкин переписывался с Кривцовым, но до нас дошли только два его письма. Осенью 1824 г. он писал: «...правда ли, что ты стал аристократом? Это дело. Но не забывай демократических друзей 1818 года... Все мы переменялись. А дружба, дружба...» За неделю до свадьбы своей Пушкин написал Кривцову письмо, совершенно необыч-

ное для Пушкина: письма его вообще очень мало знакомят нас с интимными его переживаниями, — Пушкин был исключительно скрытен. Это же письмо поражает глубокою откровенностью, с которой Пушкин высказывает все свои колебания, сомнения и опасения, связанные с предстоящею женитьбою. Либо уж очень тяжело было Пушкину, либо отношения его с Кривцовым были, действительно, дружеские.

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ

(1795 — 1826)

Сын мелкопоместного дворянина. Отец состоял главноуправляющим имениями одного из князей Голицыных, был человек скупой, жестокий и деспотический; бил жену, запирали ее в погреб; бил и сына. Мать была женщина забитая и кроткая. Мальчик поступил в первый кадетский корпус в Петербурге. Учился он порядочно, много читал. Товарищи очень любили Рылеева, он был коноводом во всех шалостях, часто принимал на себя вину товарищей; с начальством держался дерзко и вызывающе, его секли нещадно, но он под розгами молчал, а, вставши на ноги, опять начинал грубить офицеру. В 1814 г. Рылеев окончил курс и был выпущен прапорщиком в конно-артиллерийскую бригаду. В 1814—1815 гг. участвовал в кампании против Наполеона, побывал в Париже. По возвращении из похода в течение трех лет стоял со своей бригадой в Воронежской губернии. Отец его умер в 1814 г., оставив дела в очень запутанном состоянии; Голицыны, имениями которых он управлял, сделали на него начеку в 80 тыс. рублей и в этой сумме предъявили иск к наследникам; дело тянулось долго и не закончилось еще к смерти Рылеева. В 1818 г. Рылеев вышел в отставку с чином подпоручика, женился в 1820 г. на дочери острогожского помещика. Весною этого года он побывал в Петербурге, а с осени следующего года окончательно поселился в нем. У матери Рылеева было небольшое имение в шестидесяти верстах от Петербурга. Рылеев был избран от дворянства в заседатели петербургской уголовной палаты. Избрание никому неизвестного мелкого помещика на эту должность может показаться странным. Но в то время судебные учреждения славилась колоссальным взяточничеством и крючкотворством, и уважающий себя дворянин считал позором пачкать свое имя службою в подобных учреждениях. Однако молодые люди, стремившиеся к действительно полезной общественной деятельности, поступали именно в такие гиблые учреждения, чтобы в них бороться за правду и справедливость. В той же петербургской уголовной палате служил в это время и И. И. Пущин, лицей-

ский друг Пушкина, перебивший блестящее положение гвардейского офицера на скромное звание члена палаты. В должности своей Рылеев проявил большую независимость и смелость. Крестьяне графа Разумовского, изнуренные непосильными поборами, взбунтовались и были усмирены силою. Дело о них было передано в уголовную палату. Император, вельможи, судьи, — все были против. Один Рылеев взял сторону крестьян и энергично отстаивал их правоту. Декабрист Н. А. Бестужев рассказывает: «Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое заступление истины сделало Рылеева известным в столице. Между простым народом имя его и честность вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос. Милорадович грозил ему всеми наказаниями, если он не сознается. Но мещанин был невинен и не сознавался. Тогда Милорадович пригрозил, что отдаст его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Мещанин упал ему в ноги и с горячими слезами стал благодарить. — «Какую же милость оказал я тебе?» — спросил губернатор. — «Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок; знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!» В 1824 г. Рылеев перешел на службу правителем канцелярии Российско-Американской компании. Это место дало ему некоторое материальное обеспечение.

Рылеев начал писать стихи еще в корпусе. Выдвинулся он своей сатирой «К временщику», напечатанной в «Невском зрителе» за 1820 г. В подзаголовке было указано, что это — «подражание Персевой сатире: К Рубеллию». В действительности это было оригинальное произведение, где с неслыханною смелостью поэт обращался к ненавистному временщику Аракчееву:

Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пропырствами злодей!..
Как ты притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злые души не утаишь:
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он, что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты..
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!

В «лишенных красоты селениях» заключался совершенно ясный намек на аракчеевские военные поселения с их казарменной перестройкой деревень. Сатира произвела в обществе огромную сенсацию. Не догадались ли наверху об истинном смысле сатиры, предпочли ли притвориться недогадавшимися, — но никаких репрессий за нее не последовало. Вся дальнейшая поэтическая деятельность Рылеева была также направлена на общественное служение; поэзия была для Рылеева средством борьбы, способом будить в людях стремление к свободе, к справедливости, к исполнению гражданского долга. «Я не поэт, я гражданин», — заявлял он. В целом ряде «дум» Рылеев дал короткие поэмки об исторических русских деятелях — Артамоне Матвееве, Якове Долгорукове, Артемии Волинском, идеализируя их как борцов за правду и свободу.

В думе «Волинский» он, например, говорит:

Отец семейства, приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!
Любовью к родине дыша,
Да все для ней он переносит —
И, благородная душа,
Пусть личность всякую отбросит.
Пусть будет чести образцом,
За страждущих — железной грудью
И вечно закланым врагом
Постыдному несправосудью.

С каждым годом талант Рылеева рос, освобождался от налета риторики, прозаизмов и романтических приукрашений. Формировался крепкий гражданский поэт, достойный предшественник Некрасова. В неоконченной поэме «Наливайко» этот предводитель казаков в борьбе с польской шляхтой говорит у Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утешителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!
(«Исповедь Наливайки»)

Те стихи Рылеева, которые не могли увидеть печати, расходились в списках и восторженно заучивались молодежью. Герцен рассказывает:

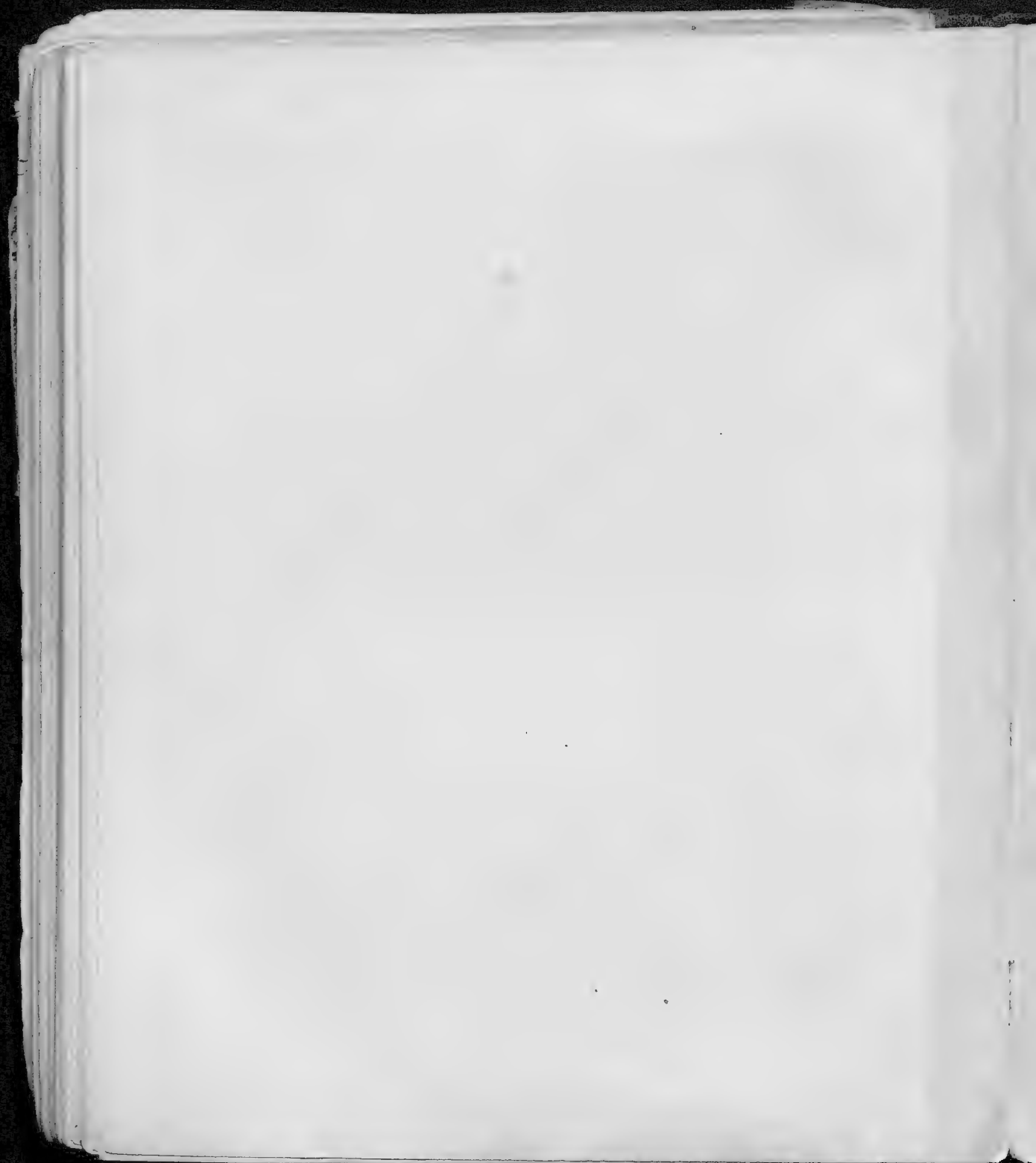
«Я помню, как ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир».

Вместе с другом своим А. А. Бестужевым Рылеев издавал альманахи «Полярная звезда». Альманахи составлялись с большим вкусом, давали на своих страницах произведения лучших писателей того времени и пользовались у публики огромным успехом. Между прочим, издатели первые ввели систематическую оплату печатаемых статей гонораром, — до той поры этого в обычае не было.

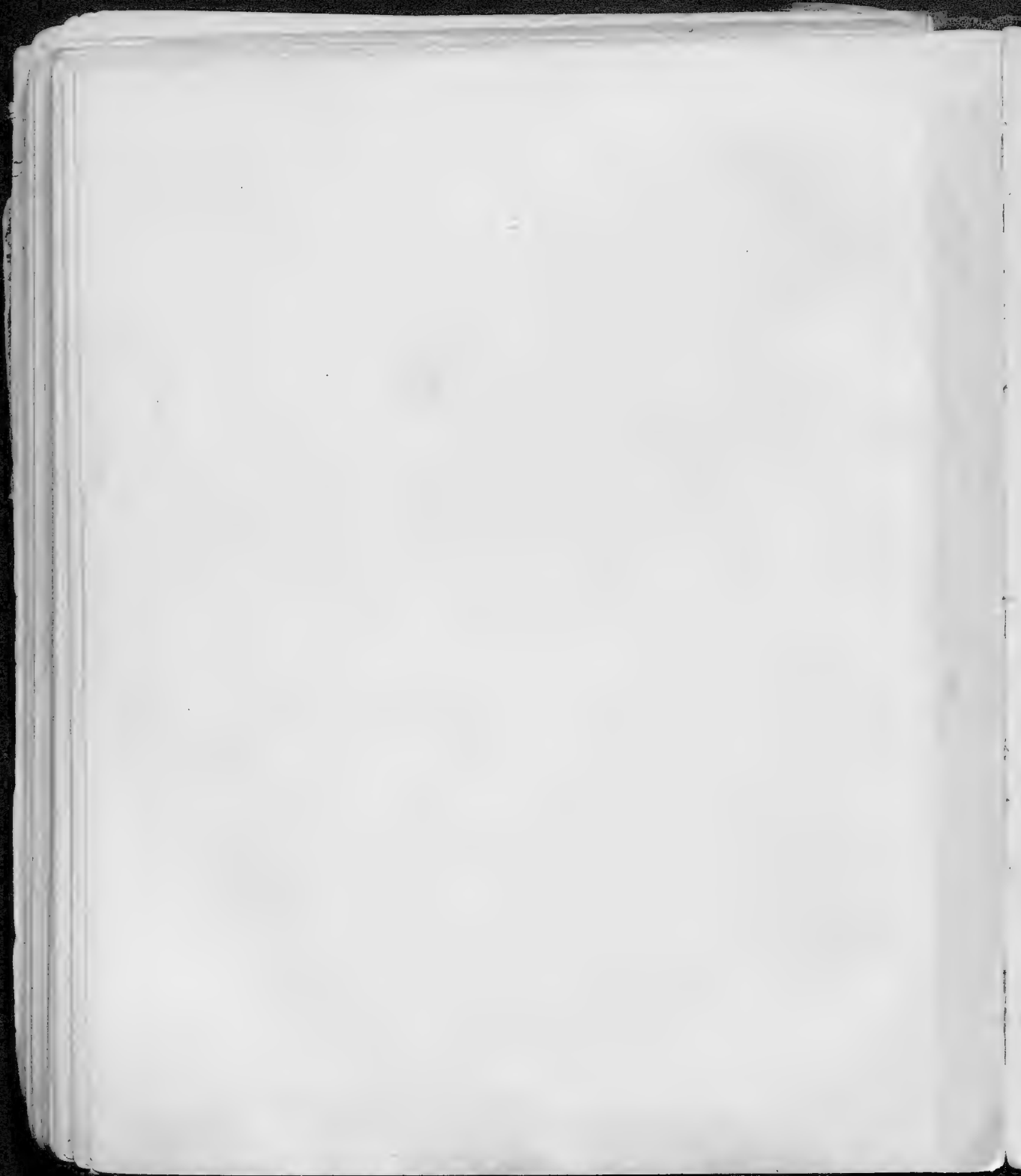
Рылеев был среднего роста, хорошо сложен. От широкого лба лицо резко суживалось к подбородку, большие, темные глаза были поставлены на лице чуть-чуть косо и стояли друг от друга несколько дальше обычного; губы тонкие и извилистые; темные слегка выющиеся волосы. Ходил, слегка наклонив голову вперед. Профессор Никитенко, получивший свободу от крепостной зависимости главным образом благодаря энергии Рылеева (см. в главе «Писатели»), рассказывает: «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. С первого взгляда он вселял вам как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза его горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Рылеев не выносил аристократов. Он участвовал в нескольких дуэлях в качестве либо действующего лица, либо секунданта, где каждый раз дело шло о том, чтобы осадить человека, пользовавшегося своим привилегированным положением для некорректных действий. Гвардейский офицер кн. Шаховской свел связь с побочной сестрой Рылеева. Рылеев, вступаясь за честь компрометированной сестры, вызвал Шаховского на дуэль. Тот отказался. Рылеев публично плюнул ему в лицо. Стрелялись на близком расстоянии. Пуля Рылеева ударила в дулю пистолета Шаховского, вследствие этого пуля Шаховского, целившего Рылееву в лоб, отклонилась и ранила Рылеева в ступню. Другая дуэль, в которой Рылеев участвовал в качестве секунданта, наделала большого шума. Блестящий лейб-гусар, флигель-адъютант Новосильцев, ухаживал за сестрою семеновского офицера Чернова, двоюродного брата Рылеева. Сделал предложение, оно было принято. Но потом Новосильцев сбежал, несколько раз имел объяснения с братом невесты, каждый раз давал обещание жениться. В конце концов граф Сакен (впоследствии фельдмаршал), начальник отца невесты, желая угодить влиятельной матери Новосильцева, принудил Чернова-отца послать отказ Новосильцеву.









Чернов-сын вызвал Новосильцева на дуэль. В письме, написанном перед дуэлью, Чернов писал: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души». Оба противника были тяжело ранены и через несколько дней умерли. Похороны Чернова превратились в общественную манифестацию, масса знакомых убитого и незнакомых сопровождала гроб, на памятник было собрано десять тысяч рублей. Энергичным организатором демонстрации был Рылеев. На смерть Чернова он написал стихотворение, быстро разошедшееся в списках:

Клянемся честью и Черновым, —
Вражда и брань временщикам,
Царя трепещущим рабам,
Тиранам, нас унестъ готовым!
На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья
Взор бросить, полный сладострастья, —
Падет, шеруном поражен!

Рылеев принадлежал к тому редкому типу художников, — типу Данте и Байрона, — у которых их слово стремится воплотиться в непосредственное дело. Ив. Ив. Пущин, товарищ Рылеева по службе в уголовной палате, принял его в начале 1823 г. в Северное тайное общество прямо во вторую ступень, в число «убежденных». Революционное настроение, которое год от году росло и крепло в Рылееве, нашло богатые возможности для своего проявления в открывшейся перед ним деятельности. «С первого шага, — рассказывает декабрист кн. Е. П. Оболенский, — Рылеев ринулся в открытое ему поприще и всего себя отдал той высокой идее, которую себе усвоил». Очень скоро он выдвинулся в первый ряд членов общества, значительно оживил его деятельность, был избран в «верхний круг», — в члены Верховной Думы, и в конце концов стал фактическим руководителем всего общества. В политическом отношении он стоял левее большинства членов Северного общества, требовал освобождения крестьян с землею, настаивал на демократизации общества введением в него купцов и мещан, восставал против имущественного ценза, намеченного для избирателей в аристократической конституции Никиты Муравьева. Однако, как и все члены Северного общества, Рылеев больше всего боялся народной революции и ее «ужасов». Для роли руководителя революционной партии Рылеев был мало пригоден: слишком у него была горячая голова, слишком много было экзальтированности — и слишком мало четкой политической мысли, холодного расчета и организаторского умения. Он мог быть только агитатором и вдохновителем заговора, его «Шиллером», как выразился Герцен. И не было у него той

крепкой веры, которая стремится к победе и верит в ее возможность. Он ясно сознавал ничтожность сил общества и ждал надвигающегося момента борьбы не как боец, а как мученик. «Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?»

Умер Александр I. Наступило междоусобице. Войска присягнули Константину. Но оказалось, что он отказался от престола в пользу Николая. Представлялся исключительный, неповторимый случай для энергичного выступления: уверить солдат, что Константин насильственно устранен от престола, во главе обманутых войск произвести военный переворот и провозгласить конституцию. Рылеев развил кипучую деятельность. Заговорщики каждый день собирались в его квартире. 13 декабря окончательно был выработан план действий. Диктатором назначен князь Трубецкой. Офицеры должны были рассыпаться по казармам и вести поднятые войска на площадь к сенату. «Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! — вспоминает М. Бестужев. — Речь его текла, как огненная лава; его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипевшего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне». Разошлись до завтра — возбужденные, решительные и радостные. Молодой конногвардеец, поэт кн. А. И. Одоевский, в детском восхищении воскликнул:

— Умрем, ах, как славно мы умрем!

Только Рылеев был странно спокоен и серьезен. Он сдержанно сказал одному из друзей:

— Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать: начало и пример принесут плоды.

Еще накануне он взял с офицеров-измайловцев честное слово, — если не смогут увлечь за собой солдат, то, во всяком случае, прийти на площадь самим.

Рано утром 14 декабря Рылеев отправился на площадь. Там никого не было. Вместе с Пуциным он бросился по казармам. Тем временем братья Бестужевы и кн. Щепин-Ростовский вывели на площадь солдат Московского полка. Подходили лейб-гренадеры и матросы гвардейского экипажа. Трубецкой, назначенный главным командиром восстания, не явился. Рылеев с Пуциным ворвались на площадь, Пуцин примкнул к стоящим войскам. Рылеев же, видя безначалие и неустройство, бросился искать Трубецкого и после этого...

Хотелось бы тут задернуть занавес и отдернуть его на туманном утре 13 июля 1826 г. В предрассветных сумерках на гласисе Петропавловской крепости смутно вырисовывались пять виселиц. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин шли под кон-

воем вдоль фронта войск: осунувшиеся и измученные, они еще двигались под тяжестью кандалов; на груди были дощечки с надписью: «злодей, царевбийцы». Потом они поднялись на подмости. Их поставили под виселицами, надвинули на лица холщевые колпаки, надели петли и выпихли из-под ног скамейки. Но не приняли в расчет тяжести кандалов. Под Рылеевым и еще двумя осужденными веревки оборвались, тела прошибли доски помоста и упали в яму под помостом. Вытащили их изувеченных, в крови. Муравьев-Апостол воскликнул:

— И повесить-то в России порядочно не умеют!

Побежали искать новых веревек. Повесили опять.

Светла, без пятна, жизнь поэта-революционера, смертью запечатлевшего свою любовь к родине и свободе... Но—не нужно нас возвышающего обмана, и незачем прятать за занавесом то, чего хотелось бы, чтобы не было. Возвращаемся назад.

Рылеев с Сенатской площади отправился искать прятавшегося Трубецкого, нигде его не нашел — и отправился домой. Без него прошло это ужасное бездейственное стояние восставших войск, без него заработали картечью царские пушки, устилая площадь и улицы трупами бежавших солдат и народа. Ночью, когда все уже было кончено, когда полиция спускала в проруби под лед убитых и раненых бунтовщиков, Рылеев был арестован. И этою же ночью, в первом же показании, он назвал всех сообщников и закончил показание так: «Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков кн. Трубецкой. Страхась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на Юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение. Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости, — наивно заканчивал Рылеев, — пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени — такая сила, перед которою они не в состоянии были устоять». И на дальнейших допросах он с готовностью сообщал решительно все, что знал, он вполне заслужил убийственную похвалу следственного комитета: «Объясните, с свойственною вам откровенностью...» Между прочим, показания Рылеева были решающими при обвинении Каховского. Что особенно удивительно, — все это вовсе не было со стороны Рылеева попыткой обелить и спасти себя. Он не отрицал своей руководящей роли в заговоре. «Признаюсь чистосердечно, я почитаю себя главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное и не только сего не подумал сделать, а напротив, еще преступною ревностью своею служил для других самым гибельным примером». За три недели до смерти Рылеев по-

вторил то же в письме к императору Николаю, брал всю вину на себя и молил простить товарищей. «Казни, государь, меня одного: я благословлю десницу, меня карающую, благословлю твое милосердие, и перед самою казнью не перестану молить всевышнего, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных предприятий власти верховной».

Это непостижимое превращение убежденного революционера в кающегося преступника останется для нас непонятным, пока мы не выясним себе основного душевного уклада, характерного для большинства декабристов. Они с молоком матери всосали глубочайшее благоговение к самодержавной власти, — то благоговение, которым дышат и произведения лучших художников слова того времени — Державина, Карамзина, Жуковского. Когда будущие декабристы зажили сознательной жизнью, когда заговорила в них мысль и совесть, они искреннейшим образом возмущались деспотизмом самодержавия, его неистовствами, от которых сами страдали мало, его действиями, бывшими по интересам социальных группировок, к которым они принадлежали. Но в подсознательной глубине души все время крепко сидело ощущение божественной святости самодержавия как такового. «Царь есть залог божества на земле», — говорил на допросе декабрист А. Бестужев. Если взять сравнение из религиозной области, декабристы были по отношению к самодержавию не безбожниками, а богоборцами. Победил бог, — и в душе смятенный ужас: на кого посмела подняться рука!

В тюрьме Рылеев стал очень религиозен. На кленовых листьях он наколотил иголкой стихотворение, которое переслал товарищу по заключению, кн. Е. П. Оболенскому:

Ты прав: Христос — спаситель наш один, —
И мир, и истина, и благо наше.
Блажен, в ком дух над плотью властен,
Кто твердо шествует к христовой чаше...

и т. д.

Пушкин познакомился с Рылеевым незадолго до высылки своей из Петербурга, весной 1820 г., когда Рылеев в первый раз приехал на короткое время в Петербург. Из южной ссылки Пушкин посылал Рылееву поклоны через А. Бестужева. С начала 1825 г. у Рылеева началась с Пушкиным оживленная переписка. Первое его письмо привез Пушкину И. И. Пущин, приехавший проведать лицейского своего друга в Михайловское. Письмо было на «ты». Рылеев писал: «Я пишу к тебе «ты», потому что холодное «вы» не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Пущин познакомит нас короче». Переписка носила исключительно литературный характер. В одном из

писем Рылеев писал: «Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства, ты можешь быть нашим Байроном, но, ради бога, не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если бы ты знал, как я люблю, как я ценю твоё дарование. Прощай, чудотворец!» Пушкин к творчеству Рылеева относился сдержанно. О «думах» его он писал Вяземскому: «Думы» — дрянь, и название сие происходит от немецкого *dumm*. И самому Рылееву: «Думы слабы изобретением и изложением. Все они на один покров. Составлены из общих мест: описание места действия, речь героя и — правоучение». Называл Рылеева «планщиком» и прибавлял: «...я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов». Однако поэма «Войнаровский» примирила Пушкина с Рылеевым. Он одобрил «замашку или размашку» в слоге поэмы, писал о ней: «...у него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал». Бестужеву Пушкин писал о Рылееве: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, — да чорт его знал!»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ (1797—1837)

Сын выдающегося либерального журналиста и педагога, человека просвещенного и гуманного. Семья была любящая и дружная, детство мальчика прошло счастливо. На десятом году он был отдан в горный корпус. Учился хорошо, но математику ненавидел. Старший брат его Николай, морской офицер, был назначен в крейсерство с гардемаринами и на вакации взял к себе на фрегат брата Александра. Александр был в упоении от моря, облекся в матросский костюм, изучил матросское мастерство. У брата замирало сердце, когда Александр из молодечества бежал, не держась, по рее, или спускался вниз головой по одной веревке с самого верха мачты, или в крепкий ветер летел по морю на шлюпке, держа такие паруса, что бортом черпал воду. Александр решил поступить в гардемарины, вышел из горного корпуса и стал готовиться к экзамену. Но увь! Оказалось, что для морской службы требуется не только умение бегать, не держась, по реям, но и знание той же пенавистной математики. Бестужев поступил юнкером в лейб-драгунский полк. В 1817 г. был произведен в офицеры. Полк его стоял в Петергофе. Бестужев жил в одном из петергофских дворцов, Марли, — отсюда выбранный им литературный псевдоним Марлинский.

Бестужев зажил веселою жизнью гвардейского офицера, танцевал на балах, без счета увлекал женские сердца, имел несколько дуэлей из-за пустяков; выдержав выстрел противника, сам он стрелял в воздух. Рассеянная светская жизнь не мешала ему много и серьезно читать по самым разнообразным отраслям знания — по истории, философии, статистике, химии, механике. На службе он продвигался очень успешно, был назначен адъютантом к главноуправляющему путями сообщения Бстанкуру, потом к его преемнику, герцогу Виртембергскому. Выступил на литературное поприще и быстро завоевал всеобщее признание как критик и беллетрист. Сошелся со многими писателями. Вместе с Рылеевым издавал альманахи «Полярная звезда», имевшие крупный успех. В них Бестужев помещал свои критические обзоры русской литературы, вызывавшие большой шум и споры; в статьях этих он резко нападал на защитников старых литературных традиций и требовал для поэтического творчества полной, ничем не стесняемой свободы.

Судьба, казалось, наметила Бестужева в свои любимцы. Он впоследствии вспоминал:

Меня с родимого порога
Сманила жизнь на пышный пир,
И, как безграницная дорога,
Передо мной открылся мир.
И случай, преклонная темя,
Держал мне золотое стремя,
И, гордо бросив поводья,
Я поскакал — туда, туда!

Все ему удавалось, все в жизни он брал играя. Полуиграя, вступил он через Рылеева и в Тайное общество. Сочинял с Рылеевым вольные политические песенки, разделял общее гвардейской молодежи оппозиционное настроение, но по существу политикой интересовался мало. Вскоре он убедился, что силы Тайного общества ничтожны, но, как сам рассказывает, «решился тянуть с ними знакомство, как игрушку». К делам общества относился беззаботно, не знал о делах общества многого, что должен был знать. Рылеев и Оболенский не раз ссорились с ним за то, что он шутил и делал каламбуры из важных вещей. Они называли его фанфароном и говорили, что за флигель-адъютантский аксельбант он готов отдать все конституции. Нападали и за то, что он нарочно спорил и за, и против, чтобы заставить товарищей разбиться в мнениях. Желая развязаться с обществом, Бестужев решил оставить Петербург, выгодно жениться в Москве и уехать года на два путешествовать.

Но как раз подоспело 14 декабря. И этот фанфарон, раздражавший товарищей своим легкомыслием и несерьезным отношением к целям об-

щества, оказался одним из очень немногих заговорщиков, безусловно сделавших свое дело. Ему было поручено поднять лейб-гвардии Московский полк. Рано утром 14 декабря он поехал в казармы полка с братом Михаилом. На успех он мало рассчитывал и ждал, что кончит жизнь на штыках солдат, но не отказался от поручения, потому что дело это почиталось нужным и очень трудным. Бестужев выступил в казармах перед солдатами. Чужой солдатам лейб-драгунский мундир незнакомого офицера вызвал недоверие. Но Бестужев пламенным своим красноречием зажег массу. С развевающимися знаменами, с барабанным боем и криками «ура!» москвичи двинулись за ним по Гороховой улице к сенату. Рядом с Бестужевым шел офицер-москвич, неистовый князь Щепин-Ростовский, — он только что на казарменном дворе зарубил саблей двух штаб-офицеров, пытавшихся остановить солдат. Этот ни о какой конституции не думал, а шел просто за Константина против Николая. Он с одушевлением обратился к Бестужеву:

— Что? Ведь к чорту конституцию?

И заговорщик Бестужев с таким же одушевлением ответил:

— Разумеется, к чорту!

Пришли на площадь, построились в каре. Главари заговора не являлись, никто не знал, что делать. Подходили все новые войска, верные Николаю. Бестужев понял, что дело проиграно, и мрачно слушал растерянные разговоры товарищей. Ударил картечь. Бестужев искал смерти, картечная пуля пробилла ему шляпу. Солдаты побежали по узкой Галерной улице. Бестужев с братом Николаем остановили несколько десятков лейб-гренадеров, стараясь прикрыть отступление. Но уже все было кончено. Он перешел по льду через Неву, всю ночь и утро скитался по городу, потом оделся в парадную форму, как на бал, явился во дворец и дал себя арестовать. Сам скомандовал конвою: «марш!» и пошел с ним в ногу.

Бестужев сослан был на поселение в Якутск. В 1829 г., во время войны с Турцией, он подал прошение перевести его рядовым в действующую армию. Николай положил резолюцию: «Определить рядовым в действующие полки кавказского корпуса, с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано». На Кавказе Бестужев принимал участие в ряде дел против турок и горцев, отличался бешеною храбростью; товарищи-солдаты присудили ему присланный в их батальон георгиевский крест, но начальство этого выбора не утвердило. В общем, однако, боевые схватки были только отдельными эпизодами, жизнь больше проходила в тяжелой и скучной гарнизонной службе, в приступах жестокой лихорадки, схваченной Бестужевым на Кавказе, под постоянной угрозой повальных бо-

лезней, свирепствовавших среди солдат. «По сущности, бытие мое бог знает, что такое, — писал Бестужев братьям, — смертью назвать грешно, а жизнью совестно». В ужаснейших условиях подневольной солдатской злужбы он написал ряд романов и повестей — «Амалат-Бек», «Лейтенант Белозор», «Фрегат Надежда», «Мудла-Нур» и др. Уже в петербургское свое время Марлинский обратил на себя внимание повестями, где талантливо рисовал всяческие романтические ужасы, бесстрашных героев, очаровательных красавиц; переживали они не иначе, как «адские муки» и «райское блаженство», в жилах их текла «огненная лава» и т. п. К тридцатым годам талант Марлинского значительно вырос. Герои и красавицы все еще были романтически-идеальны, пылали нечеловеческими страстями, но рядом с этим, особенно в мелких рассказах, все сильнее пробивалась реалистически-бытовая струя. Меньше было гиперболической напыщенности, образы стали красивее, язык крепче. В публике романы Марлинского имели головокружительный успех и доставили автору громкую славу. А сам он в это время нес тяжкую службу солдата, бурбон-командир, не выносивший гвардейских молодчиков, безнаказанно измывался над ним, как в то время мог измываться офицер над незащитным солдатом. Изредка только удавалось Бестужеву вырваться в отпуск в Тифлис. Современники, встречавшие его там, так описывают Бестужева: высокий, плотный брюнет, с небольшими, сверкающими, карими глазами; отличался благородством души, был несколько тщеславен, в обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым остроумием и каламбурами, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим, чем основательным умом. Был красив и нравился женщинам не только как писатель. В Тифлисе у него разыгрался целый ряд романов. «И походы в ночь по стенам, по окнам, — писал он брату, — в опасности сломить себе шею, или быть убитым, или прибить кого-нибудь; всегда рука на ручке кинжала, и ухо на часах... И переодевание ее, и прогулки, и визиты ко мне... И удачные забавные обманы аргусов. Я всегда был так счастлив с женщинами, что не понимаю, чем я это заслужил». Много романов было у Бестужева и в Дербенте, и в других местах, где он стоял. Однажды зимою, в бурю, он, чтобы увидеться с возлюбленной, в дрянной лодчонке поехал морем и полтора суток, с опасностью для жизни, носился по волнам. Венгеров правильно отмечает, что была одна существенная разница между Бестужевым и другими тогдашними певцами пламенных страстей, поднимающих дух опасностей и нечеловеческих мук: те, — как Бенедиктов или Кукольник, — в жизни были смиреннейшими обывателями и только за письменным столом накидывали на себя романтические плащи; Бестужев и в жизни был таким, как его герои.

С 1834 г. гарнизонная сидячая жизнь сменилась для Бестужева непрерывными походами и стоянками на бивуаках. Бестужев был рад этому. В схватках с горцами он всегда был впереди, опынялся опасностью, упивался свистом пуль. Но лишняя приходилось переносить невероятные: холод, зной, сырость такая, что неделями платье на теле не просыхало; в землянках вода стояла по колено, и сапоги на ногах плесневели; месяцами питались гнилой соломиной; изводили приступы изнурительной лихорадки; здоровье Бестужева быстро таяло. «Меня так высушила лихорадка, — писал он, — что меня можно вставить в фонарь вместо стекла».

Наконец, Бестужев был произведен в прапорщики. Он перестал быть бесправным солдатом, над ним не мог уже измываться первый встречный офицер. Но изнуряющая походная и боевая жизнь продолжалась. Бестужев мечтал о выходе в отставку, о переходе на гражданскую службу и спокойной литературной работе. «Кому было бы хуже, если бы мне было немного лучше?» — спрашивал он в письме к брату. В нем принял участие гр. М. С. Воронцов и, видя, как губелен для Бестужева кавказский климат, просил императора о переводе Бестужева на штатскую службу в Крым. Царь отказал. Оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский ходатайствовал о переводе Бестужева в Оренбург, указывая на ту пользу, которую он мог бы принести описанием края и быта кочевников. Ответ: «Бестужева следует послать не туда, где он может быть полезнее, а туда, где он может быть безвреднее». В июне 1837 г. русские войска высадились у мыса Адлера. Шлюпки подплыли к берегу под градом черкесских пуль, стрелки высадились, выбили черкесов из прибрежных окопов, загнали в лес и врассыпную устремились следом за ними в чащу. Бестужев шел в передовой цепи. Тупоголовый командир, не глядя на то, что сзади не было резервов, вел отряд все вперед; цепи расстроились, солдаты в одиночку продирались сквозь колючую чащу. Вдруг со всех сторон посыпались черкесские пули. Горнист протрубил сигнал строиться в каре и упал мертвый. Отряд отступал. Бестужев стоял на маленькой полянке, в изнеможении прислонившись к дереву, из груди его лилась кровь. Два солдата взяли его под руки и повели; он еле шел, с упавшею на грудь головою, и тихо стонал. Из чащи выскочили черкесы. Солдаты бросили раненого и побежали. И видели только, как над Бестужевым засверкали черкесские пашки. Труп его не нашли.

С Пушкиным Бестужев, вероятно, познакомился еще до высылки Пушкина из Петербурга. Но знакомство это не было близким. На письмо Бестужева, приглашавшего Пушкина сотрудничать в альманахах «Полярная звезда», Пушкин ответил из Кишинева любезным письмом.

но с обращением: «Милостивый государь». Однако уже в следующем письме Пушкин писал: «Милый Бестужев, позволь мне первому перешагнуть через приличия и поблагодарить теб я...» Между ними завязалась оживленная переписка на литературные темы, кончившаяся лишь незадолго до ареста Бестужева. «Ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским, — писал ему Пушкин. — Вы одни можете разгорячить меня». И другой раз опять ставит его рядом с Вяземским: «Ты, — да кажется, Вяземский, — одни из наших литераторов — учатся; все прочие разучаются».

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛУНИН
(1787—1845)

Тоже декабрист. У нас, к сожалению, очень мало знают об этом изумительном человеке. Он был сын богатого тамбовского-саратовского помещика, получил блестящее образование, свободно говорил на нескольких языках, был умница. Служил в кавалергардском полку. Это было время, когда молодечество, озорство и бреттерство считалось среди офицеров самыми высокими достоинствами. Лунин первенствовал среди товарищей во всевозможных офицерских шалостях, часто совершенно мальчишеских. Пугали обывателей медведями на цепи; на Черной речке — месте летней стоянки кавалергардов карьером проносились на неоседланных лошадях сквозь дворцовые дворы и парки, где проезд был запрещен; рассевшись с музыкальными инструментами высоко на деревьях, давали неожиданные серенады красавицам; приученная собака, когда ей шопотом говорили: «Бонапарт!», бросалась на указанного прохожего и срывала с него шапку. Лунин выдавался исключительным бесстрашием. Опасности, игра жизнью были для него почти потребностью. Дуэлей у него было несчетное количество. Раз был такой случай. Лунин поссорился с товарищем А. Ф. Орловым, будущим шефом жандармов. Положено было стреляться до трех раз, с каждым выстрелом сближая расстояние. Первым выстрелил Орлов и сбил перо со шляпы Лунина. Лунин выстрелил в воздух. Орлов воскликнул:

— Что же ты, смеешься надо мною?!

Подождал ближе, долго целился. Лунин смотрел на направленное на него дуло и давал советы, как правильнее целиться. Орлов сбил у Лунина эполет. Лунин, посмеиваясь, опять выстрелил в воздух и предложил стрелять в третий раз, ручаясь за успех. Секундант Орлова, его брат Михаил, возмутился и крикнул брату:

— Ведь ты стреляешь в безоружного!

Алексей бросил пистолет, и противники обнялись.

Бешеною храбростью отличался Лунин и в боях. В битве под Аустерлицем он участвовал в знаменитой атаке кавалергардов, описанной Толстым в «Войне и мире». Участвовал в ряде сражений 1812 года. Когда полк стоял в бездействии, Лунин, в своем белом кавалергардском колете и каске, с пистолетом в руках, замешивался в ряды пехоты и стрелял, как простой солдат. Это была отчаянная голова. Он написал главнокомандующему Барклай-де-Толли письмо и предлагал послать его парламентарием к Наполеону; он брался, подавая императору французов бумаги, всадить ему в бок кинжал. «Лунин точно сделал бы это, если бы его послали», — пишет Н. Н. Муравьев-Карский.

Командующий гвардией, вел. князь Константин Павлович, большой формалист-фронтвик, строго следил, чтобы офицеры во время похода ни в чем не отступали от формы. Однажды, во время кампании 1813 г., командир кавалергардского полка по нездоровью ехал в теплой шапке. Увидел это Константин, подскакал к нему, сорвал и бросил на землю шапку, жестоко распек и уехал. Офицеры возмутились и все, начиная с полкового командира, подали в отставку. Константин был вспыльчив, но отходчив. На дневке он сделал смотр полку, сознался в своей неpravоте, просил извинить за горячность и прибавил:

— А если кто останется этим недоволен, то я готов дать личное удовлетворение.

Все сочли себя удовлетворенными, Лунин же выступил вперед и громко сказал:

— Слишком много чести, чтоб отказаться от такого вызова!

Константин с улыбкой оглядел его и ответил:

— Ну, брат, ты для этого слишком еще молод!

В 1815 г. Лунин, чем-то обиженный, вышел в отставку; примешались и личные дела: он был весь в долгах, а скупой отец отказывался их уплатить. Лунин уехал за границу, год прожил в Париже. Нуждался, жил уроками и адвокатурой. Повидимому, вступил в какое-то французское тайное революционное общество. Познакомился с Сен-Симоном и произвел на него чарующее впечатление. Сен-Симон рассчитывал сделать Лунина адептом своего учения. В Париже же Лунин перешел в католичество и всю жизнь оставался глубоко верующим католиком. В 1817 г. умер отец Лунина, Лунин стал наследником большого состояния и вернулся в Россию. В Петербурге он вступил в «Союз спасения», был одним из основателей «Союза благоденствия», по ликвидации его был членом и Северного тайного общества. Своею решительностью и энергией он приобрел большое влияние среди сочленов, а резкостью суждений и крайностью выводов постоянно толкал товарищей на путь

борьбы. Он предлагал, между прочим, произвести на царскосельском шоссе покушение на Александра I людьми в масках. Впоследствии ввиду необычайного бесстрашия Лунина, Пестель предполагал поставить его во главе «когорты обреченных», предназначенной для совершения террористических актов.

Лунин был выше среднего роста, строен и мускулист, в пожатой маленькой и аристократической руке чувствовалась большая физическая сила; темпурусый красавец с черными, ясными глазами; имел привычку закусывать нижнюю губу. Лицо было бледно, но, — пишет современник, — не от болезни, а от усиленной умственной деятельности, истощавшей его силы. Лунин, действительно, был очень умен, но парочко казался ветреным, пустым, старался держаться, как все, чтобы скрыть шедшую в нем тайную душевную работу. Был очень остроумен. Ни при каких обстоятельствах не падал духом. У женщин пользовался большим успехом, непрочь был кутнуть.

Пушкин был с ним знаком. К сожалению, мы почти ничего не знаем об их сношениях. Они встречались в Петербурге у бр. Тургеневых, у Карамзина, оба участвовали осенью 1818 г. в проводах Батюшкова за границу. Н. М. Смирнов сообщает, что они были друзьями. В сожженной главе «Онегина» Пушкин, описывая Северное тайное общество, рассказывает:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.

В 1835 г., встретившись с племянником Лунина, Пушкин отозвался об отбывавшем в то время каторгу Луине как о «человеке поистине замечательном».

В 1822 г. Лунин опять поступил на военную службу в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший в Варшаве. Был назначен адъютантом к вел. кн. Константину Павловичу, главнокомандующему варшавским военным округом. Константин очень его полюбил. В показаниях своих следственной комиссии Лунин рассказывает: «Моя сокровенная цель в определении снова на службу была отдалиться и прекратить мои с Тайным обществом сношения. Причины к тому были: непостоянный и безуспешный ход занятий общества, изменения в предположенной цели и в средствах к достижению оной, бесполезное размножение членов общества, ложное истолкование моих собственных мнений, и наконец: я не имел того влияния на общество, которое хотел иметь и которое, я надеюсь, было бы не бесполезно для общей пользы».

Разразилось 14 декабря. Начались аресты. Некоторые из арестованных в показаниях своих называли Лунина. В Варшаву пришел приказ арестовать его. Вел. кн. Константин предупредил об этом Лунина и дал ему возможность уничтожить компрометирующие бумаги. И предложил устроить ему выезд за границу. Лунин ответил:

— Я разделяю их убеждения, разделяю и наказание.

Константин засыпал брата-императора письмами, где давал Лунину самую лестную характеристику и всячески старался его оправдать. Но когда Лунин на присланные из Петербурга вопросные пункты категорически отказался назвать сообщников, Константину пришлось его арестовать и с фельдшером отправить в Петербург. Лунина по прибытии поместили в здании главного штаба. Очевидец вспоминает: «К нему приходил дежурный генерал, и они, разговаривая громко по-французски, смеялись, а оставшись один, Лунин ходил по комнате и посвистывал, как будто арест его был за какую-нибудь служебную провинность».

Лунина перевели в Петропавловскую крепость. На допросах он держался великолепно. Коротенькое следственное дело его светится ярким и чистым светом среди других следственных дел, полных трусости, предательства и самых униженных покаяний. «Кем вы были приняты в число членов Тайного общества?» — «Я никем не был принят, но сам присоединился к оному». — «Кем основано общество, кто были председателями и членами Коренной думы?» — «Я постановил себе неизменным правилом никого не называть поименно, ибо это против моей совести». «Кого вы приняли в члены?» — «Никого». — «Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, кто способствовал укоренению их в вас?» — «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оного способствовал естественный рассудок». И в заключение: «Не поставляю себе в оправдание прекращение моих сношений с Тайным обществом, ибо при других обстоятельствах продолжал бы, вероятно, действовать в духе оного».

Обвинить Лунина оказалось возможным только в разговорах о цареубийстве, решительно никаких действий вменить ему в вину не удалось. Но Николай почувствовал в Луине ту несокрушимую нравственную силу, которой он боялся больше всего. И Лунин был осужден по второму разряду — приговорен к смертной казни с заменой ее двадцатилетней каторгой, а потом к поселению «на вечное». При объявлении приговора Лунин громко сказал:

— Хороша вечность! Мне скоро уже пойдет пятый десяток.

Он был заключен в одну из финляндских крепостей. Условия были ужасные: питание отвратительное, каземат такой сырой, что со сводов все время капало. Лунин заболел цынгой, ревматизмом. По обязанности

стям службы его посетил финляндский генерал-губернатор Закревский и задал официальный вопрос:

— Не желаете ли заявить каких-либо претензий?

Лунин насмешливо ответил:

— Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика.

Весною 1828 г. Лунин был отправлен в Нерчинские рудники. От цынги у него выпали почти все зубы, он острил:

— У меня остался против правительства только один зуб.

Когда осужденных отправляли из Читы в Петровский завод, Лунину, по причине болезней и прежних ран, боевых и дуэльных, было разрешено ехать в повозке. На одной из остановок местные буряты окружили повозку и стали расспрашивать Лунина, за что он сослан. Лунин ответил:

— Знаете вы вашего тайшу (главный начальник бурят)?

— Знаем.

— А знаете вы, что есть тайшу, который много главнее вашего тайшу и может ему сделать угей (копец)?

— Знаем.

— Ну, так вот: я хотел сделать угей его власти, за это и сослан.

По всей толпе бурят раздалось:

— О! о! о!

И с низкими поклонами, медленно пятясь назад, они удалились.

По отбытии каторги, сокращенной до десяти лет, Лунин был поселен в селе Урике, в восемнадцати верстах от Иркутска, на берегу Ангары. Там же жили другие декабристы — кн. С. Г. Волконский с женою Марией Николаевной, Никита Муравьев, в соседних селах — Трубецкой, Поджо, Юшневский и др. Лунин пользовался среди декабристов огромным уважением. Он выдавался едким умом и удивительно веселым характером. Никогда не унывал и жил, как будто шутя. Местные крестьяне тоже очень его уважали, обращались к нему за разбирательством их ссор, за врачебною помощью. Лунин любил детей, возился с ними, учил грамоте, они целыми днями играли на его дворе. Как мы уже говорили, он был глубоко верующий католик; никогда не пропускал в известное время читать свой молитвенник, каждую неделю к нему приезжал из Иркутска капеллан исполнять церковную службу.

Лунин говорил декабристу Свистунову:

— Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому посвятили себя.

Лунин словом и делом приступил к этому служению. Он стал систематически писать письма в Петербург своему другу-сестре Е. С. Ува-

ровой. Письма шли через Третье отделение, но это нисколько не сдерживало Лунина. Как будто он писал для самого свободного, нелегального революционного журнала. Письма носили характер блестящих публицистических статей на самые острые и злободневные политические темы. Он писал о кодификации русских законов, об образовании министерства государственных имуществ, о лозунге, провозглашенном министерством народного просвещения: «православие, самодержавие, народность». По поводу этого лозунга Лунин писал: «Вера (православие) не дает предпочтения ни самодержавию, ни иному образу правления. Она одинаково допускает все формы и очищает их, проникая своим духом. Перейдем к самодержавию. Не доказано еще, почему эта политическая форма свойственнее русским, чем другое политическое устройство. Народы, которые нам предшествовали, начали также с самодержавия и кончили тем, что заменили его конституционным правлением. Принцип народности требует пояснения. Она изменялась сообразно различным эпохам нашей истории. Баснословные времена, монгольское иго, период царей, эпоха императоров образуют столько же различных народностей. Которой же из них дадут ход? Если последней, то она скорее чужая, чем наша». И все в таком тоне. «Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которых ему не дают выразить». «Меня называют в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении. В Англии сказали бы: Лунин—член оппозиции». И такие письма Лунин посылал через Третье отделение! Он, как сам выражался, дразнил медведя в его берлоге. Казалось бы—чистейшее безумие. Но вышло обратное: Лунин сделал само Третье отделение пособником в распространении своих писем. Письма, как совершенно частные, передавались по назначению, а там интересующиеся списывали их и широко распространяли. Перед отправкой писем Лунин давал их читать товарищам, те тоже их списывали и распространяли. Списывали даже почтмейстеры, вскрывавшие письма на почте. Через несколько лет, в предисловии к собранию своих запрещенных писем, Лунин с удовлетворением писал: «Предприятие мое не бесполезно в эпоху, когда стихии рациональной оппозиции не существует, когда печатание, немое для истины, служит только выражением механической лести... В ссылке я опять начал действия наступательные. Многие из писем моих, переданных через императорскую канцелярию, уже читаются».

Третье отделение, читая письма Лунина, нашло, что «государственный преступник Лунин часто позволяет себе входить в рассуждение о предметах, до него не касающихся, и вместо раскаяния обнаруживает закоренелость в превратных его мыслях». Бенкендорф предложил теле-

рал-губернатору Восточной Сибири запретить Лунину на год всякую переписку. Генерал-губернатор вызвал Лунина, вручил ему бумагу Бенкендорфа и предложил дать подлинку с обязательством выполнить требование. Лунин поглядел на бумагу.

— Что-то много написано. Не стоит читать... А! Мне запрещается писать? Не буду.

Пером перечеркнул на-крест весь лист и на обороте внизу написал: «государственный преступник Лунин дает слово целый год не писать».

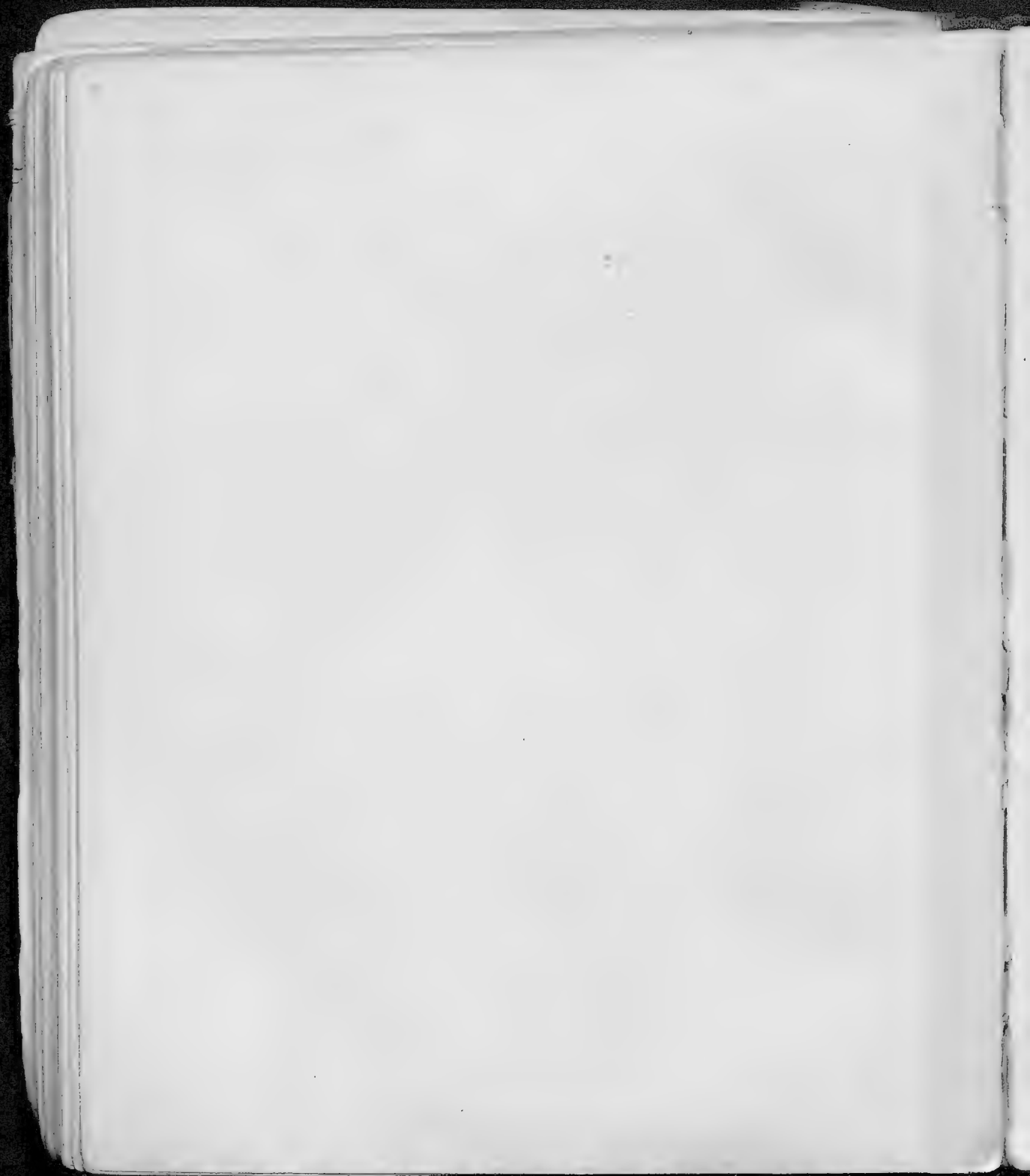
И целый год не писал.

Жизнь в глуши, болезни, тяжесть неравной борьбы с ненавистным правительством — ничто не способно было затупить в Лунине тихую душевную ясность. «Душевный мир, — писал он, — которого никто не может отнять, последовал за мною на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Мои часы проходят в тишине кабинета или в созерцании красот сибирских лесов. Удивительная постепенность счастья. Чем ближе я к цели своего плаванья, тем попутнее становятся ветры. Нечего тревожиться, если новые тучи собираются на горизонте. Эта буря пройдет, как другие, и только ускорит мой вход в гавань». Одного лишь ему нехватало для полноты жизни — опасностей. «Я так часто встречал смерть на охоте, в поединках, в сражениях, в борьбе политической, что опасность стала привычкой, необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасностей. В челноке переплываю Ангару; но волны ее спокойны. В лесах встречало разбойников; они просят подавания».

Прошел обусловленный год, — и Лунин опять взялся за перо. И опять пошли в Третье отделение его письма, еще более резкие, чем прежде. Он писал о крепостном праве, о польском вопросе, о подавлении всякого свободного мнения. «Из вздохов, заключенных под соломенными кровлями, рождаются бури, низвергающие дворцы». «В наше время почти нельзя сказать здравствуй, без того, чтоб это слово не заключало в себе политического смысла». «Если ожидать истину из правительствующего сената, то много утечет воды, пока это случится» и т. п. Лунин написал еще разбор донесения следственной комиссии по делу декабристов, где подверг донесение самой резкой критике. Статья получила распространение в списках, об этом было донесено в Петербург. Император приказал произвести у Лунина строжайший обыск и отправить его за Байкал, подвергнув строжайшему заключению, так, чтобы он не мог ни с кем иметь сношений ни личных, ни письменных. Жандармы нагрянули к Лунину с обыском. Увидев над его постелью ружье, жандармский офицер смутился. Лунин усмехнулся и сказал:

— Не бойтесь. Таких людей, как вы, бьют, а не убивают.





Когда Лунина увозили, вся деревня сбегалась его провожать. Прощались, плакали, бежали за его телегой, кричали:

— Помилуй тебя бог, Михаил Сергеевич! Бог даст, вернешься! Будем оберегать твой дом, за тебя молиться будем!

27 марта 1841 г. Лунин был доставлен в Иркутск и подвергнут допросу. Он отвечал скупю; из лиц, которым дал свою статью, назвал только двоих умерших, заявил, что писал статью, по его убеждению, в соответствии с истиной. Но арест, видимо, потряс его глубоко; на допросе говорил он отрывочно, без связи и последовательности, забывал, что только что сказал. В тот же день Лунин с запечатанным конвертом был отправлен за Байкал. В Нерчинске в первый раз за всю жизнь дрогнул душою этот неспябавющийся, бесстрашный человек. Должно быть, слишком большою жутью охватило его ожидание предстоящей кары. В новом своем показании он опять никого не выдал, но закончил показание так: «Я сознаю себя виновным; и готовясь принять с благодарностью все кары мне определенные, полагаю единственную здесь надежду мою на прозорливую справедливость и великодушные государя-императора».

Его увезли к самым границам Китая, в Акатуй, местность с убийственным климатом; заключили в ужаснейшую тюрьму, где содержались уголовные преступники-рецидивисты. Крышка гроба крепко захлопнулась за Луниным. С тех пор никто из близких не видел его. Но через посещавшего его ксендза и через некоторых привязавшихся к нему часовых Лунина изредка удавалось давать о себе вести на волю. Он писал М. Н. Волконской и ее мужу: «Мои предыдущие тюрьмы были будуарами по сравнению с тем казематом, который я занимаю. Он так сыр, что книги и платье покрываются плесенью, моя пища так умеренна, что не остается даже чем накормить кошку. Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами и фальшивомонетчиками. Мое единственное развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы. Пред лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в поразительном состоянии, и силы мои далеко не убывают, но, наоборот, кажется, увеличиваются. Все это меня совершенно убедило в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях, и что в этом мире несчастны только дураки и глупцы. Если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет. Но мне нужны лекарства для бедных моих товарищей по заключению. Пришлите средства от лихорадки, от простуды и от ран, причиняемых кнутом и шпидерутенами». Трудно решить, правда ли было то, что писал Лунин о своем здоровье и настроении, или он только не хотел ныть и возбуждать к себе жалость. В начале 1846 г. новый шеф

жандармов, граф А. Ф. Орлов, бывший товарищ Лунина по кавалергардскому полку, доложил императору Николаю, что «содержавшийся в Акатуевском тюремном замке государственный преступник Лунин 3 декабря 1845 г. скоропостижно скончался».

Лунин был создан из материала, из которого формируются подлинные революционные борцы. Тем интереснее отметить, как искривляется сознание даже таких людей под влиянием их классово-привилегированного происхождения. До осуждения Лунин был богатым человеком, владел не одною сотнею душ крестьян. Членам своим Тайное общество рекомендовало освобождать принадлежащих им крестьян. Лунин своих крестьян не освободил, но составил в 1819 г. духовное завещание на имя двоюродного брата Н. А. Лунина, где поручал ему в течение пяти лет после смерти завещателя провести освобождение всех крепостных. Условия освобождения были самые суровые: «Уничтожить право крепостное над крестьянами и дворовыми людьми, не касаясь земель, лесов, строений и имуществ вообще». Мало и этого: на освобожденных налагалась «обязанность в отношении доставления наследнику доходов», определение этих обязанностей предоставлялось наследнику. Все же земли должны были быть превращены в майорат, передаваемый из рода в род в нераздробленном виде одному из сыновей владельца. Когда после осуждения Лунина возник вопрос об утверждении завещания, пункт о закабалении помещику освобожденных крестьян вызвал возражение даже со стороны министра юстиции. «Невозможно, — писал он, — допустить уничтожение крепостного права с оставлением крестьян на землях помещика и со всегдашнею обязанностью доставлять оному доходы».

Княгиня ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ГОЛИЦЫНА

(Princesse Nocturne)

(1780—1850)

Рожденная Измайлова, дочь сенатора. Получила прекрасное образование, была красивой женщиной. В 1799 г., по желанию имп. Павла, была выдана замуж за некрасивого, ограниченного и расточительного кн. С. М. Голицына. С воцарением Александра I Голицына развела с мужем и зажила независимую жизнью. Вскоре она полюбила образованного и умного кн. М. П. Долгорукова, просила у мужа развода, но тот отказал. За это она позднее отказала в разводе мужу, когда он вздумал жениться на фрейлине А. О. Россет, будущей Смирновой. Вяземский пишет про нее: «Княгиня Голицына была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим пре-

имуществом. Не знаю, какова была она в своей первой молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какою-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос и произношение необыкновенно мягкие и благозвучные, — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней было что-то ясное, спокойное, скорей ленивое, бесстрастное. По собственному состоянию своему, по обоюдно согласованному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Но эта независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более, что и хозяйку можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у ней собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно бы было думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: собирались по вечерам. Можно было бы сказать — собирались в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге la Princesse Nocturne (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. — Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе этот щекотливый вопрос. Но положительный ответ на него дать не беремся». В другом месте Вяземский отзывается о ней так: «У Голицыной полуночной есть душа, и иногда разговор ее, как россиниева музыка, действует на душу. Но все это отдельные фразы».

Голицына держалась очень «патриотических» взглядов, была яркой противницей автономии Польши и конституционного образа правления. Вскоре по окончании «Отечественной войны» она появилась в Москве на балу Благородного собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. В сороковых годах предприняла целый поход против министр

государственных имуществ Киселева за заботы его о разведении в России картофеля, — она считала это нововведением посягательством на русскую национальность. Кроме того, Голицына обнаруживала большую склонность к математике, дружила с выдающимися математиками, издавала даже собственное сочинение по математике, — «совершенное сумасбродство», по отзыву А. Тургенева. В тридцатых годах Голицыну встретил у кн. В. Ф. Одоевского В. В. Ленц и описывает ее так: «Старая и страшно безобразная, она носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она показалась просто скучным синим чулком». Во время пребывания Бальзака в 1845 г. в Петербурге Голицына, не будучи с ним знакома, в полночь прислала за ним карету с приглашением к себе. Бальзак очень этим оскорбился и написал ей: «У нас, милостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач».

В 1817 г. Пушкин сильно увлекался кн. Голицыной. Карамзин писал кн. Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пинет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пинет не огнем, а холодом». Вскоре Пушкин и «записал от любви»:

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: «в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?
Где женщина не с мертвой красотой,
Но с огненной, пленительной, живой?
Где разговор пайду непринужденный,
Пленительный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?...»
Отечество почти я ненавижу,
Но я вчера Голицыну увидел —
И примирен с отечеством моим.

Пушкин продолжал бывать у Голицыной и в следующие годы до своей высылки, но увлечение ею уже стало остывать. В 1819 г. он послал ей свою оду «Вольность». Зная политические взгляды княгини, нельзя не видеть в этом со стороны Пушкина некоторого вызова. Посылку свою Пушкин сопроводил следующими любезными стихами:

Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы

И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю, —
И что же?.. Слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.

Мы не имеем сведений, встречался ли Пушкин с Голицыной впоследствии. Но, живя на юге, он несколько раз вспоминал о ней в письмах, и в мае 1821 г. писал из Кишинева А. Тургеневу: «Вдали каминя княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии».

Графиня ЕКАТЕРИНА МАРКОВНА ИВЕЛИЧ
(1795—1838)

Отец ее, Марк Константинович, по сообщению генеалого кн. П. В. Долгорукова, был черногорский выходец, по фамилии Графивелич, поступил офицером на русскую службу и стал писаться «граф Ивелич». Так получил его графский титул. Он дослужился до чина генерал-лейтенанта и звания сенатора, отличался чудачествами, любил играть в карты и всем говорил «ты». Графиня Екатерина Марковна во время послепетлицейского пребывания Пушкина в Петербурге жила рядом с Пушкиным на Фонтанке близ Калинкина моста. Пушкин был постоянным посетителем Ивелич. «Некрасивая лицом, — пишет современник, — она отличалась замечательным остроумием; ее прозвища и эпитаммы действовали, как ядовитые стрелы. До конца жизни оставалась она в девцах и не любила, когда ее подруги выходили замуж». В 1824 г. с нею познакомилась С. М. Салтыкова, будущая жена Дельвига. Ивелич возмущала ее своим вульгарным тоном. Салтыкова писала подруге: «Она больше походит на гренадера самого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за голос, что за выражения! К тому же она нюхает табак и курит, когда никого нет; выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова девица?» Однако, познакомившись ближе, Салтыкова совершенно переменяла мнение о графине Ивелич. «Я никак не предполагала, — пишет она той же подруге, — что у нее столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у нее, из-за ее манер, вид мужчины. Она сама пишет русские стихи, и вовсе не плохие. Она уверяла меня, что Пушкин совсем не такой плохой человек, как о нем говорят, что этой репутации он не заслуживает, что он очень хороший мальчик и т. д.». Бартевев, однако, со слов Соболевского сообщает, что сама Ивелич передавала матери Пушкина дурные слухи, ходившие про него в городе, и что это она выведена в

«Руслане и Людмиле» под именем Дельфиры. Описывая Людмилу, Пушкин спрашивает:

Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфиною суровой?
Одной — судьба послала в дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождает жар.
А та — под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила подмывает
И другом сердца называет!
Но верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА СЕМЕНОВА
(1786—1849)

Смоленский помещик Путята, в благодарность за воспитание сына, подарил учителю кадетского корпуса, поручику Жданову, двух крепостных людей — парня Семена и девушку Дарью. Эту девушку Жданов сделал своею наложницею, а когда она забеременела, выдал замуж за Семена. Родилась девочка, которая отчество и фамилию получила от номинального отца и стала крепостною собственностью отца фактического.

Училась Семенова в театральном училище в Петербурге под руководством знаменитого актера Дмитревского. В 1803 г. дебютировала на сцене и вскоре выдвинулась как первоклассная трагическая актриса. Современник рассказывает: «Самое пылкое воображение живописца не могло бы придумать прекраснейшего идеала женской красоты для трагических ролей. И при этом голос чистый, звучный, приятный, при малейшем одушевлении страстей потрясающий все фибры человеческого сердца». Особенная сила Семеновой заключалась в способности целиком уходить в роль, самозабвенно переживать чувства изображаемого лица, как свои собственные. Успех Семеновой был колоссальный; каждое выступление ее в новой роли было театральным событием. Пушкин в поселицейское свое пребывание в Петербурге очень сильно увлекался Семеновой, даже был в нее влюблен. Думают, что под одной из «Екатерин» в его «дон-жуанском списке» следует разумеать Семенову. В бумагах Гнедича найдена была непечатанная в свое время статья Пушкина

о русском театре с такою припискою Гнедича: «Пьеса, вообще сумасбродная, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее». В статье этой Пушкин писал: «Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой — и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто — порывы истинного вдохновения, — все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано... Семенова не имеет соперниц». С особенным блеском выступала Семенова в трагедиях Озерова, являвшихся переходным этапом от ложно-классической трагедии к романтической драме. Именно в связи с Озеровым вспоминает Пушкин Семенову и в первой главе «Онегина»:

Там Озеров невольны данн
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил...

Общее развитие и образование Семеновы были очень невелики. Ей постоянно нужен был руководитель, который растолковывал бы ей роли. Сначала это был кн. А. А. Шаховской, потом Гнедич. Непосредственное чувство постепенно все больше стало заменяться у Семеновы механическим следованием детальнейшим указаниям руководителей. Лишь изредка, в порыве вдохновения, она разбивала надетые на нее колодки и проявлялась во всей силе непосредственности. Избалованная общим поклонением, она стала лениться, роли изучала все небрежнее, сделалась мелко-тщеславной и капризной, очень ревнивой к своей славе, высокомерной с товарищами-артистами. В начале 1826 г. Семенова оставила сцену и переселилась в Москву вместе с кн. И. А. Гагариным, с которым жила уже пятнадцать лет и от которого имела четверых детей. В 1828 г. она вышла за него замуж. У нее бывали выдающиеся москвичи — С. Т. Аксаков, Надеждин, Погодин. Часто бывал и Пушкин. По выходе «Бориса Годунова» он поднес ей экземпляр трагедии с надписью: «Княгине Е. С. Гагариной от Пушкина, Семеновой — от сочинителя». Изредка Семенова выступала на домашних спектаклях у себя и у знакомых.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА КОЛОСОВА-КАРАТЫГИНА
(1802—1880)

Выдающаяся драматическая артистка, дочь известной в свое время танцовщицы Евг. Ив. Колосовой, впоследствии жена знаменитого траги-

ческого актера В. А. Каратыгина. Было ей шестнадцать лет. Она готовилась к дебюту на сцене под руководством кн. А. А. Шаховского и у него познакомилась с молодым, ей еще мало известным Пушкиным. Особенного внимания они друг на друга не обратили. Однажды, на страстной, Колосовы и Пушкины одновременно говорили в церкви театрального училища на Офицерской улице. В страстную пятницу, во время выноса плащаницы, растроганная Колосова горько плакала. И вдруг она Пушкину понравилась, — понравилась ее искренняя печаль, трогательная молодость, — ей было шестнадцать лет. Через сестру Ольгу он передал Колосовой, что ему очень больно видеть ее горесть, но что он напоминает ей, — ведь Иисус Христос воскрес, — о чем же плакать? Они стали видаться чаще, — сначала у общей знакомой, графини Е. М. Ивелич, потом Пушкин начал бывать у Колосовых и вскоре сделался у них своим человеком. И мать-Колосова и дочь очень его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, Саша Пушкин у Колосовых сменил их своею резвостью и ребяческой шаловливостью. Ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перерывает рабочий ящик матери, спутает клубки гаруса в вышивании дочери; разбрасывает карты в гран-пасьянсе, который раскладывает Евгения Ивановна. Она рассердится, крикнет:

— Да уймешься ли ты, стрекоза! Перестань, наконец!

Пушкин минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Однажды Евгения Ивановна пригрозила наказать его — остричь ему ногти: так она называла его огромные, отпущенные на руках ногти. Взяла ножницы и приказала дочери:

— Держи его за руку, а я остригу!

Дочь взяла Пушкина за руку, он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают. Все смеялись до слез.

В конце 1818 и в начале 1819 г. Колосова дебютировала на сцене в ролях Антигоны («Эдип в Афинах» Озерова), Мопны («Фингал» его же) и Эсфири («Эсфирь» Расина). Пушкин так рассказывает про эти дебюты: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно — чистая, приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплескания не прерывались. По окончании трагедии она была вызвана криками исступления, и, когда г-жа Колосова-большая, «прекрасной дочери еще более прекрасная мать», в русской одежде, блистая ма-

теринскую гордостью, вышла в последующем балете, — все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример, единственный в истории нашего театра. Три раза сряду Колосова играла три разные роли с равным успехом».

Вскоре после этих дебютов Пушкин вдруг резко прекратил свои посещения Колосовой, а немного спустя до нее дошла злая эпиграмма на нее Пушкина:

Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любви...
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И широкая нога!

Колосова думает, что причиной перемены отношения к ней Пушкина было следующее: говоря о Пушкине у кн. Шаховского, Грибоедов назвал его «мартышкой», Пушкину же передали, будто так назвала его Колосова. Сомнительно, чтобы это было так: Грибоедов еще летом 1818 г. уехал из Петербурга. Во всяком случае, была и другая причина. В упомянутой выше статье Пушкина о русском театре он восторженно хвалит Семенову, потом, рассказав об удачных дебютах Колосовой, продолжает: «Чем же все кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умеренные, рукоплескания утихли; перестали ее сравнивать с несравненною Семеновою; вскоре стала она являться пред опустелым театром. Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль Заиры, все заснуло... Если Колосова будет менее занимать флигель-адъютантами его имп. величества, а более — своими ролями; если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными; если будет подражать не только одному выражению лица Семеновою, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису». Отмечают раздражение, с которым Пушкин говорит здесь о флигель-адъютах. Можно думать, что, упоенная успехом, славой и поклонением знатной молодежи, Колосова равнодушно и покровительственно стала относиться к Пушкину. Это его задело, — и он стрельнул в нее эпиграммой. Была здесь и обида, и ревность, и, может быть, желание угодить сопернице Колосовой, нравившейся ему Семеновою.

Вскоре Пушкин был выслан из Петербурга. Через два года он послал Катенину из Кишинева письмо и приложил стихи, в которых каялся в своей эпиграмме на Колосову:

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна, в дыму кадил,
Красавица блистала славой,
Я опистом гимны залушил.
Погибни, злобы мит единой,
Погибни, слезы ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селлменой и Монной.
Так легкомысленной душой,
О, бог, смертный вас поносит,
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.

Письмо, однако, не дошло до Катенина; он и Колосова прочли стихи только после напечатания их в 1826 г. Осенью 1827 г., во время представления переведенной Катениным комедии Мариво, Катенин привел к Колосовой в уборную Пушкина, — «кающегося грешника», — объявил Пушкин.

Колосова смеясь напомнила:

— «Размалеванные брови...»

Пушкин, конфузясь и целуя ей руки, перебил:

— Полноте, бога ради! Кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве.

В начале тридцатых годов Пушкин читал у Колосовой, тогда уже Каратыгиной, в присутствии И. А. Крылова, своего «Бориса Годунова». Ему очень желалось, чтобы супруги Каратыгины прочитали на театре сцену у фонтана Димитрия с Мариною. Но Бенкендорф постановки не разрешил.

ИВАН ИВАНОВИЧ ЛАЖЕЧНИКОВ

(1792—1869)

Сын богатого коломенского купца, разорившегося после ареста при Павле I. В 1812 г., против воли родителей, поступил в ополчение, участвовал в походе на Париж; позже был адъютантом при графе Остермане-Толстом в Петербурге. Жил он в нижнем этаже великолепного дворца Остермана-Толстого на Английской набережной. Приехал в Петербург некий майор Денисевич, служивший в провинции, в штабе одной из дивизий гренадерского корпуса, которым командовал граф Остерман-

Толстой. Лажечников поместил его в одной из комнат своей квартиры. Майор был человек малообразованный, очень плешивый и очень румяный, щеголявший густыми своими эполетами; любил кутнуть, любил и театр.

Однажды утром (дело происходило в 1819 г.) в квартиру Лажечникова вошел курчавый молодой человек невысокого роста, во фраке, в сопровождении двух гвардейских офицеров, и спросил майора Денисевича. Вошел Денисевич. Увидев спутников молодого человека, он немного смутился, но оправился и сухо спросил статского, что ему угодно.

— Вы это должны хорошо знать, — ответил молодой человек. — Вы мне назначили быть у вас в восемь часов. — Он вынул часы. — До восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место.

Денисевич покраснел и взволнованно ответил:

— Я не затем звал вас к себе... Я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично.

Статский повысил голос:

— Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях. Я уже не школьник и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов; вот мои два секунданта; этот господин — военный (он указал на Лажечникова), он, конечно, не откажется быть вашим свидетелем...

Денисевич прервал его:

— Я не могу с вами драться. Вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер.

Офицеры-секунданты засмеялись. Статский веско сказал:

— Я — русский дворянин, Пушкин; это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно будет иметь со мною дело.

Узнав, что перед ним — автор «Руслана и Людмилы», Лажечников решил приложить все старания, чтобы предотвратить дуэль. Он увел майора в соседнюю комнату, стал указывать ему на неприятные последствия, которые для него может иметь и отказ от дуэли, и сама дуэль. Не очень воинственный майор охотно дал себя убедить и согласился извиниться перед Пушкиным. Не давая ему одуматься, Лажечников ввел майора в комнату и сказал Пушкину:

— Г. Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич; он не имел намерения вас оскорбить.

— Надеюсь, это подтвердит сам г. Денисевич, — сказал Пушкин.

Денисевич извинился и протянул руку. Пушкин в ответ руки не протянул, сказал:

— Извиняю.

И удалился со своими спутниками.

В том же 1819 г. Лажечников оставил военную службу и занял должность директора училищ Пензенской губернии. Вся его дальнейшая служба проходила преимущественно по учебному ведомству. Пописывал он с юных лет, но обратил на себя внимание в начале тридцатых годов историческим романом «Последний повик». Успех романа дал Лажечникову смелость послать его Пушкину при следующем письме:

«Волею или неволею займу несколько строк в истории вашей жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное «слово и дело» за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана, с вами двух молодцов-гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос ваш, приехали ли во-время, отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать вам поучение, како подобает сидети в театре, и что майору неприлично меряться с фрачным; вспомните крохотку-адъютанта, от души смеявшегося этой сцене и советовавшего вам не тратить благородного пороха на такого гада и шпор прони — на ослиной коже. Малютка-адъютант был ваш покорнейший слуга, — и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в вашей истории. Тогда видел я в вас русского дворянина, достойно поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что вы — Пушкин, творец «Руслана и Людмилы» и столь многих прекраснейших пьес, тогда я с трепетом благоговения смотрел на вас. Загнанный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с вами? Ныне, когда голос избранных литераторов и собственное внимание ваше к трудам моим выдвигает меня из рядовых словесников, беру смелость представить вам моего «Новика», счастливый, если первый поэт русский прочтет его не скучая».

Время от времени Лажечников и Пушкин обменивались письмами. Интересно письмо Лажечникова от 22 ноября 1835 г., где он энергично отстаивает правильность своего отношения в «Ледяном доме» к А. Волынскому, Тредьяковскому и Бирону.

Отзывы современников рисуют Лажечникова как очень хорошего человека, благодушного и детски-доверчивого к людям, чуткого к новым литературным веяниям, приветствовавшего молодые таланты. Он был, между прочим, в очень дружеских отношениях с Белинским.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВ
(1787—1862)

Пушкин вспоминает: «Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственною улыбкою выслушивали его шутки, эстроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом! Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, — Пушкин опять с тогдашними львами! Странное смещение в этом великольном создании!» Орлов в то время командовал лейб-гвардии конным полком, был генерал-адъютантом, любимцем Александра I. Побочный сын одного из екатерининских Орловых, графа Федора Григорьевича, младший брат М. Ф. Орлова (Рейна), члена «Арзамаса». Принимал участие во всех наполеоновских войнах, начиная с 1805 г. до взятия Парижа. Весною 1819 г. Пушкин не на шутку собрался поступить на военную службу к большому огорчению друзей. Батюшков писал Гнедичу: «Жаль мне бедного Пушкина! Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии! Зачем? Скажи, бога ради!» Как раз Орлову удалось убедить Пушкина отказаться от своего намерения. Пушкин написал к нему послание: «К Орлову, отсоветовавшему мне поступить на военную службу».

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный, —
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!
Смирив немирные желанья,
Без доломана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой,
Под сенью дедовских лесов —
И буду ждать. Когда же восстанет
С одра покоя бог мечей,
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенной Беллоны.

У трона верный гражданин,
Орлов! Я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах средь сечи, средь пожаров,
С мечом и лирой боевой,
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

Странно, что о роли Орлова в данном случае такие близкие к Пушкину лица, как его брат Лев и Соболевский, сообщают как раз противоположное: Лев говорит, что Орлов советовал Пушкину «оставить свое министерство и надеть эполеты», а Соболевский сообщает, что Орлов отговаривал Пушкина только от поступления в гусары, а предлагал служить у него в конной гвардии.

14 декабря 1825 г. Орлов три раза водил свой конногвардейский полк в атаку на каре мятежников. Солдаты шли в атаку неохотно, атаки были отбиты залпами восставших и поленьями рабочих. Однако за приверженность свою к Николаю Орлов был за это дело возведен в графское достоинство. Стал одним из приближенных к Николаю лиц. После смерти Бенкендорфа назначен был шефом жандармов и главным начальником Третьего отделения. В 1851 г. произведен в князья и назначен председателем государственного совета и комитета министров.

К русской литературе и ее деятелям Орлов относился с глубочайшим равнодушием. Когда А. О. Смирнова передала ему о согласии императора на пенсию Гоголю, Орлов ответил:

— Что за Гоголь?

— Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь, — воскликнула Смирнова.

— Охота вам хлопотать об этих голых поэтах, — заметил Орлов.

Был находчив. Однажды царь отправил его в Константинополь с дипломатическим поручением. Отношения с Турцией в то время были натянутые. Орлова предупредили, что великий визирь собирается принять его на аудиенции сидя и что необходимо предварительно объяснить с турецким правительством, чтоб предотвратить такое неуважительное отношение к русскому посланцу. Орлов от всяких предварительных переговоров отказался. Вошел в приемный зал. Великий визирь сидит. Им приходилось встречаться и раньше. Орлов подошел к визирю, дружески с ним поздоровался, — как бы шутя, могучею своею рукою поднял старика с кресел и потом посадил его обратно.

Граф МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ МИЛОРАДОВИЧ
(1771—1825)

Во время пребывания Пушкина в Петербурге по окончании лицея—петербургский военный генерал-губернатор и командир гвардейского корпуса. Известный боевой генерал, в молодости участвовал в суворовских походах, затем в наполеоновских войнах. Выделялся храбростью, в минуты наибольшей опасности был особенно оживлен и весел, опасностей жадно искал — и ни разу ни в одном бою не был ранен. «На меня пуля не отлита!» — смеялся он. В походах делил с солдатами все труды и лишения, прекрасно знал солдата и умел с ним говорить. Его называли «русским Баярдом». Денис Давыдов характеризует его так: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Солдаты его обожали. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказанием, отыскивать его по целым ночам. Милорадович отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но все было издержано им весьма скоро». Был очень щедр, деньги бросал без счета. Когда собственных денег не было, занимал, не зная, сможет ли возвратить; занимал даже у подчиненных. Рассказывали, что на юге у одного провиантского чиновника он взял взаймы казенных десять тысяч рублей и не возвратил. Чиновник на балу его застрелился. Для женщин Милорадович забывал все. В 1812 г., заняв Гродно, он получил письмо от одной знатной дамы, залеря в кабинете и несколько дней сочинял к ней письмо с помощью трех приближенных: адъютанта своего П. Д. Киселева, — как умного человека, хорошо знающего светские обычаи, Дениса Давыдова, — как писателя, и пленного доктора француза Бартелеми, — ввиду собственной нетвердости во французском языке. Корпусное и городское управление пришли в хаотическое состояние, беспорядок дошел до крайних пределов. Наконец, Милорадович подписал свое послание, двери кабинета раскрылись, комендант и представители города устремились к Милорадовичу. Но кабинет был пуст: Милорадович вышел в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку.

По окончании войны с Наполеоном Милорадович был возведен в графское достоинство, награжден орденом Георгия второй степени, сделан военным генерал-губернатором Петербурга. Ходило много разговоров:

о его любовных похождениях, о форменных гаремах, которые он составлял себе из воспитанниц театрального училища. Денис Давыдов рассказывает: «Будучи петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выделявая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к зеркалу так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове». Вигель сообщает, что «чужо-но-французским языком своим Милорадович забавлял двор и публику»; он называет его невежественным и пустоголовым ветреником.

Весною 1820 г. до правительства дошли слухи о нелегальных стихотворениях Пушкина. Милорадович вытребовал его к себе. Когда Пушкина привезли, Милорадович приказал полицмейстеру ехать на квартиру Пушкина и сделать обыск. Пушкин сказал:

— Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите мне подать перо и бумагу, я здесь же все вам напишу.

Милорадович пришел в восторг и воскликнул:

— Вот это по-рыцарски!

И крепко пожал руку Пушкину. Пушкин сел и написал целую тетрадь. По рассказу Милорадовича, дальше было так: Милорадович поехал с тетрадью к царю и сказал:

— Здесь все, что разбредось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать.

Царь улыбнулся на его заботливость. Потом Милорадович рассказал подробно, как было дело. Царь слушал внимательно и наконец спросил:

— А что ж ты сделал с автором?

— Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение.

Александр слегка нахмурился, помолчал и спросил:

— Не рано ли? — Потом, еще подумав, прибавил: — Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг.

На деле было, конечно, не так. Александр хотел сослать Пушкина в Сибирь или в Соловки. Только усиленными хлопотами Карамзина, Оленина и Чаадаева через приближенных к царю лиц удалось спасти от этого Пушкина и устроить ему ссылку на юг.

VII

СЕМЬЯ РАЕВСКИХ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ-СТАРШИЙ
(1771—1829)

Известный боевой генерал эпохи наполеоновских войн. Особенно знаменит был подвигом, совершенным при деревне Салтановке или Дашковке, в июле 1812 г. С десяти тысячным отрядом он сдерживал напор сорокатысячной армии маршала Мортье, пока Багратион не соединился с Барклаем-де-Толли под Смоленском. Когда во время боя войска заколебались, он взял за руки двух своих сыновей — 16-летнего Александра и 11-летнего Николая, — крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!», пошел на неприятеля и увлек за собою солдат. Этот подвиг Раевского приобрел в то время огромную популярность, он изображался на лубочных картинках, Раевского сравнивали с древним римлянином, а Жуковский воспел его в своем «Певце во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами!

Однако в некрологе Раевского, составленном очень близким ему лицом, зятем его М. Ф. Орловым, о подвиге этом не упоминается, а поэт

Батюшков, бывший в 1813 г. адъютантом при Раевском, передает следующий его рассказ:

— Из меня сделали римлянина, из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы... Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих. Превозносили за то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!

— Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: вперед, ребята, я и дети мои откроем вам путь к славе, или что-то тому подобное?

Раевский засмеялся.

— Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны); вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Жуковский воспел в стихах, граверы, журналисты, новеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on écrit l'histoire!

Рассказ этот хорошо характеризует Раевского и показывает, что был он совсем из другого материала, чем Паскевичи и Дибичи, усиленно приписывавшие себе никогда не совершенные подвиги. Тот же Батюшков рассказывает про Раевского: «В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его по истине делается величественною». Наполеон говорил, что Раевский создан из материала, из которого делаются маршалы. Был он скромн и горд. Император Александр хотел возвести его в графское достоинство; Раевский, по семейному преданию, ответил знаменитым девизом Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я — Роган». Его самостоятельность и глубокая порядочность сделали для него невозможною карьеру в той атмосфере, где блестящие карьеры создавали себе Аракчеев, Чернышев, Паскевич. В скромной сравнительно роли командира корпуса Раевский пробыл до самой отставки в 1824 г. «Он был насмешлив и желчен, — вспоминает Пушкин. — Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славой, в 1812 г. взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выпросил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, чтобы их предупредить, он бросился было его обнимать. Раевский отступил и сказал с улыбкою: «Кажется, ваше превосходительство принимает меня за

пушку без прикрытия!» Раевский говорил об одном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличия с «мундиром без штанов». В семье своей Раевский был деспотичен и умел настоять на своем. Дочь его, Мария Волконская, вспоминает, как рожала в первый раз в имении своего отца: «Роды у меня были очень тяжелые, без повивальной бабки (она приехала только на другой день). Отец настаивал, чтобы я сидела в кресле, а мать, как более опытная в этих делах, приказывала мне лечь в постель, — и вот они спорят, а я мучусь. Наконец, воля мужчины, как всегда, одержала верх. Меня посадили в большое кресло, где я перенесла жестокие муки без всякой медицинской помощи».

В январе 1826 г. Раевский был назначен членом государственного совета в моральное возмещение за арест обоих его сыновей, оказавшихся непричастными к Тайному обществу. Последние годы жизни Н. Н. Раевского были очень печальны. Одна из его дочерей, Мария, в ужаснейших условиях жила в Сибири близ тюрьмы каторжника-мужа, Екатерина томилась в деревенской глуши с исключенным из службы мужем, М. Ф. Орловым, Елена увядала в чахотке и уже не имела шансов выйти замуж, Софье тоже предстояло «остаться в девках», старший сын Александр пропавшими Воронцова сослан был в Полтаву. Имущественные дела самого Н. Н. Раевского были расстроены. Радовал только младший сын Николай, отличавшийся в кавказских войнах и получавший одну боевую награду за другой. Отец писал ему: «Ты, мой друг, утешение нашего семейства, коего, как тебе известно, положение довольно грустно во всех отношениях. Мое положение таковое, что я и в деревне чем жить весьма умеренно едва-едва имею и вперед лучшего не вижу, словом, все покрыто самой черной краской... Я креплюсь духом, мой друг. Благодарю бога, он дал мне еще силы переносить обстоятельства, а не задумался бы ни на минуту, когда бы дело шло обо мне одном, это видит бог, — но будущность сестер и всех вас мне тягостна».

Пушкин был знаком с Н. Н. Раевским еще в Петербурге до ссылки, видимо, был близко принят в его доме; летом 1819 г., по его поручению, с сыном его Николаем был в Царском селе у Жуковского, не застал дома и в стихотворной записке извещал его: «Тебя зовет на чашку чая Раевский, слава наших дней». С Раевским и его семьей Пушкин поехал из Екатеринослава на Кавказ, жил при нем на Кавказе и потом три недели в Гурзуфе. О гурзуфском житье он писал брату: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатери-

нинского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Пушкин впоследствии встречался еще с Раевским в Каменке, имении его матери, по второму мужу Давыдовой. После смерти его Пушкин, по просьбе вдовы, хлопотал перед Бенкендорфом об увеличении ей пенсии. «Уже то, что она с этим обратилась ко мне, — писал он, — свидетельствует, до какой степени у нее мало друзей, надежд и путей. Половина семьи в ссылке, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов громадного долга...»

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА РАЕВСКАЯ (1769—1844)

Жена генерала Н. Н. Раевского. Отец ее, А. А. Константинов, был библиотечником Екатерины II, родом грек. Мать — единственная дочь знаменитого М. В. Ломоносова. Софья Алексеевна была брюнетка, с большими черными глазами и лебединой шеей. Черты лица носили резко выраженный южный характер. Благоговение перед мужем и преданность ему владели всем ее существом; несмотря на многочисленное свое семейство, она до последних дней своих оставалась более супругой, нежели матерью. Ее правнук, кн. С. М. Волконский, характеризует ее так: сухая, мелочная женщина, неуравновешенная и нервная, в которой темперамент брал верх над разумом. Она всю жизнь не могла простить дочери, Марии Волконской, что та последовала за мужем в Сибирь. В поступке ее мать видела только семейное осложнение, неудобное для всех, вредное для положения отца и для карьеры братьев. В 1829 г. она писала дочери в Сибирь: «...ты говоришь в письмах к сестрам, что я как будто умерла по отношению к тебе. А чья вина? Твоего обожаемого мужа... Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечай мне, я тебе приказываю». После смерти мужа Софья Алексеевна долго жила в Италии и там же умерла.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795—1868)

Есть такие люди — умные, насмешливые, с разъедающею логикою, губочайшие скептики и циники, которым нравится отрицать и разру-

шать, ничего взамен не созидая, которые с наслаждением все живое разлагают на составные части, глядя со смехом, как от него отлетает жизнь. Для этих людей нет ничего «признанного». Любовь к женщине? О, боже мой! Вздохи, восторг души, готовность весь мир вместить в своей груди, —

Verschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition —
Ich darf nicht sagen wie, zu schliessen.

(совсем исчез сын земли, а потом все это высокое упоение, — *неприличный жест*, — закончить, не смею сказать, как!) (Мефистофель). Женщина с загадочным взглядом сфинкса? «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться загадочному взгляду?» (Базаров). Мать? Что такое мать? Мокрая квартира, в которой человек принужден жить девять месяцев. Свобода? Подвиг? Благо человечества? Смысл жизни? На все у такого человека есть уничтожающие возражения, полные убедительнейшей логики. На молодость эта логика действует неотразимо. И, может быть, очень для нее даже полезна. Хорошему, ищущему юноше такие люди необходимы как этап, который должна преодолеть юная наивность и бессознательная вера, чтоб перейти к сознательному творчеству высших ценностей. Для Гете подобным человеком был Мефистофель-Мерк, для Пушкина — Александр Раевский.

Александр Николаевич Раевский был старший сын генерала Н. Н. Раевского. Блестяще кончил курс в московском университетском Благородном пансионе, служил в лейб-гвардии егерском полку, участвовал в наполеоновских войнах, был в целом ряде сражений, по вступлении русских войск во Францию состоял адъютантом при гр. М. С. Воронцове. В 1819 г. был отправлен на Кавказ с прикомандированием к кавказскому отдельному корпусу и лечился на минеральных водах; у него была какая-то болезнь ног — не то рана, не то, по словам генерала Ермолова, — «горькие плоды сладостнейших воспоминаний». Здесь, на минеральных водах, с Раевским познакомился Пушкин, которого семья Раевских захватила с собою из Екатеринослава на Кавказ; здесь началось то исключительное, демоническое влияние Раевского на Пушкина, которое тянулось несколько лет и с силою которого не может сравниться влияние ни Чаадаева, ни кого-либо другого из самых умных и даровитых друзей Пушкина. До высылки своей из Одессы Пушкин встречался с Ал. Раевским в Кишиневе, в Каменке, особенно часто — в Одессе. Высокий, костлявый, с маленькой головой и темным морщинистым лицом; очень длинный разрез рта с извилистой линией тонких, насмешливых губ; и маленькие изжелта-карие глаза, светящиеся сквозь стекла очков никогда не потухающей едкой насмешкой. Пушкин не мог выно-

сильного взгляда этих глаз; его тянул к себе сладкий яд бесед и споров с Раевским, но, чтобы чувствовать себя при этом свободно, он тушил в комнате свечи, и они разговаривали в темноте. Ум Раевского подавлял Пушкина, как мальчика, и вселял к себе благоговейное уважение. «А. Раевский будет более, нежели известен», — писал Пушкин брату. И был убежден, что Раевскому «предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий». О чем же шли беседы? Пушкин вспоминает в «Демоне»:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистощимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел,—
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

В черновике к «Онегину» Пушкин возвращается к воспоминаниям о Раевском:

Мне было пусто, тяжело, больно,
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Мою задумчивую молодость
Он для восторгов охлаждал.
Я неопisanную сладость
В его беседах находил;
Я стал взирать его очами;
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад;
Открыл я жизни бедный клад
В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд...

Влияние Байрона в то время было у нас уже очень сильное, Пушкину, как и всей тогдашней молодежи, очень импонировала байроническая разочарованность во всем, манфредовское отрицание, насмешка над «бедным кладом жизни». В преломлении такого настроения мелкая и сухая фигура Ал. Раевского выросла в романтическую фигуру злоеющего, печального в своем всезнании демона. На деле же это был раздражающе-рассудочный, беспринципный и черствый эгоист, всего менее способный вызвать какое-либо поэтическое чувство. Отец находил у него «холодное и себялюбивое сердце» и в 1820 г. писал о нем старшей своей

дочери: «С Александром живу в мире, — но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу... У него ум паизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку (ребенка-черкеса, привезенного Ал. Раевским с Кавказа) и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал собаку Аттилу. Он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить. Он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него». Человек сухо-рассудочный, художественным вкусом Александр Раевский не обладал. Вот что, например, писал он в 1825 г. сестре Екатерине о «Горе от ума»: «...твоя глупая пьеса отвратительна во всех отношениях; две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жестокость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского». Однако рассудочная трезвость Раевского, не мирившаяся с напыщенно-фальшивой романтикой байронических пушкинских поэм, была для Пушкина полезна. Он сам впоследствии вспоминал с удовольствием, как смеялся Раевский над характером Кавказского пленника, как хохотал над тем местом в «Бахчисарайском фонтане», где хан, потеряв Марию, ищет забвения в буйных набегах, но —

...часто в сечах роковых
Подъемлет саблю — и с размаха
Незвизжим остается вдруг,
Глядит с безумьем вокруг,
Блещет...

и т. д.

«Молодые писатели, — замечает Пушкин, — вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».

Мало романтична и поэтична и дальнейшая жизнь Ал. Раевского. Он страстно был влюблен в гр. Е. К. Воронцову, жену одесского генерал-губернатора, которая приходилась ему отдаленной родственницей. Любил Воронцову и Пушкин. Раевский, как рассказывают, постарался воспользоваться этим и отвлечь ревнивое внимание мужа от себя на Пушкина, что, повидимому, и удалось. К нему относят стихи Пушкина «Коварность»:

...если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;

Но если ты злостно лезил
Пугливое его воображение
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданиях, унижении;
Но если сам презрительной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цель ему накиннул ты
И сонного врагу предал со смехом,—
Тогда ступай, не трать пустых речей:
Ты осужден последним приговором.

С отъездом Пушкина из Одессы прекращаются его сношения с А. Раевским. Раевский пытался завести с ним дружескую переписку, но Пушкин не откликнулся на его письмо.

Пришло 14 декабря. Много близких друзей и родственников Ал. Раевского было арестовано и засажено в крепость. Арестовали и Ал. Раевского с братом, привезли в Петербург. Но пробыли они под арестом не более двух недель. Выяснилось, что они никакого касательства к заговору не имели.

Император сам допрашивал братьев. Он сказал Александру Раевскому:

— Я знаю, что вы не принадлежите к Тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?

Александр смело ответил:

— Государь! Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись.

Это рассказывает в своих воспоминаниях Н. И. Лорер. Сведения, им сообщаемые, вообще мало надежны. В настоящее время достаточно выяснилась мелкая и мстительно-злая натура Николая, лишенная всякой тени «рыцарства», которое ему так усердно приписывали его хвалители. Заговорщиков он считал гнусными мерзавцами, нарушившими не только присягу, но прежде всего именно честь. Взгляд на честь, высказанный Ал. Раевским, мог привести царя только в ярость. И совершенно невероятно, чтобы после такого ответа он мог еще пожаловать Раевского в камергеры. М. В. Юзефович, хорошо знавший обоих братьев Раевских, на полях рукописи Лорера сделал такое замечание: «Николай Раевский рассказывал мне иначе это свидание с государем: у одного из братьев движением наморщенного лба сдвинулись с носа очки. Тогда государь, обратившись к Орлову, тут присутствовавшему, сказал: «Преступники не могут так смотреть на своего государя. Я объявляю их невинными». Ал. Раевский был выпущен с оправдательным аттестатом и пожалован в звание камергера. Не так дешево отделались его родствен-









ники. Очень тяжелая кара грозила, между прочим, кн. С. Г. Волконскому, мужу его сестры Марии Николаевны. А. Раевский, видимо, знал характер сестры и опасался, как бы, в связи с осуждением мужа, она не наделала каких-нибудь «глупостей». И вот все силы своего ума и энергии он направил на то, чтобы сестра узнала о приговоре над мужем как можно позже, когда его уже отправят в ссылку. Он удерживал ее от поездки в Петербург, обманывал, перехватывал адресуемые ей письма, сделался форменным ее тюремщиком. И писал сестре Екатерине: «Что касается самой Марии, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастье, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна сделать лишь то, что посоветует ей отец и я». Но Мария Николаевна сделала совсем другое. Как только она, наконец, узнала о приговоре, она в один день собралась и уехала в Петербург, чтобы устроить свою поездку в Сибирь вслед за мужем. Все усилия Александра пропали даром.

В 1826 г. Раевский поступил чиновником особых поручений к гр. Воронцову в Одессе; к жене его он попрежнему продолжал гореть страстною любовью. А летом 1828 г., на почве этой любви, разыгралась дикая, совершенно фантастическая история. Мы не знаем ее подробностей, но Пушкин, когда в последние месяцы жизни собирался сделать скандал Геккерену, говорил Жуковскому, что «громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать». По-видимому, графиня Воронцова порвала отношения с Раевским, он устроил ей публичный скандал, при всех кричал что-то вроде: «Куда вы девали нашего ребенка?» По словам мужа, Раевский встретил его жену на загородной прогулке и «преследовал ее своими любезностями», — очень что-то туманное и непонятное по отношению не к незнакомому уличному ловеласу, а к человеку, бывшему своим в доме Воронцовых. Воронцов прибег к обычному для него способу борьбы с врагами: он донес царю о политической якобы неблагонадежности Раевского, и Раевский с жандармом был выслан на жительство в Полтаву.

В 1834 г. он получил разрешение жить в Москве. Нигде не служил. Женился на очень богатой девице Е. П. Киндяковой, — взялся сватать ее за другого, а женился сам. История вышла самая скандальная и перессорила пол-Москвы. Жена его вскоре умерла, оставив Раевскому дочь, которую он нежно любил. Публике московской он нисколько не imponировал, как зять его М. Ф. Орлов или Чаадаев; знали, что он — оригинал пушкинского «Демона», и иронически называли его «сатаной с Чистых Прудов». В 1834 г. Пушкин записал в дневнике, что проездом через Москву «видел А. Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизмов в голове, — может быть, пройдет». А весной 1836 г. писал жене из Москвы: «Раевский, который прошлого года казался мне немного

приглушевшим, кажется, опять оживился и поумнел». Кн. Вл. Мих. Голицын, знавший Ал. Раевского в пятидесятых годах, рассказывает в неизданных своих записках: «Высокого роста старик, очень смуглый, несколько цыганского типа, с золотыми очками на носу, он был очень веселым собеседником, любил поговорить на самые разнообразные темы. Главным интересом его жизни было воспитание единственной его дочери, прозванной им «Сашок», которая опекаема была чуть не четырьмя гувернантками разных национальностей... Раевский обладал большими капиталами, ссужал субсидиями своих знакомых, особенно же протратившихся широкою жизнью молодых людей, на каковые субсидии, разумеется, насчитывались проценты, более или менее высокие. Из этого вывели заключение (довольно правильное.—В. В.), что он занимался ростовщичеством, и что те бриллианты, которые в изобилии украшали туалеты его «Сашка», были плодами этих операций».

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА РАЕВСКАЯ-ОРЛОВА
(1797—1859)

Старшая дочь ген. Н. Н. Раевского. В те блаженные для Пушкина три месяца, которые он осенью 1820 г. провел в Гурзуфе в семье Раевских, она помогала Пушкину в изучении английского языка. Была красавица, властная, с твердым характером. «Женщина необыкновенная», — писал про нее Пушкин брату. Есть ряд свидетельств, что он ею увлекался. 15 мая 1821 г. вышла замуж за генерала М. Ф. Орлова. Пушкин бывал у них в Кишиневе за своего человека. Ей там было прозвание «Марфа-посадница». В 1825 г. Пушкин по поводу своего «Бориса Годунова» писал Вяземскому: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, этого никому».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ-МЛАДШИЙ
(1801—1843)

Брат предыдущих. С десяти лет находился на военной службе. Пушкин о нем писал:

Едва-едва расцвел, и вслед отца-героя
В поля кровавые под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.

Участвовал в походах и битвах 1812—1814 гг. В последние лицейские годы Пушкина служил в лейб-гвардии гусарском полку, стоявшем

в Царском селе. Здесь, в 1816—1817 гг., он у Чаадаева познакомился с Пушкиным. Они подружились, часто виделись и в Петербурге до высылки Пушкина на юг. Пушкин с юга писал брату про Раевского: «...ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные». Про эти услуги мы, к сожалению, ничего не знаем. Но знаем, что он же отыскал в Екатеринославе в жалкой лачуге больного Пушкина и устроил его поездку с Раевскими на Кавказ и в Крым. Там они еще больше сошлись. Нежная и участливая дружба Раевского смягчала то мрачное ожесточение, которым в то время была полна душа Пушкина. В посвящении ему «Кавказского пленника» Пушкин вспоминает:

Когда я погибал безвинный, безотрадный,
И шопот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кивкал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,—
Я близ тебя еще спокойство находил,
Я сердцем отдыхал: друг друга мы любили...
Забуду ли кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, где ты со мной делал
Души молодые впечатленья?

Вместе прожили они и в Гурзуфе, в семье Раевских, сверкающие, для Пушкина незабвенно-счастливые три недели. Читали вместе Байрона, изучали английский язык.

Раевский был богатырь ростом и силой, скручивал в узел железную кочергу. Держался очень демократично и свободно, это нередко корбило его отца. Однажды отец писал ему: «Возьми себя в руки, дорогой Николай. Тон твоих шуток в присутствии отца, твоя манера сидеть развалившись на диване передо мной, перед девушками, поднявшиеся панталоны, обнажающие твои жирные ноги, — все это очень меня возмущало, я молчал, но я страдаю... Уважай мать, уважай сестер, не оскорбляй и не унижай никого, даже дураков: ты умен, но ты пока не совершил еще ничего больше любого дурака, и неизвестно, совершишь ли». Но о нем же отец писал старшей дочери: «Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок, но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие». Был он человек умный и очень образованный, он первый познакомил Пушкина с Байроном, с Шенье, дружба его с Пушкиным упрочивалась общностью умственных и художественных интересов, строгостью его вкуса. Ему Пушкин посвящал целый ряд своих произведений — «Кавказского пленника», «Андрея Шенье», собирався посвятить и «Бахчисарайский фонтан», с ним у Пуш-

кина была интереснейшая переписка по поводу «Бориса Годунова» и вообще трагедии.

В 1826 г. двадцатипятилетний полковник «Раевский 3-й» был назначен командиром Нижегородского драгунского полка, во главе его проделал персидскую кампанию 1827 г. и турецкую 1828—1829 гг. Выказав исключительную распорядительность и храбрость, о чем Паскевич с восхищением писал его отцу, бывшему своему начальнику и боевому товарищу. За эти кампании Раевский получил Георгия, несколько других орденов, был произведен в генералы. В 1829 г. к нему на фронт приехал Пушкин, жил с ним в одной палатке и весь поход до Арзерума проделал с ним и с его Нижегородским полком. Когда кампания уже приходила к концу, случилось происшествие, прервавшее блестяще начатую карьеру Раевского. Он поехал из Арзерума в отпуск; по неприятельской стране его сопровождал конвой из сорока драгунов его полка. К конвою пристроились некоторые разжалованные декабристы, служившие солдатами в бригаде Раевского. На русской границе, в Гумрах, нужно было выдержать трехдневный карантин. Раевский держался с разжалованными совершенно по-товарищески, — они обедали у Раевского, коротали карантинную скуку общей игрою в вист. В числе этих декабристов были Захар Чернышев, граф Ворцель, Валериан Голицын, Ал. Бестужев-Марлинский. Случайно проезжал в это время через Гумры некий граф Бутурлин, адъютант главного штаба в Петербурге, паркетный герой, приехавший на войну для получения боевых отличий. Он немножко припоздал, война, собственно, уже кончилась, но Паскевич, чтобы угодить военному министру Чернышеву, дал Бутурлину казачий отрядец, где-то Бутурлин как будто имел какую-то сшибку с неприятелем и награжден был владимирским крестом. На обратном пути он тоже попал в карантин, Раевский пригласил его к себе отобедать. Бутурлин пообедал, поблагодарил, — а через шесть недель пришел к Паскевичу грозный запрос из Петербурга с сообщением, что его императорское величество очень интересуется узнать, на каком основании генерал-майор Раевский позволяет себе общение с лицами, принадлежащими к злоумышленным обществам, допускает их к короткому с собою обращению и позволяет им быть даже при своем столе. У Паскевича не было в обычае стоять за своих подчиненных, если это хоть сколько-нибудь грозило неприятностями ему самому. Притом Раевский сильно выдвинулся своими подвигами и приобрел популярность, а Паскевич не выносил, чтоб какую-нибудь удачу приписывали не ему самому; да и отец Раевского в это время уже умер, так что можно было не стесняться. Паскевич ответил в Петербург, что он давно уже просил Дибича дать ему генералов, которые соединяли бы способности с «добрыми правилами», но та-

ковых он получить не мог и ему поневоле приходилось терпеть «тех, какие были». И он указал генералов, «удаление которых отсюда было бы полезно», — всех наиболее талантливых и способных генералов, вынесших на своих плечах кампанию, — Сакена, Муравьева и Раевского. Раевский был подвергнут аресту на восемь дней и потом переведен на службу в Россию. Это преступление Раевского настолько превысило в глазах Николая все его военные заслуги, что, когда Пушкин в 1830 г. просил у Бенкендорфа разрешения съездить в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, Бенкендорф ответил, что царь решительно запрещает ему это путешествие, «потому что у его величества есть основание быть недовольным последним поведением г-на Раевского». В начале 1834 г. Раевский был в Петербурге и там часто виделся с Пушкиным. Сын князя П. А. Вяземского рассказывает: «После обеда у моего отца много ораторствовал приятель Пушкина, генерал Раевский, человек вовсе отцу моему не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому; выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому: — На что Вяземский снисходительный человек, а и он говорит, что ты невыносимо тяжел».

Осенью 1837 г. Раевский снова был призван к боевой деятельности и назначен начальником Черноморской береговой линии, действовал с обычными умением и храбростью. Декабрист Лорер писал другу: «Генерал тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен». В 1841 г. Раевский вышел в отставку и жил до смерти в воронежском своем имении, где увлекался садоводством.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА РАЕВСКАЯ (1803—1852)

Сестра предыдущих. Красотою выдавалась даже среди красавиц-сестер; была высокая, стройная, с прекрасными голубыми глазами, очень скромная и стыдливая. Она хорошо знала английский язык, переводила Байрона и Вальтер-Скотта по-французски, но втихомолку уничтожала свои переводы. Когда Пушкин гостил у Раевских в Гурзуфе, Николай Раевский сообщил Пушкину о занятиях сестры. Пушкин стал подбирать под окнами Елены клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами и уверял, что они чрезвычайно верны.

Елена Николаевна была болезненна, страдала туберкулезом легких, уже с двадцати лет не танцевала на балах, хотя любила на них присут-

ствовать. Замуж не вышла. Ходили слухи, что к ней сватался граф Олизар, раньше влюбленный в ее сестру Марию. К Елене Раевской относится стихотворение Пушкина, написанное им в Гурзуфе:

Увы, зачем она блистает
Мигутой, легкой красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности жгвой...
Увянет! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей,
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,
Беспечной, милой оспрою
Веселы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу улаживать!
Спешу в волненьи дум тяжелых,
Скрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее;
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

Несмотря на свою болезненность, Елена прожила почти до пятидесяти лет и надолго пережила Пушкина. Была фрейлиной императорского двора. Долго жила в Италии с матерью и сестрою Софьей, там и умерла. Перед смертью, чтоб иметь возможность причаститься, Елене пришлось принять католичество: православного священника не было, а пастеры отказались причащать православную.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА РАЕВСКАЯ-ВОЛКОНСКАЯ (1805—1863)

Была мало интересным смуглым подростком. «Мало-помалу, — вспоминал влюбленный в нее граф Густав Олизар, — из ребенка с неразвитыми формами она стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня глазах». Дед Марии по матери был грек. Южанки созревают быстро. Когда в начале лета 1820 г. Пушкин с семьею Раевских отправился из Екатеринослава на Кавказ, можно думать, что пятнадцатилетняя Мария была уже вполне сформировавшейся девушкой. Об этом путешествии она вспоминает так: «Пушкин, как поэт, считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошень-

ких женщин и молоденьких девушек, с которыми встречался. Во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с сестрой Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету». Мария Николаевна к этому происшествию относит известную строфу первой главы «Онегина»:

Я шомпо море пред прозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда среди пылких дней
Кипящей младости моей
Я не скелал с таким мучельем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

В черновиках к этой строфе встречаем фразы: «За нею по наклону гор я шел», «ты стояла над волнами под скалой». Никаких гор и скал в таганрогской степи нет, да не было в тот час и надвигавшейся грозы. Но характерно, что скромная Мария Николаевна с полной уверенностью относит эту строфу к себе: очевидно, тогдашнее отношение к ней Пушкина давало ей достаточные основания для такого заключения. Вероятно, выраженное в этих стихах переживание было испытано Пушкиным несколько позднее, когда он с семьею Раевских приехал с Кавказа в Гурзуф. Три недели, проведенные Пушкиным в Гурзуфе, были самыми светлыми, радостно-легкими днями в жизни Пушкина. «Мой друг, — писал он брату, — счастливейшие минуты жизни провел я посреди семейства почтенного Раевского... Все его дочери — прелесть. Судя, были я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — приятно-полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — опять увидеть полуденный берег и семейство Раевских». Впоследствии, во время южной своей ссылки, Пушкин не раз встречался с Марией Раевской

и в Каменке, и в Клеве, и в Одессе, и, возможно, в Кишиневе, где жила ее замужняя сестра Екатерина Орлова. Бартеневу приходилось впоследствии беседовать с Мар. Ник. Волконской и Ек. Ник. Орловой о Пушкине. Обе они отзывались о нем с улыбкою некоторого пренебрежения и говорили, что восхищались его стихами, но ему самому не придавали никакого значения. Притом Мария Николаевна видела, что Пушкин увлекался и всеми ее сестрами, наблюдала, вероятно, и другие его увлечения. «В сущности, — говорит она, — Пушкин обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел». В увлечении Пушкина ею она также не усматривала ничего серьезного. И до самой смерти даже не подозревала, что внушила Пушкину самую глубокую, самую светлую и чистую любовь, какую он только знал в своей жизни. Как всегда, когда сильная любовь владела Пушкиным, он был и с Марией Николаевной робок и застенчив; может быть, и говорил о своей любви, но она осталась без ответа. На протяжении многих лет в произведениях Пушкина то здесь, то там прорывается сладкое и грустное воспоминание о неразделенной любви, которую он тщетно старается вырвать из сердца. В «Бахчисарайском фонтане» (1822):

Все думы сердца к ней летят;
Об ней в изгнании тоскую.
Безумец! Полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань, —
Опомнись! Долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824):

Одна была, — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгораю каждою любовью.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои,
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистую любви.

Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбу, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, ненужны ей.

В кишиневской записной книжке Пушкин с горечью пишет: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал, все изрядно кичились передо мной; все, за исключением одной, со мною кокетничали».

А ты, кого называть не смею,—

писал он в черновике той строфы «Онегина», где вспоминает о волнах, ложившихся к ногам любимой. И всю жизнь Пушкин не смел ее назвать. В известном его «дон-жуанском списке», где Пушкин поименовал всех женщин, которых любил, имя этой любви скрыто под буквами N. N.

В январе 1825 г. девятнадцатилетняя Мария Раевская вышла замуж за богатого и знатного генерала кн. Сергея Григорьевича Волконского, старше ее на семнадцать лет. Любви к нему у нее не было, она его мало знала. Брак был заключен по настоянию отца невесты, генерала Раевского; власть родителей была в то время очень сильна, и даже сильной духом девушке не так-то было идти против нее. Волконский был энергичным и увлеченным деятелем Южного тайного общества. Духовной близости так мало было между мужем и женою, что она про его участие в обществе ничего даже не знала. Вскоре после свадьбы Мария Николаевна заболела и уехала в Одессу. К концу осени Волконский приехал за женою и отвез ее в Умань, где стояла его дивизия. Но и там они редко виделись. Волконский был занят делами общества, постоянно ездил в Тульчин, где был центр заговора, и дома бывал редко. Однажды, в декабре 1825 г., Волконский вернулся домой среди ночи и тотчас же разбудил жену:

— Вставай скорее!

Мария Николаевна вскочила. Она была в последнем периоде беременности, и это внезапное возвращение среди ночи испугало ее. Волконский растопил камин и стал жечь бумаги. Она спросила, что это все значит. Он коротко проговорил:

— Пестель арестован.

— Почему?

Волконский не ответил. Он был печален и сильно озабочен. Сейчас же собрал жену и отвез ее в имение ее отца Болышки, Киевской губернии. Немедленно по возвращении Волконский был арестован и отвезен в Петербург в Петропавловскую крепость.

Роды Марии Николаевны были тяжелые, получилось заражение крови, она в жару два месяца пролежала в постели. На вопросы о муже ей отвечали, что он в Молдавии. Пришедши в себя, она настойчиво потребовала ответа, и ей сказали, что Волконский арестован. Она тотчас же, несмотря на все отговоры, собралась ехать в Петербург. На ноги появилась рожь, но это ее не остановило. Завезла ребенка-сына в Белую церковь к тетке своего отца, графине Браницкой, в весеннюю распутицу ехала днем и ночью и приехала в Петербург. Получила свидание с мужем при свидетелях. Брат Александр стал убеждать ее воротиться к ребенку, указывал, что следствие будет тянуться долго. Она послушалась и уехала. Александр приехал следом. И он, и другие родственники, видимо, знали, какая энергия и сила воли таились в нежной на вид и кроткой Марии; сильно боялись, что она, «по глупости» и по подговору родственников Волконского, поедет за мужем в Сибирь. Образовался форменный заговор, во главе которого стоял умный, хитрый и бессердечный Александр Раевский. Он перехватывал письма к сестре, не допускал к ней ее приятельниц, держал ее в полном неведении о ходе процесса. Только когда приговор состоялся и Волконский был уже отправлен в Сибирь, он сообщил об этом сестре, рассчитывая, что теперь у нее опустятся руки и она примирится со своим положением. Однако Мария тотчас же укатила в Петербург и стала добиваться разрешения следовать за мужем. Но императору Николаю такие домогательства очень не нравились: жены тоже должны были смотреть на осужденных мужей как на гнусных злодеев и порвать с ними все отношения; им даже разрешено было вступить в новый брак. Тем же, которые решались следовать за мужьями в Сибирь, был поставлен ряд чудовищных по жестокости условий: жена не имела права брать с собою детей, лишалась права возвратиться в Россию раньше смерти мужа, лишалась всяких привилегий и должна была трактоваться начальством как «жена ссыльно-каторжного». Волконскую ничего это не испугало. Она решила ехать. Отец ее в это время был в Петербурге. Он был мрачен и неприступен. Мария сообщила ему о своем решении и просила быть опекуном ее мальчика, которого она не имела права взять с собою. Отец пришел в бешенство, поднял над ее головою кулаки и крикнул:

— Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься!

Она ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку.

В конце 1826 г. Мария Николаевна выехала из Петербурга в Сибирь. 26 декабря она остановилась в Москве у княгини Зин. Ник. Волконской, бывшей замужем за братом ее мужа. Зная, как Мария Николаевна любит пение, княгиня Зинаида устроила у себя концерт с италья-

янскими певцами и любителями. Мария Николаевна жадно слушала и просила:

— Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!

Зинаида Николаевна, сама прекрасная певица, спела арию из оперы Ф. Паэра «Агнеса», где несчастная дочь умоляет еще более несчастного отца своего о прощении. Голос певицы дрогнул и оборвался, а Мария Николаевна быстро вышла из комнаты, чтоб скрыть подступившие к горлу рыдания. Брат поэта Веневитинова, присутствовавший на вечере, так описывает Марию Николаевну: «Третьего дня ей минуло двадцать лет; но так рано обреченная жертва кручины, эта интересная и вместе могучая женщина — больше своего несчастия. Она его преодолела, выплакала; она уже уверилась в своей судьбе и хранит свое несчастье в себе». На вечере этом присутствовал и Пушкин. Здесь он в последний раз увидел ту, любовь к которой светлую и чистою звездою сияла в тайных глубинах его души. Он растроганно жал ей руки, восхищался ее подвигом, говорил, что поедет собирать материалы о Пугачеве, переберется через Урал и явится к ним в Нерчинские рудники. Хотел через нее передать осужденным только что им написанное «Послание в Сибирь»: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье!» (послание повезла с собою А. Г. Муравьева, жена другого декабриста).

На следующий день Волконская поехала дальше. Претерпевая лишения, препятствия и издевательства, проделала дорогу в шесть тысяч верст и наконец добралась до Благодатского рудника, где находился ее муж. Ее ввели в полутемную камеру. «Сергей бросился ко мне, — рассказывает она; — лязг его цепей поразил меня. Я не знала, что он был закован в кандалы. Такое суровое наказание дало мне понятие о всей силе его страданий. Вид его кандалов так взволновал и расстроил меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого. Комендант, стоявший на пороге, остолбенел от изумления при виде моего восторга и уважения к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обращался как с каторжником».

Через два года умер отец Волконской, старик-генерал Н. Н. Раевский. Умирая, он указал на портрет дочери и сказал:

— Вот — самая удивительная женщина, которую я знал.

В посвящении к «Полтаве» Пушкин еще раз вспомнил Волконскую, попрежнему не смея назвать ее имени.

Тебе... Но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?

Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе,—
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

В черновике вместо стиха «Твоя печальная пустыня» Щеголев прочел зачеркнутое: «Сибирь хладная пустыня». Это окончательно подтвердило высказанную им догадку, кто именно был предметом «утасинной любви» Пушкина.

Княгиня Волконская прочно отпечатлелась в памяти русского читателя в том виде, в каком ее изобразил Некрасов в поэме «Русские женщины». Подвижница долга, любящая жена, последовавшая за героем-мужем делить его страдания на каторге. Но образ этот требует какой-то очень существенной поправки, раз мы знаем, что мужа она не любила. А она его не любила или любила очень мало. Братьям и сестрам она не раз признавалась, что муж бывает ей несносен. А ведь видала она его за время замужества всего месяца три с большими перерывами. Что же в таком случае побудило ее отказаться от радостей жизни и с исключительным упорством, через все препятствия и унижения, пробиваться к тому, чтобы разделить с мужем его судьбу? Повидимому, пылкая и немелкая душа ее была восхищена подвигом, который, неведомо для нее, совершал ее муж, ведя революционную работу, — и потрясена была страданиями, которые за это на него обрушились. Преклонение перед его героизмом и страданиями, — вот что толкнуло Волконскую на то, чтобы разделить судьбу нелюбимого мужа. Этим только можно объяснить характер первой их встречи в остроге, о которой рассказывает Волконская.

У Некрасова это очень сильно:

Невольно пред ним я склонилась
Колеи — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила...

Для поэмы это очень хорошо, еще лучше было бы для театра. Но в жизни! В жизни: после долгой разлуки увидеть любимого, измученного страданиями человека — и не броситься ему в объятия, а раньше

стать на колени и поцеловать кандалы! Такая чисто-французская театральщина совершенно не согласуется со строгою простотою характера Волконской. Очевидно, душа ее была полна не любовью к близкому человеку, а благоговейным уважением к его подвигу и страданиям. А если так она способна была восторгаться подвигом, то приходит в голову мысль: что было бы, если бы муж приобщил эту пламенную и энергичную женщину к своей революционной работе? Тогда, может быть, Волконская вошла бы в историю не как самоотверженная жена мужа-революционера, а начала бы собою ряд русских женщин-революционерок, блестящих именами Софьи Перовской, Веры Фигнер, Людмилы Волькенштейн и др. И можно думать, что на допросах она держалась бы с большим достоинством, чем ее муж и большинство других декабристов.

Волконская была высокого роста, стройная, с ясными черными глазами, с полусмуглым лицом, с немного вздернутым носиком, с походкою гордою и плавной. Декабристы в Сибири называли ее «девой Ганга». Она никогда не выказывала грусти, держалась приветливо с товарищами мужа, но была горда и взыскательна с комендантами и начальниками острогов. Долгие годы, пока Волконский отбывал каторгу, Мария Николаевна жила близ острога, где он содержался. Когда его выпустили на поселение, они жили в деревне под Иркутском. Сын декабриста Якушкина, наблюдавший семейную жизнь Волконских в пятидесятых годах, вот что пишет про нее: «Этот брак, вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе. Любила ли когда-нибудь Мария Николаевна своего мужа, это вопрос, который решить трудно, но, как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, небольшой, если есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири. Говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского». Другие сообщения определенно говорят, что сын Марии Николаевны Михаил рожден ею от декабриста А. В. Поджио, а дочь, знаменитая красавица Нелли, — от И. И. Пущина (сын Николай, рожденный ею в России после ареста Волконского, умер через два года после рождения, вдали от матери; она, как сказано, лишена была права взять его с собою.) В пятидесятых же годах д-ру Н. А. Белоголовому ребенком случалось видеть Волконскую в Иркутске. Он так описывает ее: «Помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, де-

тей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии».

В 1856 г. Волконский получил амнистию, и супруги вернулись в Россию.

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА РАЕВСКАЯ

(1806—1881)

Младшая из сестер. В старости она с гордостью писала одному из своих племянников: «Я — Раевская сердцем и умом, наш семейный круг состоял из людей самого высокого умственного развития, и ежедневное соприкосновение с ними не прошло для меня бесплодно». Была, действительно, девушка умная и образованная, но по темпераменту нескороенимая «гувернантка»: очень любила читать всем нотации и поучения. Сестра ее Мария Волконская в пятидесятых годах писала: «У Софьи манера школить вас, обращаться с вами, как с маленькой девочкой, что очень утомительно, так же, как ее вечная ажитация. Она без устали счастливит вас проповедями, не имея к тому ни повода, ни приглашения».

Замуж Софья не вышла и осталась в девицах. Состояла фрейлиной императорского двора. Долго жила в Италии с матерью и больной сестрою Еленой. Перед смертью матери Софья наговорила ей что-то очень нехорошее про сестру Марию, жившую в это время в Сибири при ссыльном муже (не сообщила ли девица матери слухи о связи сестры с Поджио и Пуциным?). Повидимому, Софья при этом не руководствовалась никакими злыми побуждениями; была она девушка добрая; вероятно, тут проявилась ее обычная склонность ставить всем очень строгие отметки за поведение. Но результат был тот, что мать изменила свое завещание, сделанное в пользу Волконской. После смерти матери Софья жила в Италии с сестрой Еленой до самой ее смерти в 1852 г. Но в 1850 г. ездила в Иркутск к сестре Марии специально затем, чтобы загладить свой поступок с нею. Было объяснение с Волконскою и ее мужем. Отношения остались холодными. «Мы друг друга понимаем, — писала Волконская уже после возвращения в Россию, — и не можем любить друг друга, хотя соблюдаем видимость добрых отношений. Но к детям моим, — может быть, для успокоения своей совести, — она относится прекрасно, и я ей за это глубоко благодарна».

После смерти сестры Елены Софья Николаевна воротилась из Италии в Россию, жила то в Москве с родственниками, то в полном одиночестве в киевском своем имении Сунки, где у нее было 800 десятин пахотной земли и 1500 десятин лесу.

VIII

В КИШИНЕВЕ

Весною 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга в Екатеринослав, в распоряжение генерала Инзова, главного попечителя о колонистах южной России. С разрешения Инзова Пушкин отправился с семьею Раевских на Кавказ и Крым, где прожил до осени. Тем временем Инзов был назначен исправляющим должность наместника Бессарабской области и переехал в Кишинев. Пушкин, как посланный в распоряжение Инзова, должен был жить там, где Инзов. Из Крыма Пушкин приехал в Кишинев в конце сентября 1820 г. и прожил там до лета 1823 г., когда был переведен в Одессу. В марте 1824 г. он на две недели приезжал в Кишинев из Одессы.

ИВАН НИКИТИЧ ИНЗОВ

(1768—1845)

Трогательнейшая фигура из всего пушкинского окружения. Всю жизнь Пушкин не знал родительской ласки. И вот на два-три года, во время пребывания Пушкина на юге, судьба послала ему отца — заботливого, любящего, без обиды строгого и любовно прощающего, мудро умевшего ладить с озорным, капризным и озлобленным юношей. Еще в Екатеринославе, как только высланный из Петербурга Пушкин попал под начальство генерала Инзова, Инзов поспешил отпустить его с гене-

ралом Н. Н. Раевским на Кавказ и по этому поводу писал петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову: «Расстроенное здоровье г. Пушкина и столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали, с одной стороны, помочи, а с другой, безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собою. При okazji прошу сказать об оном графу Н. А. Каподистрии (управлявшему в то время министерством иностранных дел). Я надеюсь, что за сие меня не побранят и не назовет баловством». В Кишиневе пропадавшего от безденежья Пушкина Инзов поселил в своем доме, поил, кормил, давал взаймы деньги. Когда напроказит, то болсе для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал его под арест, т. е. несколько дней не выпускал из комнаты. Донесения в Петербург писал в таком роде: «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах... Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к резностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда политические мысли. Но я уверен, что лета и время образуют его в сем случае... В бытность его в столице он пользовался от казны 700 рублями в год; но теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. По сему уважению я долгом считаю покорнейше просить распоряжения вашего к назначению ему отпуска здесь того жалования, какое он получал в С. Петербурге». Жалование было назначено. Через два месяца по приезде Пушкина в Кишинев Инзов отпустил его в Каменку к Давыдовым. Пушкин там загостился. А. Л. Давыдов написал Инзову письмо, что Пушкин, по случаю простуды, не мог приехать во-время и что приедет немедленно по выздоровлении. Инзов отвечал: «До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастия. Но, получив почтеннейшее письмо ваше, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах».

Пушкин всю жизнь вспоминал об Инзове с нежностью и благодарностью, писал о нем: «...добрый и почтенный старик; доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные». Особенно оценил Пушкин Инзова, когда от него попал под начальство графа Воронцова, холодного и высокомерного вельможи, видевшего в Пушкине только «коллежского секретаря».





Внешние факты биографии Инзова: службу начал кадетом, участвовал в ряде войн. В 1818 г. назначен главным попечителем о колонистах южной России, 15 июня 1820 г. — исправляющим должность наместника Бессарабской области (в Кишиневе), в июле 1822 — исправляющим должность новороссийского губернатора (оставаясь в Кишиневе); через год его в этой должности сменил гр. Воронцов. Был масоном и мистиком. Любил ботанику. Большая его библиотека состояла из сочинений мистиков Сведенборга, Штиллинга, Беме и им подобных, а также сочинений ботанических. Всеобщая молва называла Инзова побочным сыном императора Павла. Предположение это, повидимому, основывалось исключительно на большом наружном сходстве Инзова с Павлом.

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВ
(1788—1842)

Побочный сын графа Фед. Григ. Орлова, брата любовника Екатерины II Григория Орлова и убийцы Петра III Алексея Орлова-Чесменского. Крупный помещик. Получил образование в пансионе аббата Николая, поступил в кавалергардский полк, проделал кампании 1805, 1807 и 1812—1814 гг., участвовал во многих сражениях, проявил блестящую храбрость, получил георгиевский крест. Был назначен флигель-адъютантом к императору Александру I, который его очень полюбил. Ему было в 1814 г. поручено вести переговоры о капитуляции Парижа и подписать ее условия. Двадцати шести лет он был уже генералом. За границей Орлов сошелся с Николаем Тургеневым, работавшим в то время со Штейном. Тургенев оказал на Орлова большое влияние в смысле ознакомления с передовыми идеями того времени. Как большинство военной молодежи, Орлов вернулся в Россию из заграничных походов глубоко враждебным к господствовавшим на родине порядкам. Он составил на имя царя петицию об уничтожении крепостного права, под которою подписались многие сановники, в том числе граф М. С. Воронцов, Блудов и др. Совместно с богачом графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым проектировал учреждение тайного «Ордена русских рыцарей» с широкой программой либеральных реформ — введения конституции, упразднения рабства, учреждения суда присяжных, свободы печати. Конституция, однако, мыслилась на английский образец, с фактическим предоставлением всей власти феодальной аристократии и нарождавшейся промышленно-помещичьей буржуазии. Орлов, вместе с Н. Тургеневым, пытался влить политическую струю в веселое, беззаботное общество политики литературное общество «Арзамас». Либерализм Орлова, одна-

ко, не помешал ему притти в крайнее возмущение от дарования Александром I конституции Польше и от проектируемого, по слухам, присоединения к Польше Литвы. В 1817 г. Орлов составил записку царю с протестом против дарованных Польше учреждений и стал собирать подписи среди генералов и сановников. Император заблаговременно узнал об этом и сурово потребовал от Орлова представления записки. Не желая подводить подписавшихся, Орлов ответил, что потерял записку. «Узнав о записке, — рассказывает Н. Тургенев, — я не преминул упрекнуть Орлова в рабском патриотизме, внушившем этот протест, и Орлов согласился со мною».

Император совершенно охладел к беспокойному своему любимцу и удалил его в Киев, на должность начальника штаба 4-го корпуса, командиром которого был Н. Н. Раевский. Письма Орлова из Киева к близким лицам показывают, какие он в это время переживал настроения. «Что вы пишете о моем положении при дворе, — писал он Александру Раевскому, — это я знал заранее и несколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! Я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет». Орлов убежден, что надвигается «всеобщее крушение», хотя сам, может быть, и не доживет до «заря этого прекрасного дня». Сестре своей он пишет: «...дай бог вам счастья и покоя, а мне — жизни бурливой за родную страну». С скромная роль начальника корпусного штаба мало давала престола для такой «бурливой жизни». Однако и на этой должности Орлов развил, в пределах возможного, самую кипучую деятельность. Он энергично взялся за насаждение ланкастерских школ взаимного обучения, тогда только что начинавших пробивать себе дорогу в России. Его стараниями маленькая, в сорок человек, киевская школа кантонистов разрослась в большое учебное заведение с 1 800 учащихся, обученные в этой школе учителя открыли такие же школы в ряде других городов. Официальная газета «Русский инвалид» писала о школе Орлова: «...видеть оную и не восхищаться ею были бы две совершенно несовместимые идеи». На заседании киевского отделения Библейского общества, которого вице-президентом он был избран, Орлов произнес смелую либеральную речь, где говорил о необходимости всеобщего обучения и резко нападал на обскурантов и политических староверов. «Они убеждены, — говорил Орлов, — что они — из-

бранники, которым все остальные люди обречены в рабство самим промыслом, и в этой уверенности они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления». Кн. Вяземский в восторге писал об этой речи А. Тургеневу: «Ну, батюшка, оратор! Вот пустили козла в огород! Я в восхищении от этой речи. Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью!» Эта речь Орлова, равно как и некоторые его письма с резкими нападками на крепостное право разошлись во множестве списков и создали ему большую славу среди оппозиционных слоев русского общества. О нем говорили как о «человеке высшего разряда», как о «светиле среди молодежи». К нему с вниманием приглядывались члены «Союза благоденствия».

Орлов, добываясь более самостоятельного места в армии, хотел получить в командование дивизию. Пять раз он получал отказ, наконец, в 1820 г., был назначен командиром 16-й пехотной дивизии, стоявшей в Кишиневе. По пути из Киева на место новой службы он заехал в Тульчин и там был принят в члены «Союза благоденствия» Пестелем, Юшневским и Фонвизиним. Однако к активной революционной деятельности Орлов не имел склонности, «всеобщее крушение» считал теперь не так уж близким и к широким политическим задачам относился без прежнего пыла. «Политика запружена и бог знает, когда потечет, — писал он А. Раевскому. — Я также строю умственную насыпь, чтобы запрудить мысли мои. Пускай покоятся до времени». Орлов приехал в Кишинев и вступил в командование дивизией. В дивизии делалось то же, что и везде: от непрерывных изнурительных учений, не признававших никакого отдыха, солдаты падали в обморок в строю, офицеры и унтер-офицеры беспощадно избивали солдат палками, тесаками и шомполами, провиантские чиновники их обкрадывали, и солдаты голодали. Жаловаться было бесполезно. Солдаты дезертировали десятками, их ловили и расстреливали. Орлов издал по дивизии приказ, в котором запретил применять к солдатам телесные наказания, грозил беспощадной расправой всем начальствующим лицам, кто посмеет истязать и обкрадывать солдат, требовал, чтобы в солдате воспитывалось чувство собственного достоинства. И приказ этот был не секретный, — Орлов предписывал прочесть его во всех ротах своей дивизии, чтобы все солдаты знали о приказе. И все время Орлов строго следил за тем, чтобы начальствующие лица исполняли приказ. Вот другой приказ от января 1822 г.: «В Охотском полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по

которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания. И что же? Лучшее ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии — я ничего не нашел. После сего примера кто меня уверит, что есть польза в жестокости, и что русский солдат не может быть без побоев доведен до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем тем гг. офицерам, кои держатся правилам и примерам Верейского и ему подобных, что я им не товарищ, и что они найдут во мне строгого мстителя за их незаконные поступки... Предписываю приказ сей прочитывать по ротам и объявить совершенную мою благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования». Орлов деятельно занялся также насаждением в своей дивизии ланкастерских школ взаимного обучения. Во главе кишиневской школы он поставил энергичного члена «Союза благоденствия» майора В. Ф. Раевского, основал ряд школ и в других городах и местечках, где стояли части его дивизии, тратил на школы много собственных средств. Наилучшую характеристику его деятельности дают донесения секретных агентов в Петербург: «В ланкастерской школе, говорят, что кроме грамоты учат их и толкуют о каком-то просвещении. Нижние чины говорят: «дивизионный командир наш отец, он нас просвещает». Липранди Иван Петрович говорит часовым, у него стоящим: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник, мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые наставления сие передайте один другому».

В январе 1821 г. созван был в Москве съезд депутатов «Союза благоденствия» для решения вопроса о дальнейшем существовании общества. Хотя Орлов состоял членом союза всего несколько месяцев, но он пользовался среди членов таким влиянием и уважением, что был избран в депутаты. По дороге в Москву он остановился в Киселе и сделал предложение Екатерине Николаевне, старшей дочери бывшего своего командира Н. Н. Раевского. Переговоры шли через Александра Раевского. Он поставил Орлову основным условием выход из Тайного общества. На съезде, как известно, формально было принято постановление о закрытии общества, чтобы удалить из него ненадежные элементы, а из основного ядра образовать новое общество. В это новое общество Орлов не вступил.

15 мая он женился на Екатерине Николаевне и с нею возвратился в Кишинев. В Кишиневе Орлов нанял два больших дома на Ильин-

ской улице. Жил на широкую ногу, держал открытый стол для всей военной молодежи. Ярый реакционер Вигель рассказывает про Орлова: «Сей благодушный мечтатель более чем когда-либо бредил конституциями. Прискорбным казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор В. Ф. Раевский (совсем не родня г-же Орловой); с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынью к розе, стал прививаться тут западный либерализм... Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии».

Пушкин очень часто бывал у Орлова. Екатерина Николаевна, жена Орлова, писала брату Александру: «У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др., мне слышно их из дальней комнаты. У нас не мало оригиналов... Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно... Спорит с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера».

Деятельность Орлова давно уже привлекала к себе настороженно-враждебное внимание штаба армии и корпусного командира Сабанеева. За ним был учрежден секретный надзор. В июле 1821 г. начальник корпусного штаба, генерал Вахтен, сделал смотр одному из полков орловской дивизии. Хотя полк представился в самом образцовом виде, Вахтен грубо разнес командира полка, нашел во всем непорядки и разрешил не только унтер-офицерам, но и ефрейторам бить солдат палками до двадцати ударов. В декабре 1821 г. случилось происшествие, за которое начальство жадно ухватилося, чтобы свалить Орлова. Раньше было в обычае, что экономические деньги за продовольствие солдат в половинном размере шли в пользу ротного командира. Приказом и Сабанеева и Орлова это было отменено и предписано частью раздавать деньги на руки солдатам, частью причислять к артельным суммам. Солдат-артельщик одной из рот Камчатского полка, входившего в дивизию Орлова, привез из города экономические деньги. Командир роты потребовал у него эти деньги. Артельщик ответил, что рота не приказала отдавать деньги ему, а распределила их по взводам. Вздвигнутый командир велел подвергнуть артельщика наказанию палками. Его вывели на двор. Собрались солдаты и закричали, что не дадут наказывать, что артельщик исполнял их приказание. Когда же командир велел приступить к экзекуции, солдаты

вырвали палки, переломали их и освободили товарища. Преступление против дисциплины было чудовищное, и виновных ждало бы ужасное наказание. Но командир сообразил, что не поздоровится и ему за попытку присвоить солдатские деньги. Через своего денщика он вступил в переговоры с солдатами, и решено было предать дело взаимному забвению. Дней через десять генерал Орлов делал полку инспекторский смотр. На таком смотре солдат опрашивают, все ли они получают, что полагается, не обращаются ли с ними жестоко и т. п. Солдаты обступили Орлова и заявили, что получили все, что наказания командир прекратил, и теперь они всем довольны. Вдруг из задних рядов кто-то сказал:

— Намеднишь капитан хотел было наказать артельщика за то, что он не отдал ему деньги за провиант. Но мы не допустили до этого, а потом помирились.

Проще всего было Орлову пропустить это заявление мимо ушей. Но как лояльный либерал, «хорошо, — по замечанию современника, — умевший различать человеколюбие от священных обязанностей дисциплины», — Орлов спросил:

— Как это «не допустили»? Рассказывайте.

Солдаты с наивною гордостью рассказали, как было дело. Орлов, — продолжает современник (Липранди), — «с горестью выслушав эти показания, сознал всю важность поступка и поручил бригадному генералу П. С. Пущину произвести строжайшее следствие». Сам же Орлов уехал в данный уже ему отпуск в Киев, где должна была родить его жена. Пущин неспеша стал собираться начать следствие, даже никого еще не арестовал, как вдруг нагрянул извещенный обо всем Сабанеев. Он повел следствие, под палками заставляя солдат давать показания. Артельщик, фельдфебель и наиболее виновные солдаты за бунт против начальства были прогнаны сквозь строй, а об Орлове и Пущине Сабанеев, помимо штаба армии, послал донесение прямо в Петербург. Вскоре был арестован майор В. Раевский по обвинению в политической пропаганде среди солдат. Заварилась каша. Орлову ставилось в вину, что он ослабил дисциплину в дивизии, потакал солдатам, держался за панибрата с подчиненными, вверил школу такому вольнодумцу, как В. Раевский. Ставились в вину и упомянутые его приказы по дивизии, особенно же предписание читать эти приказы солдатам. Пущин был уволен в отставку. Орлову предлагали уехать «на воды», а там обещали дать ему другую дивизию. Но он требовал формального суда. Суда он не добился, а в апреле 1823 г. был лишен дивизии и назначен «состоять по армии», т. е. числиться военным, не неся службы.

На этом оборвалась навсегда деятельность талантливого и энергич-

ного человека, который пытался лояльно работать в условиях существующего строя, не посягая на его основы. После удаления с действительной службы Орлов жил то в Москве, то в Крыму, то в калужском своем имении, где занимался улучшением имевшегося у него стекляннo-фарфорового завода. Разразилось 14 декабря. Орлов был арестован в Москве и привезен в Петропавловскую крепость. Рассказывают, что ему грозила жестокая кара, но младший брат его Алексей Федорович, первым бросивший свой полк в атаку на каре мятежников, на коленях вымолил у императора Николая прощение брату. В сущности, однако, никаких серьезных обвинений нельзя было и предъявить Михаилу Орлову: участвовал он только в «Союзе благоденствия», а это следственной комиссией «оставлялось без внимания». Неопределенные показания некоторых арестованных говорили только о каких-то сожженных письмах и о том, что члены Тайного общества считали Орлова сочувствующим целям общества. Главное, что было поставлено Орлову в вину Верховным судом, это — та же деятельность в Кишиневе, за которую он в свое время уже понес кару: Владимир Раевский, приказы Орлова по дивизии, чтение их в ротах, бунт Камчатского полка. Орлов был исключен из военной службы и выслан под надзор в калужскую свою деревню. В 1831 г. брат выхлопотал ему разрешение жить в Москве.

Москва окружила Михаила Орлова почетом и уважением, как генерала Ермолова, как Чаадаева, как других талантливых людей, у которых николаевский режим отнял возможность деятельности. В 1834 г. с ним встречался в Москве Герцен. «Бедный Орлов, — рассказывает он, — был похож на льва в клетке. Везде стучался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снела. Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность. От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинami, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «О кредите», — нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден празднично бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах, и воспоминание прошедшего, желание сохранить его, как нечто святое, ставило Орлова в непрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдаленой, — говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным орео-

лом оппозиционности», — говорил другой голос. От этого Орлов делал непрерывные ошибки. Вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался — и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение». Второй раз Герцен видел Орлова в 1841 г., по возвращении своем из ссылки. Орлов произвел на него ужасное впечатление. «Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение и не видел выхода. Работавши семь лет и все попустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением, а не с увлечением смотрело на старика. Он всё это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал». Через два месяца Орлов умер. Герцен записал в дневнике: «Я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ РАЕВСКИЙ
(1795—1872)

Сын одного из богатейших помещиков Курской губернии. Семья была многочисленная, родители не любили мальчика за строптивость и «гордость». Обучался в московском университетском Благородном пансионе. Служил в артиллерии, за участие в Бородинской битве награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость». Участвовал и в заграничных походах 1813—1814 гг. «Из-за границы, — вспоминает Раевский, — я возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники забивали солдат под палками, боевых офицеров вытесняли из службы; усиленное взыскание недоимок, строгость цензуры, новые наборы рекрут производили глухой ропот. Власть Аракчеева, ссылка Сперанского сильно волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества». Раевский с одушевлением вступил в «Союз благоденствия» и стал его деятельнейшим членом.

В 1820—1821 гг. Раевский в Аккермане командовал ротой 32-го егерского полка, входившего в состав дивизии ген. М. Ф. Орлова. Он выделялся необыкновенной человечностью в обращении с подчиненными,

много заботился об умственном и нравственном развитии солдат, завел в полку ланкастерскую школу взаимного обучения, на свой счет обул всю свою роту. С начальствующими лицами держался независимо; свирепый служака Вахтен, начальник штаба корпуса, пришел в великое негодование, что Раевский много говорит за столом при старших и тогда, когда его не спрашивают. В 1821 г. М. Ф. Орлов перевел Раевского в Кишинев, сделал своим адъютантом и поручил ему заведывать солдатскою и юнкерскою школами в Кишиневе. Здесь Раевский повел систематическую политическую пропаганду среди солдат и юнкеров. Проходя географию, говорил о формах правления и разъяснял преимущества конституционного строя перед деспотическим, помещал в прописях имена Брута, Кассия, испанских революционеров Квируги и Риго, разъясняя, кто они были.

Раевский был человек очень образованный, горячий и пылкий, ярый спорщик. Он близко сошелся с Пушкиным. Встречались у Орлова, у Липранди и постоянно спорили. Пушкин был очень самолюбив, но в спорах с Раевским укрощал свое самолюбие и нарочно вызывал Раевского на споры с видимым желанием удовлетворить свою любознательность. А самолюбию приходилось иногда страдать жестоко. Однажды Пушкин ошибочно указал на карте Европы одну местность. Раевский кликнул своего человека и предложил ему указать на карте пункт, о котором шла речь; человек тотчас же указал. Пушкин смеялся вместе с другими, но на следующий день взял у Липранди географию Мальтбрена. И вообще после споров с Раевским часто брал из богатой библиотеки Липранди книги, касавшиеся предмета спора. Раевский сам писал стихи, много спорил с Пушкиным и на литературные темы. Между прочим страстно доказывал, что русский поэт не должен черпать сюжетов из античной истории и мифологии, что у нас есть своя история и мифология. Пушкин не соглашался, но, как думают, не без влияния этих бесед вскоре написал «Песнь о вещем Олеге» и стал набрасывать драматическую поэму «Вадим». Раевский старался также убедить Пушкина направить свое творчество на общественные и политические темы.

Возникло дело о «бунте» в Камчатском полку, о чем уже рассказано в статье о Мих. Орлове. Вечером 5 февраля 1822 г. Раевский лежал у себя на диване и курил трубку. Вдруг в дверь раздался стук, торопливо вошел Пушкин, очень взволнованный; сказал необычным голосом:

— Здравствуй, душа моя!

— Здравствуй. Что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— После бесчеловечных пыток Сабанеева доброго я ничего ожидать не могу. Но что такое?

— Сабанеев сейчас уехал от Инзова. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слышу, часто повторяют твоё имя. — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что надо тебя непременно арестовать; наш Инзушко, — ты знаешь, как он тебя любит, — отстаивал тебя горячо. Долго говорили. Я многого не дослышал. Но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

Раевский успел почиститься, сжег компрометирующие бумаги. Наутро он был арестован, отвезен в Тирасполь, где находился штаб Сабанеева, и заключен в крепость. На допросах Раевский держался тактики: отрицать приписываемые ему незаконные действия и твердо отстаивать правоту свою в действиях законных. Вёл он себя стойко, говорил смело и резко, из обвиняемого становился обвинителем. Уличал командира корпуса Сабанеева, что сам он в своих приказах так же, как и Орлов, строжайше запрещал истязать солдат, а потом офицерам Камчатского полка приказал бить солдат попрежнему; что он отдал под суд двух унтер-офицеров Охотского полка, виновных только в том, что, согласно законам, принесли Орлову жалобу на истязания, творимые майором Вержейским и капитаном Гимбутом; что этих двух истязателей, отданных Орловым под суд, Сабанеев освободил и восстановил в правах. Сабанеев приходил в бешенство, тем более, что никаких твердых улик против Раевского не имелось, и продолжал гноить его в крепости.

Летом того же года был в Тирасполе проездом И. П. Липранди. Знакомый комендант крепости устроил ему как бы случайную встречу с Раевским, выведенным для прогулки на гласис крепости. Раевский передал Липранди стихи свои «Певец в темнице» и поручил сказать Пушкину, что пишет ему длинное послание. Послание к Пушкину до нас не дошло, а переданное стихотворение называлось: «Друзьям в Кншинев». В этом стихотворении Раевский писал:

Итак, я здесь, — под стражей я.
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?

Не будят вас в ночи глухой
Угрюмый отклик часового
И резкий звук ружья стального
При омене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом
Еще убийственным пером
Не пишет вам определения
Злодейской смерти под пожом

Иль мрачных сводов заключенья...
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не поблднеет
И пред овирепою судьбою
Не преклонил рамен с главою.

Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа:
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление,— на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священные времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена!

Но вот последние слова:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственные жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите...

Когда Липранди возвратился в Кишинев, к нему зашел Пушкин с поручиком Таушевым, с большим участием расспрашивал о Раевском, потом стал просматривать его послание, вдруг остановился и воскликнул:

— Как это хорошо, как это сильно! Мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо!

И стал дальше читать более внимательно. Липранди спросил, что ему так понравилось. Пушкин попросил подождать, кончил, сел ближе к Липранди и Таушеву и прочел:

Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, — на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать¹.

Повторил последнюю строчку и вздохнул.

— После таких стихов не скоро же мы увидим этого спартамца!

На следующий день Пушкин говорил Таушеву, что мысль приведенных стихов едва ли не первый высказал Раевский.

— Однако, — прибавил он. — я что-то видел подобное, не помню только где, а хорошо!

И несколько раз повторил стихи.

Через полтора года, когда Пушкин жил уже в Одессе, он предпринял поездку по Бессарабии, был, между прочим, и в Тирасполе. Раевский все еще сидел в крепости. Брат И. И. Липранди, приятеля Пушкина, состоял адъютантом при Сабанееве и предложил Пушкину устроить ему свидание с Раевским. Сабанеев, знавший про их близкое знакомство, ничего против этого не возражал. И вот тут — психологическая загадка, каких так много в натуре человеческой. Пушкин был очень храбр. Из-за самого вздорного пустяка он готов был вызвать обидчика на дуэль, стоял под наведенным пистолетом с холодной отвагой, изумлявшей и восхищавшей самых завзятых дуэлистов. В 1829 г., во время турецкой войны, на кавказском фронте, Пушкин поскакал с пикой на встречу турецкой кавалерии, далеко обогнав наших драгун, к которым пристал; друзьям с трудом удалось воротить его. А здесь, при предложении повидаться с Раевским, Пушкин поспешно ответил, что никак не может, что ему необходимо как можно скорее быть в Одессе. В Одессе Иван Липранди с удивлением спросил, почему он отказался от свидания с Раевским. Пушкин смутился, опять стал ссылаться на то, что спешил в Одессу, и наконец сознался, что в его положении ему нельзя было согласиться на предложение Сабанеева: начальник штаба, немец Вахтен, наверное, сообщил бы о его свидании с Раевским в главную квартиру армии в Тульчине, «а там много усерднейших, которые поспешат сделать то же в Петербург». Липранди понял, что главной причиной отказа Пушкина были прочитанные им стихи Раевского «К друзьям».

¹ Липранди, все это рассказывающий, цитирует стихи по памяти в очень исковерканном виде:

Как истукан, немой народ
Под ягом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль, и взор — казнит на плахе.

ям»: Пушкин опасался, что этот неукротимый человек при свидании в присутствии коменданта или дежурного не воздержится от сильных выражений.

— Жаль нашего спартамца! — не раз, вздыхая, повторил Пушкин. Воспоминание о мученической судьбе Раевского острой занозой жило в душе Пушкина. Еще через год, когда Пушкин жил уже в псковской деревне матери, его посетил лицейский друг его Пуцци. Речь зашла о Тайном обществе. Пушкин вскочил со стула и воскликнул:

— Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!

Год за годом Раевский все продолжал сидеть в крепости. И все время от обороны переходил к нападению, раскрывал целый ряд проступков и преступлений своих начальников и судей. По многим из его заявлений были назначены расследования, вполне подтвердившие его обвинения. Комиссия, возглавляемая Сабанеевым, постановила сослать Раевского как вредного для общества человека в Соловецкий монастырь. Раевский принес на Сабанеева жалобу в неправильном и пристрастном производстве следствия. Дело рассматривал полевой аудиториат 2-й армии и пришел к заключению: Сабанеев так запутал следствие, что невозможно отличить доказанных проступков подсудимого от внушающих только подозрение. За такое мнение полевой аудиториат получил высочайший выговор, и дело было передано в главный аудиториат. После 14 декабря Раевского перевезли в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. Следственная комиссия, разбиравшая дело декабристов, нашла, что Раевский непричастен к Тайному обществу, вызвавшему восстание 14 декабря. 13 июля 1826 г., в день казни пяти декабристов, в Петропавловскую крепость приехал дежурный генерал главного штаба и от имени императора Николая предложил Раевскому на выбор: либо принять наказание, предложенное Сабанеевым, — заточение в Соловецком монастыре, — либо подвергнуться новому расследованию; но если при этом расследовании он окажется виновным, то потерпит сугубое наказание. Раевский выбрал второе. Дело его передали в комиссию при крепости Замостье в Царстве Польском, и его увезли в Замостье.

Родители, братья и сестры Раевского мало заботились о судьбе заключенного и боялись даже наводить о нем справки. Один только брат его Григорий, молодой семнадцатилетний корнет в отставке, решил поехать разведывать и хлопотать о брате. Отец его не отпускал. Григорий подчистил старую подорожную и тайно от отца поехал в Одессу. Там подлог раскрылся. Григория арестовали, заподозрили в революционной деятельности и отправили в Шлиссельбургскую крепость. В крепости он сошел с ума. Однако дела не прекратили, присоединили его к делу брата

и отправили Григория в замостыинскую крепость, где в это время находился Владимир. Камеры братьев оказались в одном коридоре. Тут Владимир узнал, что брат его сошел с ума.

Новая комиссия нашла улики против Вл. Раевского мало убедительными и вынесла приговор: «Освободить майора Раевского из заключения, с вознаграждением или без вознаграждения за службу; а ежели за тем остаются какие-либо подозрения, которых из дела не видно, то отправить в свое имение под надзор начальства». Приговор был утвержден командующим войсками Царства Польского великим князем Константином Павловичем. В Петербурге, однако, император Николай приказал еще раз рассмотреть дело комиссии под председательством вел. кн. Михаила Павловича. Михаил Павлович нашел, что поведение Раевского на допросах, его образ мыслей и собранные следствием улики столь важны, что Раевский подлежал бы смертной казни, и предложил лишить его дворянства, чинов, имущественных прав и сослать на поселение в Сибирь. Николай этот приговор утвердил. Сумасшедшего Григория Раевского освободили и отправили в деревню отца под присмотр родственников.

В начале 1828 г. Вл. Раевский прибыл в Сибирь и водворен был в с. Олонках, в шестидесяти верстах от Иркутска. Нужно было чем-нибудь кормиться. Богатый отец, а после смерти его — сестры не высылали ссыльному ни копейки. Раевский был человек энергичный, с сильной волей, не упывавший в самых трудных обстоятельствах. Он начал тяжелую трудовую жизнь. По найму откупщиков развозил по области вино, занимался наймом рабочих на золотые прииски, завел у себя в Олонках мельницу, купил тридцать десятин пашни, пахал землю, торговал хлебом. Женился на крещеной бурятке, имел большую семью.

В 1856 г., по воцарении Александра II, Раевский получил разрешение вернуться в Россию. Съездил, посмотрел — и вернулся в Сибирь. Он был теперь полноправным гражданином, но сестры, опираясь на какие-то формальные причины, отказали ему в его доле наследства после отца. В последние годы жизни Раевского на него обрушился ряд несчастий. Совершенно противозаконно казна удержала внесенные Раевским три тысячи рублей залогом; в самую нужную для его дел пору сын проиграл в карты 1 200 руб.; в одну из дальних поездок по тайге Раевский подвергся нападению разбойников. «Убийцы не dokonчили убийства, но истязали меня жестоко», — рассказывает Раевский. От неосторожности у него обгорела половина тела, и восемь недель он лежал без движения. Ко всем несчастиям стореда и его мельница в Олонках. Больной 73-летний старик остался без средств, опутанный долгами. Он переломил гордость и написал о своем отчаянном положении одной из сестер, прося

их прислать ему взаймы три тысячи рублей и обязуясь отдать их через три года. «Чем скорее я получу, тем более буду благодарен, — писал он. — Если дом мой опишут, для меня места будет достаточно на кладбище, но больная жена, но Сонечка... Я ложусь спать и просыпаюсь, как осужденный». Неизвестно, что ответили сестры. Через пять лет Раевский умер.

В Иркутске Раевский пользовался репутацией человека очень умного, образованного и острого, но озлобленного и ядовитого. Было от чего озлобиться! Но в душе его не погасали идеалы и огни молодости. Пятидесяти с лишним лет он писал дочери:

Я эту жизнь провел не в ликованьи,
Ты видела, на розах ли я спал;
Шесть лет темничною заразою дышал
И двадцать лет в болезнях и в изгнаньи,
В трудах для вас, без меры, выше сил...
Не падаю, иду вперед с надеждой,
Что жизнью тревожной и мятежной
Я вашу жизнь и счастье оплатил.
Иди же вперед, иди к призванию смелое,
Люби людей, дай руку им в пути,
Они слепцы, но, друг мой, наше дело
Жалеть о них и пошу их нести.
Нет, не карай судом и приговором
Ошибки их. Ты знаешь, кто виной,
Кто их сковал железною рукой
И замлеймы и рабством и позором.

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ОХОТНИКОВ

Бывший лубенский гусар, участвовал в наполеоновских войнах, был в плену у французов. С 1821 г. — капитан 32-го егерского полка (дивизии М. Ф. Орлова в Кишиневе), состоял адъютантом при Орлове и до переезда в Кишинев В. Ф. Раевского заведывал кишиневскою ланкастерскою школою. Был членом «Союза благоденствия», вместе с Орловым в качестве делегата 16-й пехотной дивизии принимал участие в январском московском съезде союза в 1821 г. Уже в 1818 г. занимал в рядах «Союза благоденствия» настолько видное место, что к нему был направлен для ознакомления с задачами союза В. Ф. Раевский, только что принятый в Тульчине в Тайное общество. Вышел в отставку в 1822 г. и вскоре умер от чахотки. В «Алфавите декабристов» сказано, что он был одним из деятельнейших членов союза.

Охотников был человек умный, очень образованный и начитанный, так что даже давил друзей ученостью и иногда докучал им своим пе-

дантизмом. Реакционер Вигель называет его изувером и демагогом, сообщает, что он вместе с В. Раевским «с жаром витийствовал» на вечерах у генерала Орлова. В общем, однако, Охотников не любил без нужды говорить и на дружеских собраниях больше молчал. Однажды собралось у Липранди человек десять. Пушкин вступил в ярый спор с В. Раевским. Охотников сидел на диване и молча читал Тита Ливия во французском переводе. Пушкин и Раевский обратились за разрешением спора к Охотникову. Он им в ответ стал читать речь к сенаторам из Тита Ливия и начал: «*Pères conscrits!* (*Patres conscripti* — обычное обращение к римским сенаторам)». Пушкин и Раевский прервали его и продолжали заседать с требованием его мнения. Но Охотников невозмутимо предлагал им выслушать эту знаменитую речь и опять начинал: «*Pères conscrits!*» Однако далее этих слов пойти не мог из-за шума. Пушкин его прозвал после этого «*père conscrit*». Генерал Орлов отзывался об Охотникове так: «Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Иначе оценивал эту нравственную непреклонность Охотникова В. Ф. Раевский, сам не знавший в жизни никаких компромиссов. Он пишет об Охотникове: «Этот человек, получая несколько тысяч в год от отца, тратил на себя одно жалование. Получаемые же деньги были принадлежностью бедных; все несчастные в Кишиневе знали его. Я сам был свидетелем, когда Охотников, не имея денег, продал последний бриллиантовый перстень, подарок короля прусского, дабы обеспечить участь одного израненного и бездомного офицера, служившего с ним вместе в турецкую и французскую войну. Он купил ему виноградный сад и дом близ Кишинева... Самоотвержение Охотникова для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель без личных видов глубоко врезались в груди моей. Я тайно завидовал, что человек почти одних со мною лет так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном — и поклялся истребить последние недостатки в себе самом».

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САБАНЕЕВ

(1772—1829)

Боевой генерал, участник суворовских и наполеоновских войн. В начале двадцатых годов — генерал от инфантерии и командир 6-го пе-

хотного корпуса, одной из дивизий которого командовал М. Ф. Орлов. Штаб корпуса находился в Тирасполе. Деятельность Орлова, Охотникова, В. Раевского и др. привлекла к себе подозрительное внимание Сабанеева. Вигель рассказывает: «Сабанеев, офицер суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола и России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Охотников кстати умер, а Раевский заключен в Тираспольскую крепость... Сабанеев был маленький, худой, умный и деятельный живчик. Не думая передразнивать Суворова, он во многом имел с ним сходство».

В одну из поездок своих с Липранди по Бессарабии Пушкин заехал в Тирасполь. Генерал Сабанеев прислал за ним ординарца с приглашением отужинать у него. Пушкин пришел, был весел, разговорчив даже до болтливости и очень поправился жене Сабанеева. Простое обращение Сабанеева и его умный разговор произвели на Пушкина приятное впечатление. В следующий заезд Пушкина в Тирасполь Сабанеев соглашался дать ему свидание с сидевшим у него в крепости Вл. Раевским, так как знал о их близких отношениях, но Пушкин от свидания уклонился. В 1824 г. в Одессе наместник края гр. М. С. Воронцов устроил у себя костюмированный бал. Сабанеев облекся во фрак, в котором его тщедушная фигура была очень смешна, а на борты фрака и на шею нацепил все имевшиеся у него иностранные ордена, — имел же он их много, так как был начальником главного штаба армии в 1813—1814 гг. и получил их по нескольку от всех союзников. Пушкин был в восторге, что Сабанеев употребил иностранные ордена как маскарадный костюм, и находил, что Сабанеев поступил, «как подобает русскому». Иностранные консулы были очень оскорблены таким изъяснением пренебрежения к их орденам, император, до сведения которого было доведено о поступке Сабанеева, тоже остался недоволен и сделал ему выговор.

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ПУЩИН
(1785—1865)

Помещик Псковской губернии. Участвовал в наполеоновских войнах. При приезде Пушкина в Кишинев командовал в чине генерал-майора бригадой 16-й пехотной дивизии, начальником которой был генерал М. Ф. Орлов. Был человек в коротком обществе любезный и обязательный; Пушкин нередко бывал у него, но особенно близок с ним не был и неоднократно подсмеивался над ним. В шумных беседах радикальной

офицерской молодежи, собиравшейся у Орлова, Пущин, по словам Вигеля, не имел никакого мнения, а приставал всегда к господствующему. «Держать себя в обществе пристойно, — пишет Вигель, — не слишком выставлять себя, говорить недурно по-французски достаточно было тогда, чтобы почитаться образованным человеком; и все эти условия выполнял он. Никогда, бывало, ничего умного не услышишь от него; никогда ничего глупого он не скажет. Он был в числе тех людей, которых иногда называют, но о них никогда не говорят». Пущин был членом «Союза благоденствия», но, как сказано в официальном «Алфавите декабристов», «уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 г.», почему дело его «высочайше повелено было оставить без внимания». Пущин основал в Кишиневе масонскую ложу «Овидий», в которой членом был и Пушкин. Ему Пушкин посвятил пролическое стихотворение, где приветствует вступление «каменщика» (т. е. масона) Пущина на путь Квируги, известного в то время испанского революционера:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога:
Но ты предвидишь свой удел,
Пряжущий наш Квируга!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о, верный брат!
О, каменщик почтенный!
О, Кишинев, о, темный град!
Ликуй, им просвещенный!

В числе привлеченных в ложу членов находился один болгарский архимандрит Ефрем. Масонская ложа помещалась в доме недалеко от собора, на площади, где всегда толпилось много болгар. Они обратили внимание на то, что архимандрит, въехав на огражденный решеткою двор, отправил свою коляску домой. Это привлекло любопытных к решетке, тем более, что в народе уже шла молва, что в доме этом происходит «судилище дьявольское». Вдруг видят: дверь одноэтажного длинного дома открылась, появилась процессия, два человека вели под руки архимандрита с завязанными глазами; спустились по ступенькам крыльца, перешли двор, сошли в подвал, и двери за ними закрылись. Болгары взволновались, бросились к подвалу, выломали двери, с торжеством вывели архимандрита и наперерыв стали подходить к нему под благословение. К вечеру весь город узнал о происшествии, Пушкин один из первых. Рассказывалось много сказок, сильно повредивших Пущину.

В связи с солдатскими волнениями, происшедшими в подведом-

ственном Пушину Камчатском полку, — о чем рассказано в главе об Орлове, — Пуцин был уволен в отставку и переехал в Одессу, где с ним тоже видался Пушкин, а потом поселился в псковском своем имении Жадрицы Новоржевского уезда, недалеко от имения матери Пушкина, с-ца Михайловского. Здесь Пуцин явился главным фабрикатом слухов о ссыльном Пушкине, вызвавших командировку секретного агента Бошняка для расследования этих слухов и, в случае их подтверждения, ареста Пушкина. Бошняк провел у Пуцина целый день, подробно расспрашивал и убедился, что сведения Пуцина о Пушкине «основаны не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках». Повидимому, лично Пушкин с Пуциным в деревне не видались.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЛОГОВСКИЙ
(1775—1852)

Генерал-майор, командир второй бригады дивизии М. Ф. Орлова (первою командовал П. С. Пуцин). Сержантом Измайловского полка он дежурил в качестве ординарца у кабинета Екатерины II в то утро, когда она умерла от удара в своей уборной. Он же стоял на карауле в Михайловском дворце в ночь 11 марта 1801 г., когда задушен был император Павел, и сам принимал участие в убийстве. По уверению императора Александра I, Бологовский приподнял за волосы мертвую голову императора, ударил ее оземь и воскликнул: «Вот тиран!» Бологовский должен был оставить военную службу. В 1812 г., в связи с ссылкой Сперанского, он был выслан в свою смоленскую деревню, однако вскоре возвращен. Участвовал в Бородинской битве и последующих zahraniчных походах, под Лейпцигом был ранен и получил орден.

Пушкин в Кишиневе часто обедал у Бологовского — сначала по зову, но потом был приглашен раз навсегда. Ему нравился и стол хозяина, и его непринужденность в обращении, и умный разговор. Однажды Пушкин позволил себе какую-то бестактную выходку, они чуть не поссорились, но Пушкин откровенно сознался, что причиною было шампанское Бологовского, и они помирились. Пушкин продолжал бывать у Бологовского, однако реже прежнего. «Бологовский, — позднее вспоминал Пушкин, — хотел писать свои записки и даже начал их; в бытность мою в Кишиневе он их мне читал. П. Д. Киселев (начальник штаба второй армии) сказал ему: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» — «Что я видел? — возразил Бологовский. — Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того,

что я видел голую ж... государыню (Екатерины II, в день ее смерти)». Всякого рода пикантности были, повидимому, вообще по вкусу Бологовскому. Впоследствии, в беседе с кн. Вяземским, он брал романы Вальтер-Скотта и ставил много выше их пикантные романы Шодерло-де-Лакло и Луве-де-Кувре. «Это дело другое, — восклицал он, — читая их, так и глотаешь дух их, глотаешь редакцию!»

Пушкин встречался с Бологовским и впоследствии. В 1828 г., в Москве, он однажды кутил в компании с кн. Вяземским, С. Д. Киселевым и Бологовским; дошла их коллективная записка к Толстому-Американцу: «Сейчас узнаем, что ты здесь, сделай милость, приезжай. Упите винами, мы жаждем одного: тебя». В конце тридцатых годов Бологовский был губернатором в Вологде, потом сенатором в Москве. В Вологде он оставил по себе добрую память, старался облегчать участь политических ссыльных; его хлопотами были возвращены сосланные в Вологду журналист Н. И. Надеждин и поэт В. И. Соколовский.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ

(Род. в 1789 — ум. в 50—60-х гг.)

Родился в Москве, был одно время на военной службе, участвовал в Бородинском сражении. Потом жил в Москве, приписался, как принято было, к какому-то ведомству, жил веселою светскою жизнью, увлекался танцами. По протекции отдаленного своего родственника П. Д. Киселева, начальника штаба второй армии, пристроился в 1818 г. на службу в Кишинев к тогдашнему наместнику края Бахметеву. Вигель рассказывает: «С лощеных паркетов, на коих вальсировал он в Москве, Алексеев шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Больших рекомендаций ему было не нужно; его степенный благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева». Когда Бахметев сменил Инзов, Алексеев числился в штате Инзова.

У М. Ф. Орлова Алексеев познакомился с Пушкиным. Пушкин его очень полюбил, они подружились. В 1826 г. Алексеев писал Пушкину: «...мы некогда жили вместе, часто одно думали, одно делали и почти одно любили, иногда ссорились, но расстались друзьями... Часто вспоминаю милого товарища, который умел вместе и сердить и смешить меня». «Алексеев, тогда коллежский секретарь, — рассказывает Липранди, — был вполне достоин дружеских к нему отношений Пушкина. У них были общие знакомые в Петербурге и Москве; и в Кишиневе Алексеев, бу-

дучи старожилом, ввел Пушкина во все общества. Русская и французская литература не были ему чужды. Словом, он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть». Алексеев был человек очень воспитанный и корректный, обладал большим тактом и пользовался общим уважением. Ему удалось отворотить повторение дуэли Пушкина с полковником Старовым, он удержал Пушкина от дикой расправы подсвечником с молдавским боярином Балшем. После землетрясения, повредившего дом Инзова, Пушкин переселился к Алексееву, у него же останавливался, приехав в марте 1824 г. из Одессы в Кишинев.

Н. С. Алексеев был в связи с хорошенькой молдаванкой Марией Егоровной Эйхфельдт, рожденной Мило, прозванной за восточный тип лица «еврейкою». Муж ее был чиновник горного ведомства, сухой и ученый немец, флегматик, равнодушный ко всему и к самой жене своей и равнодушный только к пушшу; он любил засесть с знакомым за стол с поставленным чайником и бутылкой рома. Алексеев крепко любил г-жу Эйхфельдт; чтобы не разлучаться с нею, он отвергал выгодные места в Одессе, лишь бы оставаться в Кишиневе. Пушкина он из ревности боялся познакомить со своею возлюбленной. По этому поводу написано послание к нему Пушкина: «Мой милый, как несправедливы твои ревнивые мечты». В послании этом двадцатидвухлетний Пушкин уверяет друга, что для него, Пушкина, ленивого и равнодушного, уже «прошел веселый жизни праздник», что он «позабыл любви призывы» и что над ним уже невластно томный взор и приветный лепет красавиц молодых. Пушкину, однако, удалось познакомиться с г-жею Эйхфельдт, и ревнивому Алексееву пришлось переживать неприятные минуты. Впоследствии он напоминал Пушкину их «дружеское соперничество и незлобное предательство» и писал: «...несмотря на названия «лукавого соперника» и «черного друга», я могу сказать, что мы были друзья-соперники и жили приятно!»

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ГОРЧАКОВ

(1800—1867)

Родом москвич. Окончил муравьевскую школу колонновожатых. С ноября 1820 г., в чине прапорщика, состоял квартирмейстером при штабе 14-й пехотной дивизии (Орлова). Во время жизни Пушкина в Кишиневе наряду с Н. С. Алексеевым был ближайшим другом Пушкина, его «интимным», как выражается Липранди. «Оба, — рассказывает Липранди, — были неразлучны с Пушкиным, оба были поклонниками поэ-

тических дарований и прекрасной душевной натуры, и Пушкин не оставался к ним равнодушным». Вместе с Горчаковым Пушкин часто бывал у боярина Варфоломея, где оба, кажется, увлекались одно время его хорошенькою дочкою Пульхерией. Алексеев в письме к Пушкину от 1831 г. вспоминает кишиневские времена, когда «Горчаков жертвовал Пульхерии жизнью, откинув страх быть твоим соперником». Сохранилась стихотворная записка, в которой Пушкин, отрезанный в доме Инзова сугробами снега от сообщения с внешним миром, запрашивал Горчакова об ожидавшемся бале у Варфоломея с знаменитым в Кишиневе оркестром Якутского полка:

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградил путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь,
Сию я дома, как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.

Умом и художественным вкусом Горчаков не блистал, но был человек добрейшей души. Никогда не кричал на свою крепостную прислугу. Его современников удивил такой факт: Горчаков ехал зимою в санях, подобрал замерзавшего на дороге пьяного мужика и привез его на станцию.

В 1826 г. Горчаков вышел в отставку и поселился в Москве. Был постоянным посетителем Английского клуба и кружка кишиневского своего приятеля А. Ф. Вельтмана. Пушкин при приездах своих в Москву иногда виделся с Горчаковым. Горчаков любил музыку, пение, был мечтатель и больше жил сердцем. Напечатал несколько очень плохих стихотворений и рассказов. Гр. С. Д. Шереметев вспоминает: «Небольшого роста, с вечно всклокоченными волосами, с густыми черными бровями, из-под которых бойко глядели его добрые, выразительные глаза, в сюртуке довольно поношенном, вижу его, как теперь, на обычном своем месте в малиновой круглой гостиной моей бабушки. Рассказывал он очень хорошо и мог быть очень занимательным, любил поспорить и выражался метко». «Лести в нем совсем не было; — вспоминает другой современник, — всякая подлость, низость, шарлатанство и даже мелкое обиденное светское подличанье возмущали его. По этом непрактическом человеке много было слез пролито; какой-то мужик благословлял его память; лакей из клуба привел своего мальчика поклониться его праху, и мы узнали, что Горчаков учил этого мальчика грамоте».

Горчаков оставил воспоминания о Пушкине — болтливые и растя-

нутые, с длиннейшими, явно сочиненными диалогами; встречаются кой-какие ценные факты, но рядом — сведения очень сомнительного свойства.

АЛЕКСАНДР ФОМИЧ ВЕЛЬТМАН
(1800—1870)

Родился в Москве. Окончил в 1817 г. школу колонновожатых. В 1818 г. офицером генерального штаба приехал в Кишинев для топографических съемок Бессарабского края. Пописывал стихи, в городе пользовались известностью его куплеты на кишиневских обывателей (кажется, это были припевы к молдавскому танцу «джок», цитируемые Липранди); товарищи называли Вельтмана «кишиневским поэтом». В 1820 г. разнеслась весть, что в Кишинев приезжает Пушкин. Вельтман сознается, что приезд Пушкина породил в нем «чувство ревности к музе». Встречаясь с Пушкиным в обществе и у товарищей, он никак не умел с ним сблизиться; для других Пушкин мог казаться в обществе равным, но Вельтману он представлялся недоступным; он удалялся от Пушкина и очень боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал при нем Пушкину: «Вот и он пописывает у нас стихи». Однажды у Липранди Вельтман яро спорил с Владимиром Раевским, доказывая, что нужно в русском языке ввести в употребление у с краткою, например, фамилию «Таушев» произносить как слово, состоящее из двух слогов. Вошел Пушкин, его привлекли к спору, и он высказался против мнения Вельтмана. Вскоре Пушкин узнал, что Вельтман пишет стихи, навестил его и просил что-нибудь прочитать. Вельтман, весь зардевшись, прочитал стихотворную сказку «Янко-чабан». Пушкин во многих юмористических местах хохотал. Через несколько дней Вельтман уехал из Кишинева и на юге больше уже не встречался с Пушкиным. Все вышесказанное сообщает сам Вельтман. Как видим, отношения его с Пушкиным были довольно далекие; незначительный филологический спор с ним незадолго до своего отъезда Вельтман отмечает как «странный случай», сведший его с Пушкиным; они даже не были на «ты, на что Пушкин шел очень легко. Все это заставляет нас отнестись с недоверием к тому, что рассказывает Липранди об отношениях между Вельтманом и Пушкиным. «Пушкин, — сообщает Липранди, — умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцевальных вечеров, но он один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина. Он безусловно не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и

делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не нравилось Пушкину, несмотря на неограниченное его самолюбие. Вельтман делал это хладнокровно, не так, как В. Ф. Раевский. В этих случаях Пушкин был неподражаем; он завязывал с ними спор, иногда очень горячий, с видимым желанием удовлетворить своей любознательности, и тут строптивость его характера совершенно стушевывалась».

В 1831 г. Вельтман вышел в отставку, поселился в Москве и отдался литературной деятельности. Проявился как очень плодовитый беллетрист. Романы и повести его написаны крайне оригинально, необычной манерой, вызывавшей насмешки критики, не отличаются глубиной, но светятся несомненным талантом. Печатал и стихи. До сих пор популярностью пользуется его «Песня разбойника» («Что затуманилась, зоренька ясная?»). Вскоре по приезде Вельтмана в Москву его посетил Пушкин, хвалил его роман «Странник», сказал, что непременно будет писать о нем. Навестил еще несколько раз. Беседы с Пушкиным, по словам Вельтмана, таинственно, скрытно даже для самого Вельтмана, пособили разворачиванию его сил. Пушкин тогда только что женился. Вельтман попросил его показать ему в собрании его жену. Пушкин сказал:

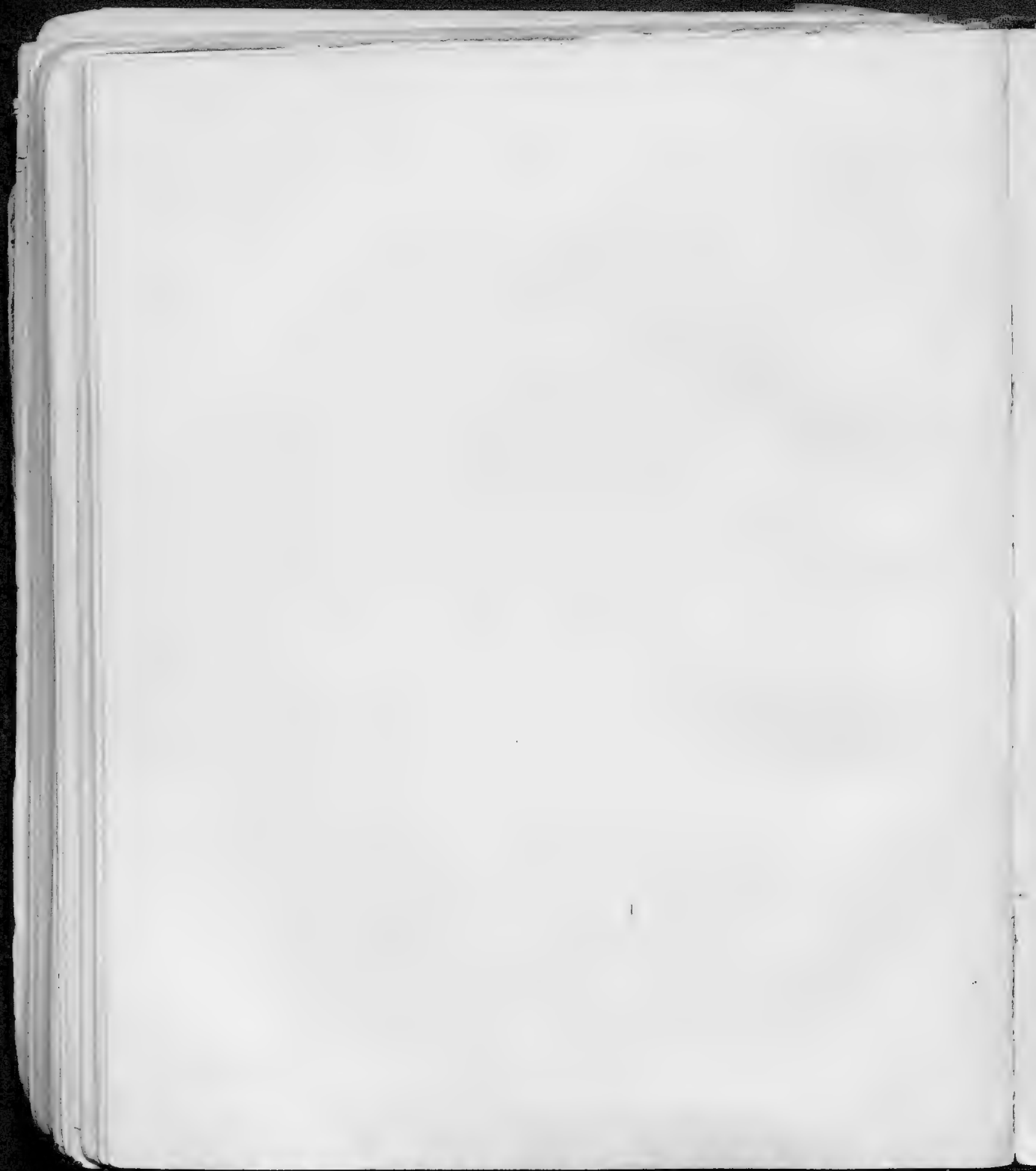
— Пора нам перестать говорить друг другу «вы».

И в первый раз Вельтман сказал на ты Пушкину:

— Пушкин, ты — поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия.

В 1833 г. Вельтман послал Пушкину свой стихотворный перевод «Слово о полку Игореве», предназначая его для несуществившегося тогда журнала Пушкина. В сороковых годах Вельтман пристрастился к археологии и истории, много писал по этим предметам, высказывая блестящие, но совершенно фантастические гипотезы, нисколько не считавшиеся с историческими данными. Умер директором московской Оружейной палаты и тайным советником. Был чудаковатый добряк, всею душою живший в своих беллетристических и археологических фантазиях. Н. В. Берг, знавший его в сороковых годах, рассказывает: «Вельтман был человек в высшей степени милый и симпатичный, с открытой физиономией, как-то оригинально вскакивал с дивана при появлении всякого гостя, бежал к нему навстречу, раскрыв объятия, усаживал, заводил беседу. Был, что называется, душа-человек. В нем, сверх литературного таланта, таились еще многие другие: он делал очень искусно из алебаstra копии небольших античных статуй; играл довольно искусно на гитаре и еще на каком-то изобретенном им инструменте. Ум его был в постоянной работе, он все что-нибудь выдумывал, открывал. Выдумал однажды светильник без фитиля: горело на кончике загнутой тонкой стеклянной трубки одно масло; изобретал сани, которые бы не





знали, что такое московские ухабы... Спорить с Вельтманом было трудно: он никого не слушал и верил, как в бога, в непреложность и непогрешимость своих археологических и исторических открытий. Жили они с женою скромно, но весьма прилично в большой квартире директора Оружейной палаты, у Покрова, в Левшине. Персидские ковры на всяком шагу; чубуки с янтарями, оттоманы; картины с изображениями битв южных славян с турками».

ИВАН ПЕТРОВИЧ ЛИПРАНДИ

(1790—1880)

Загадочная, до сих пор психологически не совсем ясная фигура. Из старинного испанского рода, сын российского чиновника. Служил на военной службе, участвовал в ряде войн начала прошлого века, получил золотую шпагу за храбрость, отмечался в реляциях как «искусный и храбрый офицер». В битве под Смоленском получил тяжелую контузию в колено, от которой страдал периодически в течение всей жизни; страшные боли доводили его до обморока. Знавшие его в молодости говорят, что он был любим и уважаем как товарищами, так и начальниками, называл себя мартинистом, был обожателем Вольтера, знал наизусть философию его и «думал итти прямейшею стязею в жизни. С пламенными чувствами и острым, хотя не всегда основательным умом, он мог вернее других отличать хорошее от дурного, благородное от низкого; презирая лесть, он смеялся над уродами в нравственном мире». После взятия в 1814 г. русскими войсками Парижа с Липранди встречался в Париже Вигель. Липранди был тогда подполковником генерального штаба. «Не весьма обыкновенный человек, — рассказывает Вигель. — У него ровно ничего не было, а житию его иной достаточный человек мог бы позавидовать... Но добытые деньги медленнее приходили к нему, чем уходили. Вечно бы ему пировать. Еще был бы он весельчак — нimalo: он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, он готов был и на одолжения, отчего многие его любили... Ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен... Всякий раз, что заходил я к нему, находил я изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры». Внимание Вигеля привлек один гость с очень

умным лицом, на котором было заметно, что сильные страсти в нем не потухли, а утихли. Это был бывший галерный каторжник с клеймом на спине, а теперь — глава парижских шпионов, знаменитый сыщик Вигель. Вигель перестал бывать у Липранди и недоумевал, — что ему была за охота принимать подобных людей? — Из любопытства, — решил Вигель; — через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа. «После, — пишет Вигель, — я лучше понял причины знакомства его с этими людьми: так же, как они, Липранди одною ногою стоял на ультра-монархическом, а другою на ультра-свободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». Тайна странных знакомств Липранди заключалась в том, что он в то время состоял начальником русской военной и политической полиции в Париже.

Потом у Липранди вышли какие-то неприятности с высшим начальством «по его роду службы». Он был переведен подполковником сначала в Якутский, потом в егерский полк дивизии М. Ф. Орлова, стоявшей в Кишиневе. Декабрист кн. С. Г. Волконский рассказывает: «В уважение его передовых мыслей и убеждений он был принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела Тайного общества, известного под названием «Зеленой книги» («Союза благоденствия»). При открытии в двадцатых годах восстания в Италии Липранди просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии; это ходатайство его было принято как дерзость, и он принужден был выйти в отставку. Выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена Тайного общества, он был коренным другом сослуживца своего по егерскому полку, майора Вл. Ф. Раевского». Вышел Липранди в отставку в ноябре 1822 г. с чином полковника. Вигель в это время опять встретился с ним и рассказывает, что, не зная, куда деваться, Липранди остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету.

Пушкин познакомился с Липранди очень скоро по приезде своем в Кишинев, в сентябре 1820 г., у генерала М. Ф. Орлова. Часто виделся с ним и в Кишиневе, и впоследствии в Одессе. «Он мне добрый приятель, — писал Пушкин, — и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». По мнению Пушкина, Липранди соединял в себе ученость истинную с отличными достоинствами военного человека. Знавшие Липранди в то время в один голос отмечают его неординарность. «Человек вполне оригинальный по острому уму и жизни», — пишет А. Ф. Вельтман. В. П. Горчаков: «Своею особенностью он не мог не привлекать Пушкина; в приемах, действиях, рассказах и образе жизни его много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях». Липранди по-

ражал приятелей то изысканною роскошью, то вдруг презрением к самым необходимым потребностям жизни. У него была прекрасная библиотека, ею часто пользовался Пушкин; любил он и беседовать с Липранди, бывал у него на вечерах, где сходилась наиболее интересная офицерская молодежь — Охотников, В. Раевский, Вельтман, В. Горчаков и др. Немножко играли в экарте и в банк, много беседовали и спорили о самых разнообразных вопросах. Месяца через три-четыре после своего увольнения Липранди был снова принят на службу гр. М. С. Воронцовым, который знал его еще в эпоху занятия Франции русскими войсками. «Вдруг откуда что взялось, — рассказывает Вигель; — в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство!»

Осенью 1824 г. Пушкин был выслан из Одессы в Псковскую губернию и больше, кажется, уже не виделся с Липранди. Дальнейшее течение жизни Липранди было такое: через три года после отставки он был обратно принят на военную службу по квартирмейстерской части. В январе 1826 г. был арестован в Кишиневе по подозрению в принадлежности к Тайному обществу, 1 февраля доставлен в Петербург и помещен на главную гауптвахту. Покровитель Липранди граф Воронцов секретно писал в Петербург, что у него относительно Липранди «сомнение превратилось в явное подозрение». Однако, просидев две-три недели, Липранди был освобожден без всяких последствий, получил, в виде вспомоществования, 2 000 рублей; в декабре, за отличие, произведен в полковники, вскоре снова получил, в виде вспомоществования, 2 000 р. В октябре 1826 г. Н. С. Алексеев писал из Кишинева Пушкину: «Липранди живет попрежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает, откуда берет деньги». В сороковых годах Липранди служил в министерстве внутренних дел, в течение года заведывал слежкой за Петрашевским и его кружком, по представленным им спискам петрашевцы были арестованы. В докладной записке по этому делу Липранди доказывал, что петрашевцы имели в виду посягнуть на самые основы государственного строя и заслуживают сурового наказания. Принимал также деятельное участие в преследовании раскольников. Уже при Александре II подал проект об учреждении при университетах школы шпионов, чтобы употреблять их для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества.

Был ли Липранди шпионом уже во время знакомства своего с Пушкиным — более чем сомнительно. Заведывание в военное время контрразведкою в Париже — это совсем другое. Постоянная смена роскоши

нуждою в жизни Липранди свидетельствует только о неумении его придерживаться денег, что очень свойственно было и Пушкину в течение всей его жизни. А многочисленный ряд фактов определенно говорит против предположения о шпионаже Липранди за время пребывания его в Кишиневе: за попытку поступить в итальянскую революционную армию он поплатился отставкою; он был очень близок с Вл. Раевским и мог бы дать много ценнейших фактов в руки следователей, усердно искавших точных улик против Раевского, — и не сделал этого; о самом Липранди секретные агенты сообщали в Петербург как о человеке неблагонамеренном, расхатывавшем в солдатах дисциплину и подбивавшем их жаловаться генералу Орлову на чинимые обиды; граф Воронцов уж конечно должен был бы знать о секретной деятельности Липранди, если бы она была, — а он сообщал в Петербург, что сомнение насчет Липранди превратилось у него в явное подозрение. Всего вероятнее, агентом Липранди сделался после ареста его по декабрьскому делу, — вот почему его так скоро выпустили и стали засыпать крупными денежными «вспомоществованиями».

К Пушкину Липранди относился с большою любовью. Воспоминания его о Пушкине, написанные в виде примечаний и дополнений к работе Бартенева «Пушкин в южной России», выдаются добросовестностью, точностью и полнотой.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПЕСТЕЛЬ (1792—1826)

Отец его был сибирский генерал-губернатор, прославившийся азиатским самовластием, покрыванием взяточничества и противозаконных действий сибирского чиновничества. Впрочем, сам Пестель-отец, по-видимому, во взяточничестве не был повинен и в 1821 г. оставил службу, имея двести тысяч рублей долгу, который выплачивал до смерти. После отставки он жил в смоленском имении своей жены. Сын его до двенадцати лет воспитывался дома, потом три года жил с воспитателем в Дрездене, в 1810 г. поступил в Пажеский корпус, в следующем году выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк. Участвовал в кампании 1812 г., в Бородинской битве был ранен пулею в ногу с раздроблением костей и повреждением сухожилий, получил золотую шпагу с надписью «за храбрость». Через девять месяцев, с еще незажившею раной, из которой продолжали выходить косточки, отправился в армию графа Витгенштейна. Вскоре он был назначен к нему адъютантом, при нем проделал кампанию 1813—1814 гг., участвовал во многих сражени-

ях, получил ряд орденов. Потом служил в кавалергардском полку, в армейских гусарских. В 1821 г., в чине полковника, был назначен командиром Вятского пехотного полка, стоявшего на юге, в расположении 2-й армии, которую командовал тот же Витгенштейн.

Пестель был членом и «Союза спасения», и «Союза благоденствия», и образовавшегося на его развалинах Тайного общества. Он был одним из директоров Южного тайного общества, самым деятельным и энергичным его членом. «Мне казалось, — писал Пестель в своих показаниях, — что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными... Я сделался в душе республиканцем и ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении. Когда с прочими членами рассуждал я о сем предмете, входили мы в такое восхищение и, сказать можно, восторг, что готовы были предложить все то, что содействовать бы могло к полному введению и совершенному укреплению сего порядка вещей». В Тайном обществе Пестель занимал наиболее левую позицию. Он стоял за республику, за уничтожение царской фамилии, за отмену крепостного права и полную отмену всяких сословных привилегий, за уравнивание в правах всех граждан, частичную национализацию земли, прирезку крестьянских наделов; но оставлял частную собственность на землю и представлял себе будущее благоденствие России основанным на крепком, цветущем хозяйстве крестьянина-фермера.

Путь к достижению цели Пестель видел в военном перевороте и, подобно всем декабристам, очень опасался гражданской войны и вмешательства в борьбу самих народных масс. «Мы обращали, — писал он, — большое внимание на устройство и предупреждение всякого безначалия, беспорядка и междоусобия, коих я всегда показывал себя самым ревностнейшим врагом».

Пестель был невысокого роста, брюнет, черноглазый, с толстыми губами. Был он человек большой образованности, огромного ума и стальной воли. Его начальник граф Витгенштейн, главнокомандующий 2-й армией, отзывался о нем: «Пестель на все годится: дай ему командовать армией или сделай его каким хочешь министром, он везде будет на своем месте». И корпусный командир Пестеля говорил: «Удивляюсь, как Пестель занимается шагистикой, когда этой умной голове только и быть министром, посланником!» Работоспособность его была огромна: энергично руководя важнейшими делами Тайного общества, он в то же время легко, как бы спустя рукава, держал свой полк на высоте самых строгих тогдашних требований. Знавшие Пестеля удивлялись его памя-

ти, его начитанности, — чего он только не прочел! — его уму, прямому и острому, как шпага. Павлов-Сильванский так характеризует свойство ума Пестеля: «Вера в силу логики, в математическую точность логических заключений, вера в силу разума составляли отличительные свойства его ума. Истинный сын своего времени, великой революционной эпохи, он, подобно якобинцам и родственному им по духу Наполеону, верил в торжество идеи и в возможность осуществления своего идеала резким, насильственным путем, вопреки каким бы то ни было условиям времени и места». Холодный, несокрушимо-логический ум соединялся у Пестеля с фанатически-горящей душой. Умом своим, глубокою убежденностью, не знающею колебаний волею он оказывал на людей влияние неодолимое. Они часто подчинялись ему против желания, почти гипнотически. Слабые люди обвиняли Пестеля в надменной власти, в желании играть первую роль, в честолюбии, в требовании слепого повиновения, — обычные обвинения против революционных вождей, стремящихся к единству и целеустремленной деятельности партии.

Пестель был арестован 13 декабря 1825 г., накануне петербургского восстания, по доносу одного из ротных командиров его полка, капитана Майборода, неосторожно принятого Пестелем в общество. Пестель законным путем был отведен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. На допросах он решительно отрицал все взводимые на него обвинения. Священник Мысловский, назначенный увещать арестованных декабристов, пишет о Пестеле в своих воспоминаниях: «Сей преступник есть отличнейший в сонме заговорщиков как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа. Быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный. Никто из подсудимых не был спрашиван в комиссии более его, никто не выдерживал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его. В комиссии всегда отвечал он с видною гордостью и с каким-то самомнением». Однако до конца не выдержал и Пестель. Когда из предъявляемых вопросов он убедился, что полностью выдан товарищами, он стал откровенно отвечать на все вопросы, а когда ему дано было понять, что чистосердечным раскаянием он может заслужить прощение и свободу, Пестель через генерала Левашова написал Николаю униженное письмо, где молил его о милости и сострадании и клялся каждый миг своей жизни посвящать признательности и безграничной преданности его священной особе и его августейшей фамилии. М. Н. Покровский склонен думать, что это письмо было со стороны Пестеля только маневром: как тридцать лет спустя Бакунин, Пестель думал перехитрить царя и получить свободу для возможности дальнейшей деятельности. 13 июля 1826 г. Пестель

с четырьмя другими главарями заговора был повешен. В ноябре того же года агент по тайным государственным делам Станкевич доносил начальству: «Все нижние чины и офицеры Вятского полка неприменно жалуют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да и еще чего-то лучшего ожидали; и стоит только вспомнить кому из военных Пестеля, то вдруг всякой со вздохом тяжким и слезами отвечает, что такого командира не было и не будет».

Пушкин познакомился с Пестелем в 1821 г. Весною этого года, будучи подполковником Мариупольского гусарского полка, Пестель был командирован штабом второй армии в Бессарабию, на границу Валахии, для собрания сведений о греческом восстании, его причинах и ходе. 9 мая 1821 г. Пушкин писал в дневнике: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Мое сердце материалистично, — говорит он, — но ум мой от этого отказывается». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Они виделись еще несколько раз. 26 мая, в день рождения Пушкина, Пестель посетил его вместе с П. С. Путиным и Н. С. Алексеевым. В общем Пестель не возбудил к себе в Пушкине симпатии. Пушкин говорил Липранди, что Пестель ему не нравится, и что, несмотря на его ум, никогда бы с ним не мог сблизиться. За обедом у М. Ф. Орлова Пушкин, как будто не зная, что Пестель сын сибирского генерал-губернатора, спросил его:

— Не родня ли вы сибирскому злодею?

Орлов улыбнулся и погрозил Пушкину пальцем.

Результатом поездки Пестеля в Бессарабию был его доклад императору с подробным и точным изображением причин и хода греческого восстания; в докладе он, между прочим, говорил, что гетерия играла в этом восстании такую же организующую роль, какую в Италии играют карбонарии. Это справедливое и чисто фактическое указание Пестеля дало впоследствии Пушкину повод написать в дневнике (24 декабря 1833 г.), что Пестель «предал гетерию, представя ее императору Александру отраслью карбонаризма».

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВ

(1792—1835)

Младший брат генерала М. Ф. Орлова, полковник лейб-гвардии уланского полка. Поступил на военную службу в 1805 г. В январе 1812 г. сильно проигрался и решил застрелиться; нарядился, стал перед трюмо и выстрелил себе в лицо; но в пистолет он всыпал слишком мно-

го пороху, — пистолет разорвало, пуля прошла через подбородок в шею; шрам остался на всю жизнь. Боевой офицер, георгиевский кавалер, в битве под Бауценом в 1813 г. потерял ногу и ходил на деревяшке. Ростом был великан. Удалец, кутила и игрок. За жизнь свою проиграл более миллиона рублей. В кутежах и картах спустил все состояние и под конец жил на иждивении родственников. Он числился по лейб-уланскому полку в бессрочном отпуске и осенью 1820 г. приехал погостить в Кишинев к брату М. Ф. Орлову. Однажды после обеда, наскучив слушать споры брата с Охотниковым о политической экономии, он пригласил Липранди и местного почтмейстера, отставного драгунского полковника А. П. Алексеева, отправиться куда-нибудь, где веселее. Прихватили и Пушкина. Пушкин одинаково любил и споры о политической экономии, и веселое времяпрепровождение с лихими офицерами. Отправились в трактир. Играли на бильярде, пили жженку вкруговую. За второю вазою жженки Пушкин развеселился, стал мешать другим играть и путать на бильярде шары. Орлов назвал его школьником, а Алексеев прибавил, что школьников проучивают. Пушкин вскипел, бросился к бильярду и разбросал шары. Началась перебранка. Кончилось тем, что Пушкин вызвал обоих полковников на дуэль, а в секунданты пригласил Липранди. Условились в десять часов утра собраться у Липранди. Липранди пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой Пушкин, немного отрезвев и остыв, начал бранить себя за свою арабскую кровь. Липранди сдержанно заметил, что главное дело — причина не совсем хорошая, и нужно бы дело замять. Пушкин остановился и воскликнул:

— Ни за что! Я докажу им, что я не школьник!

— Оно все так, — возразил Липранди, — но все-таки будут знать, что всему виною жженка.

Пушкин молчал, а, подходя к дому, сказал:

— Скверно, гадко! Да как же кончить?

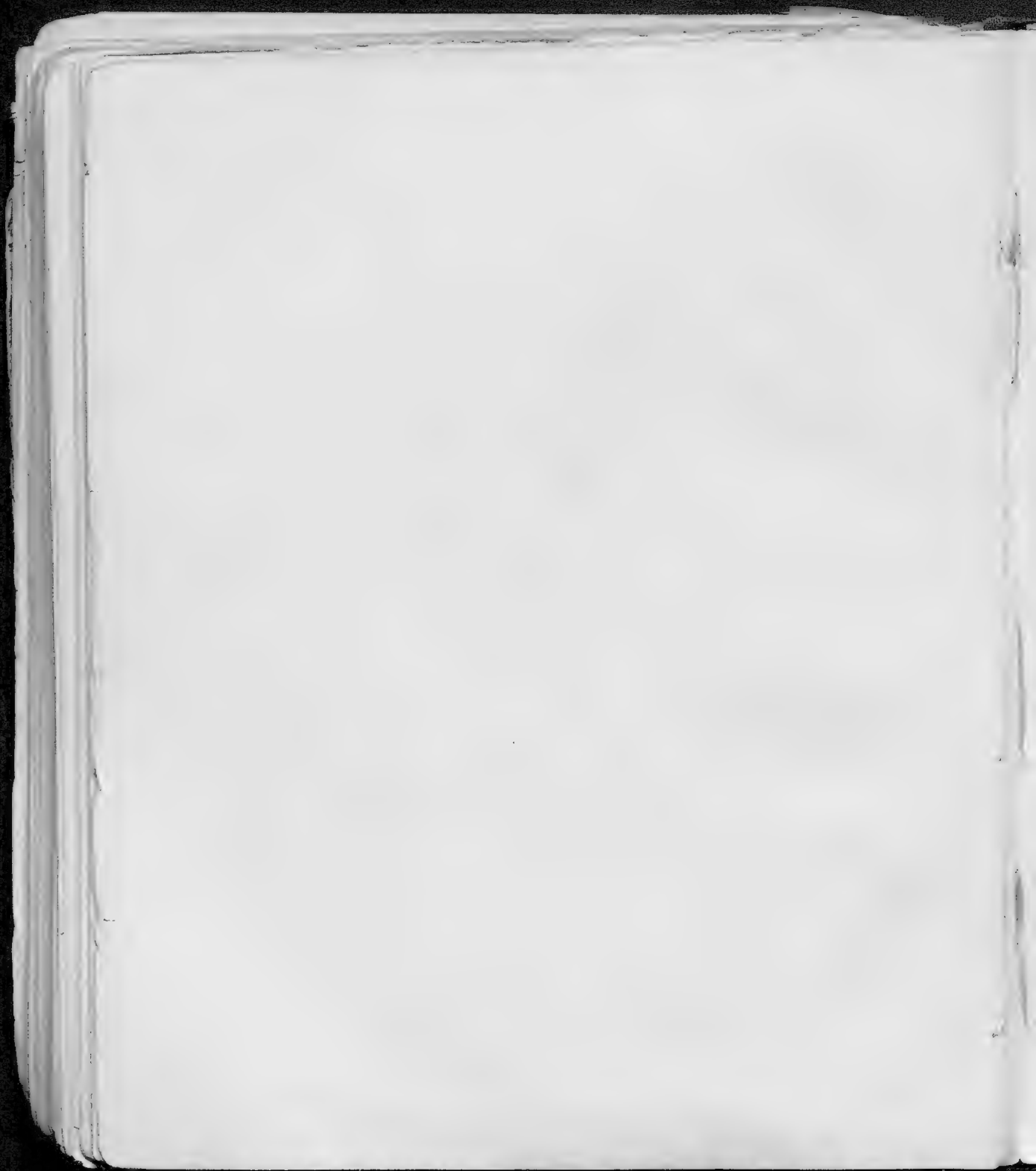
— Очень легко. Не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они приедут с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает.

Пушкин долго молчал и, наконец, сказал по-французски:

— Это басни! Они никогда не согласятся. Алексеев, может быть, — он семейный, но Теодор — никогда: он обрек себя на натуральную смерть; все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим.

Всю ночь Липранди не спал и рано утром поехал к Орлову и Алексеву; они как раз собирались к Липранди посоветоваться, как бы окон-





читать эту глупую историю. Условились, что к десяти часам они придут к Липранди и предложат Пушкину забыть случившееся. Орлов только не верил, что Пушкин согласится. Липранди воротился домой. Пушкин уже проснулся. Липранди сообщил ему о результатах своих переговоров. Пушкин взял его за руку и просил сказать откровенно, не пострадает ли его честь, если он согласится на примирение. Липранди повторил то, что говорил вчера: раз те просят мира, то чего же больше желать? Пушкину не верилось, чтобы Орлов отказался от такого прекрасного случая подраться. Но когда Липранди объяснил, что Федор Федорович не хотел бы делом этим доставить неприятности брату, Пушкин успокоился. Он только страдал, что столкновение случилось за бильярдом, при жженке.

— А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!

Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Помирились и отправились обедать к Алексееву.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ

Кишиневский областной почтмейстер, драгунский полковник в отставке, гсоргиевский кавалер. Он всегда просил начальство, чтоб его не повышали в чине, так как с повышением в гражданский чин, по тогдашнему положению, он лишался военного мундира; а он до того любил свой отставной драгунский мундир и золотую саблю, что всюду являлся не иначе, как одетым в полную форму. Пушкин с наслаждением слушал его рассказы как участника битв при Бородине и на высотах Монмартра.

СЕМЕН НИКИТИЧ СТАРОВ

Командир одного из егерских полков дивизии М. Ф. Орлова, боевой, очень храбрый офицер, малообразованный. У него вышла с Пушкиным история, хорошо рисующая тогдашние фантастические понятия военных о «честь». В кишиневском казино танцевали. Пушкин с А. П. Полторацким и другими приятелями условились начать мазурку. В это время молодой офицерик-егерь из полка Старова скомандовал играть кадрили. Пушкин перекомандовал:

— Мазурку!

Офицер повторил:

— Играй кадрили!

Пушкин, смеясь, опять крикнул:

— Мазурку!

Музыканты знали Пушкина как постоянного посетителя и, хотя сами военные, исполнили приказ его, а не офицера.

Полковник Старов пришел в негодование, подозвал офицера и предложил ему потребовать у Пушкина объяснения. Офицер смутился.

— Но как же, г. полковник, я буду говорить с ним? Я его совсем не знаю.

— Не знаете? — сухо ответил Старов. — Ну, так и не ходите. Я за вас пойду.

И пожилой, солидный человек, заступаясь за «честь» своего полка, подошел к Пушкину и вызвал его на дуэль. Пушкин ответил, что всегда к его услугам, и продолжал танцевать.

Дуэль была назначена на следующий день, в девять часов утра. Пушкин пригласил в секунданты приятеля своего Н. С. Алексева. Погода была ужасная: метель до того была сильна, что в нескольких шагах ничего не было видно, к тому же довольно сильно морозило. Пушкин горел нетерпением и непременно хотел приехать на место поединка первым. Дуэль происходила в урочище Малына, в двух верстах от Клиппинева. Барьер был на шестнадцать шагов. Пушкин стрелял первый и промахнулся. Старов тоже дал промах и предложил сдвинуть барьер. Пушкин сказал:

— И гораздо лучше, а то холодно.

Секунданты предложили помириться. Оба отказались. Застывшие от холода пальцы секундантов с трудом зарядили пистолеты снова. Барьер сдвинули до двенадцати шагов. Опять два промаха. Противники потребовали еще сблизить барьер, но секунданты решительно воспротивились. И Старов, и Пушкин опять отказались помириться. Решено было отложить дуэль до более благоприятной погоды. На обратном пути Пушкин заехал к Полторацкому, не застал его дома и оставил записку:

Я жив,
Старов
Здоров,

Дуэль не кончен.

В тот же день Липранди, знавший о дуэли, отправился к Старову, старому своему сослуживцу, и стал уговаривать его кончить дело.

— Как это пришло тебе в голову сделать такое дурачество в твои лета и в твоём положении?

— Сам не знаю, как все это вышло. Я не имел никакого намерения, когда подошел к Пушкину, да он, братец, такой задорный!

— Но согласись, с какой стати было тебе, самому не танцующему,

вмешиваться в спор двух юношей, из коих одному хотелось мазурку, другому вальса?

Старов стал соглашаться, что вмешиваться, пожалуй, не следовало, однако, раз так уже случилось, он считал ниже своего достоинства идти на примирение и просил через Алексеева предложить Пушкину стреляться в клубной зале. Липранди боялся, что Пушкин ухватится за эту мысль и поспешил передать весь разговор Н. С. Алексееву. Алексей обещал в тот же день повидаться со Старовым. Вечером Пушкин был у Липранди как ни в чем не бывало, так же весел, такой же спорщик со всеми, как и прежде.

Алексееву, хладнокровному и тактичному, удалось, хотя и с трудом, уговорить Старова не настаивать на продолжении дуэли. Противники, как будто нечаянно, сошлись в ресторации Николети и помирились. Пушкин сказал:

— Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение.

— И хорошо сделали, Александр Сергеевич, — ответил Старов. — Этим вы еще более увеличили мое уважение к вам. И я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете.

Насчет последнего Старов был мало компетентным экспертом, он Пушкина ничего даже не читал, а только знал, что Пушкин — «автор». Но слова Старова очень тронули Пушкина, и они дружески обнялись.

Липранди заметил у Пушкина как будто тайное сожаление, что ему не удалось подраться с полковником, известным своею храбростью. Однажды как-то Алексеев сказал Пушкину, что он ведь дрался со Старовым, так чего же он хочет больше? Пушкин, с обычною ему резвостью, сел Алексееву на колени и сказал:

— Ну, не сердись, не сердись, душа моя!

Вскочил, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел.

Слухи о дуэли и последовавшем примирении распространились по городу в самом превратном виде. Одни рассказывали, что Пушкин испугался повторения дуэли и просил у Старова извинения, другие сообщали, что Пушкин выдержал выстрел Старова, сам выстрелил в воздух и потом сказал:

Полковник Старов,
Слава богу, здоров!

Для через два после примирения Пушкин играл на бильярде в ресторации Николети. В той же комнате толпа молдаванской молодежи разговаривала о его дуэли со Старовым, превозносила Пушкина и по-

рицала Старова. Пушкин вспыхнул, бросил кий и подошел к разговаривавшим.

— Господа, — сказал он, — как мы кончили со Старовым, это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать Старова, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет иметь дело со мною!

Тупоголовый вояка, легко могший оборвать свою пулею деятельность Пушкина на «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане», под старость сознавался, что дуэль его с Пушкиным — одна из самых капитальных глупостей в его жизни.

КАЛИПСО ПОЛИХРОНИ

В середине 1821 г. в Кишинев приехала бежавшая из Константинополя вдова логофета, гречанка Полихрония. Во время бегства она потеряла все, что имела, и жила в Кишиневе в двух бедных комнатках. Вскоре она прославилась как волшебница, умевшая привораживать сердца жестоких красавиц и холодных мужчин к тем, кто их любил без взаимности. Старуха садилась в старинные кресла, брала в руки длинную белую палку, а на голову надевала скуфью из черного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами. Постепенно начинала приходить в волнение; по телу пробегал трепет, она быстрее поворачивала прут, произносила какие-то страшные слова, седые волосы на голове становились дыбом, так что черная шапочка шевелилась на ней. Придя в себя, она объявляла клиенту, что дело сделано, что неумолимая отныне в его власти.

У старухи была молодая дочь Калипсо. Была она невысокого роста, худощавая, с красивыми правильными чертами лица, но с длинным, загнутым вниз носом, как бы сверху до низу разделявшим лицо; волосы были густые и длинные, глаза необыкновенной величины, огненные и сладострастные, подведенные сурьюю. Кроме греческого и турецкого языков, она хорошо говорила по-арабски, по-молдавски, по-французски и по-итальянски. У девушки был нежный, мелодический голос; под аккомпанемент гитары она пела, — по-восточному, в нос, — заунывные турецкие песни, то сладострастные, то ужасные и мрачные, сопровождая их выразительной мимикой и жестами. Ходили слухи, что Калипсо впервые познала любовь в объятиях Байрона, когда он был в Греции. В обществе она мало показывалась, но дома радушно принимала. Строгостью нравов не отличалась. Романтическая экзотика, окружавшая дочь и мать, должна была нравиться Пушкину, любившему все, выхо-

дящее из рамок обыденности. Одно время он сильно увлекался Калипсо, — об этом свидетельствует и «дон-жуанский список» Пушкина, в который из всех кишиневских увлечений он внес только два имени — Калипсо и Пульхерию. К Калипсо обращены стихи Пушкина «Гречанке»:

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистанием зеркальных очей
И этой пожкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для уноения страстей.

Скажи: когда певец Леплы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал, —
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальней стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал, плб видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине?
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал?
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было;
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустью томим,
Боюсь: неверно все, что мило.

Через несколько лет Калипсо умерла от чахотки.

ПУЛЬХЕРИЦА ВАРФОЛОМЕЙ

Отец ее, Егор Кириллович Варфоломей, молдаванин, владел обширными поместьями в Бессарабии, был членом верховного областного суда, председателем палаты и откупщиком всего края. Он жил открыто, к небольшому свосму дому пристроил огромную танцевальную залу, разрисовал ее под трактир и давал в ней балы за балами. У него был

собственный оркестр из крепостных цыган, славившийся на весь Кишинев. Подвернув под себя ноги, Варфоломей, как паша, сидел на диване с чубуком в руках и встречал гостей приветливым: «Пофтим (просим)!» Разговаривать он с ними не умел, во время танцев сидел молча, попыхивал чубуком и с наслаждением глядел на танцующих. Жена его была говорливая и радушная. У них был дочка Пульхерия — полная, круглая, свежая девушка, очень красивая. В 1818 г. Кишинев посетил император Александр I, бессарабское дворянство дало ему бал. На балу этом император, большой любитель женской красоты, отличил Пульхерицу, одну ее из всех девиц пригласил на польский и задал несколько вопросов. Была она довушка наивная, простодушная и молчаливая. На все вопросы отвечала только милой улыбкой, никем особенно не увлекалась, на балах со всеми кавалерами танцевала с одинаковым удовольствием, всех одинаково любила слушать. Когда кто пробовал объяснить ей в любви, она прерывала его словами:

— Ah, quel vous êtes! Qu'est ce que vous badinez!

Хорошо танцевала, была в Кишиневе общей любимицей. Про нее сложен был такой припев к молдавскому танцу джок:

Пульхерица легконожка,
Кишиневский паш божок,
Встань, голубушка, немножко,
Пропляши с бабакой¹ джок!

Пушкин одно время сильно, повидимому, увлекался Пульхерицей, — по словам А. Ф. Вельтмана «девственной ее красе посвятил несколько восторженных стихов». Полагают, что к ней обращено стихотворение Пушкина «Дева»:

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой;
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Нию замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастья, наперсники судьбы
Смирненно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

Нельзя не признать, что многое в этом стихотворении очень подходит к Пульхерице. Вельтман гротескными чертами обрисовывает Пульхерицу как бездушный заводной механизм-автомат, обтянутый лайкой, — не существо, а вещество. Странно, что Пушкин мог увлечься подобной

¹ Бабака — папаша.

куклой, притом и красоты-то вовсе не такой уж исключительной. Пушкин, — между прочим, и в Кишиневе, — влюблялся много и часто, между тем в «дон-жуанском» своем списке вспомнил только два кишиневских женских имени, и одно из них — имя Пульхерии. Видимо, она оставила в его сердце прочную память, какой не могла бы оставить смешная вельтмановская подделка под человека. Пушкину нравилась девственная чистота Пульхерицы, ее простодушие и доброта, сердце, не знавшее ни зависти, ни желаний, а «гордое» равнодушие ее к влюбленным мольбам только усиливало влечение к ней.

Все старания отца выдать дочь замуж разбивались о холодность и равнодушие Пульхерицы. Отец был принужден влюбиться вместо дочери в В. П. Горчакова, приятеля Пушкина, но Горчаков не прельстился несколькимистами тысяч приданого и бессарабскими поместьями. Варфоломей уверял:

— Мусье Горчаков, вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам!

— Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить.

— Поверьте мне, что она вас любит!

Но Горчаков не верил клятвам отцовским.

Только лет через десять-двенадцать, когда про Пульхерицу пели в джоке уже не «кишиневский наш божок», а «устаревший наш божок», она вышла замуж за бывшего греческого консула в Одессе Мано.

ТОДОРАКИ БАЛШ

Молдавский боярин, во время гетерии бежавший в Кишинев из Ясс, столицы Молдавии. Молдавия и Валахия, впоследствии соединившиеся в одно государство — Румынию, пахотились в то время под протекторатом Турции. Более столетия обеими странами управляли поставленные турками греки-фанариоты (Маврокордато, Гика, Мурузи, Караджа, Суцо и др.). Они возбуждали неистовую ненависть к себе населения корыстолюбием, хищениями, отсутствием забот об управляемом народе, пренебрежением к румынской национальности, стремлением эллинизировать население; туземное боярство негодовало на устранение его от участия в управлении страной. В 1822 г. отправлена была в Константинополь депутация с ходатайством, чтобы господам обоих княжеств избиралась общим собранием дивана из местных, туземных бояр. Инициатива посылки депутации и главная руководящая в ней роль принадлежала Тодораки Балшу. Порты удовлетворила ходатайство. Имя Балша вошло

в историю Румынии как одного из деятелей национального ее освобождения. Впоследствии Балш был главнокомандующим (гетманом) молдавских войск.

У Пушкина с Балшем и его женою вышла дикая история, рисующая взбудораженно-мутную хаотичность душевного состояния, которую переживал «бес-арабский» Пушкин в кишиневский период своей жизни. Никогда, ни раньше, ни позже, не писал он таких циничных до пошлости эпиграмм (на Аглаю Давыдову, на кишиневских дам), никогда не проявлял такой прямо болезненной раздражительности, доходившей до полной разнузданности. Жена Балша Мариола была дочь молдавского «великого ворника» Богдана, казненного за вымышленное преступление господарем-фанариотом Мурузи. Она была женщина лет под тридцать, довольно пригожа, чрезвычайно остра и словоохотлива; хорошо говорила по-французски. Пушкин любил с нею болтать и доходил иногда до речей весьма свободных; это ей нравилось, и она не оставалась в долгу. До какой точки дошли их отношения,—неизвестно. Но Пушкин вскоре увлекся другою дамою, более красивою и интересною. Мариола надулась на Пушкина, при каждом удобном случае старалась его уколоть. Он сделался с нею сдержаннее и стал демонстративно ухаживать за ее тринадцатилетнею дочерью Аникой, такой же острой на словах, как мать. Мариола увидела в этом желание Пушкина подчеркнуть ее возраст, показать, что она имеет уже взрослую дочь, и еще больше озлобилась на Пушкина. Тогда в обществе много говорили о ссоре двух молдаван; им следовало драться на дуэли, но они не дрались. Липранди как-то заметил:

— Чего от них требовать! У них в обычае нанять несколько человек да их руками отдубасить противника.

Пушкин очень над этим потешался. Однажды, в 1822 г., на масленице, на вечере у вице-губернатора Крупянского, сидя рядом с Мариолой, он сказал:

— Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя!

Г-жа Балш обиделась за молдаван, вспыхнула и ответила:

— Да вы лучше деритесь за себя.

— С кем же?

— Вот хоть с Старовым; вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили.

Пушкин возразил, что, если бы на ее месте был ее муж, он сумел бы поговорить с ним. Отозвал Балша от карточного стола и потребовал от него удовлетворения. Балш пошел расспросить жену. Та ему сообщила, что Пушкин наговорил ей дерзостей. Балш воротился к Пушкину и с негодованием сказал:

— Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену?

Пушкин пришел в бешенство, схватил подсвечник и замахнулся на Балша. Подоспевший Н. С. Алексеев успел его удержать. На следующий день, по настоянию Крупянского и генерала Пущина, Балш согласился извиниться перед Пушкиным. Крупянский вызвал к себе Пушкина. Балш высокомерно сказал:

— Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам угодно?

Пушкин, не говоря ни слова, дал ему пощечину и вслед за этим вынул пистолет. От Крупянского Пушкин пошел на квартиру к генералу Пущину, где его видел В. П. Горчаков, бледного, как полотно, и улыбающегося.

Наместник Ив. Н. Инзов посадил Пушкина на две недели под арест. Пушкин, видимо, несколько не считал себя неправым и из-под ареста писал приятелю (повидимому, Н. С. Алексееву):

Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом
И не видался я
Давно с моим Орестом.
Спаситель молдаван,
Бахметева наместник,
Законов провозвестник
Смиренный Иоанн,
За то, что яский пап,
Известный наш болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородею,
И трус, и грубиян,
Побит немножко мною,
И что бояр пугнул
Я новою тревогой,
К моей камерке строгой
Приставил караул.

Долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия, на улицах вынимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым.

АРТЕМИЙ МАКАРОВИЧ ХУДОВАШЕВ

Маленький старичок-армянин, с огромным носом, кособокий. Служил почтмейстером в Одессе, но однажды его чем-то обидел козел, и он, забыв свой сан, вступил в открытый бой с козлом на площади перед

театром; бой этот наблюдал с балкона своего дворца генерал-губернатор граф Ланжерон с семейством. Худобашеву пришлось переселиться в Кишинев. При гр. Воронцове он был чиновником особых поручений для Кишинева.

Прочитав «Черную шаль» Пушкина, Худобашев очень был возмущен стихом:

Неверную деву лобзал армянин.

Он видел тут насмешку над армянами. Ругал Пушкина и говорил возражавшим:

— Что за важность! И мой брат Александр Макарыч тоже автор!

Пушкин познакомился с Худобашевым и потешался над ним вдоволь. Худобашев очень любил говорить по-французски, при этом гнул и беспощадно коверкал язык. Пушкин не иначе говорил с ним, как по-французски, уверил его, что «Бавария» будет по-французски не «Bavière», а «Bavars». Шутники за тайну сообщили Худобашеву, что под армянником в «Черной шали» Пушкин разумел его, Худобашева. Это очень польстило Худобашеву, и он давал понимать, что, правда, отбил кого-то у Пушкина. Пушкин не давал ему проходу и, как только увидит, начинал читать «Черную шаль». Дело завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван, садился на него верхом и приговаривал:

— Не отбивай у меня гречанок!

Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником. Пушкин говаривал, что, когда ему грустно, он ищет встречи с Худобашевым, который всегда «отводит его душу», и при каждой встрече обнимался с ним.

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЛАНОВ

Старший член управления колониями, статский советник. Старик за шестьдесят пять лет, приземистый, с большим брюхом, лысый, широкое лицо с красным носом дышало важностью и самодовольством. Он часто обедал у своего начальника генерала Инзова и встречался за столом с Пушкиным. Чинуша, пропитанный глубочайшим чиновничьим, никак не мог переварить, что какой-то коллежский секретарь Пушкин совершенно независимо держится не только с ним, статским советником, но даже с самим генералом от инфантерии Инзовым. Он высокомерно оглядывал Пушкина и в общем разговоре совершенно не удостаивал вниманием того, что говорил Пушкин. Однажды Ланов с важностью ора-

торствовал за столом, что самое лучшее средство от всех болезней — вино, что один его знакомый секретарь заболел не более, не менее как чумой, выпил четверть водки, — и все как рукой сняло.

Пушкин, сдерживая смех, сказал:

— Может быть, но только позвольте усомниться.

— Да чего тут позволять! Раз я говорю так, — значит, так! А вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

— Почему?

— Потому, что между нами есть разница.

— Какая?

— Та, что вы еще молокосос.

— А, понимаю! Верно: есть разница. Я — молокосос, а вы — виносос.

Обед в это время кончался. Инзов улыбнулся и ушел к себе. А Ланов вспомнил, что он когда-то был адъютантом у Потемкина, и вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин в ответ только хохотал. Ланов настаивал. Воротился Инзов, узнал о вызове и уговорил Ланова взять его обратно. Если Ланов требовал от коллежского секретаря уважения к себе как к статскому советнику, то и сам умел оказывать уважение генералу от инфантерии. Он исполнил желание Инзова. Пушкин был рад, потому что такая смешная дуэль его вовсе не привлекала. После этого Инзов устроил так, что Пушкин за его столом не встречался с Лановым.

ИРИНЕЙ НЕСТЕРОВИЧ

(1785—1864)

Архимандрит, ректор кишиневской семинарии. Инзов, заботясь о религиозно-нравственном просвещении Пушкина, просил о. Иринея почаще беседовать с Пушкиным и наставлять его. Однажды, в страстную пятницу, зашел Ириней к Пушкину. Пушкин сидит и что-то читает. Ириней спросил:

— Чем это вы занимаетесь?

— Да вот, читаю историю одной особы...

Это рассказывала некоему Мацеевичу племянница Ириней, П. В. Дыдицкая. «Или нет, — поправилась Дыдицкая, — помню, еще не так он сказал, не особы, а читаю, говорит, историю одной статуи». Мацеевич замечает: «Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить этот рассказ, и она все говорила одно: историю одной статуи. Что хотел выразить этим Пушкин?»

Ириней посмотрел в книгу, — это было евангелие. Он пришел в ярость.

— Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!

И уехал. Пушкин испугался, на следующий день отправился в семинарию к племяннице Ириней:

— Так и так, — говорит, — боюсь, чтобы ваш дядя не донес на меня. Попросите вашего дядю.

— Зачем же вы так нехорошо сделали?

— Да так, — само как-то с языка слетело.

Дыдицкой удалось отговорить дядю.

Ириней был по происхождению полу-серб, полу-молдаванин. Крепкий, худошавый брюнет среднего роста, с огненными глазами, с крупно-волнистыми, блестящими волосами. Можно удивляться, что монах не донес на Пушкина за его концунственный отзыв об евангелии. Впоследствии сам он с гордостью писал о другом своем доносе, на Вл. Ф. Раевского, и хвалился, что первым открыл «зловредное для государства учение, которое преподавал Раевский юнкерам в военном бессарабском лицее».

В 1826 г. Ириней был назначен епископом в Пензу, в 1830 переведен архиепископом в Иркутск. Ириней представлял красочную фигуру редкого в русской жизни ультрамонтана, больше напоминавшего католического прелата, чем безгласного российского архиерея. Адъютанту Александра I он однажды сказал:

— Ты адъютант царя земного, а я адъютант царя небесного.

Любил повторять:

— Я — власть, я — наместник Христа, другой власти нет!

В Пензе ждали приезда императора Николая. Весь город чистился, красился, один только архиерейский дом стоял непобеленный, с кучами голубинового помета на карнизах. К Иринее явился полицмейстер с предложением губернатора почистить и побелить дом. Ириней спросил:

— А для какой потребы это нужно?

Полицмейстер удивился:

— Губернатор желает, чтобы никакой мерзости не было во время бытности государя в Пензе.

Ириней спросил:

— Где же ты будешь в это время?

— Как где? Буду встречать государя.

— Ну, если ты, высшая мерзость нашего города, явишься пред лицом государя, то скажи губернатору, что мне не для чего белить и чистить свой дом: он и так вдесятеро чище тебя.

Другой раз, уже в Иркутске, во время архиерейского служения, священник, выходя из царских врат для произнесения молитвы «благословляю», по принятому обычаю, поклонился генерал-губернатору Лавинскому. Ириней воротил священника в алтарь и на весь собор распустил его:

— Кому ты кланялся? Ты, пастырь, кланялся овце твоего стада? Ты молишься златому тельцу!

Вообще в церкви Ириней нисколько не стеснялся и, по выражению современника, церковную службу нередко превращал в ротное ученье.

— Ключарь, перевяжи галстук архидакону — узлом назад!

Читающему дьячку:

— Стой! Пропустил точку с запятой, читай сначала, — на коленях. Священнику:

— Замолот! Не внятно, — читай снова, да не кобянься!

С подчиненными держался совершенным самодуром. При облачении, например, стоит, подняв руки; хотят его облачить, — он рук не опускает; бегут, несут другое облачение, — все держит руки вверх; так до тех пор, пока не принесут облачения, которое ему на этот раз желается. Духовенство его ненавидело, в Пензе служили молебны об избавлении от него, из Иркутска непрерывно поступали на него жалобы в синод за самоуправство. Жаловался в Петербург и сам генерал-губернатор. В июне 1831 г., на основании высочайшего повеления, состоялось постановление синода: архиепископа Ириней, ввиду расстройства умственных способностей, немедленно удалить от управления епархией и заточить в один из вологодских монастырей. К Иринее явился чиновник с предложением ехать с ним в Вологду. Ириней заявил, что царскому указу он беспрекословно подчинится, но царские указы должны быть печатные, а предъявленный ему писан от руки, значит подложный. Призвал караул с соседнего шлагбаума, с помощью солдат отвел чиновника на гауптвахту и засадил его под арест. Прибыли генерал-губернатор, комендант. Ириней благословлял солдат и стекавшийся народ, в исступлении призывал их на помощь, молил выручить его, заявлял, что его хотят посадить в тюрьму и зарезать. С трудом удалось уговорить его отправиться домой. Из Петербурга были присланы флигель-адъютант и жандармский полковник, которые и увезли Ириней в Вологду. Он был заточен в Спасо-Прилуцкий монастырь. Там ему было разрешено архиерейское служение, а затем отдан в управление один из первоклассных ярославских монастырей.

IX

В КАМЕНКЕ

Из Кишинева Пушкин несколько раз приезжал в село Каменку Чигиринского уезда Киевской губернии. Каменка была большое, богатое поместье, принадлежавшее старухе Екатерине Николаевне Давыдовой, по первому браку — Раевской. Ее сыновьями были знаменитый боевой генерал Н. Н. Раевский, В. Л. и А. Л. Давыдовы. С последними Пушкин познакомился в Кишиневе у М. Ф. Орлова, они и пригласили его к себе в Каменку.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ДАВЫДОВА

Рожденная Самойлова, племянница Потемкина. Отец выдал ее замуж за полковника Николая Семеновича Раевского помимо ее желания. Она была так еще молода, что первые годы замужества часто тайком от мужа играла в куклы; как зазвонят бубенцы, возвещающие возвращение супруга, она поспешно убирала куклы. В 1771 г., еще до рождения сына Николая, Екатерина Николаевна овдовела, а немного спустя вышла замуж вторично, уже по любви, за офицера Льва Денисовича Давыдова, впоследствии дослужившегося до чина генерал-майора. От него у нее было несколько детей. Как племянница Потемкина Екатерина Николаевна была так богата, что из одних заглавных букв принадлежавших ей имений можно было составить фразу: «Лев любит Екатерину». Жила она в Каменке, в огромном барском доме. Кроме ее детей, у нее воспитывалось много племянников и племянниц; с ними

вместе воспитывалась дочь старика-дворецкого на правах приемной дочери, но соблюдался такой обычай: когда отец, обнося блюдо, доходил до дочери, она должна была встать и поцеловать ему руку. По старому обычаю, дом кишел приживальщиками и приживалками. Жили широко и привольно, празднество сменялось празднеством. Содержался собственный оркестр, певчие; в торжественные дни палили из пушек.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ДАВЫДОВ
(1792—1855)

Учился в пансионе аббата Николя в Петербурге. Пятнадцати лет поступил в лейб-гусарский полк. Участвовал в кампаниях 1812—1814 гг., был ранен под Кульмом и под Лейпцигом. В 1820 г. из Александрийского гусарского полка вышел в отставку с чином полковника и поселился в имении матери Каменке. Он был одним из деятельнейших членов Южного тайного общества, состоял председателем Каменской управы Тульчинской Думы общества. К нему в Каменку ежегодно съезжались для совещаний члены общества. Это не навлекало подозрений полиции, потому что съезды приурочивались к 24 ноября, дню именин старухи Давыдовой: в этот день съезжалась вся ее семья и много гостей. По отзыву декабриста кн. С. Г. Волконского, Василий Львович был «личностью замечательною по уму и теплоте чувства; его можно было назвать коноводом по влиянию его бойких обсуждений и ловкого, увлекательного разговора». В противоположность изысканности маркиза, отличавшей его брата Александра Львовича, Василий Львович, как сообщает В. П. Горчаков, «щеголял каким-то особым приемом простолюдина».

Один из съездов членов Тайного общества пришелся как раз на время, когда в Каменке в первый раз гостил Пушкин. Приехали Якушкин, М. Ф. Орлов, Охотников. На именины матери приехал генерал Раевский с сыном Александром. Обедали внизу у старушки-матери; обеды были роскошные и веселые, с неизменным шампанским; после обеда собирались в огромной гостиной, где царила хорошенькая жена Александра Львовича, Аглая Антоновна. Вечера проводили наверху, у Василия Львовича, много спорили на общие темы. Генерал Раевский сам не принадлежал к Тайному обществу, но подозревал его существование и с напряженным любопытством слушал споры. В последний вечер Василий Львович, Орлов, Охотников и Якушкин сговорились действовать так, чтобы сбить с толку Раевского, — принадлежат ли они к Тайному обществу или нет. Председателем выбрали Раевского. С полусутоливым, с полуважным видом он руководил прениями. К концу пре-

ний Орлов предложил поставить на обсуждение вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России? Одни высказывались за, другие против. Пушкин с жаром доказывал, что такое общество было бы сейчас очень полезно. Якушкин возражал и высказывал уверенность в полнейшей бесполезности подобного общества. Генерал Раевский стал поддерживать Пушкина и указал случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. Тогда Якушкин сказал:

— Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите. Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы наверно к нему не присоединились бы?

— Напротив, наверное бы присоединился.

— В таком случае давайте руку!

Раевский протянул руку. Якушкин расхохотался и сказал:

— Разумеется, все это только шутка.

Все смеялись, только брат Василия Львовича, Александр Львович, безмятежно дремал в креслах; не смеялся и Пушкин. Он был очень взволнован; у него явилась полная уверенность, что Тайное общество либо уже существует, либо тут же получит свое начало. Он покраснел, встал и сказал с навернувшимися слезами:

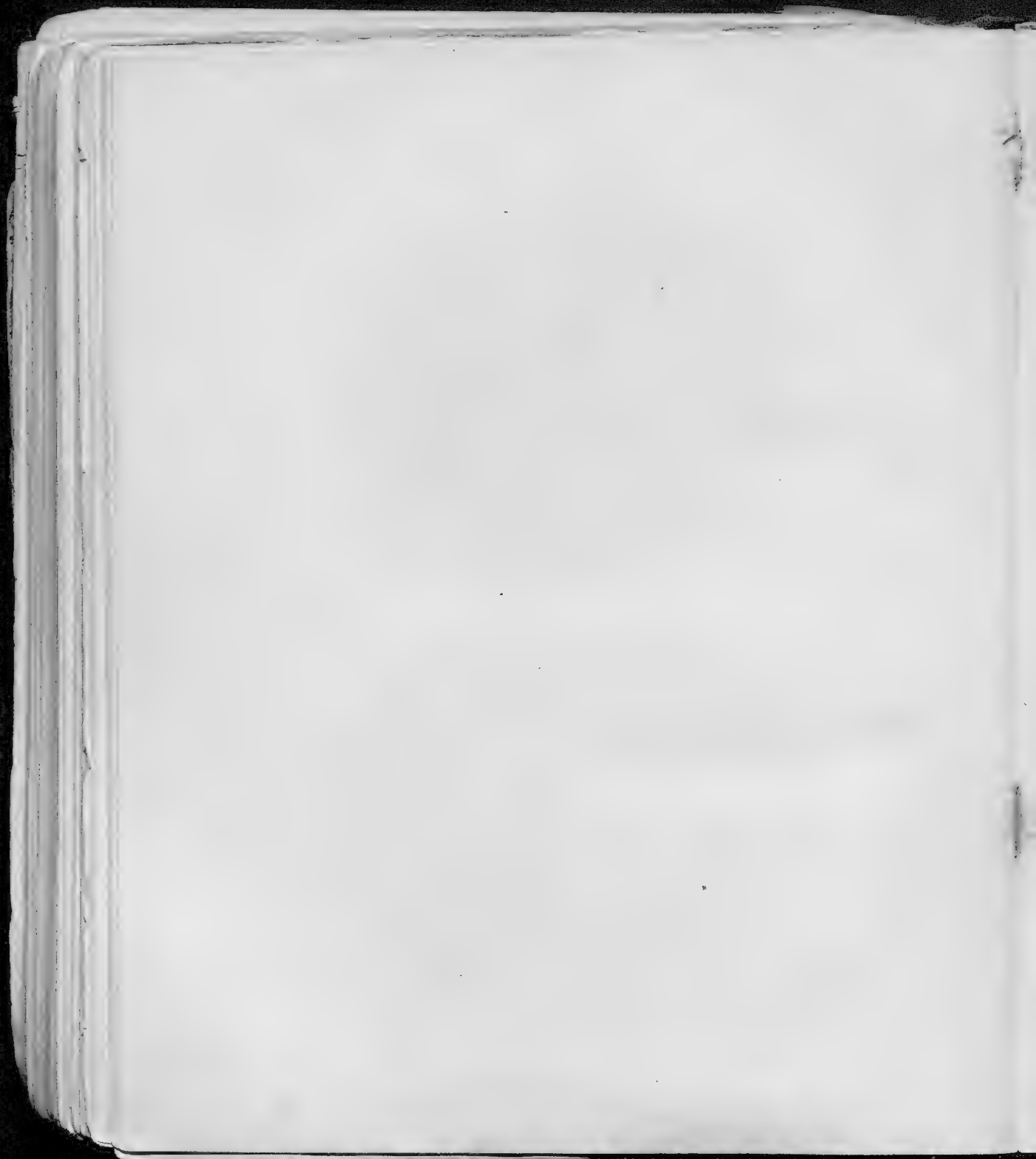
— Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагоустроенною, видел высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка!..

Свою жизнь в Каменке Пушкин описывает в письме к Гнедичу от 4 декабря 1820 г.: «Нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое проходит между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов».

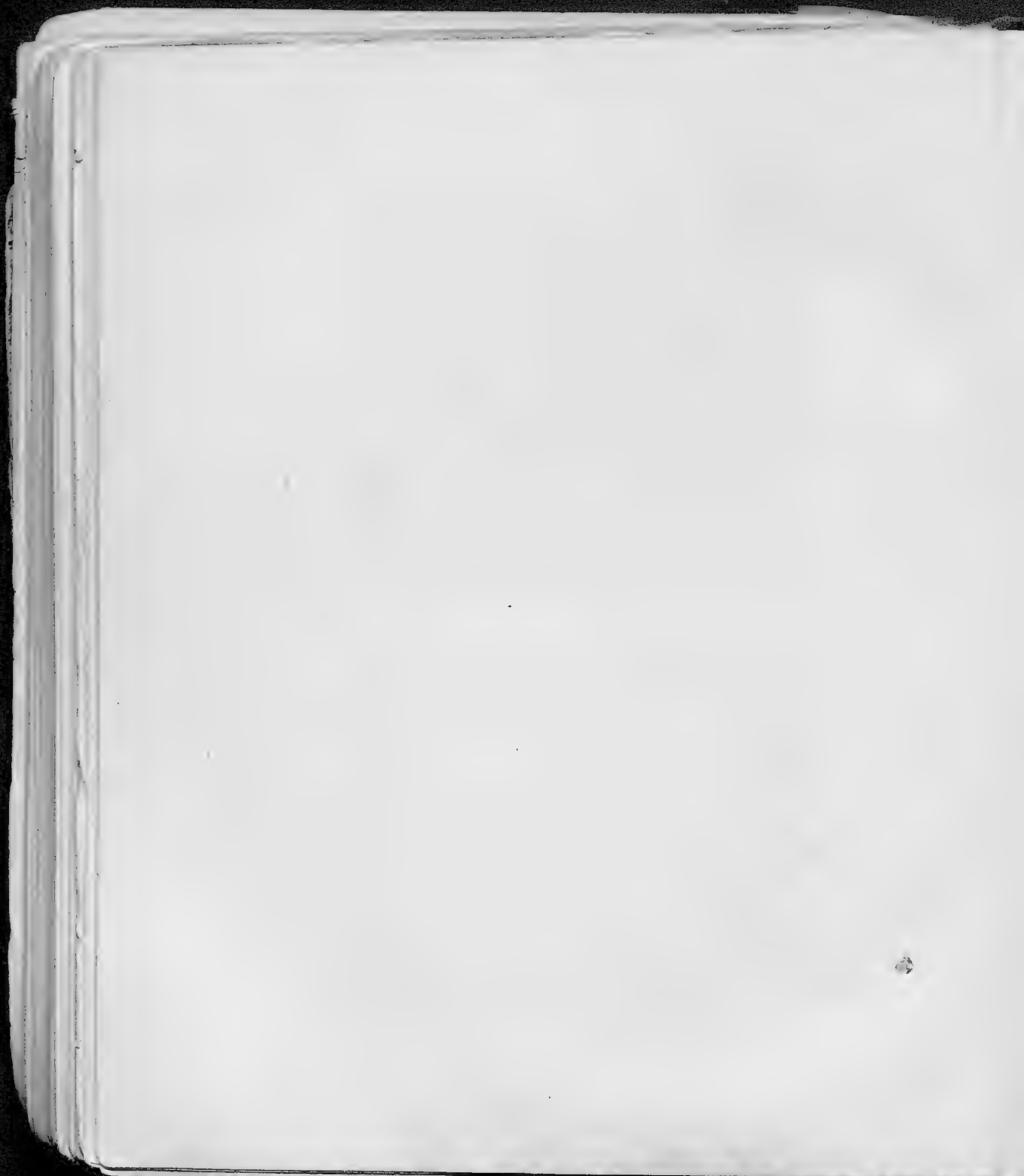
Пушкин воротился из Каменки в Кишинев, наэлектризованный беседами с заговорщиками, полный ощущения надвигающейся грозной и радостной поры, когда высоко вознесется кровавая чаша для причащения всех, чающих воскресения из мертвых нового бога-христа — Свободы. На страстной неделе 1821 г. он писал В. Л. Давыдову:

Межь тем, как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками Ал
Сидят Раевские мои, —
Тебя, Раевских и Орлова









И память Каменки любя,
 Хочу сказать тебе два слова
 Про Кишинев и про себя.
 Я стал умен, я лицемерю, —
 Пощусь, молюсь и твердо верю,
 Что бог простит мои грехи,
 Как государь мои стихи.
 Однако ж гордый мой рассудок
 Меня порядочно бранит,
 А мой непобожный желудок
 Причастья вовсе не варит.
 Еще когда бы кровь Христова
 Была хоть, например, лафит
 Иль кло д'вужо, тогда б ни слова;
 А то, — подумать, так смешно, —
 С водой молдавское вино.
 Но я молюсь и воздыхаю,
 Крещусь, не внемлю сатане,
 А все невольно вспоминаю,
 Давыдов, о твоём вине...
 Вот эвхаристия другая,
 Когда и ты, и милый брат,
 Перед камнем надевая
 Демократический халат,
 Спасенья чашу наполняли
 Беспенной, мерзлой стурей,
 И за здоровье тех и той
 До дна, до капли выпивали!
 Но те в Неаполе шалят,
 А та едва ли там воскреснет...
 Народы тишины хотят,
 И долго их ярем не треснет.
 Уже ль надежды луч исчез?
 Но нет! Мы счастьем насладимся,
 Кровавой чашей причастимся, —
 И я скажу: «Христос воскрес!»

Те — революционеры, та — свобода. Через несколько лет В. Л. Давыдову пришлось причаститься «кровавой чашей»: в январе 1826 г. он был арестован, привезен в Петербург и приговорен к двадцатилетней каторге. Умер в Сибири.

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ДАВЫДОВ (1773—1833)

Служил в кавалергардах и гусарах, участвовал в наполеоновских войнах, несколько раз был ранен. Однако раны в боях получают не только храбрецы. Брат Давыдова по матери, генерал Н. Н. Раевский, во время кампании 1813 г. писал своему дяде из Германии: «Брат

Александр уволен по просьбе в Теплиц на время перемирия, только от его болезни не воды, а розги одни помочь могут, я ожидаю его возвращения». Александр Львович был большой гастроном и сам рассказывал, что, находясь во Франции с оккупационным корпусом и командуя летучим отрядом, он всегда старался останавливаться в местностях, которые славились или приготовлением особенного какого-нибудь кушанья, или редкими фруктами и овощами, или искусным откармливанием птиц. В 1815 г. вышел в отставку с чином генерал-майора и поселился в имении своей матери Каменке, куда часто съезжались для совещаний к его брату Вас. Львовичу члены Тайного общества. Но сам Александр Львович никакими общественными делами не интересовался, за умными разговорами дремал, любил только попить-поесть. Был он физически очень силен, ростом высок и толщины непомерной. Пушкин вспоминает: «Александр Львович был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную: он был женат. Шекспир не успел женить своего холостяка, Фальстаф умер, не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом семейства». Александр Львович был женат и был

...рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

Эти стихи из «Евгения Онегина» применяли к Александру Львовичу, и в кругу знакомых за ним установилась кличка «Рогоносец величавый». В манерах он отличался «изысканностью маркиза», а в отношении к низшим проявлялся как русский барин и генерал. Однажды, когда он жил в Одессе, его надул еврей-фактор. Давыдов зазвал его к себе и избил чубуком трубки. Фактор пожаловался генерал-губернатору гр. Воронцову. Воронцов тотчас же приказал полиции вызвать с Давыдова в пользу фактора 25 руб. Полицейский чиновник с фактором явился к Давыдову. Давыдов вскипел гневом. Он вынул из кармана деньги и сказал фактору:

— Вот тебе двадцать пять рублей за то, что я тебя побил, а вот двадцать пять за то, что еще побью!

Схватил фактора за бороду и так избил на глазах полицейского, что тот едва мог дотащиться до дому.

К Пушкину Александр Львович относился дружески, но несколько покровительственно. Это очень не нравилось Пушкину. К нему относится послание Пушкина «Нельзя, мой толстый Аристипп», написанное с подчеркнутою фамильярностью.

АГЛАЯ АНТОНОВНА ДАВИДОВА

Рожденная герцогиня де-Граммон, дочь французского эмигранта. Жена Александра Львовича Давыдова. Он женился на ней в 1804 г. в Митаве, где жил изгнанником будущий французский король Людовик XVIII. Очень хорошенькая, ветреная и кокетливая, как истая француженка, она искала в шуме развлечений средства «не умереть от скуки в варварской России». В Каменке она была магнитом, привлекавшим к себе мужчин. От главнокомандующих до корнетов, все жило и ликовало в селе Каменке, но главное — умирало у ног престелной Аглаи. Денис Давыдов, двоюродный брат ее мужа, писал ей в 1809 г.:

О, Аглая, как идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь, — и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой,
Голос, взор твой привлекательней!
И, богами вдохновенная,
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую.
Сколько пленников скитаются,
Сколько презренных терзаются
Вкруг обители красавицы!
Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хоть раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу.

Когда ее знал Пушкин, Аглая была уже не первой молодости. Он, видимо, был тоже ее любовником. Связь была чисто чувственная, и попытки Аглаи придать ей романтический оттенок вызывали у Пушкина насмешку. Он писал в послании к ней:

И вы поверить мне могли,
Как семилетняя Агнеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?..
Умы давно в нас охладели,
Не к стати нам учиться вновь!
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели!
Я вами, точно, был пленен,
К тому же скука... муж ревнивый..

Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы...
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу:
Себе гусара взяли вы,
А я — наперсницу Наташу...

«Трагический жар» Аглаи, ее ревность и грусть Пушкину смешны,—

Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату,
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату.
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить, —
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить!

Ей же он посвятил очень злую эпиграмму:

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги; понимаю.
Другой за то, что был француз...

и т. д.

Эпиграмму эту он рассылал своим друзьям; брату писал: «...ради Христа, не распускай ее, в ней каждый стих — правда». И Вяземскому: «...не показывай ее никому, — ни Денису Давыдову». Потому что Денис Давыдов, как мы видели, был ее родственник и относился к ней с симпатией. Вероятно, «по секрету» Пушкин сообщал эпиграмму и другим; во всяком случае, она дошла до Аглаи. И. П. Липранди виделся с супругами Давыдовыми в 1822 г. в Петербурге, куда они приехали из Каменки, обедал у них. «Я заметил, — рассказывает он, — что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал. Я слышал уже неоднократно прежде о ласках Пушкину, оказанных в Каменке, и слышал от него восторженные похвалы о находившемся там семейном обществе, упоминалось и об Аглае. Потом уже узнал я, что между ней и Пушкиным вышла какая-то размолвка, и последний наградил ее стишками!» Вероятно, лишний раз по этому поводу Аглая подумала о «северных варварах», об отсутствии у них рыцарства и джентльменства.

В 1833 г., после смерти мужа, Аглая уехала во Францию и детей своих обратила в католичество. Вторично вышла замуж за маршала Франции графа Себастиани.

АДЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА ДАВЫДОВА

Дочь А. Л. и Аглаи Давыдовых. Когда зимою 1820 г. Пушкин жил в Каменке, она была хорошенькой двенадцатилетней девочкой. Декабрист Якушкин рассказывает: «Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери Давыдовых. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Пушкин вообразил себе, что влюблен в Адель, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он; — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться». Пушкин написал Адели стихи:

Твоя весна
Тиха ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви.

После смерти отца мать увезла ее в Париж, там Адель обратилась в католичество и поступила в монастырь Trinita del Monto в Риме. А. С. Смирнова пишет: «Хороши же были лучшие годы Адели за решеткой в монастыре! Голые стены, на завтрак соленая вода с вермишелью, а для развлечения упрямые и капризные дети, которых посвящали в тайны грамматики и римского ханжества. Эта Адель потом была в парижском монастыре Sacré-Coeur; вздумала сделаться игуменьей и наконец, к великому скандалу благородного Сенжерменского предместья, бросила монашество и теперь, неизвестно где, живет с архиправославной двоюродной своей сестрою».

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН (1796—1857)

Сын небогатого смоленского помещика. Окончил курс в московском университете по словесному факультету. В 1811 г. поступил на военную службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. С пол-

ком проделал походы 1812—1814 гг., участвовал в ряде сражений, получил георгиевский крест. Из-за границы, как большинство военной молодежи, вернулся очень оппозиционно настроенным к царившим в России порядкам. В Петербурге сошелся с кн. С. П. Трубецким, братьями Муравьевыми и Муравьевыми-Апостолами. Был одним из учредителей «Союза спасения», членом «Союза благоденствия». В 1816 г. перевелся штабс-капитаном в 37-й егерский полк.

В это время Якушкин переживал очень тяжелую личную драму. Он с тринадцати лет любил княжну Наталью Дмитриевну Щербатову, сестру задумчивого своего друга, кн. Ив. Д. Щербатова, офицера Семеновского полка. Она относилась к нему с большой симпатией, называла «небесной душой», писала брату: «Якушкину — вся моя дружба, все мое уважение, все мое восхищение». Но — любви к нему не чувствовала. По настоянию отца и теток княжна приняла предложение богатого гвардейского офицера-семеновца Д. В. Нарышкина. Она вначале увлекалась им, но не сильно. Человек он был мало достойный. Якушкин заболел от отчаяния. Он знал, что за человек Нарышкин, и всячески старался расстроить предстоявший брак. Но положение Якушкина было довольно ложное. Особенно трудно было держать правильную линию именно потому, что княжна любила его крепкою дружескою любовью. Легче отойти от любимой женщины, когда она к человеку относится равнодушно или пренебрежительно. Но, видя горячее ее участие к себе, не так легко отказаться от надежды, не поддаться желанию дать почувствовать любимой, сколько она доставляет страданий, и тайно надеяться, что ласковую дружбу она переменит на более горячее чувство, — как будто это зависит от нее. Якушкин не сумел и не захотел молча уйти. Княжна писала брату: «Ах, если бы ты мог видеть Якушкина! его отчаяние, его страсть, отсутствие великодушия!» Якушкин собирался уехать в Америку сражаться за чью-то независимость, несколько раз покушался на самоубийство, писал княжне, что его смерть освободит ее от его назойливости. Княжна, нарушая все тогдашние правила приличия в отношениях между девушкой и молодым человеком, написала письмо самому Якушкину. «Выслушайте меня, Якушкин, — писала она, — и не злоупотребите доверием, которое я вам оказываю. Я истомилась в этих невыносимых тисках. Они отозвались на моем здоровье. И это последнее испытание, которое вы заставили меня пережить, чуть не повергло меня в несчастнейшее состояние. Надо ли мне напоминать обещание, которое вы мне дали? Надо ли настаивать на его выполнении? Живите, Якушкин!.. Имейте мужество быть счастливым и подумайте о том, что от этого зависит мое счастье, спокойствие и самое здоровье. Уезжайте, Якушкин! Это необходимо! Покиньте

эти места, которые могут вам напомнить только печаль и горе... Если и суждено мне когда-либо стать супругою и матерью, искренняя привязанность, которую я к вам и впредь буду питать, преисполнит мое сердце до последнего моего дыхания. Прощайте, мой брат и друг мой!» Между тем в женихе своем Нарышкине княжна Щербатова совершенно разочаровалась. Она писала брату: «Душа Нарышкина такая, как ты мне ее рисовал: порочная, низкая, не имеющая другой цели, кроме личной выгоды». Однако шансы Якушкина нисколько от этого не поднялись. Княжна упрекала себя в жестокосердии, в вероломстве по отношению к нему, но... «Если бы я могла их обоих успокоить, — писала она, — я бы им сказала: господа, живите мирно на мое здоровье и оставьте меня в покое».

В конце 1817 г. ожидался приезд в Москву царя со всем семейством. Гвардия уже пришла. Состоялось совещание петербургских членов Тайного общества с московскими. На совещании было прочитано письмо кн. С. П. Трубецкого, который сообщал, что император Александр, ненавидя и презирая Россию, хочет часть русских губерний присоединить к Польше, которой он только что дал конституцию, и столицу России перенести в Варшаву. Это всех ошеломило. Начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением Александра. Якушкин, последние годы живший в непрерывном нервном напряжении, ходил по комнате, весь дрожа. Потом остановился и сказал:

— Если Россия так несчастна под управлением царствующего императора, то Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и по собственному убеждению!

Все замолчали. Александр Муравьев заявил, что для прекращения бедствий России необходимо прекратить царствование Александра, и предложил бросить жребий, кому нанести удар царю.

— Вы опоздали, — ответил Якушкин, — я решил без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести.

Опять наступило молчание. Друг Якушкина, полковник М. А. Фонвизин, подошел к нему и просил успокоиться, уверял, что он в лихорадочном состоянии, что завтра же он одумается и сам найдет свое предложение безумным.

— О, нет, я совершенно спокоен. Хотите, — сыграем в шахматы, и я вас обыграю!

Якушкин жил вместе с Фонвизинным. Всю ночь Фонвизин напрасно убеждал его отказаться от своего намерения. Якушкин решил по прибытии Александра в Москву застрелить его из пистолета, а из другого

застрелиться потом самому. На следующий день собрались опять, весь вечер убеждали Якушкина отказаться от его намерения. Якушкин возразил: «А что же вы говорили вчера? Либо вчера вы легкомысленно благословили меня на вредное дело, либо сегодня, из боязливой нерешительности, удерживаете меня от дела прекрасного». И заявил, что выходит из общества.

Впрочем, вскорости удалось убедить его, что раз он так много знает об обществе, то неудобно ему быть вне общества. И он воротился. Якушкин был человек прекрасной души, с чуткой совестью, но слабохарактерный и импульсивный, способный под влиянием минутного настроения на самые неожиданные действия. Однажды в своей деревне, возмущенный незаконным поступком земской полиции, он сочинил адрес к императору, под которым должны были подписаться все члены «Союза благоденствия». В адресе излагались бедствия России, и для прекращения их предлагалось царю созвать Земскую Думу. Фонвизин согласился подписаться под адресом, но другие члены легко убедили Якушкина, что это значило бы самым добровольно лезть в логово медведя.

В 1818 г. Якушкин вышел в отставку, отказался от всяких притязаний на любимую девушку и уехал на житье в свою смоленскую деревню Жуково. Здесь он стал действовать как хороший русский интеллигент-дворянин. Первым делом уменьшил наполовину барщину. Во всякий час допускал до себя крестьян; отучил их кланяться в ноги и стоять перед ним без шапки; учил грамоте крестьянских ребят. Болея совестью, что владеет рабами, решил освободить крестьян; с любовью выработал такой проект: без всякого выкупа предоставлял крестьянам в полную собственность их усадьбы, скот, имущество; землю же оставлял за собою, рассчитывая половину обрабатывать вольнонаемным трудом, а другую половину отдавать в аренду крестьянам. Но действительность жестоко смеялась над его благими намерениями. Староста, отученный Якушкиным от рабских навыков, стал с приехавшим земским заседателем разговаривать в шапке; заседатель избил его за это до полусмерти. А когда Якушкин собрал крестьян и стал им излагать свой проект их освобождения, случилось вот что. Они внимательно слушали и наконец спросили:

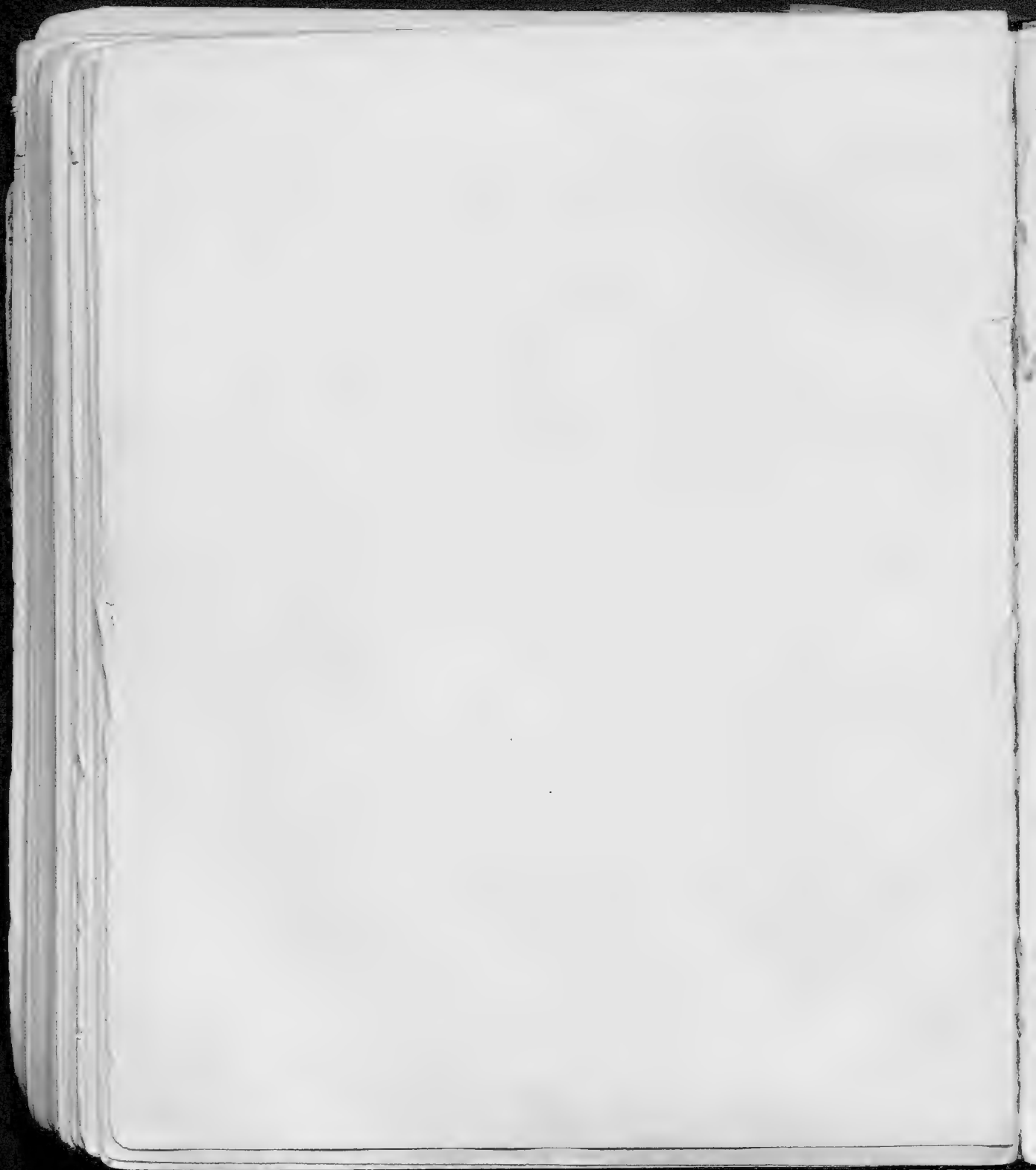
— А земля, которой мы сейчас владеем, будет наша или нет?

Якушкин объяснил, что земля останется за ним, но что они властны... арендовать ее. Тогда мужики сказали:

— Ну, батюшка, так оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша.

«Напрасно, — с огорчением рассказывает Якушкин, — старался я объяснить им всю выгоду независимости, которую им доставит освобож-





дение. Надеюсь, что мои крестьяне со временем примирятся с условиями, которые я им предлагал, я отправился в Петербург».

Но хлопоты его в Петербурге не увенчались успехом: ему не позволили освободить крестьян и на тех условиях, которые он предлагал.

Осенью 1819 г. Якушкин узнал, что княжна Н. Д. Щербатова выходит замуж за штабс-капитана егерского полка кн. Ф. П. Шаховского (будущего декабриста). 1 октября он писал ее брату: «Теперь все кончено. Я узнал, что твоя сестра выходит замуж, — это был страшный момент. Он прошел. Я хотел видеть твою сестру, увидел ее, услышал из собственных ее уст, что она выходит замуж, — это был момент еще более ужасный. Он также прошел. Теперь все прошло. Я осужден жить и искупить, если возможно, все огорчения, какие я причинил тем, кто оказывал мне некоторую дружбу. Я не прошу от тебя дружбы, справедливо, что ты меня презираешь. Я недостойн называться твоим другом; по крайней мере, моя благодарность к тебе продлится на всю мою жизнь».

«Союз благоденствия» решил созвать в январе 1821 г. в Москве съезд для решения вопроса о дальнейшей деятельности общества. Осенью 1820 г. Якушкин был послан в Тульчин для приглашения на съезд делегатов от II армии. Из Тульчина Якушкин заехал в Каменку в надежде уговорить М. Ф. Орлова принять участие в съезде. В Каменке Якушкин встретился с Пушкиным, с которым уже раньше познакомился в Петербурге у П. Я. Чаадаева. Впечатление свое от Пушкина он описывает так: «В общезнании Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато, заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел его нозль «Ура! В Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями».

После январского съезда 1821 г. Якушкин вошел в Северное тайное общество, ему было поручено завести Управу общества в Смоленской губернии. Но вся дальнейшая деятельность его ограничилась тем, что он принял в общество двух новых членов. В конце 1822 г. он женился на Анастасии Васильевне Шереметевой, дочери благочестивой старушки Н. Н. Шереметевой, бывшей впоследствии в близкой дружбе с Гоголем. Якушкин жил с женою очень уединенно в своем смоленском имении, занимался сельским хозяйством. В декабре 1825 г. приехал в Москву, в январе был арестован и отправлен в Петербург. Следователям уже было известно об его намерении в 1817 г. убить императора. Якушкин не стал этого отрицать, но назвать товарищей отказался, сказав, что дал честное слово никого не называть. Император Николай пришел в ярость.

— Что вы мне с вашим мерзким честным словом!

И приказал «заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог». На дальнейших допросах Якушкин продолжал отказываться назвать сообщников, ссылаясь на данное слово. Но потом, когда для него выяснилось на допросах, что сообщники, все равно, суду известны, он назвал их и еще двоих — генерала Пасека, уже умершего, и П. Я. Чаадаева, бывшего за границей. Пошел еще на некоторые компромиссы, — например: заявил, что уже четырнадцать лет не причащался; потому что не верит, а потом, в крепости, говел и причастился, к великому утешению следственной комиссии. «Тюрьма, железа и другого рода истязания, — сознается он, — произвели свое действие, они развратили меня». Показаниями своими он никому не повредил, сообщил только то, что и без того было комиссиям известно. И в общем, как мало кто из декабристов, держался на допросах с достоинством и сдержанностью. И обо всех грехах откровенно рассказал в своих воспоминаниях; опубликование подлинного следственного дела не прибавило к его признаниям ничего нового, — не то что следственные дела о многих других декабристах, раскрывшие прямо потрясающие картины предательства, покаяния и самых униженных молений о пощаде со стороны людей, по отношению к которым и мысль о чем-либо подобном не могла бы притти в голову.

Единственное, в чем следственная комиссия смогла обвинить Якушкина, это — в намерении в 1817 г. покуситься на жизнь императора. В намерении, от которого он сам же отказался. За это преступление Якушкин был приговорен к двадцати годам каторги. Отбыл каторгу в Нерчинских рудниках. В 1835 г. был обращен на поселение. Возвратился в Россию по общей амнистии в 1856 г. Записки его являются ценнейшим материалом для истории декабрьского движения.

Х

В ОДЕССЕ

Граф МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ВОРОНЦОВ
(1782 — 1856)

Генерал-губернатор Новороссийского края. Сын русского посла в Лондоне гр. С. Р. Воронцова. Первую молодость провел в Англии, получил там блестящее образование. С 21-летнего возраста начинается его боевая служба — на Кавказе, в шведской войне, в наполеоновских кампаниях, в турецкой войне. В 1812 г. в Бородинской битве был ранен. Отправившись на излечение в свое имение, он пригласил туда же пятьдесят раненых офицеров и триста солдат, пользовавшихся у него заботливым уходом. По выздоровлении возвратился в строй, участвовал в битве под Лейпцигом, при Краоне блистательно выдержал сражение против самого Наполеона. В боях Воронцов отличался холодной и спокойной отвагой. Всегда впереди, хладнокровно отдавал приказания, шутил, улыбался и нюхал табак, точно у себя в кабинете. Разделял с солдатами все лишения. С 1815 по 1818 г. командовал оккупационным корпусом, занимавшим Францию. Уходя с корпусом из Франции, он из собственных средств заплатил долги всех офицеров корпуса, более полутора миллионов рублей. Это порядочно расстроило его имущественные дела, он поправил их только в следующем году, женившись на графине Елизавете Ксавериевне Браницкой, принесшей ему огромное состояние.

В 1823 г. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. Он занимал в Одессе великолепный дворец, жил в роскоши и величии, которым позавидовал бы любой из мелких германских владетельных князей. У Воронцова во всем сказывалось его английское воспитание: в нем была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил», так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах, держался гордо, холодно и властительно, как знатнейший британский лорд. Наружность его поражала своим истинно барским изяществом. Высокий, худой; замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный; на тонких, длинных губах вечно играла ласковая улыбка. Он никогда почти не выходил из себя, со всеми был сдержан, корректен и приветлив. Много позже, перед Крымской войной, на юго-восточном берегу Черного моря усиленно выслеживали и ловили лиц, подозреваемых в шпионаже для иностранных держав. Однажды на приеме Воронцову бросился в ноги молодой татарин с пересохшими, синими губами, с лицом, искаженным от ужаса. Воронцов отступил.

— Мм... мм... Что такое, мой любезный? Да успокойтесь! Встаньте. Что такое? В чем дело?

Улыбаясь, протянул ему руку и заставил встать. Татарин, дрожа и задыхаясь, объяснил, что его подозревают в шпионстве. Воронцов улыбнулся еще приветливее, просил его успокоиться, сказал, что сейчас же велит навести справки и уверен, что все выяснится к лучшему. В кабинете дежурный адъютант спросил Воронцова, как он прикажет поступить с татаринцом.

— А, этот татарин... — улыбнулся Воронцов. — Он, по докладам, очень вредный шпион... Повесить!

Воронцов тонко умел ладить с высшими, был ненасытно тщеславен, противоречия не терпел, любил лесть, был мстителен и злопамятен. При этом, чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее он с ним обходился, чем глубже копал для него яму, тем дружелюбнее жал ему руку. Тонко рассчитанный удар падал на голову жертвы в тот момент, когда она менее всего его ожидала. В средствах к достижению цели Воронцов не стеснялся, не останавливался перед самыми низменными интригами и прямою ложью. В работе был неутомим и очень методичен, часы работы, еды, отдыха были точно определены и никогда не изменялись.

Пушкин был переведен из Кишинева в Одессу хлопотами А. И. Тургенева. «Я два раза говорил Воронцову, — писал Тургенев Вяземскому, — истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлеб-

нул... Воронцов берет Пушкина к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться». В июле 1823 г. Пушкин переехал в Одессу. Воронцов принял его очень ласково. Пушкин был определен номинально на службу в канцелярию Воронцова, но службы, конечно, никакой не нес, как и у Инзова. Ни по мелкому чину, ни по месту, занимаемому на службе, ни по ссыльному своему положению Пушкин не мог претендовать на личное знакомство с Воронцовым. Однако Воронцов, подготовленный рекомендациями петербургских друзей Пушкина, любезно принял его в круг своих знакомых, представил жене, и вскоре Пушкин стал членом интимного кружка, группировавшегося вокруг графини. Большая зала Воронцовых, в обычное время пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, в бильярдной, состояло больше из сослуживцев и подчиненных Воронцова, — тут присутствовал граф. Другое, избранное общество, собиралось в гостиной у графини; тут всегда можно было найти Ал. Раевского, Марини, Брунова, О. С. Нарышкину, В. А. Башмакову; тут присутствовал и Пушкин. В столовой к обеду сходились все вместе.

Прошло несколько месяцев, и Пушкин стал себя чувствовать у Воронцова очень неуютно. В феврале 1824 г. случилось Липранди обедать у Воронцовых вместе с Пушкиным; Пушкин был очень сдержан и в мрачном настроении духа. Встав из-за стола, Липранди столкнулся с Пушкиным, когда он, между многими, отыскивал свою шляпу. Липранди спросил:

— Куда?

— Отдохнуть, — ответил Пушкин и прибавил: — Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...

Не договорил и вышел.

Воронцов очень скоро не взлюбил гордого и независимого Пушкина. Этот ссыльный коллежский секретарь, «сочинитель», совершенно не хотел знать своего места и позволял себе держаться, как равный, с ним, наместником и генералом от инфантерии. «Аристократическая гордость сливается у нас с авторским самолюбием, — писал Пушкин А. Бестужеву. — Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!» Отношения портились быстро. В начале марта Воронцов писал П. Д. Киселеву: «С Пушкиным я говорю не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что, при первых дурных слухах о нем, я отправлю его отсюда... Лично я был бы в восторге от

этого, так как я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта». В конце марта он писал министру иностранных дел гр. Нессельроде: «Собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, заставляет меня желать удаления его из Одессы. Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит голову представлением, что он замечательный писатель, в то время, как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, — лорда Байрона. Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него». Повторял, что желает он этого исключительно для пользы самого Пушкина, чтобы спасти его от лести и «опасных идей», которых он может набраться в Одессе, — и просил министра довести до сведения императора его просьбу удалить Пушкина из вверенного ему края. Еще через месяц с небольшим он писал уже совершенно откровенно: «Повторяю мою просьбу, — избавьте меня от Пушкина, — он, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе». С Пушкиным Воронцов стал обходиться все высокомернее. Пушкин не оставался в долгу и наносил Воронцову удары больные и меткие, как певец Давид — Голнафу:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Подобные эпиграммы расходились по городу и, вероятно, делались известными и Воронцову. Воронцов почел нужным вспомнить, что Пушкин — подчиненный ему мелкий служащий, и дал ему предписание отправиться в командировку на борьбу с саранчой. Пушкин воспринял эту командировку как оскорбление, однако предписание исполнил. Он получал жалования семьсот рублей в год, но смотрел на него как на содержание, выдаваемое ссыльному. Теперь он сделал такое заключение: раз он получает жалование как чиновник, раз от него требуют исполнения различных поручений, то он имеет право как чиновник и подать в отставку, что он и поспешил сделать. «Воронцов, — писал он А. Тургеневу, — начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Пушкин рассчитывал выйти в отставку и, оставаясь в Одессе, заняться литературой. Вдруг, совершенно для него

неожиданно, на Пушкина обрушился удар, тонко подготовленный доносами Воронцова в Петербург. Предписано было из Петербурга не уволить Пушкина в отставку, а исключить его из службы за дурное поведение и сослать в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства. 30 июля 1824 г. Пушкин принужден был выехать из Одессы.

Всю жизнь Пушкин хранил к Воронцову глубочайшую ненависть, злорадно отмечал в письмах и дневниках слухи о неприятностях, случавшихся с Воронцовым, долго еще после высылки из Одессы ковал и оттачивал эпиграммы на него:

Не знаю где, но не у нас,
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой,
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким...

В 1823 г. знаменитый испанский революционер Рафаэль дель Риго-и-Нуньес, захваченный французами и выданный испанскому правительству, был повешен по приказу короля Фердинанда VII. Весть об этом император Александр получил в Тульчине, во время обеда. Присутствовавший на обеде гр. Воронцов воскликнул:

— Тем лучше: одним мерзавцем меньше!

Пушкин по этому поводу:

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь Риго был удушен.
«Я очень рад, — сказал усердный льстец: —
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риго был пред Фердинандом грешен,
Согласен я, но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить.
Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства!

Следует, однако, признать, что «поющие огни» пушкинских эпиграмм сильно изуродовали в глазах потомства подлинное лицо графа Воронцова. При всех выше отмеченных отталкивающих его свойствах, он был одним из энергичнейших и культурнейших администраторов прошлого века. Его умелая деятельность значительно подняла процветание Новороссийского края. Воронцов расширил торговое значение Одессы до небывалых размеров, положил начало пароходству по Черному морю. Крым обязан ему развитием и усовершенствованием виноделия, устройством шоссе, окаймляющего южный берег, первыми опытами лесоразведения. Воронцов был убежденным противником крепостного права и не скрывал своего взгляда на необходимость его уничтожения в интересах всего государства. Стоял за законность в отношении к бесправным евреям, так что его даже обвиняли в «покровительстве» евреям. Прислугу свою, вразрез с обычаем других русских бар, содержал в довольстве, она имела свои отдельные комнаты, каждый получал к обеду по бутылке виноградного вина. Все жалование, которое Воронцов получал в качестве наместника, он распределял среди служащих своей канцелярии.

В 1844 г. Воронцов был назначен главнокомандующим войск на Кавказе и наместником кавказским с неограниченными полномочиями. В 1852 г. получил титул светлейшего князя. В 1853 г. вышел в отставку. В 1856 г., по случаю коронации Александра II, пожалован званием генерал-фельдмаршала.

Графиня ЕЛИЗАВЕТА КСАВЕРИЕВНА ВОРОНЦОВА (1792—1880)

Жена предыдущего. Рожденная графиня Браницкая. Отец ее, великий коронный гетман граф Ксаверий Петрович Браницкий, был поляк, приверженец России, владелец крупного поместья Белая церковь в Киевской губернии; мать, Александра Васильевна, рожденная Энгельгардт, русская, была любимая племянница Потемкина, несметно богатая. Она говорила Вигелю:

— Кажется, у меня двадцать восемь миллионов рублей.

Была, однако, очень скупа. Девушкой Елизавета Ксавериевна долго жила со строгой матерью в деревне, в Белой церкви, и только в 1819 г., двадцати семи лет, во время первого своего путешествия за границу, вышла замуж в Париже за гр. М. С. Воронцова. Все, знавшие графиню, описывают ее как женщину исключительной прелести и очаровывающего благородного изящества. Вигель про нее рассказывает: «Со врож-

денным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душою, молода и наружностью. Быстрый, нежный взгляд ее небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, так и призывала поцелуи». Александр Раевский находил у нее меткий, хотя не очень широкий ум и характер самый очаровательный. Была она со всеми непринужденно приветлива, разговор ее был умный, приятный и веселый, каждого умела занять. К женскому обществу была равнодушна и предпочитала окружать себя мужчинами. Любила веселье, танцы, празднества. Граф В. А. Сологуб знал Воронцову, когда ей было уже около шестидесяти лет. И в то еще время все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что Сологубу понятно было, как Пушкин и многие, многие другие могли без памяти влюбляться в нее. Интересное сообщение находим у француза А. Галле-де-Кюльтюра, выпустившего за границу книгу «Царь Николай и святая Русь». «Графиня Воронцова — единственная женщина, которая посмела сделать исключение из правил (итти навстречу любовным желаниям императора Николая). Легкомысленная молодая женщина, которой в ее стране отнюдь не приписывают добродетелей Лукреции и суровости римских матрон, из гордости или из расчета выскользнула из рук царя, и это необычное поведение доставило ей известность». Некоторые другие современники также сообщают, что добродетелями Лукреции графиня Воронцова не отличалась, что, как и муж ее, имела связи на стороне.

В Одессу, куда муж ее был назначен генерал-губернатором, Воронцова приехала 6 сентября 1823 г., когда Пушкин уже два месяца жил в Одессе. Она была в последних месяцах беременности и жила на даче, пока отстраивался городской дом. В это время навряд ли Пушкин мог много видеть ее. В октябре у Воронцовой родился сын. Зима 1823—1824 г. проводилась одесским обществом шумно и весело, обеды, балы, маскарады и праздники следовали один за другим. Воронцова принимала в них деятельное и главенствующее участие. Этою зимою Пушкин часто виделся с нею. В половине марта он уехал в Кишинев, затем Воронцова с мужем уехали в Белую церковь; опять увиделись они с Пушкиным в конце апреля. С 14 июня до 25 июля Воронцова пробыла в Крыму; 30 июля Пушкин был выслан из Одессы. В промежутках они, повидимому, виделись довольно часто, гуляли по берегу моря; княгиня В. Ф. Вяземская рассказывает, как однажды их всех троих окатил набегавший девятый вал, так что пришлось переодеваться. Воронцова была посвящена в тайну подготовлявшегося побега Пушкина за границу и, повидимому, помогала Вяземской в этом предприятии.

Несомненно, Воронцова глубоко жила в душе Пушкина. Анненков рассказывает: «Предания той эпохи упоминают о женщине, превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни». Комментаторы с большею или меньшею степенью произвольности относят к Воронцовой целый ряд стихотворений Пушкина: «Сожженное письмо», «Желание славы», «Ненастный день потух», «Талисман», «Ангел», некоторые черновые наброски. Особенно произвольным является обычное отнесение к Воронцовой стихотворений «Талисман» и «Ангел». Воронцова подарила Пушкину перстень-талисман, — значит, «Талисман» написан к ней, хотя стихотворение носит явно восточный колорит, говорит о каком-то приморском мусульманском крае вроде Крыма, где Пушкин никогда не встречался с Воронцовой, и, главное, рисует такой характер отношения беззаветно-влюбленной «волшебницы» к поэту, какого мы не имеем решительно никаких оснований предполагать в отношении Воронцовой к Пушкину. В стихотворении «Ангел» фигурирует «мрачный демон», в душе которого производит переворот стоящий в дверях Эдема нежный ангел; под именем демона Пушкин вывел когда-то Александра Раевского, Раевский был влюблен в Воронцову, — значит, под ангелом следует разуместь ее, хотя мы решительно ничего не знаем о нравственном влиянии Воронцовой на Раевского, а в 1827 г., когда был написан «Ангел», давно уже рассеялся мрачно-мятежный демонический ореол, окружавший Раевского в глазах Пушкина.

Из произведений Пушкина нет никакой возможности извлечь какие-либо указания на характер отношений, существовавших между ним и Воронцовой. Свидетельства же современников говорят об этих отношениях вот что. Воронцова подарила Пушкину перед его отъездом из Одессы золотой перстень с сердоликом, на котором были вырезаны таинственные арабские слова; в действительности, впрочем, оказалось, что это была просто именная печать какого-то раввина с древнееврейским написанием его имени. Пушкин очень дорожил перстнем и всегда носил его на пальце. Сестра Пушкина сообщала Анненкову, что, когда Пушкин жил уже в псковской ссылке, он получал из Одессы письма, запечатанные таким же перстнем; получив письмо, он запирался у себя в комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Когда в шестидесятых годах Бартенев ехал в Одессу, Соболевский рекомендовал ему «расспросить Воронцову, как она жила с Пушкиным». Плет-

нев писал другу своему Гроту: «Княгиня В. Ф. Вяземская рассказала мне некоторые подробности о пребывании Пушкина в Одессе и его сношениях с женою Воронцова, что я только подозревал». На расспросы Грота он отказался доверить рассказ Вяземской бумаге и обещал передать его при личном свидании. По сообщению Бартенева, когда Воронцова в старости разбирала свою переписку, ей попалась связка писем Пушкина, и присутствовавший домоправитель ее успел прочесть в одном письме Пушкина фразу на французском языке: «Что делает ваш олух-муж?» Родственник Пушкина гр. М. Д. Бутурлин сообщает, что, по слухам, «графиня Воронцова очень любезно обращалась с Пушкиным, но ее супруг отворачивался от него». На основании всего этого с некоторою долей вероятности можно думать, что отношения Пушкина к Воронцовой не вменялись в рамки обычного светского ухаживания за знатной дамой-красавицей. Сам Пушкин в беседе с Пушкиным приписывал высылку свою из Одессы главным образом козням Воронцова «из ревности». За это говорит и та исключительная ненависть, с которою Воронцов относился к Пушкину. Когда Воронцов в числе нескольких мелких своих канцеляристов назначил в командировку по истреблению саранчи и Пушкина, Вигель пытался уговорить Воронцова не обижать Пушкина такой командировкой. Воронцов, всегда такой непроницаемо-сдержанный, вдруг побледнел, губы его задрожали, и он сказал Вигелю:

— Любезный Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце!

Возможно, впрочем, что злоба Воронцова была вызвана дошедшими до него эпиграммами на него Пушкина.

У Пушкина было в Одессе несколько романов. Но ко времени его высылки других возлюбленных давно уже не было в городе, а роман с Воронцовой, повидимому, находился в полном разгаре. Из осеннего холода и мрака Михайловского он рвался страстными мечтами на юг, где оставил так много. «Все, что напоминает мне море, — писал он Вяземской, — наводит на меня грусть, шум падающего ручья причиняет мне в буквальном смысле боль; думаю, что хорошее небо заставило бы меня плакать от ярости, но слава богу: небо у нас сивое, а луна — точная репка». Трудно предположить, чтобы Пушкин, как известно, очень любивший русскую осень, мог так яростно тосковать просто о теплом климате юга; конечно, тянуло его туда не одно ясное небо да море... Осенью 1824 г. им написано стихотворение; если оно не представляет из себя продукта чистого творчества, лишенного жизненной подкладки, то можно отнести его только к Воронцовой. Стихотворение,

Воронцова умерла в глубокой старости и до самой смерти хранила о Пушкине самое теплое воспоминание, восхищаясь его стихами: ей прочитывали их почти каждый день, и это продолжалось целые годы.

Граф АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЛАНЖЕРОН
(1763—1831)

Французский эмигрант, находился на русской службе, участвовал в наполеоновских войнах, в 1812 г. командовал отдельным корпусом, отличился в 1814 г. при взятии Парижа. В 1815 г. был назначен управлять Новороссийским краем. Вигель иронически замечает: «Напили, что он не годится командовать корпусом, и дали ему в управление край, который обширностью своею может почитаться целым королевством». Администратором Ланжерон оказался никуда негодным, не принес на своем месте никакой пользы. Но ему было весело, он был главным лицом, мог болтать и острить, сколько угодно, его все слушали, вечером всегда готова была ему партия бостона. А больше ему ничего не было пужно. Значения никакого он не имел и был безвольною игрушкой в руках своих подчиненных. В 1823 г. его сместили с должности и заменили гр. М. С. Воронцовым. Ланжерон был очень этим обижен. В 1824 г. он уехал за границу и воротился после смерти Александра I. Был назначен членом Верховного суда над декабристами, участвовал еще в турецкой войне 1828 г. состоял членом государственного совета и умер летом 1831 г. от холеры.

Необыкновенно моложавый, сухощавый старик с стройной, породистой, щегольской фигурой. Храбрый, легкомысленный, болтливый, очень остроумный. О необыкновенной рассеянности его ходило множество анекдотов. Однажды в Одессе он запер на ключ комнату, в которой находился император Александр, а сам ушел гулять. Часто громко разговаривал сам с собою. На заседании государственного совета, во время речи одного из ораторов, вдруг раздалось восклицание гр. Ланжерона:

— Quelle bêtise! (Какая глупость!)

Оскорбленный оратор потребовал объяснения. Ланжерон добродушно ответил:

— Вы думаете, я о вашей речи? О, нет, я ее совсем не слушал, а вот я сегодня собираюсь вечером в Михайловский дворец, так хотел приготовить два-три каламбура для вел. князя Михаила Павловича, только что-то очень глупо выходит.

Приятель однажды застал его за письменным столом. Ланжерон с росчерком подписывал на листе бумаги свою фамилию и приговаривал на своем ломаном русском языке:

— Нье будёт, нье будёт!

Он пробовал, как бы выходило, если бы пришлось подписываться: «фельдмаршал граф Ланжерон», но с огорчением говорил сам себе, что этому никогда не бывать. Был очень остроумен. Адъютанту, бестолково выполнившему во время сражения его поручение, сказал:

— Ви пороху нье боитесь, — но ви его нье видумали!

За обедом у Александра I он сидел однажды между генералами Уваровым и Милорадовичем. Генералы говорили между собою по-французски. Оба они очень любили говорить по-французски, а говорили отвратительно. Александр спросил Ланжерона, о чем они говорят:

— Извините, государь, я их не понимаю: они говорят по-французски.

С подчиненными, когда требовалось, был строг. Во время своего начальствования в Одессе, за что-то недовольный русскими купцами, призвал к себе и сделал такое внушение:

— Какой ви негоцъант, ви маркитант! Какой ви купец, ви овец!

Любил также следовать обычаям страны, в которую понал. Однажды, объезжая вверенный ему край, Ланжерон увидел, что скакавший впереди его адъютант, подъехав к станции, стрелою вылетел из перекладной, бросился на зрителя и приколотил его. Ланжерон выскочил из коляски и тоже принялся избивать зрителя. Потом быстро обернулся к адъютанту и добродушно спросил:

— Ah ça, mon cher, pourquoi avons nous battu cet homme (Милый мой, за что мы поколотили этого человека)?

Он вообразил, что это было в обычаях края, которым он управлял.

После своей отставки Ланжерон некоторое время жил в Одессе и на досуге написал трагедию «Мазаниелло или неаполитанская революция». Дал ее прочесть Пушкину. Через несколько недель встретился с ним и спросил:

— Ну, какова моя трагедия?

А Пушкин прочесть ее не удосужился. Он постарался отделаться общими словами. Но граф требовал обстоятельного отзыва, вошел в подробности, особенно хотел знать мнение Пушкина о двух главных героях драмы. Пушкин разными изворотами заставил Ланжерона называть имена героев и наугад ответил, что ему больше нравится такой-то. Ланжерон пришел в восхищение.

— Так! Я узнаю в вас республиканца! Я предчувствовал, что этот герой вам больше понравится!

ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА НАРЫШКИНА

(1802—1861)

В семидесятых годах восемнадцатого столетия в одной из константинопольских кофеен служила тринадцатилетняя гречанка София Глявоне, девочка изумительной красоты. Секретарь польского посольства купил красавицу у ее матери, потом переуступил польскому посланнику. Она попала в Варшаву, там пошла по рукам; сумела женить на себе пожилого майора польской службы Иосифа Витта. Не ревнивый и жадный до денег муж охотно предоставлял жене полную свободу. В Париже она, повидимому, была любовницей графа Прованского, впоследствии короля Людовика XVIII. Во время второй русско-турецкой войны присутствовала с мужем на театре военных действий, сначала сошлась с генералом Салтыковым, осаждавшим Хотин, потом стала наложницей самого Потемкина. Он так гордился ее красотой, что повсюду развезжал с нею в открытом экипаже. Муж ее Витт сделался генералом русской службы и графом. В девяностых годах в нее влюбился богатейший польский старик-магнат граф Станислав Потоцкий, заплатил ее мужу большую сумму и женился на красавице. Бывшая рабыня-одалиска стала знатной дамой. Когда она являлась в обществе, вокруг нее теснились толпы, дивясь на ее красоту; портреты ее можно было видеть в каждой гостиной. София находилась в связи с сыном нового своего мужа от первого его брака. После смерти мужа она стала владетельницей 37 тысяч крепостных душ с соответственным количеством земли да еще двадцати тысяч десятин степи. У нее был сын от Витта — граф И. О. Витт, впоследствии известный начальник южных военных поселений, несколько сыновей от Потоцкого и две дочери от него — Софья и Ольга.

Дети от первого брака Потоцкого стали оспаривать ее права на наследство, так как она вышла замуж за их отца при живом муже. Потоцкая, уже в пожилых летах, приехала в Петербург, хлопотала, направо и налево раздавала взятки. Исход дела во многом зависел от петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Он был большой любитель женщин. На его завоевание она направила свою красавицу-дочь Ольгу, часами оставляла ее наедине с ним в его кабинете. Милорадович страстно влюбился в Ольгу. Граф Олизар рассказывает, что приемный кабинет Милорадовича весь был украшен картинами, гравюрами и статуэтками, изображавшими Ольгу Потоцкую. Она втихомолку потешалась над его страстью и вместе с сестрою Софьей заставляла его делать много смешного для его лет. Вигель сообщает, что такими путями старой Потоцкой удалось выиграть процесс.

В 1821 г. сестра Ольги Софья вышла замуж за П. Д. Киселева. Ольга приехала погостить к сестре в Тульчин, где ее муж был начальником штаба второй армии, завязала с ним роман и вступила в связь. В 1823 г. она вышла замуж за генерал-майора Л. А. Нарышкина и поселилась с ним в Одессе. Здесь она очень сошлась с графиней Е. К. Воронцовой, стала ближайшим ее другом и неразлучной спутницей. Молодежь была от нее без ума. В. И. Туманский писал кузине: «Ах, милый друг, если бы ты знала, как мила, как пленительна Ольга! Сколько удовольствий, ею изобретенных и ею украшенных; сколько милой приветливости, притом же сколько ума и сколько скромности. Я ничего не видел очаровательнее ее лица в турецкой чалме. В голубом, как туман, прозрачном платье, когда она танцует вальс, без стыда можно встать перед нею на колени. Прибавь к этому необыкновенную живость в речах, взглядах, улыбках...» Вигель так характеризует ее: «Красота ее была во всем блеске, но в ней не было ничего девственного, трогательного. Она была довольно молчалива, не горда, но и невнимательна с теми, к кому не имела нужды, и в самой первой молодости казалась уже вооруженною большою опытностью. Все было разочтено, и стрелы кокетства берегла она для покорения сильных». Сестра Софья отзывалась об Ольге: «Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием». Ольга была женщина энергичная и властолюбивая. В 1834 г. Пушкин записал в дневнике слух о «соблазнительной связи» О. С. Нарышкиной с графом Воронцовым. Слух этот подтверждается рядом и других свидетельств.

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАРЫШКИН

(1785—1846)

Муж предыдущей. Был сын обер-гофмаршала А. Л. Нарышкина и по этой причине уже четырнадцати лет получил высокое придворное звание камергера. С отличием участвовал в наполеоновских кампаниях, был награжден георгиевским крестом. В 1824 г. женился на гр. О. С. Потоцкой и вышел в отставку с чином генерал-майора. Жил в Одессе без всякого дела. Был колоссально богат. Приходился двоюродным братом гр. Воронцову, находился с ним в приятельских отношениях. Его изящный дом, парадные обеды и богатые балы привлекали поклонников и искателей. Был он человек бесхарактерный и вялый, скучал жизнью, никуда не ездил и две трети суток проводил во сне. Щедрый в делах роскоши, к служащим своим был мелочно-скуп. Бывшему гвардейскому офицеру Веригину, поднявшему до огромных раз-

меров доходность его разоренных поместий в средней России, он в благодарность прислал из Одессы изъезженную, поломанную, ободранную коляску, которую возмущенный Веригин отправил обратно. Другому своему служащему, проделавшему большую двухмесячную работу по описи именья, — работу, не входившую в его обязанности, — Нарышкин в благодарность прислал два с половиной аршина сукна на сюртук. Брак его с О. С. Потоцкой не был счастлив.

ВАРВАРА АРКАДЬЕВНА БАШМАКОВА

(Род. в начале 1800-х гг. — ум. в 90-х)

Рожденная княжна Суворова-Рымникская, внучка знаменитого полководца, двоюродная племянница гр. М. С. Воронцова. Принадлежала в Одессе к интимному кружку графини Воронцовой. Вигель про нее: «Она была не хороша и не дурна собою, но скорее последнее; только на тогдашнее петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержное в речах, она совсем не походила, любила молоть вздор и делать сплетни; бывало, соврет что-нибудь мужу, тот взбесится, и выйдет у него с кем-нибудь неприятность». Впрочем, другие отзываются о семье Башмаковых более благоприятно. Слащавый М. П. Щербинин рассказывает: «В приветливой гостиней радушного хозяина и лобезной его супруги, усаждавшей наши беседы музыкой и пеннем, мы проводили многие приятные вечера, которые, конечно, памятливы всем, посещавшим эту гостеприимную, ласковую чету». А Туманский писал своей кузине: «Башмаковы дают небольшие вечера, где жена прекрасно поет, очень умно беседует, а муж рассказывает похождения своей молодости, которая проведена им очень весело». По сообщению Липранди, Пушкин в бытность свою в Одессе бывал у Башмаковых, встречался с Башмаковой и у гр. Воронцовой. Впрочем, по некоторым другим данным, Башмаковы приехали в Одессу уже после высылки Пушкина.

ДМИТРИЙ ЕВЛАМЬЕВИЧ БАШМАКОВ

(1792—1835)

Муж предыдущей. Служил в кавалергардах, в десятых годах считался первым красавцем в Петербурге. Вигель рассказывает: «Не слишком богатый казанский помещик; мундир, необыкновенная красота, ловкость, смелость открыли ему двери во все гостинные большого света и дали ему руку внучки Суворова... Человека самонадеяннее, упрямее и непонятливее Башмакова трудно было сыскать; кто-то в Одессе про-

звал его «Brise-raison». В двадцатых годах, в чине действительного статского советника и в звании камергера, Башмаков служил чиновником особых поручений в Одессе при графе Воронцове.

Граф АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ГУРЬЕВ
(1787—1865)

Одесский градоначальник. Сын министра финансов графа Д. А. Гурьева, первого в свое время гастронома и взяточника. Вигель, знавший А. Д. Гурьева в молодости, характеризует его так: «Свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями; отличался жадностью и златолюбием. В самой молодости ничто до сердца к нему не доходило, а ум был окутан какою-то густою оболочкою, через кою с трудом проникали понятия. Когда, бывало, он просыпается и глядит во все глаза, то долго, очень долго не может понять, что говорят; около часу ему бывало нужно, чтобы в мозгу своем пробудить способность мыслить. Все в нем было тупо и тяжело; это просто был желудок, обложенный в человека. Он всегда разливал вокруг себя скуку. С нижегородским ополчением был он в одном только сражении, за что из действительных статских советников переименован в генерал-майоры, потом женился на дочери начальника своего гр. П. А. Толстого, во Франции командовал пехотной бригадой. Тяжеловес этот всех преследовал воспоминанием о единственном военном подвиге своем: не было у него других разговоров, как о позиции, которую занимал он под Дрезденом между картофелем и репою».

Назначенный в 1822 г. в Одессу градоначальником, Гурьев проявил себя никуда негодным администратором, очень тонким гастрономом, а в обществе подавлял всех тяжелою, скучною многоречивостью; длинные, самодовольные фразы непрерывно ползли одна за другою, и собеседнику приходилось долго ждать, чтобы вставить слово. Пушкин был знаком с Гурьевым, повидимому, бывал у него, в письмах высказывает интерес к здоровью маленькой его дочки. Гурьев, за отсутствием Воронцова, приводил в исполнение полученный из Петербурга приказ о высылке Пушкина.

Графиня АВДОТЯ ПЕТРОВНА ГУРЬЕВА

Жена предыдущего, рожденная графиня Толстая. В молодости была очень мила, Вигель сравнивает ее с ласковым, резвым котенком, который со временем превращается в сердитую, мрачную кошку. После на-

значения в Одессу Воронцова власть ее мужа значительно сократилась, и она не могла простить Воронцовой отнятое у нее и ее мужа первенство. К одесским негоциантам и их женам относилась с большим пренебрежением и говорила:

— Что мне до этой разношерстной компании, и как смеют эти купчихи считаться со мною!

Была дама очень эксцентричная и прямо бухала все, что было на уме. Одна малознакомая дама, желая сказать ей любезность, заметила, что дочери ее очень похожи на своего отца. Графиня ответила:

— Вы ничего не могли мне сказать более неприятного.

Спала не в спальне и не на кровати; каждый вечер, когда все расходились на ночь, для нее клали матрацы и подушки на обеденном столе в столовой. Знакомых мужчин, случалось, принимала в своей уборной, в корсете и в одной юбке. Позднее, когда одна из ее дочерей была замужем за кн. Куракиным, она, проезжая через Москву вместе с этой дочерью, сочла себя вправе остановиться в странноприимном доме князей Куракиных у Красных ворот: дескать, моя дочь — Куракина.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КАЗНАЧЕЕВ (1788—1880)

Правитель канцелярии Воронцова, действительный статский советник, бывший гвардейский полковник. Был он человек недалекий, слабохарактерный, упрямо самолюбивый, никогда, несмотря на очевидность, не желавший сознаться в ошибке, но при этом чрезвычайно добрый и деятельно-отзывчивый; все его любили. Воронцов писал о нем: «В Казначееве есть необыкновенная страсть и себя, и других со всеми мирить дружественными объяснениями и признаниями». Когда Воронцов хотел отправить Пушкина в командировку на борьбу с саранчой, Казначеев всячески старался убедить своего начальника не делать этого. Когда оскорбленный Пушкин, возвратившись из командировки, подал прошение об отставке, Казначеев все меры употребил для того, чтобы попытаться отговорить его от этого шага. Пушкин относился к Казначееву с дружескою доверчивостью, в письмах отзывался о нем с уважением и из псковской ссылки передавал ему поклоны.

Впоследствии Казначеев был феодосийским градоначальником, таурическим губернатором, одесским градоначальником и везде оставил по себе добрую память. Умер в Москве глубоким стариком.

ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА КАЗНАЧЕЕВА

(1793—1859)

Жена предыдущего, рожденная княжна Волконская, из бедной помещицкой семьи Рязанской губернии. Она была еще свежа, бела и румяна, но чрезвычайно толста и кривобока. Лицо, всегда сердитое и недовольное, в гостиную графини Воронцовой расплывалось в подобострастную улыбку. Пороков знатных людей она не замечала, но до суровости была строга к малейшим слабостям равных ей, особенно женщин. Очень гордилась княжеским своим происхождением, ко всему в мире относилась свысока. Была женщина энергичная и властная, держала в руках не только добродушного своего мужа, но и всех его подчиненных. Входила во все дела мужа, вмешивалась в его распоряжения, диктовала за него приказы — и вовсе не от увлечения делом: за спиной мужа она брала взятки со всех, с кого было возможно; простодушный, бескорыстный Казначеев и не подозревал, что часто подписывал заранее оплаченные решения. Население питало к ней такую же ненависть, какую питало любовь к ее мужу. Варвара Дмитриевна была женщина бестолково-начитанная, типа «синего чулка», страстно любила литературу, давала понять, что сама пишет стихи, которых никому не показывала, устраивала у себя литературные собрания. В. И. Туманский был постоянным их посетителем. Пушкин, несмотря на радушие хозяев, бывал редко и неохотно.

Барон ФИЛИПП ИВАНОВИЧ БРУНОВ

(1797—1875)

Родом из Курляндии. Типичный представитель остзейских баронов-бюрократов, соединявших усердное служение русскому самодержавию с глубочайшим презрением и ненавистью к России. Окончил лейпцигский университет по юридическому факультету, служил по дипломатической части, весной 1823 г. был определен к Воронцову чиновником особых поручений. «Наружность имел он неприятную, — рассказывает Вигель, — длинный стан его, все более вытягиваясь, оканчивался огромною, страшною челюстью». Но Брунов превосходно говорил по-французски, обладал прекрасными манерами и был радушно принят в интимному кругу Воронцовых. Умел тонко льстить своему начальнику. Пушкин с омерзением рассказывал Липранди о низкопоклонстве Брунова перед Воронцовым. На маскарадном балу Брунов, замаскирован-

ный червонным валетом, подошел к Воронцову и сказал, играя словом «coeur», означающим и сердце, и червонную масть:

— Валет червей (le valet de coeur) приветствует короля сердец (roi des coeurs)!

«Всею Одессе, — сообщает Вигель, — Брунов был известен как продажная душа; в Бухаресте был он пойман в воровстве, в грабеже, уличен, сознался и, неизвестно как, был спасен». Принимая Вигеля по фамилии за немца, Брунов предложил ему соединиться, чтобы совместными усилиями свалить правителя воронцовской канцелярии Казначеева и завладеть его местом. Вигель притворно возразил:

— Нас мало. Кабы нам достать людей из остзейских губерний или из самой Германии и ими заполнить места, дело пошло бы иначе.

— Да это можно после, — ответил Брунов.

Во второй половине двадцатых годов Брунов вступил в связь с хорошенькою женою инженерного генерала Лехнера. Лехнер узнал о связи, развелся с женою и, угрожая дуэлью, заставил Брунова жениться на ней. Пришлось жениться. Но сам Брунов был не ревнив; он охотно оставлял жену наедине со своим шефом, тогдашним одесским градоначальником, графом Ф. П. Паленом, заменявшим Воронцова в должности наместника за его отсутствием.

С 1832 г. Брунов состоял при министре иностранных дел графе Нессельроде, который очень ценил его бойкое перо и поручил ему составление важнейших дипломатических инструкций российским послам за границей. Брунов состоял также членом главного управления цензуры, он, между прочим, просмотрел лучший тогдашний журнал «Московский телеграф» Полевого и составил на него обвинительную записку, на основании которой журнал был запрещен. Искательством и подбострастием перед начальством Брунов обращал на себя всеобщее внимание. Кн. Вяземский записал: «Брунов изгибается перед всеми высшими. Я видел его в Ораниенбауме: он был посмешищем великих княгинь и фрейлин. Сказывают, что эту же роль играл он в Одессе при дворе Воронцова». С сороковых до семидесятых годов Брунов состоял русским послом в Англии, где, между прочим, вел энергичную борьбу с Герценом, издававшим в Лондоне вольную русскую газету «Колокол», всячески старался мешать ее распространению, осведомлял о деятельности Герцена Третье отделение; есть основания думать, что посольство пыталось даже организовать убийство Герцена или тайное похищение его. В 1864 г. Брунова наблюдал в Лондоне кн. В. П. Мещерский, известный реакционный публицист, впоследствии издатель «Гражданина». «Я видел перед собою, — рассказывает он, — толстую и рослую фигуру, напоминающую неуклюжего бегемота, с большою головою, бри-

тую, с лицом, ничего не выражающим, кроме полнейшего безучастия». Первый вопрос, который задал Мещерскому этот охранитель интересов русских подданных в Англии, был:

— Надеюсь, вы не имеете ко мне никакой просьбы?

Узнав, что князь знаком с наследником-цесаревичем, Брунов сразу переменял тон, сам стал предлагать свои услуги и пригласил к себе Мещерского обедать.

«На обеде, — рассказывает Мещерский, — я познакомился с его женою, в черных локонах, окаймлявших толстое, без всякого выражения, лицо, и нашел ее совершенно одинакового типа с мужем. Оба разговаривали, но я все время испытывал неприятное ощущение, что говорили они по необходимости, без малейшего жизненного участия к лицу и к предметам разговора. Мне казалось, что я провел два часа в обществе говорящих мумий. Брунов мне сказал:

— Я всегда говорю моим дорогим соотечественникам, — к счастью, их в Лондоне немного, — если вы имеете наивность думать, что посольство служит для вас, то вы жестоко ошибаетесь.

Мне говорили, что карьерою своею вначале он был обязан своему красивому почерку, а затем своему стилю. Что он сделал для России полезного, я никогда не мог узнать. Такого оригинального и самобытного типа цинизма, в своем презрении к каким бы то ни было нравственным обязанностям по должности и в своем куртизанстве, я никогда не встречал. Из куртизанского поклонения и самоунижения он делал культ и находил в его отиправлении какое-то циничное наслаждение, как он сам в том сознавался».

Брунов был андреевским кавалером. В 1871 г. возведен в графское достоинство.

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРИНИ

(Род. в середине 90-х гг. XVIII ст. — ум. ок. 1848 г.)

Побочный сын графа В. П. Кочубея, в то время чрезвычайного посланника в Турции; от молодой и красивой жены старика-чиновника константинопольской миссии. Еще в малолетстве получил от неаполитанской королевы звезду св. Константина на грудь, что давало ему вид маленького принца. Под покровительством Кочубея мальчик вырос, был определен на службу и вошел в высшие круги петербургского общества. В 1823 г. Марини приехал вместе с Воронцовым в Одессу и был назначен в дипломатическую канцелярию наместника, в которой, по приезде в Одессу, числился и Пушкин. «Кажется, — замечает Вигель, — был он командирован министерством иностранных дел более для умножения

блеска маленького одесского двора, чем для пользы службы». Марини принадлежал к интимному воронцовскому кружку, где с ним не раз встречался Пушкин.

Держался Марини важно, чопорно, слегка надменно. Пользуясь покровительством начальства и удобствами торгового города, он усердно занимался разного рода спекуляциями и этим приобрел порядочное состояние. Всегда занятый собственными делами, которые слегка были сплетены со служебными, он казался деятельным. Марини никогда не покидал Одессы, все время занимал одну и ту же должность, однако из надворных советников дослужился до тайного советника, постоянно получал награды, кресты, ленты, подарки, земли, аренды. В умении добывать их он отличался исключительной назойливостью, доходившею до последних пределов наглости. Однажды он просил Воронцова представить его к какому-то ордену. Воронцов вежливо отказал. Марини сам написал представление, явился к Воронцову в кабинет и неотвязно стал просить подписать. Воронцов ушел от него в сад. Марини последовал за ним и продолжал приставать. Воронцов возразил:

— Где же я здесь, любезнейший, подпишу?

Марини подставил собственную спину, и Воронцов подписал на ней просимую бумагу.

ИВАН ПАВЛОВИЧ БЛАРАМБЕРГ

(1771—1831)

Чиновник особых поручений при Воронцове. Родом из Фландрии. Раньше служил на военной службе, потом был прокурором коммерческого суда в Одессе, начальником одесской таможни. Был выдающийся археолог, составил себе почетное имя исследованием черноморских древностей. Умница без педантизма, веселый каламбурист; дошедшие каламбуры его забавны. Держал превосходного повара, любил хороший стол, был радушный хозяин. Дом его постоянно был полон гостей. Часто бывали В. И. Туманский, барон Брунов, испанский консул дель Кастелло, женатый на старшей дочери Бларамберга Наталии. Случалось, что за столом говорили на шести-семи языках — русском, немецком, французском, итальянском, испанском, греческом. Время проводили весело и непринужденно. Дочь Бларамберга Елена восхищала всех своим прелестным сопрано и благозвучным испанским языком, Аника дель Кастелло сестра испанского консула — своею игрою в волап, как с чисто андалузской грацией изгибалась стройным телом и огненными глазами следила за мячом.

Дочери Бларамберга Зинаида и Елена славились в Одессе красо-

той, и к обеим, по рассказам, Пушкин был равнодушен. Зинаида была пикантная брюнетка с чудесными глазами и жемчужными зубами, резвая хохотунья, всегда веселая. Елена, тоже красавица, прекрасно пела, свободно говорила по-испански. Одна из сестер, — можно думать, Елена, — по собранным Зеленецким сведениям, была очень умная и образованная девушка, Пушкин любил с нею беседовать. Однажды на балу у гр. Воронцова В. И. Туманский попросил Пушкина сказать девицам Бларамберг экспромт. Пушкин подошел к сестрам и будто бы продекламировал:

Вы перед всеми взяли верх,
Пред вами преклоню колена,
О, величавая Елена,
О, Зинаида Бларамберг!

Исследователям, убежденным, что художники лишены творческой фантазии и рабски портретируют свои образы с живых «прототипов», можем предложить на обсуждение следующие соображения. Елена — «величавая», умная. Зинаиду Туманский в посвященном ей стихотворении характеризует так:

В любезной резвости своей
Вы сохранили детских дней
Простосердечные привычки.
Вас тешат бабушкины сны,
Наряды, пляски старины,
Цветы и комнатные птички.
Живя по воле каждый миг,
Вы избалованы бездельем,
И не привыкли для других
Счастливым жертвовать весельем.
Вы не умеете скучать:
Беспечной радостью, забавой,
С рожденья прыгать, хохотать
Дано законное вам право.

В рукописи в конце стихотворения стоят буквы З. А. О. Если толковать их, как инициалы красавицы, то они не подойдут к Зин. Ив. Бларамберг. Но странно было бы инициалы лица, которому посвящены стихи, ставить не во главе их, а в конце; буквы легко могут обозначать что-нибудь другое, например: «Зинаиде — Альбом — Одесса». Туманский в Одессе был близко знаком с семьею Бларамберг, никакой другой одесской Зинаиды мы не знаем, а граф М. Д. Бутурлин, в то время живший в Одессе, определенно говорит, что стихи писаны к Зинаиде Бларамберг. Теперь вспомним, что вторая глава «Онегина», где выведены Татьяна и Ольга, писаны Пушкиным в Одессе. Не ясно ли, что прототипом Татьяны была Елена Бларамберг, а Ольги — Зинаида?

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ТУМАНСКИЙ

(1800—1860)

Второстепенный поэт «пушкинской плеяды». Из старинного польско-украинского рода, сын полтавского помещика. Учился в Петербурге, окончил образование в Париже, в Collège de France, где слушал лекции Араго, Кузена и др. Возвратился в Петербург вместе с Кюхельбекером, — Кюхельбекер остался в Париже без всяких средств и смог приехать в Россию только благодаря помощи Туманского. Несколько лет Туманский прожил в Петербурге, занимался литературой, сблизился с Рылевым, А. Бестужевым, Дельвигом, Сомовым и др. Летом 1823 г. зачислился на службу в Одессу, в канцелярию графа Воронцова. Он вращался в высших кругах одесского общества, веселился, танцевал, ухаживал за дамами; особенно сблизился с семействами Казначеевых и Бларамбергов. В Одессе познакомился и с Пушкиным. Туманский относился к нему с восторженным почитанием, называл его «соловьем» и «Иисусом Христом нашей поэзии». Пушкин любил Туманского, отзывался о нем как о «славном малом», впоследствии писал Плетневу: «...в Туманском много прекрасного, несмотря на некоторые мелочи характера малороссийского». Мелочи эти, сколько можно судить, заключались в некотором самодовольстве Туманского и любви прихвастнуть. Вскоре после знакомства с ним Пушкин писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет, — например, он пишет в Петербург: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и портфель, любовь и пр.... Дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана, сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы, — помогите!» К поэтической деятельности Туманского Пушкин относился вначале отрицательно. «Как поэта, я не люблю его», — писал он А. Бестужеву. Позднее переменял мнение. Стихи Туманского «Девушка влюбленному поэту» (1824) привели Пушкина в восторг. Вот они, — с некоторыми поправками в середине, предложенными Пушкиным:

Поверьте мне, — души своей
Не разгадали вы доселе:
Вам хочется любить сильнее,
Чем любите вы в самом деле.
Вы очень милы, вы поэт;
Творенья ваши всем отрада;
Но я должна, хоть и не рада,

Сказать, что в вас чего-то нет.
 Когда с боязнью потаенной
 Встречаю вас наедине,
 Без робости, непринужденно
 Вы приближаетесь ко мне.
 Со мной ведет ль разговоры?
 Вам замечательней всего
 Ошибки слога моего.
 Без выраженья ваши взоры!
 В словах нет чувства, только ум.
 И если б, в беззаботной доле,
 Была я памятлива боле, —
 То, затвердив из модных дум
 Сто раз печатанные слезы,
 Желанья, сетованья, грусть, —
 В стихах я знала б наизусть
 Все изъяснения вашей прозы.
 Простите мне язык простой:
 Нет, не хочу судьбы такой!
 С душой, надеждою согретою,
 Хочу, в дни лучшие мои,
 Любимой быть я — для любви,
 А не затем, чтоб быть воспетой.

Пушкин впоследствии приглашал Туманского сотрудничать в «Московском вестнике», писал в статье, предназначавшейся к печати, но оставшейся в рукописи, что стихи Туманского отличаются гармонией, точностью слога и обличают решительный талант.

В одном стихотворении 1823 г. Туманский так воспел Одессу:

В стране, прославленной мольбою брашных дней,
 Где долго небеса — отрада для очей,
 Где тополи шумят, слышат прозны воды, —
 Сын хлада изумлен сиянием природы.
 Под легкой сению вечерних облаков
 Здесь уповательно дыхание садов.
 Здесь ночи теплые, луной и негой полны,
 На злачные брега, на серебряные волны
 Сбивают юношей веселые рон...
 И с пеной по морю расходятся лады.
 Здесь тихой осени надежда и усада, —
 Холмы увенчаны кистями винограда...

и т. д.

В «Странствиях Онегина» Пушкин с добродушной иронией вспоминает это описание:

Одессу звучными стихами
 Наш друг Туманский описал,
 Но он пристрастными глазами
 В то время на нее взирал.

Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские проставил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагнал там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать паслыщенную тень.

Впоследствии Туманский был секретарем русского посольства в Константинополе, помощником статс-секретаря государственного совета. В 1846 г. вышел в отставку и остаток жизни провел в родовом своем полтавском имении.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЛЕКС
(1793—1856)

Пушкин знал его еще мелким чиновником в Кишиневе. Маленький ростом, невзрачный, с рябым лицом. С начальством был ласково-почтителен, на все отвечал: «слушаю-с», «очень хорошо-с», «как прикажете-с», «превосходно-с». Жалование получал мизерное, жил в одной комнате с двумя другими канцеляристами, не имел даже кровати и спал под общим тулупом с одним из сожителей. Был человек очень живой, не унывающий, на губах — умно-веселая улыбка, знал несчетное число анекдотов, в компании непрочь был выпить. И — небывалое дело среди мелкого провинциального чиновничества: был щепетильно честен, не вымогал и не брал взяток, жил на одно нищенское жалование. Пушкин обратил внимание Инзова на Лекса как на человека умного и делового. Лекс действительно оказался очень сообразительным чиновником, умел быстро схватить суть дела, быстро и толково привести его в исполнение. Инзов очень его полюбил и заставлял работать в своем кабинете. Лекс не получил никакого образования, с четырнадцати лет служил по канцеляриям и как человек без диплома принадлежал к числу «вечных титулярных советников». Однако много читал и самостоятельно значительно пополнил свое образование. Ко всем был ласков, всем готов был угодить. Кто-то о нем сочинил двуступище, приписанное Пушкину и на всю жизнь приставшее к Лексу:

Михайло Иванович Лекс
Прекрасный человек-с.

Пушкин встречался с Лексом по воскресеньям на обедах у Бологовского и Липранди, но особого знакомства с ним в Кишиневе не вел.

В 1823 г. Лекс перешел на службу в Одессу к Воронцову в качестве начальника одного из отделений его канцелярии. Воронцов тоже высоко ценил Лекса, находил у него «хорошую голову, доброе сердце, замечательную деятельность и легкость в работе». Пушкин в Одессе сошелся с Лексом ближе и впоследствии отзывался о нем как о «человеке с умом и сердцем». Со слов Лекса, между прочим, Пушкин написал свой рассказ «Кирджали».

Ум, знание дела, исполнительность, ласковость, всегдашняя готовность без возражений исполнять приказания начальства с течением времени вывели Лекса далеко за тесные рамки «вечного титулярного советника». Под конец жизни он стал товарищем министра внутренних дел.

АНТОН ПЕТРОВИЧ САВЕЛОВ

Двоюродный брат одесского градоначальника Гурьева. Служил непрерывным членом в одесской портовой карантинной конторе. Был взятый картежник и человек жуликоватый. Однажды после обеда у Башмаковых он, как будто в шутку, стал играть в банк с мальчиком гр. М. Д. Бутурлиным и выиграл у него двое часов. Графиня Воронцова отобрала у Савелова часы, устроила у себя как будто лотерею, и на билет Бутурлина будто бы выпал выигрыш — двое проигранных им часов. За несколько дней до высылки из Одессы Пушкин вместе с Савеловым играл в карты у одесского городского головы, негоцианта Ф. Л. Лучича. Лучич проиграл Пушкину 900 р., триста заплатил на следующий день, а шестьсот, с согласия Савелова, который должен был ему по картам, перевел на него. При внезапном своем отъезде Пушкин занял эти шестьсот рублей у княгини Вяземской. Савелов обязался уплатить деньги Вяземской — и не уплатил. Пушкина очень мучил этот долг Вяземской, при первой возможности он выслал ей деньги из Михайловского, а мужу ее писал: «Савелов большой подлец. Посылаю при сем к нему дружеское письмо. Перешли его (в конверте) в Одессу по оказии, а то по почте он скажет: не получил. Охотно извиняю и понимаю его: но умный человек не может быть не плутом».

ФИЛИПП ФИЛИПPOBИЧ ВИГЕЛЬ

(1788—1856)

По отцу финн, по матери — из дворянского рода Лебедевых. В молодости служил в московском архиве коллеги иностранных дел, там сошелся с Дашковым, бр. Тургеневыми. После переселения в Петер-

бург принял участие в создании литературного общества «Арзамас» (см. гл. IV).

Взглядов Вигель держался самых реакционных. Был он высокого роста, круглое лицо с выдающимися скулами заканчивалось острым, приятным подбородочком; рот маленький, с ярко-красными губами, стягивался сладкою улыбкою в круглую вишенку. Характера он был самого тяжелого — злой, завистливый, самолюбивый, вздорный. Вяземский говорит о нем: «Не претерпевший никогда особенного несчастья, он был несчастлив сам по себе и сам от себя». Нигде Вигель не уживался, со всеми ссорился, всех мучил; не прощал, если ему тотчас же не отплатят визита, если посадят за столом не на место, которое он считал подобающему ему по чину. Но был при этом человек образованный и очень умный. Говорил тихо, потирая руки; речь его обильно пересыпалась удачными выражениями, анекдотами, стихами, и все это, с утонченностью выражения и щеголеватостью языка, придавало большую прелесть его разговору. Погодин в восторге говорил ему: «Мольер перестал писать комедии, Вальтер-Скотт — романы; надо ездить к вам слушать очерки тех высоких комедий, из коих составит история человеческого рода». У Вигеля всегда был, как лакомый кусочек, особенный предмет ненависти. Даже мягкие сравнительно слова его были злы.

Граф Блудов, под начальством которого служил Вигель, отзывался о нем: «Он добр только тогда, когда зол», — хотя, впрочем, очень ценил его как чиновника. Вигель был еще известен своими протiwоестественными половыми склонностями. Шутливое свое послание к нему в Кишинев Пушкин заканчивает стихом: «Но, Вигель, пощади мой зад!»

Н. А. Муханов пишет о Вигеле в дневнике: «Он имеет гадкую репутацию, вкусы азиатские, слыл всегда шпионом». По доносу Вигеля, между прочим, началось дело о «Философическом письме» Чаадаева в «Телескопе».

Пушкин познакомился с Вигелем еще в Петербурге. Оба они были членами «Арзамаса», но особенной симпатии друг к другу не питали. Летом 1823 г. Вигель был назначен на службу к Воронцову, приехал в Одессу и остановился в гостинице Рено, где жил и только что переехавший из Кишинева Пушкин. Здесь они как-то сошлись. Вигель рассказывает: «Пушкин жил рядом со мною, об стену. В Одессе не успел еще он обрести веселых собеседников. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если бы у него и не было с ним общего знакомства, и он собою не напоминал бы ему Петербурга. Простое доброжелательство мое ему полюбилось, и с каж-

дым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Разговор Пушкина, как бы электрическим прутком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождает в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое будущее, часто заставляла меня забывать и собственное. С своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацепив, мог бы я заставить заиграть этот чудесный инструмент, и мне удалось. Чрезвычайно много неизданных стихов было у него написано, и я могу сказать, что наслаждался ими. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Мало-помалу открыл я весь зарытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кон накинута была замаранная мантия цинизма». Вскоре Вигель уехал на службу в Кишинев членом бессарабского верховного совета от короны. Время от времени наезжал в Одессу, однажды Пушкин приезжал из Одессы в Кишинев, и каждый раз они виделись. Дошел черновик письма Пушкина к Вигелю в Кишинев — очень игривого содержания, полный намеков на педерастические вкусы Вигеля. Пушкин и впоследствии не раз встречался с Вигелем — в Москве, в Петербурге. В дневнике от 7 января 1834 г. он записал: «Вигель получил звезду и очень ею доволен. Вчера был он у меня — я люблю его разговор — он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве». Впоследствии Вигель был бессарабским вице-губернатором, керченским градоначальником, в конце жизни — директором департамента иностранных исповеданий и тайным советником. Умер в Москве 68 лет, всеми оставленный, на руках наемной прислуги.

После Вигеля остались обширные «Записки» — яркая, удивительно талантливая, острая книга, к которой всегда будут обращаться исследователи общественного и литературного быта того времени. Исчерпывающую оценку «Записок» дал Вяземский: «В них много злости и много злопамятности, но много и живости в рассказе и в изображении лиц. Верить им слепо, кажется, не должно. Сколько мог я заметить, есть и сбивчивость, и анахронизмы в событиях. К тому же он многое писал по слухам. Со всем тем, эти записки очень любопытны, и Россия со всеми своими оттенками, политическими, правительственными, литературными, общежительными, и личностями отражается в них довольно полно, хотя, может быть, и не всегда безошибочно».

Граф ГУСТАВ ФИЛИППОВИЧ ОЛИЗАР

(1798—1865)

Богатый и знатный поляк. С 1821 г. был киевским губернским маршалом (предводителем) дворянства. Часто посещал в Киеве дом генерала Н. Н. Раевского, в то время командовавшего корпусом, влюбился в Марию Николаевну Раевскую (будущую кн. Волконскую) и просил ее руки, но получил от отца отказ. Генерал Раевский писал ему: «Различие наших религий, способов понимать взаимные наши обязанности, — сказать ли вам наконец? — различие национальностей наших, — все это ставит непреходимую преграду между нами». В неотделанном стихотворном обращении своем к Олизару Пушкин писал, имея в виду этот отказ:

И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Не примет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.

Потрясенный отказом, Олизар уехал в Крым, купил близ Аю-Дага имение, которое назвал «Карди-Иатрикон» (лекарство сердца), и поселился в нем, предавшись печали и писанию стихов; в них он воспевал свою «Беатриче» Амиру (Amira—Maria). В Крыму Олизар встречался с Мицкевичем, который посвятил ему сонет «Аю-Дат».

Олизар был председателем масонской ложи в Киеве. В качестве депутата польского Тайного общества имел сношения с русским Южным союзом. После декабрьского восстания дважды арестовывался, но сумел оправдаться. Во время польского восстания был удален на жительство в Курск, затем жил в Италии и в российских своих поместьях. После польского восстания 1863 г. уехал за границу. В свое время в Польше большою популярностью пользовались стихотворения Олизара, оплакивавшие потерю польской независимости.

Пушкин встречался с Олизаром в Киеве и Одессе.

АЛЕКСАНДР СКАРЛАТОВИЧ СТУРДЗА

(1791—1854)

Молдаванин по отцу, грек по матери. Политический и религиозный писатель, крайний реакционер и пиятист. Служил по министерству иностранных дел, выдвинутый графом Каподистрией. Для Аахенского конгресса, по поручению Александра I, написал доклад о германских университетах, которые, вместо того чтобы строить ковчег христианского

государства, являются, по мнению Стурдзы, рассадником революционного духа и атеизма. В то время влияние русского правительства в Германии было очень сильно, и Стурдза вызвал к себе в немецком студенчестве не меньшую ненависть, чем действовавшие в том же направлении немецкий драматург Коцебу и профессор права Шмольц. На пенском съезде студенческого Тайного общества было решено всех троих убить, и выбранным трем студентам были торжественно вручены книжки. Занд убил Коцебу; Шмольц, здоровый и сильный, отбил от заговорщика; Стурдза, предупрежденный заранее, уехал в Россию; но еще в Варшаве, как писал А. Тургеневу кн. Вяземский, ему, из боязни покушения, пришлось жить под охраной полиции. К этому времени относятся эпиграммы Пушкина на Стурдзу:

Я вокруг Стурдзы хожу,
Вкруг библического;
Я на Стурдзу клику
Монархического.

Пародия на песню «Я вокруг бочки хожу...» И другая эпиграмма:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем, — — —!

Большинство редакторов сочинений Пушкина относило последнюю эпиграмму к Аракчееву, несмотря на категорическое свидетельство Вяземского и Каверина. В связи с неосуществившимся покушением немецких студентов на жизнь Стурдзы особенный смысл получают именно в отношении к нему слова эпиграммы: «Благодари свою судьбу» и «Ты стоишь смерти Коцебу». В связи с этими соображениями можно более точно датировать и саму эпиграмму. Коцебу был убит 23 марта 1819 г., о замышлявшемся покушении на Стурдзу Вяземский писал Тургеневу в середине апреля. От Тургенева, конечно, узнал об этом и Пушкин. Навряд ли мы ошибемся, если время написания эпиграммы отнесем к апрелю—маю 1819 г.

С самим Стурдзой Пушкин познакомился еще в Петербурге весной 1820 г. у того же А. И. Тургенева. Снова встретились они в Одессе, где поселился отстранившийся от дел Стурдза. Осенью 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Здесь Стурдза монархический, я с ним не только приятель, но и кое о чем мыслим одинаково, не лукавя друг перед другом. Читал ли ты его последнюю брошюру о Греции?» Вероятно, еди-

номыслие их касалось именно греческого вопроса. Стурдза не только сочувствовал греческому восстанию, но и мечтал о возрождении греческой империи. Сам Стурдза уверяет, что ему удалось пробудить в Пушкине единомыслие и по некоторым другим вопросам. «Мне довелось часто встречаться с Пушкиным в Одессе, — вспоминает он. — Неукротимый дух его, в ту эпоху еще не дозревший, видимо, чуждался меня, как человека, гордившегося оковами собственной мысли. Однако, несмотря на такое предубеждение, я с удовольствием припоминаю, что однажды, за обедом у моей сестры, графини Р. С. Эдлинг, сидя друг подле друга, я успел овладеть полным вниманием и сочувствием Пушкина». Говоря о зиждительной силе христианской веры, Стурдза сказал:

— Теперь то и дело говорят о мечтательной политической свободе; а знаете ли, что в евангелии, в котором заключены все высшие истины, мы обретаем определение истинной свободы? Господь сказал: «познайте истину, и истина сделает вас свободными». Заключите же из сего божественного изречения, что где нет внутренней свободы, там нет и внешней.

«Собеседник мой, — рассказывает Стурдза, — при этих словах изъяснил простодушное удивление и сердечное участие. Кто знает, не начал ли он с тех пор заглядывать почаще в св. евангелие?»

АМАЛИЯ РИЗНИЧ

(1803—1825)

Высокая, стройная красавица с пламенными глазами, с белой, изумительно красивой шеей и густою черною косою до колен. По одним сведениям, она была итальянка родом из Флоренции, по другим — полу-итальянка, полу-немка, с примесью, быть может, еврейской крови, дочь венского банкира Ришпа. Муж ее был богатый одесский negociant И. С. Ризнич. В 1822 г. он уехал в Вену, там женился и весной 1823 г. приехал в Одессу с молодой женой. С нею приехала и ее мать. Амалия держалась эксцентрично, любила ходить в мужской шляпе и в наряде полу-амазонки, с тянущимся по земле шлейфом; злые языки говорили, — оттого, что у нее большие ступни. Любила веселую и широкую жизнь, празднества, танцы, страстно увлекалась картами. В интимном кругу графини Воронцовой она не была принята, но холостая молодежь валом к ней валила. Ее окружал рой поклонников. Муж держался на заднем плане. Летом 1823 г. в Одессу приехал Пушкин и страстно увлекся г-жею Ризнич. Это была горячая, дурманящая, чувственная страсть, на некоторое время совершенно закрутившая Пуш-

кина. Вскоре, повидимому, у них завязались близкие отношения. О характере этих отношений мы больше можем судить только по стихам Пушкина, — источник, в общем, не совсем надежный: поэты, — а Пушкин в особенности, — далеко не всегда отражают в стихах подлинные свои настроения и отношения. Если подыскивать реальных лиц к лирическим произведениям Пушкина, то с наибольшей вероятностью именно к г-же Ризнич следует отнести стихи, написанные Пушкиным 26 октября 1823 г.:

Мой голос, для тебя и ласковый, и томный,
Трещит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, — ручьи любви, — текут, полны тобою;
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
«Мой друг, мой нежный друг... люблю!.. твою!.. твою!..»

Но у Пушкина был соперник, доставлявший ему много волнений и терзаний. В другом стихотворении он пишет:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда путать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою милой?
Твой чудный взор, то нежный, то унылой?
Мной овладев, мой разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой:
Ни слова мне, ни взгляда... Друг жестокий!
Хочу ль бежать, — с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?

Но я любим!.. Наедине со мною
 Ты так нежна! Любазанья твои
 Так пламенны! Слова твоей любви
 Так искренно полны твоей душою!
 Тебе смежны мучения мои,
 Но я люблю, тебя я понимаю;
 Мой милый друг, не мучь меня, молю:
 Не знаешь ты, как сильно я люблю,
 Не знаешь ты, как тяжело я страдаю!

Кто был этот соперник Пушкина, указания расходятся; знаем только, что это был поляк, — по одним сведениям, очень богатый пожилой помещик Исидор Собаньский, будто бы золотом добившийся у красавицы перевеса над молодостью и пылом Пушкина; по другим сведениям, более вероятным, — не такой пожилой князь Яблоновский. Муки ревности Пушкину приходилось переживать самые жестокие; однажды, в бешенстве ревности, он пробежал пять верст с обнаженной головой под палящим солнцем при 35 градусах жары. Еще много позже он с ужасом вспоминал о страданиях, которые ему тогда пришлось вытерпеть:

Да, да, — ведь ревности припадки —
 Болезнь, так точно, как чума,
 Как черный сплин, как лихорадка,
 Как повреждение ума.
 Она горячкой пламенеет,
 Она свой жар, свой бред имеет,
 Сны злые, призраки ювил.
 Помнилуй бог, друзья мои!
 Мучительней нет в мире казни
 Ее терзаний роковых!
 Поверьте мне: кто вынес их,
 Тот уж, конечно, без боязни
 Взойдет на пламенный костер,
 Иль шею склонит под топор.

В начале 1824 г. Амалия Ризнич родила сына и сильно расхворалась, лихорадила, кашляла кровью. Ей становилось все хуже. В мае она уехала с ребенком в Италию. Муж проводил ее до границы и по делам должен был воротиться в Одессу. За нею последовал соперник Пушкина и за границей соединился с нею. Об их связи слуга Филипп, приставленный Ризничем к жене, известил мужа. Любовник вскоре бросил Амалию. В начале 1825 г. она умерла от чахотки в Италии, — по некоторым сведениям, в нищете, лишенная мужем материальной поддержки.

Поэт В. И. Туманский, знавший в Одессе Амалию Ризнич, написал на ее смерть сонет с знаменательным посвящением его Пушкину:

Ты на земле была любви подруга,
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо юга.

К твоим столам с горячностью друга
Склонился мир, — твои оковы нес;
Но Пименей, как северный мороз,
Убил цветок полуденного дуга.

И где ж теперь поклонников твоих
Блестящий рой? Где страстные рыданья?
Взгляни: к другим уж их влекут желанья,

Уж новый огонь волнует душу их,
И для тебя сей голос струн чужих —
Единственный завет воспоминанья!

Пушкин отозвался на смерть Ризнич только через полтора года, 29 июля 1826 г., как будто отвечая, — а может быть, и вправду отвечая, — на упрек и вызов Туманского:

Под небом голубым страны своей родной

Она томилась, увядала...

Увядла наконец, и верно надо мной

Младая тень уже летала;

Но недоступная черта меж нами есть;

Напрасно чувство возбуждал я:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,

И равнодушно ей внимал я.

Так вот кого любил я пламенной душой,

С таким тяжелым напряженьем,

С такою нежною, томительной тоской

С таким безумством и мученьем!

Где муки, где любовь? Увы, в душе моей

Для бедной, лежковерной тени.

Для сладкой памяти невозвратимых дней

Не пахоту ни слез, ни пени.

Характерно, что и Туманского, и Пушкина одинаково поражает странная скоротечность страсти, которую внушала Ризнич своим поклонникам. Очевидно, она умела горячим, темным огнем зажигать их кровь, хмелить головы, но души не задевала, и, когда хмель страсти проходил, оставалось одно равнодушие. «Похотливое кокетство итальянки», — однажды писал Пушкин, повидимому имея в виду Амалию Ризнич. Он отнесся равнодушно к смерти красавицы. Но горячая память о пережитых наслаждениях и муках крепко продолжала жить в душе. В «Онегине» он обращается, — можно думать, — к тени Ризнич:

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж шет, — о ты, которой

Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И раю миготом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой;
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день;
Почий, мучительная тень!

Но тень не почилла. Осенью 1830 г., когда Пушкин уже собирался соединить свою судьбу с Натальей Гончаровой, он одиноко жил в Болдине, отрезанный холерою от мира. Там опять прощальною тенью пред ним встала прежняя его возлюбленная:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальной
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать,
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени оливы, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Снянут в блеске голубом,
Где тень оливы легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне пробовой, —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой!..

Умерла, — а он все ждет ее поцелуя. Она стоит перед ним, — бледная и холодная, изгнанная из жизни бездушием его соперника, злобою мужа, — и все-таки мучительно-желанная, обольстительная, властно зовущая к себе сквозь жуть смерти и тлена:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой.
Бледна, холодна, как зимний день,

Искажета последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук или дупление,
Иль как ужасное видение
Мне все равно, — сюда! сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба.
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... Но тоскуя
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой... Сюда! сюда!

ИВАН СТЕПАНОВИЧ РИЗНИЧ

(Род. в 1792 г.)

Родом серб, родился в Триесте в 1792 г., сын торговца. Обучался в падуанском и берлинском университетах. Содержал в Вене банкирскую контору, потом переехал в Одессу и открыл экспедиторскую контору для экспорта хлеба. Был человек образованный, знал несколько языков, страстно любил театр и итальянскую оперу. В одесском торговом мире пользовался уважением, занимал видные городские должности, между прочим, был представителем города в управлении делами одесского театра и много поработал на его пользу. В начале 1822 г. женился на Амалии Риппа, умершей в 1825 г. Вторично женился в 1827 г. на графине Паулине Адамовне Ржевусской. Туманский писал Пушкину: «Новая м-м Ризнич вероятно не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти; это малютка с большим ртом и с польскими ухватками. Дом их доселе не открывался для нашей братии».

В 1833 г. Ризнич обанкротился и поступил на государственную службу. Был директором Коммерческого банка.

КАРЛ ЯКОВЛЕВИЧ СИКАР

(1773—1830)

Богатый и культурный французский негоциант, живший в Одессе с 1804 г. Липранди рассказывает: «Из всех домов, посещаемых Пушкиным в Одессе, особенно любил он обедать у негоцианта Сикара. Пять-шесть обедов в год, им даваемых, не иначе, как званых и немногочисленных (не более как двадцати четырех человек, без женщин), действительно были замечательны отсутствием всякого этикета при высшей





сервировке стола. Пушкин был всегда приглашаем, и здесь я его находил, как говорится, совершенно в своей тарелке, дающим иногда волю болтовне, которая любезно принималась собеседниками». В 1830 г. Сикар погиб безвестно. По заключении Адрианопольского мира он поехал на корабле в Константинополь. Корабль погиб, — где и как, не узнано.

МОРАЛИ

В «Странствиях Онегина» Пушкин рассказывает:

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свой подбьет паруса...
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

Морали — *maure Ali* — мавр Али. Это была загадочная фигура. Высокого роста, красивый, прекрасно сложенный, с бронзовым, слегка рябым лицом; из-под белой чалмы глядели огненные черные глаза. Поверх красной рубахи была наброшена красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом; богатая турецкая шаль опоясывала короткие шаровары, из-за нее выглядывали ручки пистолетов; на чулках до колен — турецкие башмаки. Али прекрасно говорил по-итальянски и немного по-французски. Был человек очень веселый, дружил с одесской золотой молодежью, его принимали во многих гостиных, он неотменно присутствовал на пирушках, вечеринках и карточных сборищах. Ходили слухи, что Али раньше был морским разбойником и этим ремеслом нажил несметные богатства. Пушкин был с ним в большой дружбе и иначе не называл, как корсаром. Однажды вечером, после скучного совместного с Пушкиным обеда у Воронцовых, Липранди зашел в номер к Пушкину и застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у Али. Не сходя с колен мавра, Пушкин откомендовал его Липранди и прибавил:

— У меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком был близкой родней.

И принялся щекотать мавра. Он щекотки не выносил, и это очень забавляло Пушкина. Липранди пригласил их к себе в номер пить чай.

Говорили о Кишиневе, Пушкин находил, что в Кишиневе положение его было гораздо выносимее, чем в Одессе, несколько раз принимался щекотать мавра и говорил, что Али составляет для него здесь единственное наслаждение.

О дальнейшей судьбе Морали ходили различные слухи. По одним, его обыграли одесские шулера, и он бесследно исчез из Одессы. По другим, — он еще в восьмидесятых годах жил в Одессе, очень выгодно построил своих дочерей, а сыновьям дал крупные капиталы. Один, например, из внуков его, гусар, имел будто бы триста тысяч годового дохода.

XI

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗНАКОМЫЕ

В 1679 г. вступил на русскую службу поручиком солдатского строя пноземец Гаврило Вульф. Впоследствии был полковником. Сын его Петр во времена Елизаветы Петровны состоял в чине бригадира, а внук Иван Петрович был орловским губернатором и тайным советником. У этого Ивана Петровича было много сыновей и дочерей: Петр, Павел, Иван, Николай, Наталья (в замужестве Вельяшева), Анна (в замужестве Понофидина), Екатерина (в замужестве Полторацкая). Большинство их жило в своих поместьях Тверской и Псковской губерний. Многие из членов их семейств находились в самых разнообразных отношениях с Пушкиным. В этой главе будет рассказано и о них и вообще о деревенских знакомцах Пушкина.

ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ОСИПОВА (1781—1859)

Владетельница села Тригорского Псковской губернии, соседка Пушкиных. Рожденная Вындомская, в первом браке (с 1799 г.) была за Николаем Ивановичем Вульфom (умер в 1813 г.), во втором — за отставным чиновником почтамтского ведомства, статским советником Иваном Сафоновичем Осиповым (умер 5 февраля 1824 г.).

Невысокого роста, но пропорционально сложенная, с выточенным, кругленьким, очень приятным станом; красивое черноглазое лицо пор-

тила только нижняя губа, выпячивавшаяся вперед; если бы не это, ее можно было бы почесть маленькой красавицей. Была очень жизнерадостна, во всяких обстоятельствах была довольна своим положением. Молодой еще женщиной она мало заботилась о туалетах, много читала и училась. Муж ее Николай Иванович нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала римскую историю. Несомненно, среди тогдашних провинциальных помещиц Осипова представляла явление далеко не заурядное. Она знала немецкий и французский языки, училась вместе со своими детьми английскому. Следила за русской и иностранной литературой; выросшая на Клопштоке, Ричардсоне и «Бедной Лизе», сумела должным образом оценить Пушкина, Боратынского, Дельвига. В политических вопросах была далека от уездно-обывательского патриотизма и преклонения перед самодержавием, расходилась в этом отношении и с все более правевшим Пушкиным. В ответ на сообщение Пушкина об «удивительной храбрости и хладнокровии», с которым император Николай умирил холерный бунт новгородских военных поселенцев в 1831 г., она пишет: «Пока brave Николай будет придерживаться военного образа правления, дела будут идти все хуже и хуже. Вероятно, он не прочитал внимательно, а может и совсем не читал, «Историю Византии» Сегюра и многих других, писавших о причине падения империй». Воспетое Пушкиным усмирение Польши она называет «дурацкой войной». Осипова вызывала расположение к себе в выдающихся людях, знакомившихся с нею, как например, в Дельвиге, в А. И. Тургеневе: побывав в Тригорском, они после того вступали с нею в переписку. Пушкин, в минуту раздражения в письме к сестре ругавший тригорских обитателей, делал исключение для Прасковьи Александровны: «...твоя троюгорские приятельницы — несносные дуры, кроме матери».

Познакомился с нею Пушкин, конечно, еще в первое свое пребывание в Михайловском по окончании лицея, но оценил ее и дружески сошелся, когда в августе 1824 г. поселился в Михайловском после высылки из Одессы. После столкновения с отцом в октябре того же года он только ночевал дома, а все дни проводил в Тригорском. Осипова относилась к нему с неизменной заботливостью и лаской, она и ее семья много скрасили одиночество томившегося в ссылке Пушкина. И впоследствии Осипова с радостною готовностью исполняла всевозможные поручения, которые давал ей Пушкин, и во всем проявляла по отношению к нему любовь и чисто материнскую попечительность. В пушкинской литературе нередки указания, что Прасковья Александровна была будто бы влюблена в Пушкина, чуть ли даже не находилась с ним в связи. Для такого утверждения мы не имеем достаточных

ланных. Правда, в одном письме к Пушкину дочь ее Анна Николаевна Вульф высказывает уверенность, что мать держит ее в тверском своем имении Маллинниках, вдали от Пушкина, — из ревности; но теперь мы имеем большие основания подозревать, что между Анной Николаевной и Пушкиным были отношения, от которых всякая мать старалась бы уберечь свою девушку-дочь. В ровпо-нежных, никогда не взволнованных письмах Осиповой к Пушкину и его к ней нельзя решительно ничего усмотреть, кроме хорошей, тесной дружбы и взаимной расположенности, не посящей никакого специфического характера.

Многочисленных детей своих Осипова воспитывала строго и беспощадно. Заставляла сына выучивать наизусть всю французскую грамматику, била дочерей и драла их за уши до крови. Дети ее не любили. Отзывы детей, уже взрослых, рисуют ее как мелочно-скупую и эгоистическую, думавшую только о собственных своих удобствах, — до того, например, что она возненавидела доктора, который ей сказал, что дочь ее Маша близка к чахотке, и этим принудил ее везти Машу в Петербург для лечения. Впрочем, А. П. Керн рассказывает про один поступок исключительного бескорыстия и благородства, совершенный Пр. Ал-пою в молодости: сестра ее против воли родителей вышла замуж за Я. Ис. Ганнибала (двоюродного дядю Пушкина), отец за это лишил ее наследства и все имение свое в 1 200 душ завещал Прасковье Александровне. Получив после смерти отца наследство, она половину имения отдала сестре. М. И. Семевский, со слов детей Прасковьи Александровны, рассказывает: «Она была упряма и настойчива в своих мнениях, а еще более в своих распорядках, наконец, чрезвычайно самоуверенна и вследствие того как нельзя больше податлива на лесть. Все эти недостатки особенно развились в Прасковье Александровне под старость, когда на сцену выступили и физические недуги; явилось и ханжество, а вместе с тем явились люди, которые, окружив старуху, сделали закат ее жизни поистине крайне печальным. Притом тогда же начались у нее неприятности по хозяйству. Хозяйство у нее вообще шло всегда довольно плохо, а перед ее кончиной до того дурно, что если бы не энергия и не находчивость сына ее Алексея, то знаменитое Тригорское пошло бы за бесценок в чужие руки».

Пушкин посвятил Прасковье Александровне целый ряд стихотворений: «Подражания корану», «Простите, верные дубравы», «Быть может, уж не долго мне», «Последние цветы». Ей посвящали также стихи Языков и Дельвиг.

В биографии Пушкина теплым и ярким солнечным пятном выделяется прославленное им Тригорское с его милыми обитательницами:

...вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами...

Молодость, веселый девичий смех, песни, музыка. Как живой, рисуется перед глазами Пушкин среди цветника этих девушек — влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый, сыплющий направо и налево сверкающие стихи, полные легкого хмеля минутной влюбленности. «И влюблюсь до ноября...» Все так легко и бестрагично. И так светло, чисто и невинно. И юноши такие же — чистые и милые. Со всем, как в «Онегине» — в нем эта жизнь ведь и отражена. Ленский — жених Ольги; уже признанный жених:

Он вечно с ней. В ее локое
Они сидят в потемках двое.
И что ж? Любавью упоенный,
В омятении нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном шептать
Иль край одежды целовать.

Сам Онегин — и тот перерождается в этой чистой атмосфере. Он объясняется с Татьяной и благородно предостерегает ее:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

Даже непонятно: к какой беде? «Обольстит» и бросит беременной? Ну, как здесь может до этого дойти! Увы! «Мечты поэта...»

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВУЛЬФ

(1805—1881)

Сын (от первого брака) П. А. Осиповой. В 1822 г. поступил студентом в дерптский университет, где близко сошелся с поэтом Н. М. Языковым. По окончании университета в 1826 г. некоторое время жил в Петербурге, пытаясь пристроиться на службу. В январе 1829 г. поступил в гусарский принца Оранского полк («выбранный мною единственно по мундиру, ибо он лучший в армии»), принимал участие в турецкой кампании и подавлении польского восстания, в июле 1823 г. вышел в отставку штабс-ротмистром.

По приезде своем в с. Михайловское из Одессы Пушкин быстро сошелся с Вульфом; часто виделся с ним во время приездов его домой

на вакации. Через Вульфа Пушкин познакомился, сначала заочно, а потом и лично, с поэтом Языковым. В проектах Пушкина бежать за границу Вульф принимал близкое участие; он, между прочим, предлагал Пушкину увести его с собою за границу под видом слуги. Пушкин и впоследствии, до своей женитьбы, нередко виделся с Вульфом — и в Петербурге, и в деревне, переписывался с ним. Отношения их носили своеобразный характер, вполне выяснившийся для нас лишь с опубликованием в 1915 г. дневников Вульфа.

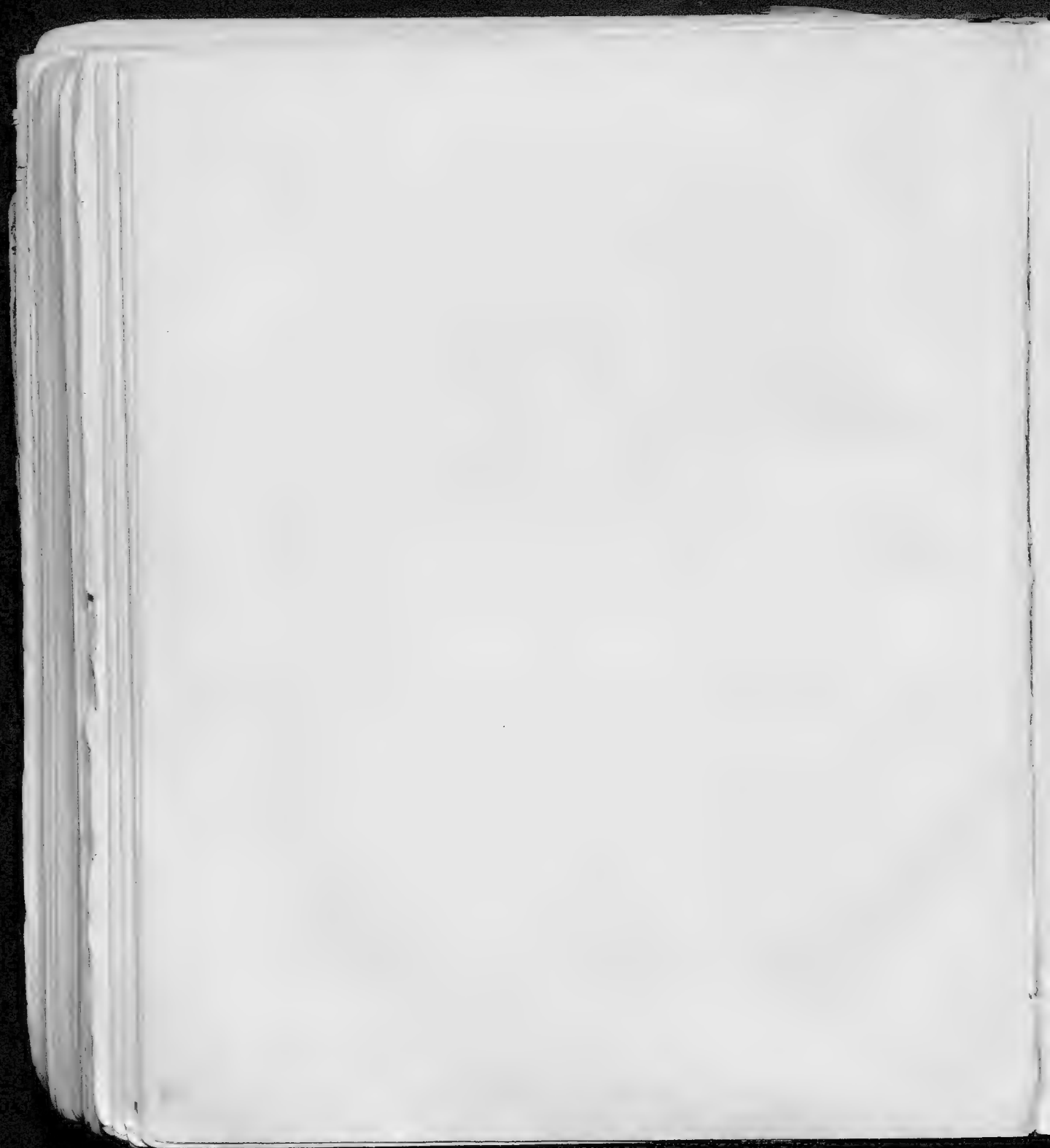
Пушкин в письмах называл Алексея Вульфа Ловласом, Вальмоном (имена героев, обольстителей девушек, в романах Ричардсона и Шодерло де Лакло). Вульф действительно был специалистом по любовным делам и производил, повидимому, неотразимое впечатление на женщин. У него было много романов. Он был в долголетней связи со своею двоюродною сестрою, красавицей А. П. Керн, молодою женою старого генерала. Но предпочитал девиц, с которыми был осторожен, не доводил романов до конца, но и не довольствовался платоническими отношениями. Система его заключалась в том, чтобы, говоря его словами, «незаметно от платонической идеальности переходить к эпикурейской вещественности, оставляя при этом девушку «добродетельною», как говорят обыкновенно».

Вот как рассказывает он про свои отношения с другою своею двоюродной сестрой, Лизой Полторацкой, сестрою А. П. Керн: «Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представлялись роскошному воображению, однако не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу, — ибо сама она, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки моим уверениям, считала себя такою». Подобные же отношения были у Вульфа с его сводною сестрою Сашей Осиповой. Подобные отношения установил он и с влюбленною в него Софьей Михайловной Дельвиц, женою поэта Дельвига. «Совершенно от меня зависело увенчать его чело, — рассказывает Вульф, — но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением проводить с нею вечера в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний». В любовной этой науке Вульф учителем своим все время называет Пушкина, старательно следует его советам, заключающимся в том, что нужно «постепенно развращать женщину, врать ей, раздражать ее чувственность». И действительно, Пушкин все время руководит Вульфом, поощряет его на ухаживания за барышнями тверских дворянских гнезд, стыдит за отсутствие должной предприимчивости, посылает ему игриво-пикантные извещения о его возлюбленных. Когда, например, Лиза Полторацкая,

с опоганенным телом и опоганенною душою, осенью 1828 г. уехала из Петербурга, где разыгрался ее роман с Вульфом, в деревню, а Алексей Вульф на свободе ухаживал в Петербурге за женою Дельвига, Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: «Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашими воспоминаниями, все обстоит благополучно. Меня приняли с достойным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы гораздо хуже меня (в моральном отношении). И потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения насчет вашего петербургского поведения даны с откровенностью и простодушием, от чего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как например: «Какой мерзавец! какая скверная душа!» Но я притворился, что их не слышу».

Чрезвычайно своеобразно отношение Алексея Вульфа к Пушкину. Пушкин все время говорит с ним его языком, в его стиле, поощряет и благословляет на поступки, к которым Вульфа тянет и самого, называет его «своим сыном в духе». Казалось бы, отношение к Пушкину должно быть самое дружелюбное — такое же, как и Пушкина к нему. Между тем в отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб. В 1830 г., уже в Польше, Вульф записывает в дневнике: «Пушкин, величая меня именем Ловласа, сообщает мне известия очень смешные о старицких красавицах, доказывающие, что он не переменялся с летами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал, — весьма циническим волокидою». Получив известие о предстоящей женитьбе Пушкина, Вульф пишет: «Желаю ему быть счастливым, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, — это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену». Пушкин, конечно, жены своей не развратил и был далеко не таким, каким односторонне представлял его себе Вульф. Но не Вульф виноват в том, что так воспринимал Пушкина. Пушкин сам обращался к нему почти исключительно своею цинично-озорною стороною, сам направлял их общение по определенному руслу. А он был на пять лет старше Вульфа, от него зависело давать тон их общению, о Вульфе же сам он отзывался так: «Он много знал, чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял». Вульф был циник, бабник, однако способен был откликаться на жизнь и другими сторонами души. Он весь начинает светиться, когда вспоминает о своем университетском





товарище Франциусе, пламенном энтузиасте. В 1833 г., узнав о его смерти, Вульф пишет: «Душевно сожалею, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладеющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом». Вульф с неизменной любовью вспоминает о другом своем университетском товарище, поэте Языкове, с глубоким уважением говорит всегда о Дельвиге. А к Пушкину — только скрытая вражда и насмешка. Нельзя в этом винить Вульфа.

Дневник Вульфа свидетельствует о несомненном его уме и талантливости. Например, читает он в романе Манцони описание прохождения немецких войск через Италию и замечает: «Про это мы более слышим, чем видим, как от мимо нас пролетающей ночью стаи птиц мы слышим шум, не видя их». Какой хороший образ! Или собиравшись высказать мысль, для него самого еще не вполне определившуюся, Вульф обрывает себя: «Довольно об этом: остановившись на предмете, я выскажу более, чем еще в голове образовалось мыслей, которые, приняв однажды форму, уже выходят из власти нашей». От права собственности на эти строки не отказались бы ни Ларошфуко, ни Ницше.

После выхода в отставку всю остальную долгую жизнь Вульф прожил холостяком в своем имении Малинниках, занимаясь сельским хозяйством. После своей женитьбы Пушкин виделся с ним редко и случайно. Весною 1836 г. он писал Языкову из псковских краев: «Алексей Вульф здесь, — отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас, — попрежнему милый, но уже перешагнувший за тридцать лет». По сообщению М. Гофмана, последние сорок лет жизни Вульфа прошли очень однообразно в заботах о хозяйстве. Под конец жизни он стал очень скуп; доходило до того, что питался он одной рыбой, пойманной им самим в речке. Местные крестьяне долго сохраняли память о строгом и скудном барине-кулаке. Однако Анна Петровна Керн с благодарностью вспоминает, что, когда она в старости жила в большой нужде, и самые близкие родственники отказывали ей в помощи, Вульф оказывал ей материальную поддержку. В крепостное время Вульф устроил у себя в Малинниках гарем из двенадцати крепостных девушек и кроме того, по рассказам, присвоил себе «право первой ночи».

АННА НИКОЛАЕВНА ВУЛЬФ (1799—1857)

Старшая дочь П. А. Осиповой от первого ее мужа, ровесница Пушкина. Круглолицая девушка с томно-грустными глазами, полногрудая, с прехорошенькими, по отзыву Пушкина, ножками. Была сентименталь-

на, любила высокопарные слова, от которых Пушкина корбило. По общению Анненкова, отличалась быстротою и находчивостью ответов, что было нелегким делом при общении с Пушкиным.

У Пушкина был с нею самый вялый и прозаический из всех его романов, и в одном письме к ней он сам назвал себя ее «прозаическим обожателем». Начало их отношений неясно. В августе 1824 г. Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, постарался оттолкнуть от себя всех соседей и часто бывал только в Тригорском. Но привлекала его туда одна мать, П. А. Осипова. В начале октября он писал княгине Вяземской: «...я часто выдаюсь только с одною доброю, старою соседкою, слушаю ее патриархальные разговоры; дочери ее довольно непривлекательны во всех отношениях». В начале декабря писал сестре: «...твои тригорские приятельницы — несносные дуры, кроме матери». А между двумя этими отзывами, в конце октября, пишет брату об Анне Николаевне: «С Анеткою бранюсь, — надоела». Как будто, значит, какие-то отношения были, но очень скоро пришли к концу. Однако к концу они не пришли. На всем протяжении ссыльной жизни Пушкина в Михайловском отношения эти продолжают — со стороны Пушкина нудные, холодные и бесспорывные. О своеобразном характере этих отношений можно только догадываться, освещая дошедшие до нас намеки общим представлением о «любовном быте» тогдашних помещичьих гнезд, как они вырисовываются в дневнике Вульфа (см. выше об Алексее Вульфе). В письмах Анны Николаевны к Пушкину от 1826 г. находим целый ряд намеков на характер их отношений. «Я нашла здесь в Малинниках очень милого кузена, — пишет она в одном письме, — который меня страстно любит и не желает ничего лучшего, как доказать мне это по вашему способу, если бы я только пожелала. Он не может перенести мысли, что я столько времени пробыла с вами, таким безправственным человеком». В другом письме она пишет про уланского полковника Анрепа, начавшего за нею ухаживать: «...этот превосходит даже и вас, чему бы я никогда не поверила, — он идет к своей цели гигантскими шагами; я думаю, что он даже превосходит вас в дерзости». Вспоминаются поучения, которые Пушкин много позже делал молодому Павлу Вяземскому: «...в обращении с женщинами не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки». «Гадкий вы! — пишет Анна Николаевна в третьем письме. — Недостойны вы, чтобы вас любили, много счетов нужно бы мне свести с вами». А рядом — такая фраза на итальянском языке: «До свидания, *ti* (подчеркнуто) *mando un bacio, mio amore, mio delizie* (посылаю те б поцелуй, моя любовь, моя прелесть)!». Только в связи с этим становится понятным и цинично-озорное бонмо, которым в августе 1825 г. Пушкин хвалился перед кня-

зем Вяземским. Анна Николаевна спросила его: «Что более вам нравится — запах резеды или розы?» Пушкин ответил: «Запах селедки».

Холодно-чувственное увлечение Анной Николаевной не мешало Пушкину одновременно увлекаться и другими женщинами — Нетти Вульф, Анной Петровной Керн. Он не стеснялся в письме к любящей его Анне Николаевне изливать свои страстные восторги по поводу А. П. Керн, что доставляло большое страдание Анне Николаевне. Тон обращения Пушкина с самою Анной Николаевной — пренебрежительный и насмешливый. Он советует ей в письме: «Будьте ветрены лишь с вашими друзьями-мужчинами, — они воспользуются этой ветреностью только в свою пользу, тогда как друзья-женщины повредят вам, ибо все они столь же пусты и столь же болтливы, как и вы сама». Пушкин сам сознается, что не раз позволял себе с нею «злые шутки». Это чередовалось, конечно, и периодами нежного отношения. В феврале 1826 г. Пушкин был одновременно с Анной Николаевной и ее матерью в Пскове. Там она провела с Пушкиным несколько дней, оставшихся сладко памятными Анне Николаевне. Там они «совершенно помирились», как писал Пушкин ее брату Алексею в мае того же года. Мать ее нашла, что Пушкин при прощании был грустен, и сказала: «Ему, кажется, нас жаль». А нежность его прощания с Анной Николаевной вызвала ее насмешливое замечание: «Он думал, что я ничего не замечая». Пушкин уехал обратно в Михайловское, а мать увезла дочь в тверскую свою деревню Малинники, пожила там и воротилась одна в Тригорское, на долгие месяцы оставив дочь в Малинниках. Анна Николаевна была убеждена, что мать разлучила ее с Пушкиным из ревности, «желая одна одержать над ним победу». Возможно, однако, что мать, догадавшись о характере их отношений, просто сочла нужным держать дочь подальше от него. Мы имеем целый ряд писем, на плохом французском языке, писанных из Малинников Анной Николаевной Пушкину весной 1826 г. Письма задушевные и трогательные, говорящие о глубокой, страдальческой любви девушки к Пушкину. Стиль их — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (хотя письмо Татьяны написано Пушкиным много раньше). «С чего мне начать и что вам сказать? Я боюсь и не могу дать воли моему перу; боже, почему я не уехала раньше, почему, — но нет, мои сожаления ни к чему, — они будут лишь торжеством для вашего тщеславия; очень возможно, что вы уже не помните последних дней, которые мы провели вместе... Я пишу вам письмо и плачу. Меня это компрометирует, я чувствую, но это сильнее меня; я не могу себя преодолеть... Не обманывайте меня, во имя неба, скажите, что совсем меня не любите, тогда, может быть, я буду спокойнее... Какое очаровывающее волшебство пленило меня! Как вы

умеете разыгрывать чувство! Я согласна со своими кузинами, что вы очень опасный человек, но я постараюсь стать благоразумной». С наивною кокетливостью рассказывает, как за нею ухаживают уланы и гвардейские офицеры, и тут же прибавляет, что она остается к этим ухаживаниям совершенно холодна и думает только о нем. «Ах, Пушкин, недостойны вы любви! Вы разываете и раните сердце, цены которому не знаете». Ответные письма Пушкина до нас не дошли: по распоряжению Анны Николаевны, они были после ее смерти уничтожены. Но из писем Анны Николаевны видно, как на них реагировал Пушкин. Она горько удивляется холодности его писем; он отвечает, что «плоскость» писем его объясняется... его любовью к ней. Она просит его уничтожить ее письма, — он небрежно оставляет их на виду, так что они рискуют попасть на глаза ее матери. Получив конспиративно доставленное ее письмо, восклицает при всех: «Ах, господи, что за письмо! Словно от женщины!» Бросает его и берется за письмо Нетти Вульф. Вполне ясно: с ее стороны была глубокая, серьезная любовь, с его стороны — баловство от скуки и неприятное чувство, что связался с этою надоспевшею ему девицею. Осенью, освобожденный из ссылки, Пушкин приехал в Москву, там страстно влюбился в Софью Пушкину. В начале ноября, уезжая на время обратно к себе в Михайловское, он писал кн. Вяземской: «Прощайте, княгиня, — еду похоронить себя в обществе моих соседок».

Анна Николаевна надолго пережила Пушкина. Замуж она не вышла и вела типическую жизнь «непристроившейся» старой девы, — ничем не занимаясь, все больше толстая, живя то в Тригорском и Малинниках, то в Петербурге, то в Голубове у замужней сестры, — везде одинаково тоскуя и скучая. Ей посвящено Пушкиным стихотворение-матригал «Имениннице», — такое же холодное, не согретое истинным чувством, как и его отношение к ней самой. К ней же обращено цинично-озорное стихотворение:

Увы, намраено деде гордой
Я предлагал свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронут твердой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь расколет.
Она на щечочку на...,
Но и поцеловать не позволит.

Мы думаем, что к ней же обращен черновой отрывок от 1825 г.:

Но ты забудь меня, мой друг,
Забудь меня, как забывают
Томительный, печальный сон...

С наибольшей вероятностью к Анне же Николаевне можно отнести следующее неотделанное стихотворение Пушкина (1825):

Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства ненужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена,
Ты приближаешься к сомнительной поре,
Как меньше женихов толпятся на дворе,
И тише звук похвал твой слух обворожает,
А зеркало сильнее прозрит и упрекает.
...утешься и смиришь,
От милых прежних прав заране откажись,
Ищи других побед, — успехи пред тобою,
Я счастья тебе желаю всей душою,
...ли опытов моих,
Мой дидактический, благоразумный стих.

Пушкин познакомился с Анной Николаевной летом 1817 г., когда, по окончании лицея, приезжал погостить к родителям в Михайловское. Анне Николаевне было тогда как раз семнадцать лет (родилась 10 декабря 1799 г.). Во время написания стихотворения ей было уже двадцать шесть.

ЕВПРАКСИЯ НИКОЛАЕВНА ВУЛЬФ (1809—1883)

Euphrosine, Зина, Зизи. Младшая сестра Анны и Алексея Вульфов. В 1824—1826 гг., в пору пребывания Пушкина в псковской ссылке, она была еще подростком, на глазах Пушкина расцветшим в хорошенькую девушку. «Кудри золотисты на пышных склонах белых плеч» (Языков), «полувоздушная дева» (Пушкин), с стройной талией, о которой Пушкин вспоминает в пятой главе «Онегина»:

...строй рямок узких, длинных,
Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фнал, —
Ты, от кого я пьян бывал!

Пушкин в это время полущутливо ухаживал за Зиной, также и Языков, когда гостил в Тригорском. Избалованная ухаживаниями, она позволяла себе капризничать, рвала стихи, которые ей писали оба поэта. Пушкин сообщал брату: «Евпраксия дуется и очень мила», а самой ей писал:

Вот, Зина, вам совет: играйте!
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец —
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец!

В знойное лето 1826 г., когда в Тригорском гостил Языков, Зина после обеда варила жженку трем приятелям — Пушкину, Языкову и брату Алексею — и сама разливала ее по стаканам серебряным ковшиком на длинной ручке. Языков вспоминает:

Как хорошо тогда мы жили!
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жженки ромовой!
Ее вы сами сочиняли:
Сладка была она, хмельна;
Ее вы сами разливали, —
И горячо пилась она!...
Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким звучали те стаканы,
Вам похвалу; за чистый хмель,
Каким в ту пору были пьяны
У вас мы ровно шесть недель...

В 1826 г. Пушкин уехал из Михайловского. Через полтора года прислал Евпраксии экземпляр только что вышедших четвертой — пятой глав «Онегина» с подписью: «Евпраксии Николаевне Вульф от автора. Твоя от твоих». Как раз в пятой главе находится вышеприведенное уподобление бокалов талии Зины. Пушкин крутился в вихре петербургской и московской жизни, влюблялся направо и налево, изредка наезжал в деревню, там встречался с Евпраксией. Постепенно отношения с нею становились ближе и интимнее. Алексей Вульф в старости рассказывал М. И. Семевскому, что Пушкин был пламенным обожателем Евпраксии. Имя «Евпраксеи» стоит в «дон-жуанском списке» Пушкина, притом в первом его отделе, куда занесено шестнадцать имен женщин, которых он любил всего глубже и сильнее, — Бакунина, Ризнич, Воронцова, Ушакова, таинственная NN., Гончарова и др. Слухи о любви Пушкина к Евпраксии дошли в 1831 г. даже до молодой его жены, и она ревновала его к старой любви. Расцвет любви этой можно отнести к 1828—1829 гг. Алексей Вульф в это время записал в дневнике: «По разным приметам судя, и молодое воображение Евпраксии вскружено неотразимым Мефистофелем (Пушкиным)». В начале 1829 г. в селе Павловском, имении одного из дядей Евпраксии, гостила молодая поповна Екатерина Евграфовна Смирнова, впоследствии в замужестве Синицына.

Там же в то время гостили Пушкин и Евпраксия с матерью. Синицына рассказывает: «Когда мы пошли к обеду, Александр Сергеевич предложил одну руку мне, а другую Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди — протанцует с ней, потом со мной, и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Пушкин после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее, — она на него все глаза проглядела». После смерти Евпраксии Николаевны дочь ее, по завещанию матери, сожгла письма к ней Пушкина.

Многоликий Протей-Пушкин и в любви к женщинам был Протеем. Перед нами то дерзкий и бесстыдный сатир, то застенчивый до смешного мальчик, то «рыцарь бедный», пламенеющий чистою любовью к той, «кого назвать не смеет». Каковы же были его отношения с Евпраксией? Судя по некоторым данным, отношения эти были такие же интимно-близкие, какие раньше были у Пушкина со старшею сестрою Евпраксией, а у Вульфа — с рядом его молоденьких кузин. Опытный в таких делах глаз Алексея Вульфа отмечает у сестры «расслабление во всех движениях, которое ее почитатели называли бы прелестною томностью, — мне же это показалось похожим на положение Лизы Полторацкой, на страдание не от совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся».

Во всяком случае, Евпраксия Николаевна знает о Пушкине в области этих отношений до странности много. В 1835 г. она рассказывает в письме к брату, с каким нетерпением поджидал Пушкин их замужнюю сводную сестру Сашеньку Беклешову (Осипову), «надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие мужа разогреет его состарившиеся физические и моральные силы». А через год выражает радость, что молодая ее сестренка Маша предпочла поэту некоего Шенига, который никогда не «воспользуется» ее благорасположением, «что об Пушкине никак нельзя сказать». Евпраксия Николаевна до конца жизни была очень дружественно расположена к Пушкину; но каждый раз, когда относительно его заходит разговор об этой области отношений, в тоне ее неизменно звучит та же затаенная насмешка и враждебность, как и у ее брата Алексея.

8 июля 1831 г. Евпраксия Николаевна вышла замуж за барона Б. А. Вревского. Пушкин бывал у них в их имении Голубово. В 1835 г. он писал жене: «Вревская очень добрая и милая бабенка, по толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И не заметно, что она

уже не брюхата: все та же, как тогда ты ее видела». А через год писал Языкову: «Поклон вам от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях». Пушкин скучал у Вревских, его раздражали вечные крик и плач ребят, коробили беспрестанные беременности хозяйки. Он ей сказал как-то:

— Как это смешно!

Евпраксия ответила, что с возвращением Пушкина в Петербург тоже самое окажется и с его женою, и не ошиблась. Однако отношения их были дружески настолько, что Пушкин делился с Евпраксией Николаевной многими даже интимными переживаниями: она, например, одна из немногих была посвящена Пушкиным в его запутанные преддуэльные отношения и в самый факт посланного им Геккеренам вызова.

Исследователи утверждают, что Евпраксия Вульф послужила для Пушкина в «Онегине» оригиналом, — одни говорят — Татьяны, другие — Ольги, вторую из героинь относя к ее сестре Анне. Вопрос решается просто: и в Евпраксии, и в Анне очень мало было черт как Татьяны, так и Ольги, художественный образ — не фотография, и приурочение к нему определенного «прототипа» — вещь в большинстве случаев бесплодная.

Барон БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРЕВСКИЙ

(1805—1888)

Муж Евпраксии Николаевны Вульф. Побочный сын кн. Ал. Бор. Куракина, вице-канцлера, посла в Вене и Париже. Фамилию свою Вревский получил от погоста Вревского Псковской губернии, а баронский титул отец выхлопотал ему у австрийского императора. Псковской помещик. Обучался в университетском Благородном пансионе вместе с братом Пушкина Львом. В 1831 г. женился на Евпраксии Вульф. Жили они в своем имении Голубове, верстах в тридцати пяти от Тригорского. В 1836 г. Пушкин проводил осень в Михайловском и бывал у Вревских, принимал горячее участие в устройстве сада и в постройках; сам копал грядки, сажал цветы, рассадил множество деревьев, даже принимал участие в рытье пруда.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ОСИПОВА

(Ум. в 1864 г.)

Алина. Падчерица Пр. Ал. Осиповой, дочь второго ее мужа от первого его брака, росла и воспитывалась в Тригорском вместе с дочерьми

Прасковьи Александровны. В 1824 г. Пушкин написал ей следующее стихотворение:

Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный, —
И в этой глухости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, я зеваю;
При вас мне дружно, я терплю;
И мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный, —
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пальцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять порой, в ненастье,
Вы собираетесь в даль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечером...
Алина, скажитесь падо мною!
Не смею требовать любви:
Быть может, за прехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь: этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня нетрудно:
Я сам обманываться рад!

Подчеркнутые фразы говорят о том, что у Пушкина был в этой любви счастливый соперник. Теперь из дневника Ал. Вульфа мы знаем, что этим соперником был он — всегдашний счастливый соперник Пушкина в любовных делах. В 1824 г. их роман только что начинался, но Пушкин ревниво отмечал уже и дальние их прогулки в осеннее не-

настье, и одиночные слезы девушки, и речи в уголку вдвоем. Под настроением этой «ревнивой печали», возможно, Пушкин написал и свое «Подражание А. Шенье»:

Ты вянешь и молчишь: печаль тебя сдает.
На девственных устах улыбка замирает;
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялись. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали!
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Люби не утайшь: мы любим и, как нас,
Девы печальные, любовь волнует нас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ними,
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю все, и, если захочу,
То назову его...

Увенчанье роман Алексея с Сашенькой получил в конце 1826 г., когда Пушкин уже уехал. Вульф применил на Сашеньке ту «науку любви», которую не раз применял и к ряду своих кузин, — «то есть, — как выражается он в своем дневнике, — до известной точки пользоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими». После года «спокойных наслаждений» такого рода Вульф уехал в Петербург, оставив Сашу в слезах и горе. В конце 1828 г. он приехал в родные края, волочился за новыми красавицами, но, паталкиваясь на неудачи, возвращался к Саше. «За то, — пишет он в дневнике, — возвращаясь с бала домой в одной кибитке с Сашей, мы с нею вспомнили старину». Вульф поступил в гусары и уехал в Западный край. В 1833 г. Сашенька вышла замуж за псковского полицмейстера, подполковника П. Н. Беклешова. Перед замужеством она говорила, что ненавидит Вульфа, и ругала его. Брак Александры Ивановны был очень несчастлив. По сообщению М. Л. Гофмана, она бедствовала и «развлекалась» и в Пскове, и в Тригорском, и в Новой Ладоге, и в Минской губернии. Одна из ее сестер в 1843 г. писала: «Муж с ней иначе не говорит, как браясь так, как бы бранился самый злой мужик. Дети, разумеется, ее ни во что не ставят. Это решительно ад». Какие после замужества были ее отношения с Пушкиным, — неизвестно. Знаем только, что в сентябре 1835 г. Пушкин, находясь в Михайловском, настойчиво звал Александру Ивановну приехать и писал: «У меня для вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться». Имел ли Пушкин основания рассчитывать на благосклонность Сашеньки, мы не знаем. Но если да, то и тут ему, как с А. П. Керн, приходилось допивать стакан, начатый

Алексеем Вульфom. Отметим в заключение загадочную, непонятную фразу в письме Анны Ник. Вульф к сестре: Пушкин, — пишет она, — «был доброй и злой звездой Беклешовой». В старости, в 60-х гг., А. И. Беклешова была учительницей музыки в псковском мариинском училище.

МАРИЯ ИВАНОВНА ОСИПОВА (1820—1895)

Дочь Прасковьи Александровны от второго брака. Когда Пушкин жил в псковской ссылке, Маша была еще совсем маленькой девочкой. Пушкин с нею играл, гонялся за нею, грозя длинными ногтями. Когда подросла и начала учиться, Пушкин помогал ей в переводах с немецкого, защищал от неслыханных педагогических требований матери. Прасковья Александровна, например, засадила девочку зубрить наизусть тяжеловесную русскую грамматику Ломоносова. Маша взмолилась к Пушкину о заступничестве. Пушкин стал убеждать мать в ненужности такого изучения и окончательно убедил ее таким доводом:

— Я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а слава богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен.

Маша была бойкая и озорная девочка, любила задирать Пушкина. Раз даже очень больно уколола: вырезала из темной бумаги обезьяну, наклеила ее и стала картинкой дразнить Пушкина. Он страшно рассердился, но потом вспомнил, что имеет дело с ребенком и сказал:

— Вы юны, как апрель.

Выросши, стала хорошенькой девушкой. Поразительно была похожа на свою старшую единокровную сестру Александру Ивановну как наружностью, так и «воображением и пылкостью чувств». На шестнадцатом году, когда осенью 1835 г. Пушкин жил в Михайловском, она сильно было увлеклась им, но потом предпочла соседнего помещика Николая Игнатьевича Шенига. Сестра ее Евпраксия была рада этой перемене, потому что, как писала она брату, — «Ник. Игн. никогда не воспользуется ее благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать». А старшая сестра Анна Вульф удивлялась: «Как мог Николай Игнатьевич заставить Машу забыть Пушкина? Она начинает все с женатых людей».

В 1842 г., уже после смерти поэта, за Машей одновременно ухаживали дряхлый старик-отец его Сергей Львович и младший брат, бравый Левушка. Старик негодовал на соперничество сына и искренно недоумевал, как можно сына предпочесть отцу. А Маша сильно увлеклась Львом и говорила, что «быть ей за Львом или ни за кем, что для ее существования ей необходимо быть с ним неразлучной, не быв даже

его женою, и мысль разлучиться с ним для нее нестерпима». Лев собирался просить ее руки и только ждал места, чтобы получить обеспечение. Но, видимо, слишком пылкая страсть Маши охладила его. «Несчастливая ревность Маши совсем его разочаровала, — пишет баронесса Евпр. Ник-на; — он видит теперь в ней, кроме физических недостатков, и моральные, утверждая, что у нее нрав нехорош. Она же совсем нерасчетлива, возбуждая в нем, по-моему, вовсе не лестные чувства, ни в чем не отказывает, отчего он теперь ее даже бегаёт, боясь последствий, которые заставят его жениться на ней... Был Сергей Львович, и так ему не понравилось Машино обхождение со Львом, что возвратился ко мне из Тригорского совсем разочарованный». Лев уехал, не сделав предложения. Тогда поспешил сделать предложение отец. Наталья Николаевна, вдова поэта, смеясь, уговаривала Машу выйти за старика и говорила, что предпочитает иметь свекровью Машу, чем дочь Анны Петровны Керн Катеньку, которой тоже сделал предложение «старый селадон», как его звала Маша. Через год Лев женился в Одессе. С этою вестью отец его поспешил к Маше. «Хотя совестно сознаться, — пишет Маша, — но грустно мне было, когда я узнала о его женитьбе. Видно, память о нем глубже запала в сердце, чем я сама думала. Сергей Львович мне гадок; он радовался, думая мне отомстить и торжествовать, воображая, как мне больно будет слышать, что сын его женится. Но не удалось ему насладиться мщением: я с таким участием и спокойствием спрашивала его о подробностях, что он и теперь все рассуждает, притворство ли это или равнодушие. Мне он так противен, что я и пахитосов от него не беру, не только билет логи или что-нибудь такое».

Умерла незамужнею. Анненков с чьих-то слов записал о ней: «жизнь ее несчастна от распутства. Осталась в девках». В качестве помещицы с. Тригорского показала себя очень рачительною хозяйкою. После освобождения крестьян в 1861 г. засыпала начальствующих лиц и учреждения жалобами на «беспорядки», чинимые крестьянами, слишком лениво обрабатывающими ее земли, и доносами на мировых посредников, потакающих в этом крестьянам.

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ ШЕНИНГ

(1795—1860)

Отставной гвардии полковник. Помещик сельца Духова близ г. Острова, был женат на баронессе Сердобиной, единокровной сестре бар. Б. А. Вревского. В сороковых годах состоял помощником попечителя дерптского учебного округа.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ОСИПОВА
(1823—1908)

Младшая дочь Прасковьи Александровны. Когда летом 1825 г. мать уехала в Ригу, Пушкин проводывал ребенка в Тригорском, уведомлял мать, что девочка здорова и очень хорошенькая. Ребенком Катя часто играла с Пушкиным в прятки; он залезал под диван, и она никак не могла его оттуда вытащить. По ее воспоминаниям, Пушкин был необыкновенно веселый, игривый, находчивый и милый, любил детей, умел говорить с ними и охотно играл.

Восемнадцать лет Екатерина Ивановна вышла замуж за соседнего помещика В. А. Фока, владельца сельца Лысая гора, верстах в двух от Тригорского. Брак, по черновой записи Анненкова, был несчастлив.

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ВЕЛЬЯШЕВА
(Род. в 1813 г.—ум. после 1860 г.)

Дочь старицкого исправника Вас. Ив. Вельяшева, женатого на Наталье Ивановне Вульф, тетке молодых тригорских Вульфов. Семья была дружная, после двадцати лет супружества жена так же страстно любила мужа, как и в первый год. Всех четырех детей родители любили нежно, и любили одинаково. Небольшое имение Натальи Ивановны было очень расстроенное. В декабре 1829 г. Алексей Вульф после годовой отлучки приехал из Петербурга в Старицу. «Катенька Вельяшева, — пишет он в дневнике, — за один год, который я ее не видел, из четырнадцатилетнего ребенка расцвела прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицей, но стройной, увлекательной в каждом движении, прелестною, как непорочность, милою и добродушною, как ее лета». Эти святки проходили в Старице очень весело. Съехались окрестные помещики, съехались офицеры-улань расквартированного в уезде полка. Прасковья Александровна Осипова привезла взрослых своих дочерей и наняла на время праздников целый дом. Каждый день были балы. Алексей Вульф усердно танцевал, ухаживал за барышнями и особенно отличил своим вниманием Катю Вельяшеву. Ухаживания его всегда имели определенную цель — достигнуть интимных отношений отнюдь не платонического свойства. Он в этом отношении был известен по всей округе, о нем шла молва, что он «любит влюблять в себя молодых барышень и мучить их». Однако чистая Катя Вельяшева не пошла навстречу его ухаживаниям. После крещения в Старицу приехал Пушкин. «Он принес в наше общество немного разнообразия, — пишет Ал. Вульф в дневни-

ке. — Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны».

Насколько можно разобраться в противоречивых свидетельствах, Пушкин, с одной стороны, озорно поощрял домогательства Вульфа, стыдил его за недостаток предприимчивости, с упреком приводил стих из «Горя от ума»: «Эх, Александр Андреич, дурно, брат!» С другой стороны, Пушкина трогала чистота юной девушки, и он, вместе с другим ее двоюродным братом, уланом Иваном Петровичем Вульфom, все время держался около Кати, стараясь не оставлять ее наедине с Алексеем.

В середине января 1829 г. Пушкин уехал в Петербург и в дороге сочинил такие стихи к Е. В. Вельяшевой:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел,
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Улыбаясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежнему следу
В ваши мраморные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Осенью 1829 г. Пушкин, действительно, посетил опять тверские края и писал А. Вульфу из Малинников: «Гретхен хорошеет и час от часу становится невиннее». В 1833 г. он писал жене из с. Павловского, куда заехал к Пав. Ив. Вульфу: «Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве; но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу».

В 1834 г. Е. В. Вельяшева вышла замуж за уланского офицера А. А. Жандра. Алексей Вульф, видевший их вскоре после свадьбы, писал сестре: «Катенька дурнеет, а муж ее страсть имеет особенную ездить на козлах и неприлично ревнив». Анна же Николаевна Вульф в 1836 г. писала про Вельяшеву: «Она, мне кажется, почти совсем не переменилась и, кажется, очень довольна своей судьбой».

ИВАН ПЕТРОВИЧ ВУЛЬФ

(Род. в 1788 или 1789 г.)

Сын Петра Ив. Вульфа, двоюродный брат Алексея Вульфа. Зимой 1828—1829 г. был офицером уланского полка, стоявшего в родных его местах. «Он очень хороший человек, — пишет о нем А. Вульф, — с умом и способностями, которые не имел случая развернуть, живучи с самого выхода из корпуса пажей здесь в деревне. К несчастью моему, несмотря на тридцать лет, он влюбился в свою пятнадцатилетнюю кузину Катеньку Вельяшеву по уши. Катенька занята любовью Ивана Петровича, хотя не разделяет ее. Тридцатилетний юноша очень забавен своею страстью; я его вчера взбесил, сказав, что он влюблен; он считает за недостойное влюбиться и никак не хочет сознаться в своей страсти. Целые дни он проводит, сидя рука в руку или играя в шашки с прелестницею своею». Алексей Вульф, — сначала один, а потом, по приезде в Старицу Пушкина, вместе с ним, — забавлялся, беся Ивана Петровича своими ухаживаниями за Катенькой, и довел скромного улана до полного отчаяния; он твердил, что в мире все химера, что он поедет воевать с турками, и образ действий Алексея и Пушкина почему-то называл «американским». Алексею удалось успокоить Ивана Петровича и помириться с ним. Однако, видимо, хорошо зная повадки Алексея, он за все время пребывания своего кузена в Старице, не отходил от девушки, оберегая ее от попойзований Алексея.

ПЕТР ИВАНОВИЧ ВУЛЬФ

(1768—1832)

Отец предыдущего, самый старший из стариков-братьев Вульфов. Характера был тяжелого и высокомерного. Воспитывался вместе с братом Николаем у М. Н. Муравьева, наставника Александра Павловича, а потом служил кавалером при дворе вел. кн. Николая Павловича. На этом основании он возымел столь высокое мнение о себе, что, живя в деревне в нескольких верстах от всей родни, ни к кому не ездил и сердился, что дети его часто бывают у родственников.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ВУЛЬФ

(1775—1858)

Один из дядей тригорской молодежи. Владелец села Павловского (Подлизева) в Старицком уезде Тверской губернии. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1797 г. вышел в отставку подпоручиком и поселился в деревне. Сделал кампанию 1812 г. в тверском ополчении, привез с собою из-за границы сожительницу, немку Фридерiku, и через несколько лет женился на ней. Сделавшись хозяйкою, Фридерика завела в доме немецкий порядок, производивший очень приятное впечатление на всех приезжавших. Детей у них не было, жили они без лишних прихотей, по состоянию. Сам Павел Иванович был человек очень добрый и необычайно флегматичный. Пушкин говаривал про него: «На Павла Ивановича упади стена, — он не подвинется, право, не подвинется!» Алексей Вульф так характеризует общий стиль жизни своих дядюшек-помещиков: «Они съезжаются раз или два в неделю, проводят время или в рассказах о своем хозяйстве, которым ни один порядочно не занимается, или в неразорительной игре в вист. Мало занимаясь тем, что делается за границею их имений, проводят они дни в спокойной бездеятельности. Не получив в молодости порядочного воспитания и живши всегда почти в деревне, они очень отстали своим образом мнений, почему каждый и имеет свой запас устарелых предрассудков, которые только умеряются всем им общим добродушием».

Конец святок 1829 г. Пушкин проводил в Старице, усердно посещал балы, танцевал, ухаживал за барышнями, — он долго впоследствии вспоминал это веселое время. По окончании праздников Пушкин и Алексей Вульф, захватив по бутылке шампанского, которое морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу в Павловское. У Павла Ивановича Пушкин прожил несколько дней. Вставал он по утрам часов в девять-десять и в спальне у себя пил кофе, потом выходил в общие комнаты, иногда с книгой в руках. Иногда отправлялся к соседним помещикам; если оставался дома, то играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он сам в это время научил играть, но тот очень скоро стал обыгрывать Пушкина. Пушкин при проигрыше сильно горячился. Однажды вскочил на стул и закричал:

— Ну, разве можно так обыгрывать учителя! Никогда не буду играть с вами, это ни на что не похоже!

Много играл Пушкин и в вист. По вечерам часто угощали его клюквой, которую он особенно любил; клюкву с сахаром ставили ему на блюдечке. Все относились к Пушкину с благоговением. Павел Иванович считал его посещение за большое удовольствие и честь для себя.





В августе 1833 г. Пушкин, по дороге в Ярополец, имение своей тети, заехал в Павловское. «В восемь часов вечера, — писал он жене, — приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил Малинники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш и т. д. живет управитель Прасковьи Александровны Рейхман, который попотчевал меня чаем».

Несмотря на скромный образ жизни, Павел Иванович вследствие обычного неумения хозяйничать под конец жизни разорился и умер бедности.

ЕКАТЕРИНА ЕВГРАФОВНА СМЕРНОВА

Впоследствии в замужестве — Синицына. Дочь тверского священника, уроженца вульфовских поместий. Он был знаток гражданских законов и часто хлопотал по делам Вульфов в тверских судебных местах. После его смерти Павел Иванович Вульф взял у матери на воспитание одиннадцатилетнюю дочь Катю. Павел Иванович и жена его Фридриха Ивановна сначала хотели воспитать ее как барышню, выучить языкам и т. п., но, по совету одной знакомой, ограничились тем, что дали ей начальное образование; но любили ее как дочь. Через три года мать взяла ее к себе в Тверь, однако иногда девушка ездила гостить в Павловское. В январе 1829 г. она там встретилась с Пушкиным. Пушкин приехал из Старицы вместе с Вульфом; они привезли с собою вина за ужином подпоили жену Павла Ивановича, Фридриху Ивановну, молоденькую поповну. Много танцевали, дурачились, ухаживали за девушкой. На следующий день за обедом подали клюквенный кисель. Поповна в восторге крикнула на весь стол:

— Ах, боже мой! Клюквенный кисель!

Пушкин вскочил со стула и сказал:

— Павел Иванович! Позвольте мне ее поцеловать!

— Ну, брат, это уж ее дело, — ответил Павел Иванович.

Пушкин обратился к Кате.

— Позвольте поцеловать вас!

В качестве воспитанной барышни поповна ответила:

— Я не намерена вас целовать.

— Ну, позвольте хоть в голову!

Взял ее голову руками, пригнул и поцеловал. В Павловском в это

время гостила и Прасковья Александровна Осипова с дочерью Евпраксией. Она была очень недовольна, что здесь наравне с ее дочерью принята какая-то поповна, и высказала хозяевам свое неудовольствие. Однако Пушкин заступился за девушку. Он оказывал ей одинаковое внимание с Евпраксией, танцевал по очереди то с одной, то с другой, за ужином сидел между ними и с одинаковою ласковостью угощал обеих. Осипова рассердилась и уехала.

Пушкин продолжал ухаживать за смешной, невоспитанной, но милой молодой поповной. Вдруг подойдет к ней:

— Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетита протанцевать казак-вальс.

Иногда вскочит из-за обеда или ужина:

— Ну, вальс-казак-то мы с вами, Катерина Евграфовна, уж протанцуем!

И они начинали кружиться в вальсе.

Между тем Алексей Вульф, видя, что в первый вечер их знакомства поповна очень благосклонно отнеслась к его ухаживаниям, решил действовать энергично. Через несколько дней он из Малинников опять приехал в Павловское. Весь вечер любезничал с поповной. Разошлись. Девушка спала в одной комнате со старушкой-прислугой. Вдруг ночью просыпается, чувствует, кто-то ее обнимает, к голове прижимается чья-то голова. Девушка в ужасе вскрикнула:

— Ай! Что вы?

Перед ее кроватью стоял на коленях Алексей Вульф.

— Молчите, молчите, я сейчас уйду, — прошептал он и поспешно удалился.

Утром Фридерика Ивановна гадала на картах; загадала поповне.

— Ты, — говорит, — оскорблена трефовым королем.

Девушка заплакала и все ей рассказала. Павел Иванович был очень возмущен и сказал Алексею:

— Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома!

Пушкин был в восторге от поступка Екатерины Евграфовны и говорил:

— Молодец вы, Катерина Евграфовна! Он думал, что ему везде двери открыты, что нечего и предупреждать, а вышло не то!

ИВАН ИВАНОВИЧ ВУЛЬФ

(1776—1860)

В двадцати пяти верстах от уездного города Старицы, на берегу быстрой, мелководной речки Тьмы, раскинулась барская усадьба села

Бернова. Огромный каменный дом в стиле русского ампира, в тридцать комнат; верхний этаж и мезонин во время Пушкина не были еще отделаны и стояли пустыми. Из большой гостиной в середине нижнего этажа стеклянные двери вели в сад. Сад большой, в двенадцать десятин, с чудесными липовыми аллеями, за ними — парк, а уж за парком — деревня. Владельцем имения был Иван Иванович Вульф, дядя молодых тригорских Вульфов. В молодости он служил в лейб-гвардии Семеновском полку, женился на богатой и хорошенькой девушке, порядком растряс свое состояние, вышел в отставку поручиком и поселился в деревне. Завел гарем из крепостных девушек, прижил с ними дюжину детей, а попечение о законных детях всецело предоставил жене Надежде Гавриловне. Весь ушедши в чувственность, он стал совершенно неспособным ни к чему другому. Такая жизнь, однако, не помешала ему прожить до 84-х лет. Какие у него были отношения с семьей, мы не знаем. Пушкин один только раз упоминает о нем в шутивном письме к Алексею Вульф осенью 1829 г.: «Иван Иванович на строгой диете: употребляет своих одалисок раз в неделю».

У берновских Вульфов было две дочери — Екатерина и Анна (Нетти) и три сына. Пушкин долго увлекался Нетти и охотно гасивал в Бернове дня по два, по три. По своему обыкновению, пил утром кофе в постели, в постели же и писал, положив бумагу на подогнутые колени. Стихов своих никогда не читал. Однажды хозяйка, Надежда Гавриловна, долго и настойчиво упрасивала Пушкина прочесть что-нибудь. Пушкин отказывался, наконец, как будто согласился, принес книгу, уселся и начал читать по стихам — псалтырь. Часто он большими шагами рассказывал по гостиной, вполголоса разговаривая с собеседником, — чаще, впрочем, с собеседницей. Старшее поколение, в общем, не особенно увлекалось стихами Пушкина, но женская молодежь была влюблена в его поэзию, а может быть, и в него самого, переписывала его стихи в альбомы, заучивала наизусть. Многие робкие и наивные девушки из соседних поместий, несмотря на благоговение перед Пушкиным, боялись встречи с ним, зная, что у него острый и насмешливый язык.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ГЛАДКОВА

Рожденная Вульф, дочь Ив. Ив. Вульфа, двоюродная сестра Алексея Вульфа, жена майора Оренбургского уланского полка Як. Пав. Гладкова. «Моя холодная красавица», — называет ее Алексей Вульф. Она действительно была очень красивая, пышная молодая женщина. В другом месте дневника А. Вульф характеризует ее так: «Она проста, пуста,—

Но эти перся и уста,
Чего они не заменяют!
(Языков)»

О своеобразных отношениях, бывших между нею и А. Вульфом, расскажем словами Вульфа, соединив в одно рассеянные в его дневнике упоминания о ней. «Эта женщина подходит ближе всех мною встреченных в жизни к той, которую бы я желал иметь женою. Недостает ей только несколько ума. Несмотря на то, что ее выдали замуж против воли, любит она своего мужа более, нежели другие, вышедшие замуж по склонности. Детей своих любит она нежно, даже страстно; живучи в совершенном уединении, она лучшие годы своей жизни посвящает единственно им и, кажется, не сожалеет о том, что не знает рассеянной светской жизни. Несмотря на пример своего семейства и на то, что она выросла в кругу людей, не отличавшихся чистотою нравственности (см. Вульф И. И.), она умела сохранить непорочность души и чистоту воображения и нравов. Приехав в конце 1827 г. в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь Берновскую. Письма мои к А. Ив. (Сашеньке Осиповой) ходили здесь по рукам и считались образцами в своем роде. Катерина рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Я никак не умел постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность. За то первая она стала кокетничать со мною, день за день я более и более успевал; от нежных взглядов я скоро перешел к изъяснениям в любви, к разговорам о ее прелестях и моей страсти; но трудно мне было дойти до поцелуев, и очень много времени мне это стоило. Живой же язык сладострастных осязаний я не имел времени ей дать понять. Я не забуду одно неприятное для меня после обеда в Бернове, где я тогда проводил почти все мое время. В одни сумерки, в осенние дни рано начинающиеся, она лежала в своей спальне на кровати, которая стояла за ширмами; муж ее сидел в другой комнате и нянчил ребенка; не смея оставаться с нею наедине, чтобы не родить в нем подозрения, ходил я из одной комнаты в другую, и всякий раз, когда я подходил к кровати, целовал я мою красавицу через голову, — иначе нельзя было потому, что она лежала навзничь поперек ее. С четверть часа я провел в этой роскошной и сладострастной игре. С первых дней она уже мне твердила о своей любви, но теперь уже от слова доходила до дела; даже в присутствии других девушек она явно показывала свое благо-

расположение ко мне. Если бы я долее мог остаться с нею, то, вероятно, я не шутил бы в нее влюбился, а это бы могло иметь весьма дурные следствия для семейственного ее спокойствия. Проживши полтора месяца с моею красавицею, с слезами на глазах мы расстались, — разумется, мы дали обещание друг другу писать (я уже после первого признания написал ей страстное послание), и она его сдержала, написала ко мне несколько нежных писем, но потом, узнав, что я волочусь в Петербурге за другими, перестала отвечать на любовные мои послания». Через год Вульф приехал из Петербурга в те места и заехал в Берново. «Моя прелесть вспыхнула и зарумянилась, как роза, увидев меня. Я же заключил, что она еще не совершенно равнодушна ко мне, но несносная ее беременность препятствовала мне; когда женщина не знает, куда девать свое брюхо, то плохо за ней волочиться. Полюбовавшись на Катерину, я уехал... Потом еще раз ездил я в Берново. Неотлучный муж чрезвычайно мешал мне; она твердила мне только об моей неверности и не внимала клятвам моим, хотела показать, будто меня прежде любила как братски (не очень остроумная выдумка), точно так же, как и теперь. Весьма ею недовольный, оставил я ее...» В 1829 г., уже гусаром, уезжая на службу в Польшу в свой полк, Вульф опять посетил родные места. «Я поехал в Берново осведомиться, что делает моя холодная красавица. Во время моего отсутствия она родила себе дочь. После родов она похорошела, но так была занята своими детьми, что, казалось, ни о чем другом не заботилась. Я оставил ее, отчаявшись в успехе. Вот история моей любви с этой холодной прелестью».

Пушкин в Бернове не раз встречался с Гладковой. Вульф, вероятно, жаловался Пушкину на ее холодность и добродетельность Минервы. В 1829 г. Пушкин писал Вульфу из Малинников в обычном похабном стиле, усвоенном им в переписке с Вульфом: «В Бернове я не застал уже толсто...ую Минерву. Она с своим ревнивцем отправилась в Саратов».

АННА ИВАНОВНА ВУЛЬФ

(18.—1835)

Нетти. Дочь Ив. Ив. Вульфа, помещика села Бернова, двоюродная сестра молодежи Тригорского, где часто гостила. Ясного о ней представления сохранившиеся сведения не дают. По отзыву ее брата, она была очень умная, образованная и симпатичная девушка, притом — красивая. Пушкин обратил на нее внимание уже вскоре по приезде в Михайловское из Одессы. В марте 1825 г. он писал брату: «Я влюбился и миртильничаю. Знаешь кузину Анны Николаевны, Анну Ивановну

Вульф? Ессе femina (Вот женщина)!» Вскоре он вступил с нею в нежную переписку, адресуя письма в Тригорское на имя подростка Евпраксии. Горячо любившая Пушкина Анна Николаевна Вульф весной 1826 г. с горечью писала ему: «Я была бы довольна вашим письмом, если бы не помнила, что вы в моем присутствии писали такие же, и даже нежнее, Анне Петровне Керн и даже Нетти». И в другом письме: «Получив мое письмо, вы восклицаете: «Ах, господи, что за письмо, как будто от женщины!» и бросаете его, чтобы читать глупости Нетти». Увлечение Пушкина Нетти продолжалось года четыре, но не было серьезным. Приедет в деревню, увидит Нетти — и влюбится. Уедет — забудет. Осенью 1829 г. он писал из Малинников Алексею Вульфу: «Нетти, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти, — здесь, в Бернове. Вот уже третий день, как я в нее влюблен... Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постель. Постараюсь достать, как памятник непорочной моей любви, сосуд, ею освященный». Алексей Вульф по поводу этого письма писал сестре: «Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекло Пушкина от Нетти, которой он говорит нежности или относи их к другой, или от нечего делать».

К 1829 г. относят четырехстишие, написанное Пушкиным к Нетти Вульф:

За Нетти сердцем я летаю
В Твери, в Москве, —
И Р. и О. позабываю
Для Н. и В.

Р. — А. О. Россет, О. — А. А. Оленина, которыми Пушкин в это время увлекался в Петербурге.

В 1834 г. Нетти вышла замуж за военного инженера В. И. Трувеллера и через полтора года умерла от родов. Сестра Пушкина по этому поводу писала своему мужу: «...она была так счастлива и так хотела быть матерью».

ПОНОФИДИНЫ (ПАНАФИДИНЫ)

Павел Иванович Понофидин (1784—1869), отставной капитан-лейтенант флота, старицкий помещик, владелец имения Михайловского (Курова-Покровского), в восьми верстах от Бернова. Был женат на Анне Ивановне Вульф, тетке Алексея Вульфа. Алексей Вульф выделял Понофидина из среды других своих дядюшек, заскорузлых провинциальных медведей. «С здравым своим рассудком, — пишет он, — приобрел он познания, которые в соединении с его благородным и доб-

рым правом делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом». Осенью 1828 г. Пушкин жил в Малинниках, имении П. А. Осиповой, много писал, наслаждался деревенскою жизнью. Окрестные помещики ездили смотреть на прославленного поэта, как на редкую диковинку, наперерыв приглашали его к себе. Однажды было сборище у соседа, — повидимому, Павла Ивановича Вульфа в с. Павловском. Должен был приехать Пушкин. Собрались туда и Понофидины. Трое детей их, балованные мальчишки, тоже непременно хотели ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала уехать тихонько от них. Но гостивший у Понофидиной ее зять, старик Петр Маркович Полторацкий (отец А. П. Керн), шутник и озорник, прибежал к ребятам:

— Дети дети, мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею; там будет Пушкин: он весь сахарный, а зад у него яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку.

Дети разревелись:

— Не хотим черносливу, хотим Пушкина!

Нечего делать, их повезли. Пушкин рассказывает: «Они сбежались ко мне, облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили».

АННА ПЕТРОВНА КЕРН

(1800—1879).

Имя ее неразрывно связано с Пушкиным, как имя женщины, вдохновившей его на бессмертное стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Дочь помещика Петра Марковича Полторацкого и его жены Екатерины Ивановны, рожденной Вульф. Девические годы провела преимущественно на Украине, в Лубнах, где отец ее был уездным маршалом (предводителем) дворянства. Там же, когда ей не было еще семнадцати лет, отец выдал ее за 52-летнего начальника дивизии, генерала Ермолая Федоровича Керна, грубого, взбалмошного и малообразованного солдафона. Жизнь молодой женщины была тяжелая и печальная.

Весною 1819 г. муж приехал с нею в Петербург хлопотать по поводу служебных неприятностей. В доме президента Академии художеств А. Н. Оленина, женатого на родной ее тетке, Елиз. Марк. Полторацкой, г-жа Керн впервые встретилась с девятнадцатилетним Пушкиным. Вечер был очень оживленный и веселый, Крылов читал свои басни, играли в шарady, в них участвовала и Анна Петровна. На Пушкина она не обратила никакого внимания, — как поэта, она, вероятно, в то время его и не знала. В одной из шарад Керн исполняла роль Клеопатры.

Пушкин подошел к ней с ее двоюродным братом Александром Полторацким, посмотрел на корзиночку с цветами, которую держала красавица, и сказал, указывая на Полторацкого:

— А роль аспида, конечно, будет играть этот господин?

Вопрос был двусмысленный: ядовитую змею Клеопатра заставила укусить себя в грудь. Анна Петровна справедливо нашла вопрос дерзким, ничего не ответила и отошла от Пушкина. Ужинали за маленькими столиками. Пушкин уселся с Полторацким позади г-жи Керн и старался обратить на себя ее внимание комплиментами по ее адресу:

— Позволительно ли быть до того прелестною!

Потом он завязал с Полторацким шуточный разговор — кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал:

— Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад.

Керн сухо ответила, что в ад она не желает.

Полторацкий спросил:

— Ну, как же ты теперь, Пушкин?

— Я раздумал. Я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины.

Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда Полторацкий сел с г-жею Керн в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее глазами.

Анна Петровна уехала из Петербурга. Пушкин держался с нею развязным мальчишкою, но в душе его глубоко залегло впечатление от ее сверкающей красоты, девической чистоты ее облика и какой-то затаянной грусти: как будто что-то тяжелым крестом давило ее.

Он не ошибся: тяжелым крестом ее давила жизнь с мужем, смявшая всю ее душу. Анна Петровна его не выносила. В 1820 г., живя с мужем в Пскове, она писала в дневнике: «Его невозможно любить, мне не дано даже утешения уважать его; скажу прямо, — я почти ненавижу его. Мне ад был бы лучше рая, если бы в раю мне пришлось быть вместе с ним». Страстные порывы неудовлетворенной женской души вылились в сентиментально-платоническое обожание молодого офицера, которого Анна Петровна видела мельком всего несколько раз; он фигурирует в ее дневнике под именем *Eglantine* (шиповник) и *Immortelle* (бессмертник). Тем временем немощный ревнивец-муж, выбирая лучшее из зол, старался сосводничать жене со своим молодым племянником, самовлюбленным наглецом. Просвещал жену, что «всякого рода похождения простительны для женщины, если она молода, а муж стар, что иметь любовников недопустимо только в том случае, когда супруг еще

в добром здравье». Почти насильно приводил жену в комнату племянника, когда он, раздетый, лежал в постели, и сам уходил. Анна Петровна с негодованием отвергла домогательства племянника.

В 1823 г. генерал Керн был назначен комендантом в Ригу. Анна Петровна бросила его и уехала к родителям в Полтавскую губернию. В Лубнах она познакомилась с Арк. Гавр. Родзянкою, богатым полтавским помещиком и порнографическим поэтом, приятелем Пушкина по Петербургу. Вскоре она интимно сошлась с ним. Родзянко был, повидимому, первым, к которому Анна Петровна на практике применила советы мужа. Ведя из Лубен переписку со своею триггорскою кузиною Анной Николаевной Вульф, она в письмах часто справлялась о Пушкине, жившем в это время в Михайловском. Теперь она хорошо знала Пушкина как поэта и восторженно увлекалась им. Пушкин ею заинтересовался и в декабре 1824 г. писал Родзянке: «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь, но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый». Дальше следовали уже совершенные непристойности; Пушкин просил Родзянку прочесть письмо Анне Петровне и узнать ее мнение насчет письма. Завязалась игривая переписка между Пушкиным, Родзянкою и Анной Петровной. Тон писем и стихотворных посланий Пушкина — развязно-фривольный. Пушкин знал своего приятеля Родзянку, которого называл Припом, знал, что Анна Петровна ушла от мужа, и представление о ней было у него определенное.

В июне 1825 г. Анна Петровна неожиданно приехала в Триггорское к тетушке своей Пр. Ал. Осиповой; она направлялась в Ригу мириться с мужем. Сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с толстой палкой в руках. Прасковья Александровна представила его Анне Петровне. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова; в его движениях была видна робость. Анна Петровна тоже растерянно молчала. Они не скоро ознакомились и заговорили. Г-жа Керн произвела на Пушкина очень сильное впечатление, — «глубокое и мучительное», как он ей писал впоследствии. Она была в полном расцвете своей блистательной красоты, окружена раздражающей атмосферой выбившейся на свободу, рвущейся к любви женщины. Прекрасные глаза ее смотрели с «терзающим и сладострастным выражением», она кружила голову и Пушкину, и двоюродному своему брату, дерптскому студенту Алексею Вульфу, и смешному, сладкому соседу-помещику Рокотову. Но в глазах ее попрежнему была тайная грусть, а в манере держаться — странная, чисто девиче-

ская застенчивость. Она прожила в Тригорском недели три-четыре. Пушкина целиком захватила любовь к ней. Но это была не легкая, игриво-веселая любовь, какой можно было бы ждать на основании их предыдущей переписки. Любовь была, как налетевший горячий вихрь, — сложная, с самыми противоположными переживаниями. Пушкин никак не мог взять с Анной Петровной ровного, определенного тона. Он нервничал, был то робок, то дерзок, то шумно весел, то грустен, то нескончаемо любезен, то томительно скучен. Все дни он проводил в Тригорском. Слушал с восхищением, как Анна Петровна пела венецианскую баркаролу, читал для нее недавно написанных своих «Цыган», смотрел, подавляя ревность, как за красавицей ухаживал Алексей Вульф.

Пришел последний вечер. Наутро Анна Петровна вместе с Прасковьей Александровной и ее старшей дочерью уезжала в Ригу. Ужинали. Пушкин был тут же. После ужина Прасковья Александровна предложила всем проехаться в Михайловское, к Пушкину. Пушкин был в восторге. Поехали. Лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом зреющей ржи. Ехали в двух экипажах: в одном Прасковья Александровна с сыном Алексеем, в другом — г-жа Керн, Анна Николаевна Вульф и Пушкин. Пушкин был необычно оживлен, мягок и нежен. Шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глухой, а говорил:

— Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо.

Прозрачно признавался Анне Петровне в восторженной своей любви, не заботясь о том, что рядом сидела Аннета Вульф, которой это должно было быть очень тяжело. Говорил, что вот, — они едут вместе, и он торжествует: воображает, как будто на крыльце у Олениных остался Александр Полторацкий, а он уехал с нею.

Приехали в Михайловское, но в дом не пошли. Прасковья Александровна сказала:

— Милый Пушкин, будьте любезным хозяином, покажите г-же Керн ваш сад.

Пушкин быстро подал руку Анне Петровне и побежал скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Они ходили вдвоем по темным липовым аллеям запущенного сада, спотыкались о камни и корни, которые, сплетаясь, вились по дорожкам. Один такой камень Пушкин поднял и спрятал на память; взял на память и веточку гелiotропа, приколотую к груди Анны Петровны. Он говорил непрерывно и оживленно, опять и опять возвращался к воспоминанию об их первой встрече.

Утром Пушкин пришел пешком в Тригорское и на прощание поднес

Анне Петровне экземпляр второй главы «Онегина». В неразрезанных листах книги Анна Петровна нашла сложенный вчетверо листок почтовой бумаги со следующими стихами:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И сияли милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья,
Тянулось тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье,
И вот — опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Анна Петровна собиралась спрятать подарок. Пушкин долго смотрел на нее, — вдруг судорожно вырвал листок и не хотел возвратить. Насилью она выпросила обратно.

Анна Петровна уехала. Она увозила с собою это стихотворение Пушкина, а вместе с ним другое, — его послание к Родзянке. В послании Пушкин о том же «гении чистой красоты» писал так:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рождать детей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу;
Не наведет она зевоту;
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!..
Благопристойные мужья
Для умных жеп необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои:
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!

Между Пушкиным и Анной Петровной началась переписка. Пушкин засыпал красавицу горячею-страстными, совершенно сумасшедшими письмами. «Теперь ночь, и ваш образ стоит передо мной, полный грусти и сладострастной неги, — я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Мне чудится, я у ног ваших, сжимаю их, ощущаю ваши колени, — всю кровь мою я отдал бы за одну минуту действительности!.. Как можно быть вашим мужем? Этого я не могу себе представить, точно так же, как рая». Он убеждал ее приехать и поселиться с ним в Михайловском... Но увы! Из принимавшего поклонение славного поэта Пушкину пришлось превратиться в поклонника-неудачника. Анна Петровна восхищалась его стихами, но всю страсть свою отдала кузену-студенту Алексею Вульф. Вульф вскоре поехал из Тригорского в Дерпт, но надолго задержался в Риге. Около трех недель он пробыл там в обществе Анны Петровны и добился полного успеха. Пушкин случайно узнал, что она говорит Вульфу «ты», негодовал, что Вульф так долго остается в Риге, убеждал Анну Петровну отослать его поскорее в его университет, ревновал, но был далек от мысли, что претендует на место уже занятое. Больно за Пушкина и комично, когда подумаешь, что страстные его письма читались красавицею только с самолюбивым тщеславием, а ласки свои, которых так бешено жаждал Пушкин, она в это время расточала другому.

Потом... Потом г-жа Керн окончательно порвала с мужем и поселилась в Петербурге. Вскоре приехал в Петербург и окончивший университет Алексей Вульф. Он дни и ночи проводил у г-жи Керн ее спокойным и признанным обладателем. Но они не мешали друг другу. Вульф очень не платонически ухаживал за ее сестрою, Лизой Полторацкой, за женою Дельвига. У Анны Петровны тоже разыгрывался целый ряд романов. Она кружила головы двум молодым кадетикам, племянникам Дельвига, сблизилась с бароном Полем Вревским, с каким-то Флоранским. Повидимому, их было уже много. И в числе этих многих оказался теперь и Пушкин. То, что три года назад закрутило бы Пушкина в огненном вихре непередаваемого блаженства, теперь, повидимому, произошло просто и прозаически, — теперь это была мимолетная связь с «вавилонской блудницей», как назвал ее Пушкин.

После женитьбы Пушкина они почти перестали видеться. Г-жа Керн сильно нуждалась, муж никакой поддержки ей не оказывал. Пушкин через Е. М. Хитрово хлопотал — безуспешно — об одном имущественном деле г-жи Керн. Но когда она для пропитания взялась за переводы и обратилась к Пушкину с просьбою устроить у книгопродавца Смирдина переведенный ею роман Жорж Занда, Пушкин, как он сообщал своей жене, поручил Анне Николаевне Вульф ответить ей, что, если

перевод ее будет так же верен, как сама она верный список с мадам Занд, то успех ее несомнителен, а что он со Смирдиным дела никакого не имеет. Конечно, джентльмен-Пушкин не мог так грубо ответить г-же Керн, — не надо забывать, что пишет он это ревнивой своей жене, через руки которой получил записку г-жи Керн. Но что он решительно и без всяких церемоний отказался в этом деле помочь г-же Керн, подтверждается и свидетельством сестры Пушкина О. С. Павлицевой. Ввиду всегдашней отзывчивости Пушкина это странно.

Жизнь А. П. Керн могла бы дать прекрасный материал для тонко-психологического романа из жизни смятой женской души. Шестнадцать лет отданная родителями в законные наложницы потрепанному жизнью старику, она протомилась с ним несколько лет, наконец вырвалась на волю и страстно бросилась в жизнь, навстречу тому, что могло бы утолить жадные запросы ее души и тела, равно жаждавших любви. Она любила многих, иногда, может быть, исключительно даже чувственной любовью; но никогда она не была «вавилонской блудницей», как назвал ее Пушкин, никогда не была развратницей. Каждой новой любви она отдавалась с пылом, вызывавшим полное недоумение в ее старом друге Алексее Вульфе. «Вот завидные чувства, которые никогда не стареют! — писал он в своем дневнике. — После столь многих опытностей я не предполагал, что еще возможно ей себя обманывать... Анна Петровна, вдохновленная своею страстью, велит мне благовещать перед святынею любви!! Пятнадцать лет почти непрерывных несчастий, унижения, потеря всего, что в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение, — по сию пору оно как бы в первый раз вспыхнуло». В обществе на нее косились, лучшие из ее знакомых дам начинали ее сторониться, говорили: «Это — несчастная женщина, ее можно только жалеть». Но Анна Петровна всем этим пренебрегала. «Она смела в действиях», — писал про нее Пушкин. И жила на свой страх, шла своей дорогой:

Когда твои молодые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права,
Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю,
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.
Но свет... Жестоким осуждений
Не изменяет он своих;
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Достойны равного презренья

Его тщеславная любовь;
 И лицемерные гоненья;
 К забвению сердце приготовь;
 Не пей мутительной отравы;
 Оставь блестящий, душный круг,
 Оставь безумные забавы:
 Тебе один остался друг.

Раньше это стихотворение Пушкина относили к А. П. Керн, но теперь, на основаниях, очень мало убедительных, считают обращенным к гр. Агр. Фед. Закревской. Если уж приурочивать поэтические произведения к конкретным лицам и фактам, то скорее всего возможно отнести стихотворение именно к А. П. Керн: Закревская бравировала своим отношением к свету, дерзко смеясь, шла ему наперекор, — какие по отношению к ней возможны были утешения и «жаления»? Г-жа же Керн заирать никого не хотела и хотела только одного, — чтобы ей предоставили жить, как она хочет. Пушкин называл ее «вавилонской блудницей», — верно. Но и несколько лет назад, когда он упорно добивался неплатонической благосклонности этой «премиленькой вещи», — он какую-то поэтическою стороною души воспринял ее как «тенья чистой красоты». Так и теперь. Пусть она по приговору света на честь утратила права, — в высшем, поэтическом плане он отказывался клеймить ее «заблуждения», делил ее страдания и выступал против всех единственным другом заклеянной женщины.

Анне Петровне уже сорок лет. Начинается третий этап ее переменчивой жизни. В корпусе обучается кадетик Александр Васильевич Марков-Виноградский, троюродный ее брат. Он на двадцать лет моложе Анны Петровны. Страстно полюбили друг друга, сошлись. Он окончил корпус, вышел артиллерийским офицером. В 1846 г. умер муж Анны Петровны, генерал Керн. После него она получила хорошую пенсию. Вдова, при новом замужестве, теряла пенсию. Это не остановило Анну Петровну, — она обвенчалась с Марковым-Виноградским и таким образом лишилась пенсии. Отец, возмущенный ее браком, лишил Анну Петровну всякой материальной поддержки. Муж ее, еще до женитьбы вышедший из военной службы, служил в мелких должностях. Началась жизнь, полная нужды и лишений, но в то же время освещенная самою горячею, неостывающею взаимною любовью. В нежной их влюбленности друг в друга было что-то комически-трогательное. В 1864 г. с ними познакомился И. С. Тургенев и писал г-же Виардо об Анне Петровне: «В молодости, должно быть, она была очень хороша собой, и теперь еще, при всем своем добродушии (она не умна), сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться... У нее есть муж, на двадцать лет моложе ее; приятное семейство, немножко даже трогательное и в то же

время комичное». Около этого же времени с супругами Виноградскими встречался П. А. Ефремов. «Мужа она совсем подчинила себе, — рассказывает он, — без нее он был развязнее, веселее и разговорчивее, сама же она — невысокая, полная, почти ожиревшая и пожилая, — старалась представляться какою-то наивною шестнадцатилетнею девушкой, вздыхала, закатывала глаза и т. п.». Идиллия продолжалась тридцать лет. Оба они умерли в 1879 г., она через четыре месяца после него.

ПЕТР МАРКОВИЧ ПОЛТОРАЦКИЙ

(Род. ок. 1775 г. — ум. после 1851 г.)

Отец А. П. Керн, женат был на Екатерине Ив. Вульф. Родители его владели 4 000 душ, многими винокуренными и другими заводами и откупами. Детей у них было 22 человека. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1796 г. вышел в отставку подпоручиком, впоследствии состоял лубенским уездным предводителем дворянства. Был фантазер и прожектор, затевал грандиозные предприятия, на которых неизменно прогорал. В 1812 г., например, продал на вывод полтора ста душ своих крестьян, накупил скота, сварил из него бульон, повез его в Петербург, чтобы продать в казну для продовольствия армии, но не хотел дать взятку, и бульон не приняли. Тогда он свез его в Москву. Бульон достался войскам Наполеона. В Киеве, не имея гроша денег, вздумал строить огромный дом для помещения всех лучших магазинов, на манер парижского Пале-Рояля. Нанял рабочих, приступил к стройке и стал объезжать купцов и убеждать их заплатить ему вперед годовую плату за предлагаемые помещения. Никто не согласился, и затея кончилась процессом с рабочими и подрядчиками. Изобрел какую-то пушку в бочке, которую легко везла одна лошадь. Этим он очень рассмешил военных, которым поручено было произвести пробу. От первого выстрела бочка разлетелась. Был самодур и деспот, дочь свою Анну Петровну выдал шестнадцати лет, против ее воли, за 52-летнего генерала Керна. Манеры были барские, обращение с людьми приветливое и любезное, шутил метко и зло, для красного словца никого и ничего не щадил. Пушкин не раз встречался с ним в Тверской губернии и Петербурге.

ПЕТР АБРАМОВИЧ ГАННИБАЛ

(1742—1825)

Двоюродный дед Пушкина, «мой старый дед-негр», как его называет Пушкин в одном письме. Артиллерийский генерал в отставке, дол-

го был под судом за растрату артиллерийских снарядов. Женившись, скоро стал изменять жене, разъехался с нею и одиноко жил в своем имении Петровском, в нескольких верстах от Михайловского. При старике жил молодой парень Михайло Калашников. Он хорошо играл на гуслях и по вечерам повергал старика-арапа в слезы или приводил в восторг своею музыкой. Старик-генерал со страстью занимался настаиванием и перегонкою водок. В этом ему помогал тот же Калашников. Однажды Петр Абрамович вздумал сделать в перегонке какое-то нововведение, спирт в аппарате вспыхнул, и все запылало. За неудачу барина своею спиною поплатился Калашников. Вообще, когда Ганнибалы приходили в ярость, людей у них выносили на простынях. Летом 1817 г., по окончании лицея, Пушкин приезжал в Михайловское и вместе с сестрою Ольгою посетил деда. Ганнибалу было в то время уже семьдесят пять лет, он очень плохо помнил лица и имена. Стал рассказывать внукам:

— Вообразите мою радость: ко мне на-днях заезжал... Да вы его должны знать! Ну, прекрасный молодой офицер. Еще недавно женился в Казани... Как бишь его? Еще хотел побывать в Петербурге. Ну!.. Хотел купить дом в Казани!

Сестра Пушкина подсказала:

— Веннамин Петрович?

— Ну да! Веня, мой сын. Что же раньше не говорите? Эх вы!..

Старик спросил водки, налил рюмку себе и Пушкину. Пушкин выпил, не поморщившись. Это очень понравилось Ганнибалу. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда.

ПАВЕЛ ИСАКОВИЧ ГАННИБАЛ

Двоюродный дядя Пушкина, подполковник. В Порховском уезде Псковской губернии у него было небольшое имение в 79 душ, заложное в ломбарде. С женою он разъехался. В 1817 г. Пушкин, приехав после окончания лицея в Михайловское, посетил дядю. Павел Исакович был человек очень веселый, по-ганнибаловски гостеприимный. Если приезжал к нему гость, он приказывал отпрячь его лошадей, прятал его саквояж и почти насильно оставлял у себя. Навязчивое гостеприимство Ганнибалов вошло в тех местах в пословицу и называлось «ганняльщиной». Павел Исакович оставил Пушкина у себя ночевать, а утром, с бутылкой шампанского в руках, постучался в дверь комнаты, где спал Пушкин, и во главе хора родственников пропел ему такой экспромт:

Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право-слово, Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Свет-Исаыч Ганнибал,
Тьфу ты, пропасть, Ганнибал!

Пушкину Ганнибал очень понравился, но очень скоро он вызвал дядю на дуэль. Танцевали, и в одной из фигур котильона Павел Исакович отбил у него барышню Лошакову, в которую Пушкин влюбился, несмотря на ее дурноту и вставные зубы. Впрочем, через десять минут помирились, и за ужином Павел Исакович провозгласил:

Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!

В 1826 г. Ганнибал, «за буйство и дерзкие поступки», был по высочайшему повелению сослан в Сольвычегодск Вологодской губернии. Там он пропадал от безденежья и поведением своим терроризовал все местное население, включая самого городничего. Стрелял из окна из имевшейся у него небольшой пушечки, всюду без зова являлся в гости в сопровождении местного почтового чиновника-пьянчужки Воронецкого, так что обыватели, боясь его посещений, не зажигали огня в комнатах, выходивших на улицу; издевался над уважаемыми местными купцами, обещался им разбить рожи, грозил ножом. Генерал-губернатор прислал предписание объявить Ганнибалу, «дабы он вел жизнь смиренную и без приглашения никуда не выходил, кроме церкви; в оскорблениях купцам должен он заглаживать извинением, испросив прощение». Когда городничий объявил ему это предписание, Ганнибал пришел в ярость:

— Как смел генерал-губернатор обо мне так писать! Он мне не начальник! Как смел писать, чтобы я испросил прощения — и у кого, у купцов!

И стал грозить городничему застрелить его за доносы. По высочайшему повелению Ганнибала отправили в Соловецкий монастырь. Там его заключили в тесный чулан. Ганнибал пришел в бешенство, бился, стучал в дверь, две недели пробыл там в полном иступлении, потом утих и с тех пор вел себя в чулане смирно. Настоятель монастыря писал по его делу: «...живущие у нас делаются хорошими поневоле за неимением средств к поведению противному сему». Жена Ганнибала Варвара Тихоновна, с которою он жил врозь, узнав о заточении мужа, при-

нялась энергично хлопотать за него. Долго ее хлопоты были безуспешны. Только в конце 1832 г. по соизволению императора, ввиду «совершенного исправления» узника, Ганнибал был освобожден из Соловков, и ему было разрешено избрать себе жительство «ближе к Петербургу». За время заключения Ганнибала именье его за неплатеж процентов в ломбард было продано. Ганнибал поселился в Луге.

АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ПЕЩУРОВ

(1779—1849)

Во время ссылки Пушкина в с. Михайловское был опочечким уездным предводителем дворянства (с 1822 по 1829 г.). Пушкин как местный дворянин был поручен его наблюдению, причем Пещуров, по распоряжению генерал-губернатора маркиза Пауллуччи, вызывал к себе отца Пушкина и предложил ему взять на себя надзор за сыном. С 1830 по 1839 г. Пещуров был псковским губернатором и как таковой приводил в исполнение распоряжение из Петербурга о «невстрече» кем-либо тела Пушкина, отправленного для погребения в Псковскую губернию. С. М. Салтыкова, будущая жена Дельвига, видела Пещурова с его семьей в 1824 г., когда они приезжали в Петербург, и так описывает их в письме к подруге: «Господин Пещуров — маленький, горбатый человек, педант, подчеркивающий, что он говорит только по-французски; его супруга — крупная чопорная женщина; дочерям — старшей семь лет, другой шесть. Это вполне провинциальная семья, не имеющая себе подобной; он и она, сказав несколько слов, не нашли ничего лучше, как выказать познания своих маленьких педанток, которые прямо невыносимы. Сперва эти две малютки разодрали нам уши фальшивою игрою в четыре руки в течение доброго получаса; затем принялись говорить стихи, затем сцену из комедии, из которой никто не мог понять ни слова».

ИВАН МАТВЕЕВИЧ РОКОТОВ

(1782—1840)

Богатый опочечкий и новоржевский помещик, сосед Пушкиных по имению. Жил в своей деревне Стехнове, лежавшей на большой дороге в Остров. Коллежский советник в отставке, холостяк, человек добродушный, но недалекий, молодился, любил казаться светским и говорить по-французски, хотя плохо знал язык. Постоянно приговаривал по-французски: «вы простите мою откровенность» и «я очень дорожу вашим мнением». Заезжавших к нему гостей целовал в плечико и жа-

ловался им на неудобство жить на большой дороге, потому что все заезжают. В молодости он служил по дипломатической части, и раз ему удалось даже съездить дипломатическим курьером в Дрезден. Рассказы его о прошлом всегда начинались словами: «Lors de mon voyage à Dresden (со времени моей поездки в Дрезден)». В семье его так и звали «le courrier diplomatique». Ложась спать, он приказывал лакею будить его через каждые два часа. Когда Рокотова спрашивали, к чему он это делает, он отвечал:

— Уж очень приятно опять заснуть!

Когда Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, губернатор Адеркас предложил Рокотову взять на себя надзор за поведением Пушкина, но Рокотов отказался, ссылаясь на расстроенное здоровье. Он иногда посещал Пушкина, чем Пушкин был мало доволен. «Было бы любезнее с его стороны оставить меня скучать одного», — писал он о Рокотове г-же Осиповой. Было подозрение, что Рокотов все-таки ездит надзирать за Пушкиным. Пушкинский кучер Петр рассказывал: «Ездили тут, осыкуны к нему были приставлены из помещиков: Рокотов да Пещуров. Пещурова-то он хорошо принимал, ну, а того — так, бывало, скажет: опять ко мне тащится, я его когда-нибудь в окошко выброшу!»

ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ (1797—1868)

Когда Пушкин жил в михайловской ссылке, он иногда наезжал в Псков. Там он познакомился и нередко играл в штосс с ротным командиром одного из местных пехотных полков, штабс-капитаном Великопольским. Великопольский происходил из богатой помещичьей семьи, в молодости служил в лейб-гвардии Семеновском полку. В 1819 г., находясь проездом в Москве, он проиграл в карты тридцать тысяч рублей. Мать его отказалась уплатить их. Великопольский пытался в Петербурге отыграться и проигрывал все больше. В 1820 г. произошел известный бунт в Семеновском полку, весь офицерский состав полка был раскассирован и разослан в провинцию по армейским полкам. Великопольский во время бунта находился в отпуске, но подвергся общей каре и попал в Псковскую губернию. Стоял со своим полком то в Пскове, то по деревням. Был большой любитель поэзии и сам пописывал посредственные стихи. В 1826 г., в Пскове, он проиграл Пушкину в карты пятьсот рублей; немедленно заплатить их не мог. В начале лета Пушкин, гостя у одного псковского помещика, Назимова, проигрался и написал Великопольскому такое послание:

С тобой мне вновь считаться довелось,
 Певец любви то резвой, то унылой.
 Играешь ты на ларе очень мило,
 Играешь ты довольно плохо в шоссэ:
 Пятьсот рублей, проигранных тобою,
 Наличные свидетели тому.
 Судьба моя сходна с твоей судьбою;
 Сейчас, мой друг, узнаешь, почему.

И просил должные ему пятьсот рублей уплатить Назимову. Великопольский ответил посланием:

Не прав ли я, приятель мой,
 Не говорил ли я заране:
 Не одобровать тебе с игрой,
 И есть дыра в твоём кармане.
 Поэт! Ты честь родной стране,
 Но, — смелый всадник на Пегасе, —
 Ты так же пылок на сукне,
 Как ты залоснив на Парнасе.
 Конечно (к слову то пойдет),
 С тобою там никто не равен:
 Ты там могуч, велик и славен, —
 Но, друг, в игре не тот расчет:
 Иной пяти не перечтет,
 А в миг писателя подрежет.
 В стихах ты — только, что не свят,
 Но счастье — живая монета,
 И почти длинные поэта
 От бед игры не защитят.

Послал ли Великопольский эти стихи Пушкину, — неизвестно. Повидимому, они встречались еще не один раз — и в Пскове за время ссылки Пушкина, и потом в Петербурге и Москве; играли в карты с переменным счастьем. Однажды, за неимением денег, Великопольский уплатил свой проигрыш Пушкину знаменитой французской «Энциклопедией» XVIII в. и фамильными бриллиантами. Другой раз Пушкину пришлось уплатить свой долг экземплярами только что вышедшей второй главы «Онегина». Великопольский восхищался произведениями Пушкина, но, кажется, лично был к нему мало расположен и про себя писал на него эпиграммы в таком роде:

Арист — негодный человек,
 Не связан ни родством, ни дружбой.
 Отцом покинут, брошен службой,
 Провел без совести свой век;
 Его исправить — труд напрасен,

За то кричит о нем весь свет:
Вот он-то истинный поэт,
И каждый стих его прекрасен...

и т. д.

В 1827 г. Великопольский вышел в отставку и занялся устройством своих имений. В 1828 г. он выпустил отдельным изданием книжку «К Эрасту (сатира на игроков)», в которой живописал страшные последствия картежной игры. Пушкин напечатал без подписи в болгаринской «Северной пчеле» «Послание к В., сочинителю Сатиры на игроков», где высмеивал проповедников, учащих свет тому, в чем сами грешны:

Некто мой сосед
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал спать, и правдивый писатель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?

и т. д.

Великопольский ответил Пушкину стихами:

Узнал я тотчас по замашке
Тебя, насмешливый поэт!
Твой стих веселый легче птички
Порхает и чарует свет.
Я рад, что гений удосушим
Тебя со мной на пару слов;
Ты очень мило обнаружил
Беседы дружеских часов.
С твоим проказником соседним
Знаком с давнишней я поры:
Обязан другу он последним
Уроком ветреной игры.
Он очень помнит, как, сменяя
Былые рубрики в кисте,
Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе.
Блуждая в молодости шибкой,
Он спотыкался о порог;
Но где последняя ошибка. —
Там первый мудрости урок.

К четвертой строфе было подстрочное примечание автора: «Мы друг друга понимаем». Великопольский отправил стихи Булгарину для помещения в «Северной пчеле». Булгарин передал стихи Пушкину с за-

просом, согласен ли он на их напечатание. Пушкин написал Великопольскому такое письмо:

«Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не могу согласиться»:

Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе —

и ваше примечание — конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Мне кажется, что вы немножко мною недовольны. Правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы хотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в восьмую главу Онегина? Н. В. Я не проигрывал второй главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой — родительскими алмазами и 35-ю томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества, и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи».

По этому поводу Великопольский писал Булгарину: «А разве его ко мне послание не личность? В чем его цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами? Почему же цензура полагает себя в праве пропускать личности на меня, не сказав мне ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия?.. Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он даже дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он ко мне имеет довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни».

Следует признать, что с наибольшим достоинством держался в этой истории Великопольский и с наименьшим — Пушкин. После столкновения отношения их прекратились.

В 1831 г. Великопольский женился на дочери известного московского профессора-медика Мудрова, получил за нею значительное приданое, стал человеком богатым. Жил больше в Москве. Был человек очень энергичный, добрый и отзывчивый, оказывал материальную помощь Гоголю и Белинскому. В 1841 г. он напечатал драму, которая была признана крайне безнравственной. Пропустивший драму цензор Ольдекоп был уволен от должности. Великопольский предложил ему три тысячи рублей, чтоб ему было на что жить до прискания другого места. Оль-

декоп отказался. Последние двадцать пять лет своей жизни Великопольский провел в непрестанной и тяжелой борьбе за широкое проведение в жизнь усовершенствованного им способа обработки льна. Способ его и учеными обществами, и разными департаментами был признан очень полезным, но так и не смог добраться до жизни сквозь дебри департаментской волокиты. На проведение своего изобретения Великопольский потратил почти все свое состояние и умер чуть не в нищете.

АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ БОШНЯК
(1786—1831)

Помещик Херсонской губернии, воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, служил в коллегии иностранных дел, четыре года состоял перехтским уездным предводителем дворянства. Был любителем-ботаником и писателем, в 1830 г. издал роман «Ягуб Скупалов». С начала двадцатых годов состоял секретным агентом у начальника херсонских военных поселений графа И. О. Витта, сумел как умный и ловкий человек попасть в члены Южно-русского тайного общества и играл там роль шпиона-provokatora.

В июле 1826 г., по поручению того же Витта, Бошняк приехал в Псковскую губернию «для возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и для арестования его и отправления, куда следует, буде бы он оказался действительно виновным». Бошняк под видом любителя ботаники объехал многих помещиков, чиновников, опрашивал крестьян, содержателей гостиниц и постоялых дворов. Расследование оказалось для Пушкина благоприятным; все единогласно удостоверили, что «поступков, ко вреду государства устремленных», он не совершает, держится очень смирно, ни с кем не знается и ведет жизнь уединенную. Бошняк отправился к отставному генерал-майору П. С. Пуцину, «от которого, — пишет Бошняк в своем рапорте, — вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиною моего отправления. Я увидел, что все собранные в доме Пуциных сведения основываемы были, большею частью, не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках». Фельдъегерь, поджидавший Пушкина на ближайшей почтовой станции на случай его ареста, поехал обратно в Петербург в пустой тележке.

В 1831 г., во время польской войны, Бошняк, «служа с пользой отечеству, неожиданно с кучером и камердинером, при переезде из места в место, был злодейски застрелен за открытие в 1825 г. заговора».

ИГУМЕН ИОНА

(Род. в 1759 г.)

Настоятель святогорского монастыря, неподалеку от Михайловского. Из купеческого сословия. Тридцати шести лет поступил послушником в Никандрову пустынь, через два года был пострижен в монашество в святогорском монастыре. С 1812 г. был игуменом великолукского монастыря. В Великих Луках встречался с местным помещиком, тогда полковником, Павлом Сергеевичем Пуцциным. С 1825 г. был игуменом святогорского монастыря. Под его духовный надзор отдан был Пушкин, посланный в Псковскую губернию за высказанное им в письме сочувствие атеизму.

В январе 1825 г. Пушкина посетил в Михайловском лицейский его товарищ Иван Иванович Пуцин. После обеда они сидели за чашками кофе, Пушкин начал читать привезенную Пуцциным, тогда ходившую еще только в рукописях комедию «Горе от ума». Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился, поспешно раскрыл Жития святых и прикрыл ими рукопись. В комнату вошел низенький, рыжеватый монах и рекомендовался Пуццину настоятелем соседнего монастыря. Пуцин и Пушкин подошли к нему под благословение. Монах извинился, что, может быть, помешал, и сказал, что, услышав фамилию Пуццина, он приехал, думая, что это — его знакомец Павел Сергеевич Пуцин, с которым ему захотелось повидаться. Ясно было, что настоятелю донесли о приезде к Пушкину гостя и что он хитрит. Разговор завязался о том, о сем. Подали чай. Пушкин спросил рому. Монах выпил два стакана чая, не забывая о роме, потом начал прощаться, опять извиняясь, что прервал товарищескую беседу. Пуццину было неловко за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении монаха. Пуцин высказал досаду, что своим приездом накликал это посещение.

— Перестань, любезный друг! — ответил Пушкин. — Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре. — И снова взялся за комедию.

Пушкин иногда приходил к Ионе в святогорский монастырь, распивал с ним наливку и беседовал. Иона любил прибаутки, от него Пушкин заимствовал поговорки, которые в «Борисе Годунове» сыплет в корчме бродяга-монах Варлаам: «Пьем до донушка, выпьем, поверотим и в донушко поколотим» и т. д. На расспросы секретного агента Бошняка, командированного для расследования поведения Пушкина, игумен Иона дал ответы вполне успокоительные, — что Пушкин нигде не бывает, ни во что не мешается и живет, как красная девка.

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ ПОДГОРНЫЙ

28 февраля 1827 г., позднюю ночью, по улицам Петербурга медленно ехало к заставе пять троек; в четырех санях сидело по декабристу, закованному в кандалы, а рядом с каждым — по жандарму. Деревянным тротуаром шел сопровождавший ссылаемых фельдъегерь Подгорный, молодой и красивый малый, а рядом с ним — его сестра. Женщина горько плакала и просила брата беречь несчастных, которых он увозил в Сибирь. Фельдъегерь простился с сестрой, прыгнул в сани и крикнул ямщику:

— Пошел!

Тройки понеслись во весь дух к заставе.

Мчались, исполняя инструкцию, день и ночь, на ночевку останавливались только через две ночи на третью. Фельдъегерь, как было в обычае, бил в дороге ямщиков, бил на станциях смотрителей, прогонов нигде не платил, но с коновозуемыми узниками обращался ласково и, по возможности, облегчал их положение. За долгую дорогу ссылаемые сошлись с фельдъегерем и несколько перевоспитали его: он реже стал драться, хотя прогонов принципиально не платил попрежнему. Довез их до Иркутска. Дальше, за Байкал, ссылаемых поручили везти полицейскому чиновнику, а Подгорный получил предписание немедленно ехать с жандармами обратно в Петербург, в Tobольской губернии заехать в деревушку, взять там какого-то крестьянина, заковать в кандалы и доставить в Петербург во дворец. Прощаясь с декабристами, Подгорный грустно говорил:

— Вспомните, мне моря этого, что лежит впереди вас (Байкала), не объехать!

Прошло полгода с небольшим. Неизвестно, сколько тысяч верст отмахал за это время фельдъегерь Подгорный. В октябре мчался он с четырьмя тройками по псковскому почтовому тракту по дороге в Динабург; в трех тройках опять сидело по «государственному преступнику», а рядом с каждым — по жандарму. Подъехали к станции Залазы. Арестанты вышли из тележек поразмяться. Вдруг к одному из них, преступнику Кюхельбекеру, бросился какой-то проезжающий — кудрявый, невысокого роста господин с бакенбардами; они обнялись и стали горячо целоваться. Жандармы схватили преступника, фельдъегерь с угрозами и ругательствами взял за руку проезжего. Преступнику Кюхельбекеру сделалось дурно. Подгорный шепнул жандармам, — они поспешно усадили арестантов в тележки и помчались дальше. Фельдъегерь задержался для написания подорожной и «заплаты прогонов», — так, по крайней мере, он уверяет в рапорте по начальству. Проезжий подошел

к нему и попросил передать Кюхельбекеру деньги. Фельдъегерь отказался. Тогда проезжий повысил голос и заявил, что по прибытии в Петербург он в ту же минуту доложит его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему денег; обещался не преминуть пожаловаться и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Между прочими же угрозами сообщил, что сам сидел в крепости и потом был выпущен. После этого фельдъегерь еще решительнее отказался принять деньги. Нагнав поджидавшие его за полверсты от станции тройки с преступниками, он узнал от преступника Кюхельбекера, что разговаривавший с ним проезжий — «тот Пушкин, который сочиняет».

Пушкин поехал в Петербург, Кюхельбекера Подгорный отвез в Динабургскую крепость и направился обратно продолжать свою службу, — мчаться, сломя голову, по дорогам России и Сибири. Неизвестно, сколько еще десятков тысяч верст пришлось отмахать по этим дорогам фельдъегерю Подгорному, но предчувствие его не обмануло: года через полтора ему пришлось побывать и за Байкальским морем.

Осенью 1828 г. мы видим фельдъегеря Подгорного мчащимся из Петербурга в Азиатскую Турцию с поручением в действующую армию Паскевича. Исполнив поручение и оставаясь без дела, он явился к генералу Н. Н. Муравьеву, осаждавшему Ахалцых, и предложил свои услуги. Муравьев оставил его при себе ординарцем для рассылки с поручениями во время боя. Подгорный выказал при этом такую расторопность и храбрость, что был произведен в офицеры.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виктор Гроссман—О спутниках Пушкина . . .	1
Предисловие	5
I. РОДСТВЕННИКИ И ДОМОЧАДЦЫ	7—41
Сергей Львович Пушкин	7
Надежда Осиповна Пушкина	14
Мария Алексеевна Ганнибал	16
Василий Львович Пушкин	16
Сопцовы (Солищевы)	20
Анна Львовна Пушкина	22
Лев Сергеевич Пушкин	24
Ольга Сергеевна Павлицева	30
Николай Иванович Павлицев	33
Арина Родионовна	36
Никита Козлов	38
Михайло Иванов Калашников	40
Ольга Михайловна Калашникова	41
II. В ЛИЦЕЕ. НАЧАЛЬСТВО И ПРЕПОДАВАТЕЛИ	41—61
Василий Федорович Малиновский	44
Степан Степанович Фролов	45
Егор Антонович Энгельгардт	46
Александр Петрович Куницын	49

Николай Федорович Кошанский	50
Александр Иванович Галич	52
Иван Кузьмич Кайданов	54
Яков Иванович Карцов	55
Давид Иванович де-Будри	56
Фридрих Матвеевич Гауэншильд	57
Сергей Гаврилович Чириков	58
Фотий Петрович Калинин	58
Теппер де-Фергюсон	58
Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович	59
Илья Степанович Пилецкий-Урбанович	60
Алексей Николаевич Иконников	60
Франц Осипович Пешель	61

III. ЛИЦЕЙСКИЕ ТОВАРИЩИ 63—107

Иван Иванович Пуццин	63
Барон Антон Антонович Дельвиг	66
Вильгельм Карлович Кюхельбекер	69
Федор Федорович Матюшкин	75
Иван Васильевич Малиновский	76
Николай Александрович Корсаков	77
Владимир Дмитриевич Вольховский	79
Князь Александр Михайлович Горчаков	81
Константин Карлович Данзас	84
Сергей Григорьевич Ломоносов	86
Михаил Лукьянович Яковлев	88
Алексей Демьянович Илличевский	89
Семен Семенович Есаков	90
Петр Федорович Саврасов	91
Барон Павел Федорович Гревениц	91
Павел Михайлович Юдин	91
Сергей Дмитриевич Комовский	92
Барон Модест Андреевич Корф	95
Дмитрий Николаевич Маслов	97
Александр Алексеевич Корнилов	99
Александр Дмитриевич Тырков	100
Граф Сильверий Францевич Броглио	101
Федор Христианович Стевен	102

Аркадий Иванович Мартынов	102
Александр Павлович Бакунин	103
Екатерина Павловна Бакунина	103
Николай Григорьевич Ржевский	105
Павел Николаевич Мясоедов	105
Константин Дмитриевич Костенский	107
Константин Гурьев	107

IV. В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ССЫЛКИ. «АРЗАМАС». . . 109—153

Дмитрий Николаевич Блудов	113
Василий Андреевич Жуковский	115
Дмитрий Васильевич Дашков	116
Константин Николаевич Батюшков	119
Князь Петр Андреевич Вяземский	122
Денис Васильевич Давыдов	123
Александр Иванович Тургенев	123
Василий Львович Пушкин	127
Петр Иванович Полетика	130
Филипп Филиппович Вигель	131
Степан Петрович Жихарев	132
Александр Алексеевич Плещеев	134
Дмитрий Петрович Северин	135
Дмитрий Александрович Кавелин	137
Александр Федорович Войеков	138
Сергей Семёнович Уваров	138
Николай Иванович Тургенев	140
Михаил Федорович Орлов	146
Никита Михайлович Муравьев	148
Николай Михайлович Карамзин	148
Михаил Александрович Салтыков	152
Юрий Александрович Никитинский-Мелецкий	153

V. В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ССЫЛКИ. «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА» 154—178

Никита Всеволодович Всеволожский	160
Яков Николаевич Толстой	161

Петр Павлович Каверин	163
Михаил Андреевич Щербинин	167
Александр Иванович Якубович	168
Федор Филиппович Юрьев	170
Павел Борисович Мансуров	170
Василий Васильевич Энгельгардт	171
Аркадий Гаврилович Родзянко	172
Барон Антон Антонович Дельвиг	173
Князь Сергей Петрович Трубецкой	174
Александр Дмитриевич Улыбышев	175
Дмитрий Николаевич Барков	176
Александр Андреевич Токарев	177
Князь Дмитрий Иванович Долгоруков	178
Иван Евстафьевич Жадовский	178

VI. В ПЕТЕРБУРГЕ ДО ССЫЛКИ 179—223

Павел Александрович Катенин	179
Князь Александр Александрович Шаховской	183
Николай Иванович Кривцов	185
Кондратий Федорович Рылеев	189
Александр Александрович Бестужев-Марлинский	197
Михаил Сергеевич Лунин	202
Княгиня Евдокия Ивановна Голицына	210
Графиня Екатерина Марковна Ивелич	213
Екатерина Семеновна Семенова	214
Александра Михайловна Колосова-Каратыгина	215
Иван Иванович Лажечников	218
Алексей Федорович Орлов	221
Граф Михаил Андреевич Милорадович	223

VII. СЕМЬЯ РАЕВСКИХ 225—246

Николай Николаевич Раевский-старший	225
Софья Алексеевна Раевская	228
Александр Николаевич Раевский	228
Екатерина Николаевна Раевская-Орлова	234

Екатерина Ивановна Осипова	365
Екатерина Васильевна Вельяшева	365
Иван Петрович Вульф	367
Петр Иванович Вульф	367
Павел Иванович Вульф	368
Екатерина Евграфовна Смирнова	369
Иван Иванович Вульф	370
Екатерина Ивановна Гладкова	371
Анна Ивановна Вульф	373
Попофидины (Панафидины)	374
Анна Петровна Керн	375
Петр Маркович Полторацкий	383
Петр Абрамович Ганнибал	383
Павел Исакович Ганнибал	384
Алексей Никитич Пещуров	386
Иван Матвеевич Рокотов	386
Иван Ермолаевич Великопольский	387
Александр Карлович Бошняк	391
Игумен Иона	392
Фельдбегер Подгорный	393

ПОПРАВКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
57	19 сверху	(см. главу VIII)	(см. главу VIII I-го тома).
169	16 »	в гл. XXII	в гл. XI
190	1 »	см. III гл.	см. III гл. I-го тома
197	4 снизу	см. гл. III.	см. гл. III I-го тома.
202	8 »	(см. гл. IV)	(см. гл. IV I-го тома)
267	5 »	(см. гл. IV	(см. гл. IV I-го тома
268	8 сверху	в гл. V	в гл. V I-го тома
280	17 »	(см. гл. XVII)	(см. гл. VI)
327	11 »	(см. гл. XIX)	(см. гл. VIII)
391	19 снизу	см. в гл. III.	см. в гл. III I-го тома.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Надо
225	18 сверху	вам	вас
307	9 »	Цируй	Пируй
477	14 снизу	357	367
479	1 сверху	80	86
—	22 »	50	52
480	3 »	115	117
480	7 »	VII.	VIII.



ЧИТАТЕЛЬ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва 9, Большой Гнездиковский переулок, д. № 10, издательство «Советский писатель».

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Надо
131	14 сверху	Б конце	В конце
297	26 >	стурей	струей
399	7 >	Федорович	Федосеевич

К «Опутникам Пушкина» В. Вересаева, т. I.



ЧИТАТЕЛЬ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

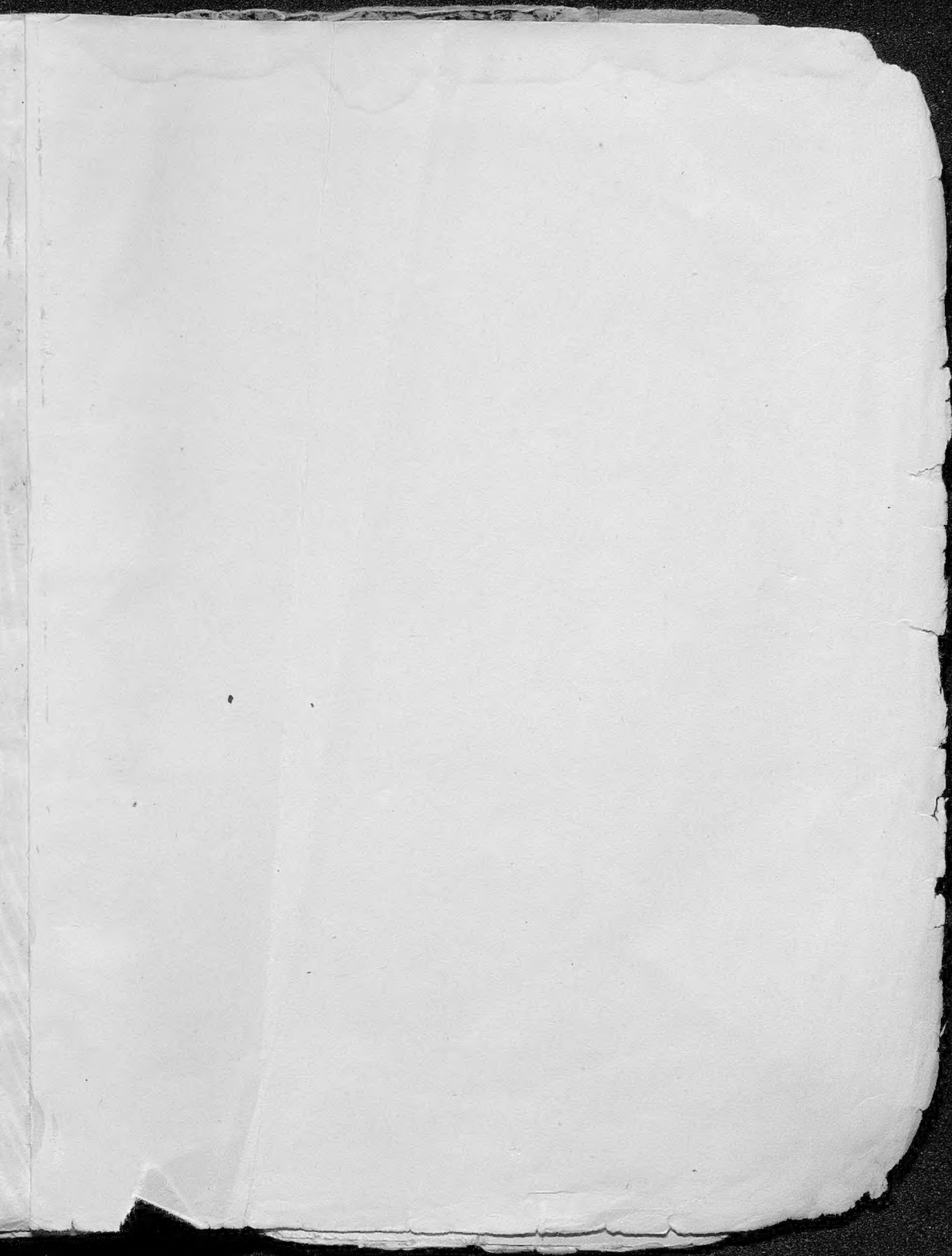
Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва 9, Большой Гнездинковский переулок, д. № 10, издательство «Советский писатель».

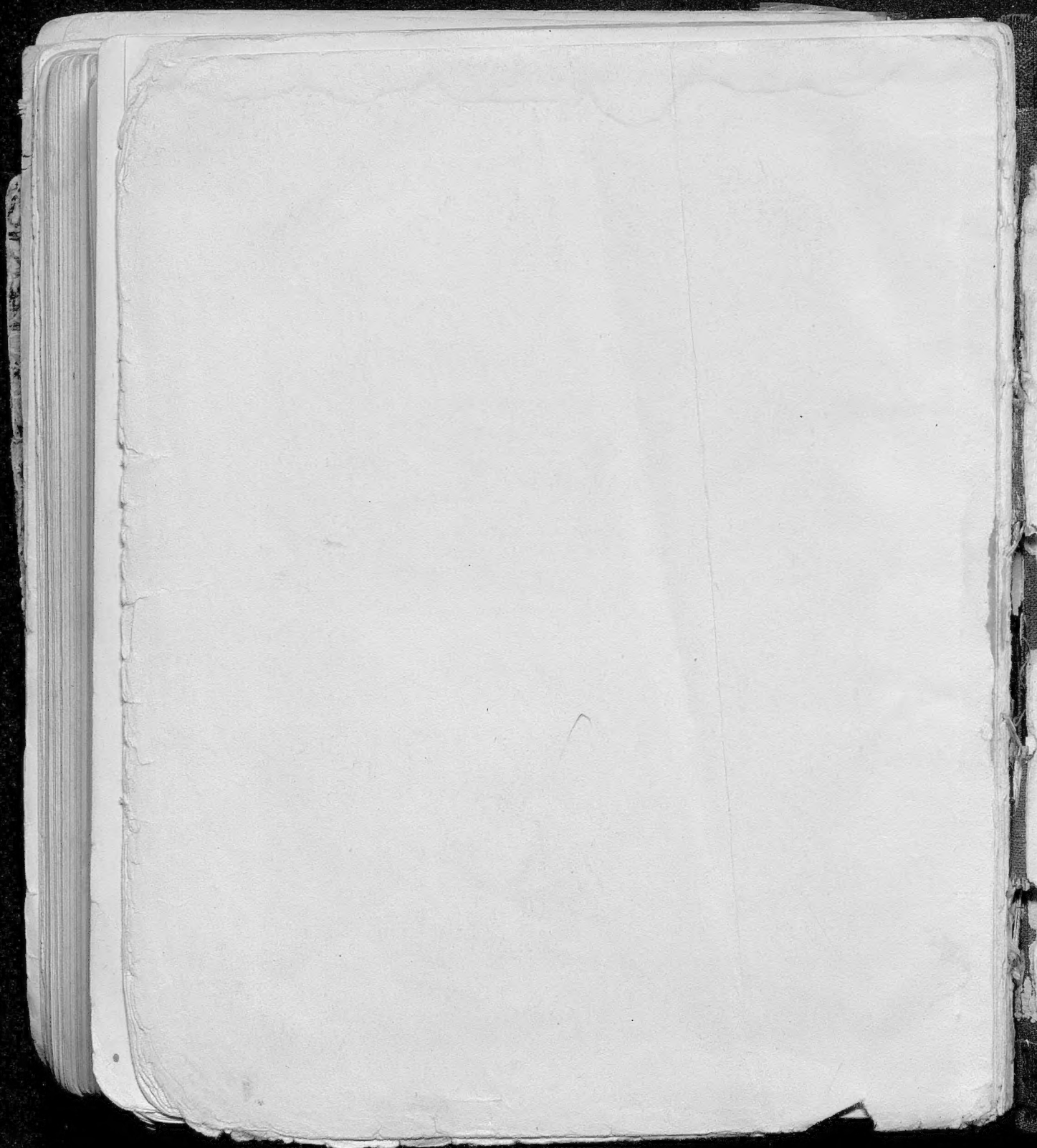
Ответственный редактор В. Гроссман
Технический редактор М. Терюшин
Корректор Е. Бокшицкая

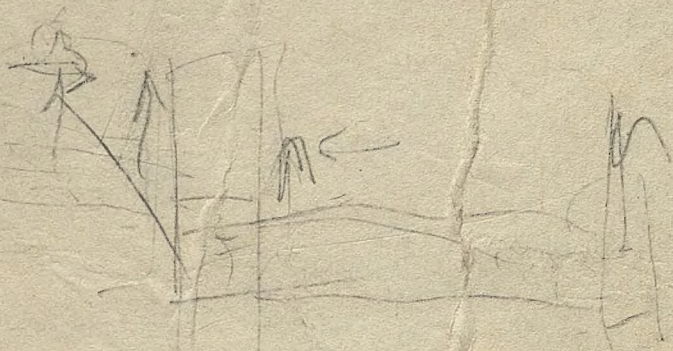
Уполн. Главлита Б—32128.
Тираж 10000 С. П. № 97.
Сдана в производство 16 июня
1936 г. Подписана к печати
3 декабря 1936 г. Бумага
72X88 1/16 Кол. печати. лист.
25 $\frac{1}{2}$ +51 илл. и 1 фронтиспис
Авторск. л. 23,9. Учетно-автор.
л. 29,9. Кол. знак. в печати,
л. 43344. Зак. № 1308.

Типография газ. „Правда“ им. Сталина,
Москва, ул. „Правды“, 24.

Цена 13 руб. 50 коп. Переплет 2 руб. 50 коп.







16 p

